# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения

№ 4 | 2013

# ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №4 | 2013

## В номере


МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Марина Саввиных
3 Дожди Дагестана стучат в моё сердце

Д*и*Н РЕВЮ

27 Влияние неевклидовой геометрии на художественное сознание

31 Пушкиноты

Эдуард Учаров
151 SOSтояние невесомости

Вадим Гершанов
178 Я не мил? Шли меня!

187 После 12

Д*и*Н ПАМЯТЬ

Алитет Немтушкин
28 Храним твои заветы, Хэвэки…

Валерий Кузнецов
32 История моего современника

Д*и*Н ДИАЛОГ

Юрий Беликов, Андрей Савельев
43 Один спартанец в поле воин

Д*и*Н СТИХИ

Олеся Николаева
48 Воздаянье

Владимир Костров
50 Мы—последние этого века

Светлана Мингазова
52 Одуванчики

Софья Иосилевич
54 Пройти аллеей сада

Людмила Гайдукова
102 Между сном и явью

Николай Година
166 Страна деревьев

Александр Габриэль
168 Молчание небес

Григорий Горнов
171 Тахикардия

Д*и*Н БЕНЕФИС

Наталия Черных
55 Вены-артерии

Александр Петрушкин
59 Стигматы на теле вещей

Д*и*Н ПРОЗА

Елена Янге
64 Транс

Марат Валеев
103 Крыша над головой

Евгений Мартынов
121 Часы на цепочке

Д*и*Н АНТОЛОГИЯ

Владимир Маяковский
120 Братья-писатели

Антон Дельвиг
136 Когда, душа, просилась ты…

Михаил Светлов
174 На краю земли

ДиН поэма

Владимир Алейников
133 На скрещении эпох

Вера Зубарева
137 Милая Ольга Юрьевна

Николай Вдовин
140 Падает снег

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Александр Орлов
142 Бородинское крещенье

Ольга Черенцова
145 Встреча в квартире Фолкнера

Рустам Карапетьян
152 Ульма

Татьяна Эйснер
155 Паразит

Владимир Эйснер
158 Тум-балалайка, или Когти Розы Соломоновны

ДиН дебют

Ирина Василевская
173 Время, которого нет

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Миньона Штерн
175 Дом на земле, уплывающей в Рай: мир лирической прозы Галины Кудрявской

Владимир Коркунов
179 Люди, какие они есть

Роман Мамонтов
181 Чумачедшие coment'ы

ДиН публицистика

Александр Вятский
183 Запах троллинга, или Кое-что об интернет-хулиганстве

Александр Лейфер
188 Спасение от дурных законов

ДиН детям

Елена Тимченко
193 Червячок и другие

195 ДиН авторы

## ДиН галерея

На первой и четвёртой странице обложки — репродукции с картин *Марата Гаджиева*.

«Смотреть картины Марата — это не просто вглядываться в мир, это отражаться в окоёмах играющего мира, в мириадах его превращений. Любой цвет, образ, любая форма, линия — это и взгляд из других измерений, и обещание их постижения, а главное — обнаружение их присутствия вокруг. Порой, чтобы стереть случайные черты и увидеть красоту мира, надо ловить мир в сети своих прихотливых и бесконечно рождающихся линий, заполняя их фантазиями полотно жизни».

*Миясат Муслимова*

На второй и третьей странице обложки представлены работы заслуженного художника Республики Дагестан, сценографа и театрального деятеля *Ибрагимхалила Супьянова*.

Марина Саввиных

# Дожди Дагестана стучат в моё сердце

…Конечно, не так, как в сердце Уленшпигеля стучал пепел Клааса (Шарль де Костер когда-то существенно повлиял на моё мировоззрение), но—очень сильно. Больно и радостно. Почему боль—понять нетрудно. Вот лишь некоторые моменты, сопутствовавшие моей нынешней поездке на Кавказ. Только факты. Ничего, кроме фактов.

…Весной 2013 года Хаджалмахи, одно из крупнейших сёл горного Дагестана, стало ареной целого ряда громких преступлений. Так, 25 марта неизвестные из автомата Калашникова расстреляли местного жителя, 34-летнего автомеханика Абдулмаджида Маджидова. Нападавшие стреляли из машины, после чего скрылись. В МВД Дагестана считают, что убитый являлся приверженцем салафизма. Ранее, 16 марта, при схожих обстоятельствах были убиты отец и сын Ахмед и Джабраил Ахмедовы, 1940 и 1977 годов рождения, также, по данным местных жителей, считавшиеся салафитами. Убийцы, подъехав к мечети на чёрной «Приоре» без номеров, расстреляли Ахмедовых и скрылись. Позднее их машина была обнаружена сожжённой на окраине села. Оперативный план «Вулкан-4», введённый сразу после преступления, результатов не дал. Именно после этих убийств, по данным СМИ, жители Хаджалмахи заговорили о некоем «расстрельном списке». «Нераскрытые убийства приводят и к самосудам, и к тому, что жители покидают село»,—рассказал ИА REGNUM на условиях анонимности один из местных жителей. Он напомнил, что многие убийства, совершённые в Хаджалмахи в последние годы, не были раскрыты. «Представители разных ветвей ислама считают, что эти убийства были совершены на религиозной почве. Сторонники суфизма говорят, что и среди них много убитых—одиннадцать человек»,—отметил собеседник. Отметим, что в конце 2012—начале 2013 годов в Хаджалмахи также произошло несколько громких убийств. 7 февраля 2013 года во дворе собственного дома был расстрелян хаджалмахинец, капитан полиции Якуб Алимирзаев. В ноябре 2012 года был убит имам мечети этого села Гаджи Алиев.

…Как установлено, 30 апреля 2013 года в 21:50 в городе Буйнакске, на пересечении улиц Имама Шамиля и Салаватова, неизвестные, следовавшие предположительно на автомашине ВАЗ-2107, из автоматического оружия произвели выстрелы по служебной автомашине ВАЗ-2114 и личной автомашине ВАЗ-2114, в которой следовали сотрудники полиции ОМВД России по Буйнакскому району. В результате причинённых множественных огнестрельных ранений майор полиции, капитан полиции и старший лейтенант полиции скончались. Ещё двое сотрудников полиции с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Значительные повреждения причинены автомашине.

…Мощный взрыв прогремел в столице Дагестана Махачкале днём 1 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД республики.

…Сотрудник Центра противодействия экстремизму МВД Дагестана Казим Шабанов был убит сегодня, 14 мая, утром, в Махачкале. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Следственного комитета РФ по республике, офицера МВД расстреляли в момент, когда он выходил из подъезда дома на проспекте Акушинского, 92. От полученных ранений он скончался на месте.

…Восемь человек погибли сегодня, 20 мая, в городе Махачкале у здания Управления службы судебных приставов по Республике Дагестан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, взорвались два автомобиля. Предварительно установлено, что сначала был подорван один автомобиль, пострадавших не было; через 15 минут, когда на месте работали оперативники, произошёл второй взрыв. Жертвами двойного взрыва, по предварительной информации, стали как минимум 8 человек. Количество раненых уточняется. Повреждено более двух десятков автомобилей. Предположительно, взрывные устройства были приведены в действие дистанционным способом.

…Взрыв прогремел сегодня, 25 мая, в центре Махачкалы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах Дагестана, рядом с постом ГИБДД на проспекте

Гамзатова, недалеко от пересечения с улицей Дахадаева, подорвала себя смертница. На настоящий момент известно о 18 раненых, один сотрудник ГИБДД погиб. Проспект Гамзатова сегодня был перекрыт для движения автотранспорта и превращён в пешеходную зону в связи с празднованием последнего звонка в школах.[1]

А первого июня, как раз в тот день, когда скорый поезд уносил меня из гостеприимной Казани в Москву, откуда мой путь лежал прямиком в столицу Республики Дагестан, в Махачкале при обстоятельствах, напоминающих не первой свежести голливудский блокбастер, был арестован и вывезен из Дагестана градоначальник Махачкалы Саид Амиров.

Война на Северном Кавказе продолжается. Почти ежедневно — то в одном, то в другом населённом пункте — гремят взрывы, раздаётся стрельба, льётся кровь, гибнут люди. И уже невозможно разобрать, что в большей степени тому причиной — столкновение религиозных убеждений, политическое противостояние или разборки конкурирующих кланов. Всё переплетено — не удалить злокачественную опухоль, не повредив здоровой ткани, в которую она проросла. Нужна искусная хирургия, филигранная техника. И — главное! — любовь и сострадание к больному, вера в его исцеление и понимание сущности и смысла своего долга перед ним. Это — очень трудно. Это, может быть, труднее всего.

Дагестан... Кому бы я ни сказала о своём намерении в июне месяце побывать в Махачкале — реакция была одинаковой: куда тебя несёт? В Москве мне посоветовали, пока не поздно, сдать билет: после ареста Амирова можно ждать чего угодно, вплоть до уличных шествий и вооружённого мятежа. Это же Дагестан! Горячая точка!

Общественное мнение в русских градах и весях нечасто настроено в пользу «лиц кавказской национальности», и дагестанцы в этом «рейтинге раздражения» — пожалуй, на первом месте. Достаточно — хотя бы мельком — по этой части заглянуть на YouTube и пробежаться по комментариям к скандальным видеороликам.

У меня, однако, другой источник информации. Небеспристрастный. Но подающий «картинку» так, как только и должно, на мой взгляд, сегодня «работать по Кавказу»: добиваясь чёткости благодаря единственно правдивой оптике — оптике любви. Без любви, без глубокого, уважительного интереса к этой земле и людям, мужественно возделывающим и обустраивающим её, без понимания той грандиозной роли, которую Кавказ играет в российской геополитике, — здесь нечего делать. Поэтому я заранее отметаю все разговоры о «кавказском лобби», о «кормлении нахлебников и иждивенцев» и о миллиардах, изъятых из карманов добропорядочных россиян в пользу немирных горцев. Я буду говорить о другом. О тревоге и радости.

## 1. Надежда и вера

...Ещё в прошлом году, преодолевая по железной дороге расстояние от Москвы до Владикавказа и обратно, я обратила внимание на то, что около трети пассажиров купейных вагонов, в которых я ехала (в оба конца!), составляли кавказские женщины с больными детьми. Ребятишки разного возраста, но преимущественно малыши — с нервно-психическими заболеваниями, ДЦП, задержкой развития. То же самое и нынче — на маршруте Москва — Махачкала — Москва. Тяжёлая и странная концентрация детской обречённости и родительского горя. Много путешествую последнее время, но такого в поездах прежде не замечала. Кавказские семьи подвержены особого рода рискам? Или подобные заболевания не лечатся ни во Владикавказе, ни в Махачкале? Что это — проблемы экологии? социальной политики? медицины?

Или просто Кавказ, как увеличительное стекло, делает выпуклыми, бросающимися в глаза общероссийские беды, к которым в других регионах население уже как-то притерпелось, принюхалось и, в силу меньшей выраженности симптомов, позволило себе несколько расслабиться по их поводу?

Женщины, с которыми я разговаривала в поездах, в один голос твердят: медицины на Кавказе нет! Коррупция сожрала её с потрохами. Стоило врачам, вместо клятвы Гиппократа, принять за основной стимул профессиональной активности «золотого тельца» — врачей почти не осталось. Лечить некому.

То же и в образовании. Не желаете ли — «ЕГЭ-туризм»? Дагестан и здесь — на первых полосах СМИ-шных скандалов.

Тем временем, по моему ощущению (это особенно заметно, когда переживаешь последовательно Казань, Владикавказ и Махачкалу), Северный Кавказ сегодня перенасыщен идейным электричеством. Кажется, сам воздух излучает здесь гипнотические флюиды, готовые в любую минуту обуять очередную горячую голову. Может быть, причина тому — религиозное чувство, которое у местных жителей очевидно живее, чем где бы то ни было «на материке».

Ислам. Свежий, энергичный, действенный. С юным, дерзким, страстным лицом. С походкой упругой и стремительной. В Махачкале я любовалась молодыми мусульманками. В платках до бровей и в свободных платьях, полностью скрывающих фигуру, они выглядят ухоженными и уверенными в себе. Они — прекрасны!

Как это всё умещается на сравнительно небольшой территории и даже иногда в одном и том же

1. www.regnum.ru

человеке: стяжательство и щедрость, жестокость и рефлекторная готовность броситься на помощь, национальное высокомерие и безмерное гостеприимство, мировоззренческая узость, доходящая до фанатизма, и духовный полёт? Здесь, на Кавказе, единство контрастирующих оттенков самого высокого и самого низменного постоянно приводит тебя в недоумение и восторг. Ты словно немеешь перед неразрешимой дилеммой, и ничего тебе не остаётся, кроме как распахнуть глаза и сердце для молчаливого созерцания… авось да из этого перенасыщенного раствора сами собой начнут выпадать кристаллы истины.

Мой друг, замечательный дагестанский поэт, журналист, педагог, а теперь и заместитель министра печати и информации РД Миясат Муслимова, в своём блоге ежедневно, с редким упорством, любовью и требовательностью, освещает общественную и культурную жизнь региона во всех его противоречиях. Герои Миясат — учителя, врачи, художники, музыканты, артисты, писатели, философы. Чаще всего — действительно Герои. В первом — мифопоэтическом — значении слова. Те, в ком не угас прометеев огонь. Их речи, их поступки, их способность действовать, их естественная жертвенность нынче казались бы вымыслом беллетриста с разыгравшимся романтическим воображением, если бы не были столь документальны, не выявлялись в репликах обычных сетевых разговоров, в письмах, интервью, монологах, записанных Миясат во время встреч, которыми изобилует её жизнь, полная путешествий и событий. Не могу отказать себе (и, уверена, читателю!) в удовольствии, с разрешения Миясат Шейховны, обратиться к некоторым страничкам её «Живого Журнала».

## 2. Миясат

*17 января 2013 г.*

Село Убра — это место, где я родилась. Оно находится в трёх километрах от центра Лакского района — Кумуха, некогда знаменитого Кази-Кумухского ханства. Жители этого села отличались особо независимым и дерзким нравом. Как свидетельствуют источники, это единственное село, которое не покорялось даже самому хану. Первые же попытки ханского гульбища и всевластия закончились ответами кинжалов и сабель. <…>

Я уехала из села, когда мне было четыре года; в моей памяти остались усеянные жёлтыми лютиками поля и обрывы, в которые, срывая цветы на склонах, я летела кубарем не раз, и каждый раз мне везло — кто-то чудом оказывался рядом и спасал. Я приехала в это село спустя сорок лет из-за моей московской подруги Оли Шевелёвой, которая по моим стихам влюбилась в это село и решила увидеть его своими глазами. Так благодаря ей я совершила паломничество.

Глядя на фотографии, понимаю строчки из книг по истории Дагестана о скудных землях Лакии, из-за чего многие лакцы были рассеяны по всему миру, были прекрасными ювелирами, оружейниками. Со всех сторон окружённое обрывами, оно сейчас — памятник самому себе. Здесь уже практически никто не живёт, две-три семьи осталось.

Дорога до центра — до Кумуха — так и не проложена. В селе была начальная школа.

После начальной школы дети продолжали учёбу в Кумухской школе, куда ходили пешком в любую погоду, в любое время года. Это довольно рискованно. Несколько лет назад мой родственник, взрослый человек, в советское время замдиректора приборостроительного завода, гордость нашего села, умница, дядя Осман, как мы его с детства привыкли называть, шёл вечером пешком домой из Кумуха и оступился, упал с обрыва. Падение оказалось роковым: он не может двигаться, повреждён позвоночник.

Перед входом в село люди останавливаются у памятников тем, кто, покинув родное село, так и не вернулся домой. У старинных памятных надгробий читают молитву и лишь потом поднимаются в село. <…> Далеко вокруг видны эти ласточкины гнёзда — маленькие лакские аулы, приютившиеся на груди или у подножия гор. Только воинственные убринцы выбрали себе высоту, окружённую глубокими ущельями и обрывами, чтобы быть всегда наготове к опасности. Мой отец был единственным и последним мужчиной в Убра, который не сменил папаху, черкеску и кинжал на сталинские галифе или костюмы «Москвошвея». Судьба его была достаточно трагична, но в воспоминаниях сельчан более жёсткого, принципиального и неукротимо-честного убринца они не могут назвать. Я не помню его лица — слишком рано родители расстались, а потом судьба лишила его навсегда связи с родиной. <…>

*22 января 2013 г.*

Есть в жизни такие возможности, за которые можно бесконечно благодарить небо. Я ни с чем не могу сравнить своё счастье, когда чувствую тихую мамину радость. Счастье оттого, что я могу подать ей стакан чая, опередить её желание, что-то сделать, покормить, не говоря уже о возможности исполнять её другие желания — все они, тем более, связаны с заботой о других. Как часто в детстве, в молодости я оставалась один на один с беспомощностью: не знала, чем ей помочь, как помочь. И она одна растила с трудом троих детей, нахлебалась печалей. Нет большего счастья, поверьте мне, чем видеть улыбку своих стареющих родителей и ухаживать за ними, облегчать их жизнь, угадывать их желания. Моё счастье, моя

радость, моя благодарность Тебе, Господи, за то, что Ты даёшь мне это право и возможность — заботиться о своей матери.

Вот она во дворе с соседками — ходила за хлебом.

И эти её руки — напахавшиеся за жизнь на полях, на фермах, на заводе, в доме — самые красивые руки на свете…

*1 февраля 2013 г.*

Попыталась обращать внимание на мелочи, обыденные для нас, дагестанцев, в повседневной жизни. (Приём остранения в реальности.) Одну особенность смогла заметить. Особенность для взгляда со стороны. Еду в маршрутке. Напротив сидит незнакомая женщина. Когда встретились глазами, в них какая-то теплота мелькнула на мгновение. Выходя, заплатила за неё: а вдруг знакомая?

Вечером по пути домой сажусь в маршрутку. Жду, пока выйдет расплачивающийся за проезд незнакомый мужчина. Выходя, он говорит мне: «Миясат, я за вас заплатил».

В маршрутке много людей, заполнена полностью. Входят ещё трое. Все с готовностью «уплотняются», и девушки пристраиваются как-то. Всем хорошо. Вот за что я люблю наших людей. У них всегда «рефлекс» на другого: готовность помочь. <…>

*4 апреля 2013 г.*

<…>

У меня был счастливый день, гости шли и шли. Я позвонила Шалуми Матаеву, великому хореографу, основателю и руководителю ансамбля «Счастливое детство», и он сразу приехал ко мне на работу. Монолог потрясающий. Какие люди… Какая же мы богатая республика, если позволяем себе забыть о тех, кто гремел в советское время и кого ни одно новое имя не смогло затмить. У нас спрятали всех людей первого уровня, выставили в публичное пространство жалких пигмеев, людей десятого уровня и сделали их авторитетами. Жалкая эпоха, не породившая ни одну личность ни в одной сфере.

Шалуми Матаев:

«Я закончил сегодня вести семинар для хореографов из разных районов, и как я сам себе понравился. Особенно Ольге Ивановне из Минкультуры.

Сорок пять человек было там, а как будто я с двумя людьми разговаривал. И был задан такой шикарный вопрос слушателем: «Шалуми Самуилович, скажите, пожалуйста, а как точно можно сказать, что такое танец?» Я говорю: «Толстой сказал, что танец — душа народа, а великий гений Игорь Моисеев сказал, что танец — музыка в движении. Возьмите и запишите, что говорит Шалуми Матаев: танец — это владение в пространстве телом».

И тишина. Если вы со мной согласны, не забудьте написать: «Шалуми Матаев». Действительно, Миясат, я нигде это не читал. Да, мы отрываемся от земли, мы делаем пируэт, подскоки, мы поднимаемся в пространстве и, опускаясь, держим своё равновесие… Такой хороший семинар был… Мне так жалко их… так жалко… Методических пособий нет, помещений нет, чуть ли не в сарае занимаются, работают в труднейших условиях.

Сейчас, когда новый президент Абдулатипов сказал самые главные слова — о приоритете мировоззрения, о культуре, о многом, — люди с надеждой встрепенулись. Может, ещё и в Москве это поймут? Тромбы сплошные в теле культуры, все артерии перерезаны…

Миясат, я так ждал, что позовёшь меня, и мы будем говорить… Скажи, неужели Шалуми, горский парень, я — грамотнее рассуждаю, чем человек из Останкино? Это разве не преступление: я преклоняюсь перед программой «Жди меня» — она идёт в два часа дня, а «Дом-2» идёт в такое время, когда брат с сестрой сидят у телевизора, мать с сыном, отец с дочерью? Ведь конфуз это отца и матери перед детьми. Передача грязненькая… Как и та передача Малахова, где исподнее бельё выворачивают… Я понимаю демократию, но не надо искажать это слово и позицию. Демократия не говорит же, что человек заулыбается, если ударить по голове его молотком. Он не заулыбается, он может скончаться — такой демократии я не признаю…»

<…>

*На форуме*

Сегодня я была на Форуме матерей, организованном нашей Общественной палатой. Это первый форум, итог которого — своеобразный материнский наказ, обращённый, как я поняла, и ко всему обществу, и к нашим первым лицам, он будет передан и президенту страны. Текст будет опубликован, я коротко расскажу о своих впечатлениях. Зал был полон, Кумыкский театр вмещает пятьсот человек, свободных мест не было. Я всегда сожалею, что почти никогда не бываю в сёлах, очень редко, а мне так хочется общаться с женщинами, живущими в горах, с теми, кого мы не видим ни по телевизору, ни в прессе, потому что никто о них нам не рассказывает. Телевидение, о чём, кстати, говорила и уполномоченный по правам человека, убеждает нас, что женщины — это гламурные дамы, озабоченные тем, какой маской насладиться, как от гусиной кожи избавиться и т. д. и т. п. А по мне, гламурные дамы — самое неинтересное, что может быть. Самое унизительное, когда нам навязывают такой образ женщины. <…>

Искала имя родины…Чужая,
Смотрела на витрины, где горой,
Пустые полки глянцем украшая,
О ней лежали книги. Мишурой

> Зазывный рай на торжище кичится,
> А я ищу вокруг мужские лица:
> Кто здесь отец, кто сын и кто герой?
> И что им—дом? И что—за их спиной?

<…> У меня впервые была возможность послушать лично нового президента Абдулатипова.

Мне нравятся его выступления. Непривычные к такой открытости и свободе в выражении личной позиции первого лица, некоторые поначалу задались вопросом: не слишком ли много он говорит о себе? Потом поняли: не о себе, а о своём видении проблемы. За это время стал ясен ответ и на другой вопрос: слова не просто выявляют позицию, они объясняют её, они обосновывают решение, которое следует, они подтверждаются делом. Вот это и есть прозрачность власти, на мой взгляд. А не тогда, когда чиновник часами по телевизору выступает с отчётом по ведомству, говорит много, а не сказано ничего. Вот на днях был такой мастер-класс от Абдулатипова для ответственных лиц: Счётная палата рассказывает о количестве проверок—президент просит говорить об их эффективности, другой чиновник хочет удивить цифрами освоенных денежных средств—президент просит показать эффективность их освоения. Меня, например, всегда поражали в отчётах такие высказывания: «На строительстве школы освоено… рублей». Нет, ты расскажи, в какой трубе эти деньги, на какой стадии строительство. Нет, ни слова. Лукавые способы отчёта, при которых ничего не говорится по существу,—не прошли. То есть, как специалист по речевой коммуникации, я вижу, как власть учат говорить на другом языке—на языке здравого смысла, на том языке, на котором мы все говорим не с трибуны, а в жизни. Надо же, наконец, чтобы эти параллельные миры сошлись.

<…>

А вот эту чудесную женщину хочу вам показать. Мы сидели рядом и так познакомились. Она из Хасавюрта, учительница русского языка и литературы. Возглавляет движение токсовцев[2]. Дженет Агавовна Мурадова. В тот год, когда на Дагестан напали бандформирования, в 1999 году, и боевые действия шли у Хасавюрта, она создала штаб женщин, которые пришли на помощь армии. Вместе с другими дагестанскими женщинами они кормили, перевязывали раненых солдат, помогали им, рискуя своей жизнью. Один из спасённых ею солдатиков, Миронов Степан из Оренбурга, прислал на телевидение письмо: «Низкий поклон женщинам Дагестана, особенно начальнику штаба Дженет Мурадовой, за то, что они сделали для русских солдат».

Дженет рассказывает, что она настояла и отправила в больницу Степана, ему было плохо; оказалось, ещё немного—и аппендикс бы прорвался. Все ребята, с которыми он должен был быть, погибли той же ночью. Он остался единственный в живых.

Много интересного рассказывала мне Дженет, но меня огорчило одно: за свой подвиг эти женщины никак не были отмечены, Одна из них уже умерла—Загирова Зоя, другая парализована. Грамоту и двести рублей—вот и всё, что они получили.

В 2004 году погиб её племянник, Сиражудин Исаев, командир взвода, погиб в бою с боевиками. Его именем назван отряд токсовцев. Единственный мужчина был на три семьи—брат, племянник, сын. Дженет несёт не только свою боль, токсовцы помнят и тех троих волгодонцев, которые погибли в Дагестане 14 февраля этого года. <…>

*2 мая 2013 г.*

Когда мы были в Буйнакске, мне из Москвы позвонила Сулиета Кусова, председатель Центра этноконфессиональных проблем (Союз журналистов РФ). Она была встревожена: в Махачкале произошёл взрыв на рынке. Что случилось? Какая ситуация? Говорят, погибли дети. Мы так все и охнули… Только что были счастливы от встреч с прекрасными людьми, от понимания, что стоит захотеть—и каждый может сделать столько добра, от надежд,—и вдруг… И что это за твари, что за человекоподобные? Каких только нелюдей не носит уставшая от них земля… Самое страшное—погибли дети… Мы не знаем подробностей, звоним в тревоге в Махачкалу, звонят нам. От таких взрывов и раньше страдали дети, но чтобы так—сразу и единственно убитые дети, как будто только они и были задуманы как жертвы,—такого ещё не было. Это не косвенная, не случайная смерть. И хотя потом мы узнали, что подростки случайно подошли к коробке с взрывным устройством, всё равно ясно: случайность—концентрированное выражение закономерного. Мы давно уже покусились на наше будущее. Мы его сдаём целенаправленно, сами того не желая признавать. Вольно или невольно приняв нормы, где деньги стали определять успех, замкнувшись в своём маленьком мирке и смирившись с отступлением от норм нашей традиционной морали, силы общественного мнения, мы размыли грань должного и возможного, мы перестали думать о том, какое общество мы оставим своим детям. Общество с волчьими законами под благовидными вывесками и с прейскурантами на всё: совесть, честь, правду и т. д. И прейскуранты эти существуют

2. ТОКС—телевизионный отряд краеведов-следопытов. Широкомасштабное общественное движение в Дагестане, объединяющее взрослых, студентов, школьников. По итогам поисковых работ, прежде всего—военно-патриотического характера, токсовцы выпускают телепрограммы.

не как потаённо скрываемая жизнь, а как откровенно существующая, уже узаконенная в праве на существование нашим восприятием норма, где тем самым и очевидней наше раздвоенное существование в двух реальностях: подлинное—в мире криминальной реальности, и условное—в мире правильных, но пустых деклараций. Жизнь ушла. Она перетекла в тот мир, где мы подлинно существуем, в мир, навязывающий нам криминальную логику, и если мы не действуем по ней, то воспринимаем её как бóльшую данность. Конечно, прежде всего власть несёт ответственность за эту ситуацию, за неумение поставить закон и право на должный уровень. Но и наше участие в этом мире лжи—данность. Вот жизнь и мстит за то, что мы её предали, за то, что дали ей так тяжко заболеть. Раз нет логики в жизни, раз мы отняли её у жизни—чего же мы от неё хотим? Вот она и отвечает изуродованными реалиями…

Простите нас, дети… При одной мысли о чудовищности произошедшего, о том, как на доверие детей к жизни мир ответил ублюдочной ухмылкой твари, пытавшейся так вынудить предпринимателя платить себе дань, становится плохо до головокружения… Страшно представить себе горе родителей…

*11 мая 2013 г.*

Сегодня, в день своего возвращения в Москву, доктор Магомед Абдулхабиров встретился с министром здравоохранения республики К. Ибрагимовым. Два часа шёл серьёзный и обстоятельный разговор о проблемах здравоохранения. Новый министр прекрасно понимает состояние нашей медицины, он в поисках высококвалифицированных специалистов и ищет их по всей стране, чтобы обеспечить качественный рывок вперёд. «Я рад, что он здесь. Потрясающая работоспособность (он даже в выходные на работе) плюс его компетентность как профессионала мирового уровня в своём деле,—говорит Магомед Абдулхабирович.—Хочется, чтобы такого же уровня были специалисты других медицинских профилей. Мы договорились о сотрудничестве, о способах внедрения и освоения новых технологий в травматологии, я готов приезжать в любое время и оказывать помощь».

Сейчас доктор уже в полёте, в дороге домой. А я думаю: а что он изменил в республике? Кто, по большому счёту, отозвался на его благотворительный, стремительный и так многое вместивший рейд по республике? Сейчас никого не удивишь раздачей денег: грешат на миллионы—и раздают пожертвования на строительство храмов; воруют, лгут—и жертвуют, жертвуют. Воруют у одних—дают другим. Не все, конечно. Но в массе своей. Творят благотворительность масштабно—очень обеспеченные люди. И хорошо, что это становится модой для состоятельных или средством для увеличения морального капитала.

Но когда так целенаправленно (уже семь лет) простой врач, живущий далеко не в лучших условиях, трудится в поте лица своего, чтобы по зову сердца возвращаться каждый год на родину, помогая дагестанцам в разных географических точках—Дербент, Кизилюрт, Буйнакск и т. д.,—я не знаю такого другого примера. Целый идеологический десант, отправленный «в народ»,—это один врач, отправленный своей думой о Дагестане, своим встревоженным и любящим сердцем. Он ведь не просто вручает деньги, он беседует с людьми, он проводит встречи—точнее, они сами их собирают, услышав о его приезде,—и говорит с ними о доброте, человечности, благородстве, о любви, а главное—он дарит потрясающую моральную поддержку конкретным простым людям, называя их поимённо и восхищаясь их душевной красотой. «Я люблю вас!»—говорит он в местах лишения свободы и в больницах, в домах обездоленных и счастливых, в школах и в садиках. И ему верят—и слову, подкреплённому делом, и речи страстной, идущей от самого сердца. «Я не люблю бывать только в богатых домах, во дворцах»,—говорит доктор. Наверное, потому, что они невольно заставляют почувствовать свою несостоятельность—в том мире, где умеют ценить собственность и прагматизм. Наверное, для них доктор—сумасшедший, смешной Дон Кихот. Наверное, найдутся люди, которые припишут ему желание пиара; но не судите по своим лекалам, господа такие. Просто у него другая внутренняя архитектура. Ему не нужны ни карьера, ни слава. Всего, что ему нужно, он уже достиг. Достиг той высоты, когда жизнь, здоровье, улыбка ближнего становятся важнее материальных благ, когда умеют не только сострадать, но и радоваться чуду встречи с человеком, просто хорошим человеком, умеют поддержать, и похвалить, и окрылить. Может быть, приезд и пример доктора—это или тест на нашу отзывчивость, или пример возвышения.

А нужен ли он Дагестану? Дали один новостной сюжет—мало ли что кругом происходит… У нас сформировали «вкус» к другим новостям, у нас в прессе нет места тем людям, на встречу с которыми так жадно торопился Магомед. Вот чьи лица и чьи речи важны—народа, с которым рядом всегда доктор, где бы он ни находился. И как жаль, что в центральной прессе нет места таким лицам кавказской национальности.

Похвалой его не испортить, потому что он счастливо лишён тщеславия и амбициозности; критикой не остановить, потому что редкой силы и искренности любовь к родине у него сочетается с действенностью слова, прямотой справедливости и щедростью бескорыстия и заботы. Он свободен в своих устремлениях, не нуждается ни в чьём

благословении или запрете делать добрые дела, не жалуется на обстоятельства, не принуждает других, ничего ни у кого не просит, а заражает и удивляет своей увлечённостью, диапазоном того, что может делать один человек. Неравнодушие к общественно-политической жизни в том, как она сказывается на судьбах людей, бережное отношение к традициям и культуре наших народов, любовь к родной Цумаде и Дагестану, к России — это не только отличительные черты доктора, но и объяснение тому фейерверку мыслей, идей, предложений, который сопровождает любую встречу с ним, очную или заочную. Его манера говорить и слушать необыкновенная, чисто докторская: он задаёт вопрос, а в это же время, как радар, принимает информацию от всех систем жизнеобеспечения; многоканальность информации извне тут же трансформируется в многоответность и многовопросность общения, в ходе которого находятся, прощупываются, апробируются, назначаются механизмы лечения и оздоровления.

Спасибо от имени всех, кто открыл Вас для себя, кто болел, мысленно сопровождая Вас в дороге, на пути добрых дел, дорогой Доктор! Пусть чаще в нашей жизни появляются такие люди, рассеивая обыденность и сиротство каждого.

*14 мая 2013 г.*
*В Ботлихе*

И вот мы в Ботлихском районе. Я особенно люблю ботлихцев после 1999 года, когда их мужество, благородство и независимость в августе 1999 года — в момент растерянности республиканской и федеральной власти — проявились с потрясающей силой.

Великий народ. А разве можно быть другим, если ты рождён здесь? Это про них Путин тогда сказал: «Видя, как они защищают свою землю и Россию, я ещё сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев».

Профессионально обученной армии террористов бой дало народное ополчение, не дожидаясь, пока профессиональная армия придёт им на помощь. А когда армия появилась (58-я армия СКВО), то своими самонадеянными и бестолковым действиями, недоверием к местному населению она нанесла урон собственным силам и ополченцам. Говорили ополченцы, что надо занять высоту Ослиное Ухо, — не послушали военные, и гибли молоденькие солдатики: с вершины горы их расстреливали боевики, а с неба их бомбили свои же… Шокированные жители, женщины пытались остановить эту бойню, уговаривали командование прекратить бессмысленную бомбёжку, кормили солдат, оказывали первую помощь. У русского командования ещё свежи были в памяти события первой чеченской войны, когда мирные селяне с наступлением темноты превращались в боевиков и стреляли в спины. Поэтому оно дало приказ солдатам не вступать в контакт с местными и ничего от них не брать. Жители не могли видеть, как гибнут мальчишки. Они обращались к командованию, предлагая показать места расположения боевиков, но те не желали слушать. Страшное произошло, когда по приказу российского командования (коммерческая война имеет свои законы или ещё какая причина, но оправдать такой непрофессионализм ничем нельзя) бомбы, предназначенные бандитам, посыпались на головы ополченцев. Много позже одному из командующих авиацией во время телепередачи задали вопрос: почему погибли ботлихские милиционеры, ведь у вас были точные координаты расположения боевиков? Он ответил, что, по их данным, милиционеры собирались перейти на сторону боевиков. Без комментариев этот бред.

Ботлихцы отстаивали свою свободу, невзирая на численное превосходство врага, отсутствие оружия. Женщины отказались уйти с места боя и воевали с мужчинами наравне, кормили, перевязывали солдат.

Это настоящие мужчины, герои ботлихских событий, каждый из них достоин отдельной книги. Магомедгаджи, который уже восемнадцать лет жил в Питере, узнав о нападении, в тот же день прилетел в Дагестан, как и многие дагестанцы, устремившиеся отовсюду на родину в тот страшный час — на защиту своей земли. Подумать только: поддержи Дагестан террористов, в чём они были уверены, — какая страшная война заполыхала бы в России! Дагестан уберёг страну и уберёгся. Но кто об этом знает? Чтобы в центральных СМИ рассказывали правду о наших людях, надо платить им миллионы, бесплатно подхватывается криминал, он заказывается, его ждут, пуская слюнки и тиражируя по всем каналам. Помню, как шокирован был Миронов, когда приехал несколько лет назад на открытие единственного в стране памятника русской учительнице. Ни одна газета об этом не написала, но о прошедшей спецоперации писали целый день.

<…>

…Мы едем на кладбище — поклониться памяти знаменитого народного врача, которого больше полувека вспоминают благодарные пациенты, М. Гасангаджиева, отца нашего Муртуза, который встречал нас и гостеприимно предоставил в своём доме приют.

У могилы мулла читает молитву. Здесь и Магомедгаджи, тот самый петербуржец, который, приехав домой, так и остался здесь. «Дагестан Россию не отдаст», — говорит он.

*23 мая 2013 г.*

Вчера мы собирались в Фонде культуры у Луизы Карповны[3]; мы — это соучредители Кавказского

3. Л. К. Гаврилова.

дома переводов и со-деятели. Проект на Западе давно известен, а у нас ещё такого нет. И вот Марат, учредитель и издатель кавказской литературной газеты «Горцы», художник, журналист, разворачивает перед нами заманчивые перспективы.

Нина Васильевна Ходжаева. Это гениальный педагог, учитель живописи. Мои дети и дети моих друзей ходили к ней в школу искусств с трёх лет. Одного занятия с Ниной Васильевной достаточно, чтобы непостижимым образом самый заурядный ребёнок стал художником милостью Божьей. В какой только технике не работают её дети, на каких только выставках не побеждают! Мои побеждали во всероссийском конкурсе «Новые имена» в номинации «Юный художник», их работы вошли в каталоги, так же и другие дети — они все прошли эпоху Ренессанса у Нины Васильевны. Скромнейшая, бескорыстная, самоотверженная… А какие у неё работы! Никак не можем уговорить свою выставку провести.

Прекрасный учёный из ДНЦ РАН, специалист по книгоизданию и истории печати — Аминат Алиханова. Хозяйка Фонда культуры, автор многих проектов, собиратель всех, болеющих культурой, — Луиза Карповна Гаврилова.

Скромный и тихий Марат — организатор и деятель, каких поискать. Газета, посвящённая литературе, живописи, музыке, — «Горцы». Он же инициатор проведения первой книжной выставки «Тарки-Тау», в этом году будет вторая выставка; а теперь — такой нереально заманчивый проект — Дом переводов.

Но у него всё становится реальным. Спонсор найден, добро на строительство в Лакском районе получено — именно там нашёлся человек, который отдаёт свой дом под проект. Проект дома готов. Архитектор постарался. Двухэтажный дом в стиле модернизированной горской архитектуры, будет сад, расположен дом на берегу озера в очень живописном месте. При наличии здоровой доли иронии наши ребята полны оптимизма. Не то ещё делали! Портал «Искусство Кавказа» открыли — это последний проект.

Маазат Чаринова привезла идею из Германии. Она вышла замуж в Болгарию, теперь болгары тоже наши родичи. А идея такая: создаётся дом в горах, ближе к носителям языка и местам их компактного проживания, туда периодически приезжают работать на недели, месяцы переводчики из разных европейских стран, им даются подстрочники, и они переводят стихи и поэтов-классиков, и современных поэтов, тем самым облегчая и ускоряя выход кавказской поэзии к европейскому читателю. Условия скромные, минимализм в интерьере, всё необходимое. Главное — все условия, к которым привык европейский житель. Обеспечиваются едой местным населением, всё экологически чистое, натуральное. Уединение, погружение в этносреду — что ещё нужно? <…>

*3 июня 2013 г.*
*Из диалога с Сулиетой Кусовой*[4]

— То, что происходит у нас, — не проблемы Кавказа. Это проблемы России. Мы вписаны в её контекст и болеем теми же болезнями. Просто в горах они протекают по-другому.

Посмотрите на российское телевидение: с экранов исчезли лики. Нет контактёров духа. Это не значит, что их и вовсе нет. Они в тех самых глубинах, откуда Россия ушла. Не бывает жизни пустой. Я уверена: в сёлах есть глубокие люди, есть они среди молодёжи. Дух никогда не исчезает. Где они и куда они уходят? Куда они несут свой дух, Миясат? Вы работаете с молодёжью. Что вы там видите?

— Я вижу жажду духовности и дефицит людей, умеющих утолять эту жажду. Я вижу готовность к воспламенению духом.

— Когда мне говорят, что поколение меняется в худшую сторону, я думаю о том, что в каждом поколении есть свои зёрна и свои плевелы. Вопрос в другом: какие каналы мы открываем — или не открываем. И потом, Миясат, давайте спросим себя: что это за сложные, не познанные нами пласты молодёжи, которые несут беду, смерть? Что это за духовная резервация, куда уходит молодёжь? Давайте отвлечёмся от слов «экстремист», «террорист» и посмотрим глубже. Иначе мы будем молча смотреть, как из наших детей делают мясо, отправляя их на заклание, — то, о чём вы написали в своём стихотворении «Смерч». Что это за смерч? Это политологическое определение? Что за смерч обрушился на наш дом? Исследовать его только с позиций борьбы с терроризмом — это значит потерять поколение. Этого недостаточно. Это следствие. Туда ушли и думающие. Да, есть безбашенные, жестокие, тупоголовые, но самое страшное — туда ушли думающие, и я не знаю уже, кого больше.

<…>

Сегодня основная тема Северного Кавказа — как воспитать способность к рефлексии.

Одичание молодёжи — ещё не ощущающей себя европейской, московской, где её воспринимают как угрозу безопасности столичного обывателя, молодёжи, уже не имеющей своих корней, молодёжи, которой внушили комплекс ущербности, — вот где происходит страшный цивилизационный разлом, и мы переживаем период цивилизационной загрузки. Что мы делаем с молодёжью? Вся эта вакханалия мероприятий, к которой сводится

4. Президент Ассоциации этнопроблематики при Союзе журналистов России.

работа с молодёжью,—пир во время чумы, когда из настоящей жизни изъято самое главное, что определяет нашу жизнь,—дети. Вот смерч тайной силы, его надо расшифровывать: одно дело—вообще, а надо—конкретно.

<…> Есть правила, по которым должны развиваться народы. Тем более—народ традиции, культуры; его держит привязанность к земле. И когда эти формы существования нарушены, народ начинает болеть, как народ, который вырвали из Рязани, пересадили в Борнео под бананы и сказали: «Живи!»

А он не знает, съедобен ли банан. Но вы не вступили со мной в теоретизирование, а написали строчки. Можно ли вам их напомнить?

Есть такая земля: кто осмелится тронуть рукою
Её впалую грудь и зияние вырванных дней?
Кто втоптал её косы в песок и кровавой строкою
Пишет чёрную книгу безумья и смерти её сыновей?

Есть такая земля: кто вернёт ей могущество духа,
Честь и славу отцов, о братстве завет и приказ?
Глухо ропщет суровая быль и доносит до слуха
Прометеево имя в горах и священное слово—Кавказ.

<…>

Российские цари знали, как делать Кавказ своей окраиной. Был ресурс в лице русской литературы, культуры, которая выковывала российского кавказца. Пусть это был романтический подход, но это было проникновение в кавказский характер, кавказскую ментальность. Звучание русской литературы сформировало цивилизационную суть нашего региона.

Наши—камни; наши—кручи!
Русь! зачем воюешь ты
Вековые высоты́?
Досягнёшь ли?..

Не досягнула. По крайне мере, девятнадцатый век и даже советская действительность больше приближали к Кавказу, чем сегодняшняя постсоветская Россия. Русская литература была высшей политтехнологией. Русской литературы больше нет, а вульгарные политтехнологи конструируют фальшивое кавказское пространство; но они его и для собственного народа никак не могут сконструировать.

Прадеды завоёвывали, отцы благоустраивали, а внуки ногой отпихивают от России Кавказ. Вот вам преемственность поколений великого государствообразующего народа. Вот в чём русский вопрос—сохранить завоевания своей культуры, традиции, а не бегать с транспарантом: мы за белых, мы за русских. <…>

Мы совершали своё восхождение и, не сомневаюсь, дошли бы до создания общей северокавказской государственности, потому что имели все народные механизмы межнационального общения и этноконфессионального культурного сотрудничества. Без ассамблей ООН и подобных им структур. Мы имели свои маленькие и очень выверенные формы северокавказского единства. Но мы никогда не имели возможности самостоятельно развиваться, у нас всё время—прерванная история. Мы—коридор, по которому общались Азия и Европа. И самые драматические столкновения проходили здесь. Но столкновение с Российской империей выковало тип русского кавказца, который пошёл на пользу России. Империя умела адаптировать горцев. По типу цивилизационному и ментальному нам ближе оказался русский цивилизационный тип, потому что ни Иран, ни Турция нам не подходили—не случайно Шамиль умышленно не пошёл на контакт с Турцией. <…> Советский период, опыт строительства социализма оказался крайне приемлемым для нас. Он был полезен тем, что давал равные возможности развития. Была неплохая политика квотирования, и никто в МГУ не говорил нашей молодёжи: «Понаехали». И кавказская состязательность была очень востребована при социалистическом строительстве. У нас появились лётчики, учёные, космонавты, пролетарии, интеллигенция.

И в аграрном секторе была, кстати, традиция—общественное пользование землёй. Армия шлифовала нашу молодёжь, это была именно армия. Северный Кавказ не может жить без отходничества—и существовала открытость территорий. При всех своих издержках—не касаясь перегибов и культа личности—советская власть не нарушала ментального кода национальной психологии. Развитие аграрного сектора сохраняло сельские территории. Какой цивилизационный код нам сегодня предлагает Россия? ЛЭП, которые установлены были тогда на Генухском перевале, сейчас страна ни за что бы не построила. Это не значит, что всё было ладно. Но что с нами сейчас происходит? «Всё кровью сочится Кавказский хребет». <…>

Мы—в условиях постмодерна, и нам либо принять это надо, или остаться в своём романтизме и реализме. Тогда мы выпадаем из культурного пространства России. <…> Мы ищем свою традицию, а тут бушует постмодерн. Я не верю в его созидательные возможности. Наша главная проблема—цивилизационный разлом и поиски того центра, к которому мы могли бы прислониться. Мы не можем так долго оставаться в пограничном состоянии. Уже мы обязаны отвечать на вопросы. Осознанно или нет, но вы поставили эти важные вопросы в книге. «Прости, Кавказ, за то, что скорбью ада наполнился твой дом…» Это всё, что мы пока смогли произнести. Спасибо за покаянные строки от имени всего поколения. А дух поиска—это, видимо, за другим поколением. <…>

## 3. Махачкала—Дербент—Махачкала

Я впервые увидела Миясат несколько лет назад в Москве, в «Доме Ростовых», когда зашла по делам в секретариат Союза российских писателей. В тесном кабинетике, заставленном книжными шкафами, коробками и пачками книг—втроём не развернуться,—она сидела за столом напротив Светланы Василенко и улыбалась той особенной улыбкой, которая сразу выдаёт натуру: умный, добрый, искренний человек! И лишь совсем недавно, «листая» её блог, я догадалась, что с этой обезоруживающей улыбкой она, пожалуй, за несколько минут до этой встречи вышла из другого кабинета, этажом ниже, и имела там жёсткий и нелицеприятный разговор. К любой несправедливости, к халтуре и фальши Миясат беспощадна. Отваге, с которой она бросается в бой с показухой и прочими чиновничьими чудесами, можно позавидовать. Внимательный читатель и сам наверняка почувствовал это. Так ведь и страшно за неё! Миясат рассказывает, что всей своей жизнью ставит эксперимент: хочет доказать, что и на Кавказе (как, впрочем, всюду) можно добиться успеха—в истинном, высоком смысле слова—без протекций, взяток и «волосатой руки» наверху. Исключительно за счёт собственного ума, таланта и добросовестного служения делу. Получается ли? Жизнь этой женщины—борьба, ежедневная и бескомпромиссная. Но, кажется, сама атмосфера борьбы необходима ей как воздух. Пока я гостила у неё в Махачкале, на моих глазах несколько раз Мия живейшим образом, действенно и активно, реагировала на такие вещи, мимо которых—каюсь!—я прошла бы. Не то чтобы равнодушно—нет, возмущаясь про себя, сморщив нос или поджав губу, но—прошла бы. Не стала бы связываться. Проверено ведь: себе дороже!

Но для Миясат это определённо не аргумент. И если булгаковской Маргарите досталось несколько молекул крови одной из французских королев, то Миясат, без сомнения, прямая, хотя и дальняя, наследница Жанны д'Арк. Это точно.

Несколько лет Миясат терпеливо сопротивлялась странной ситуации, сложившейся в связи с её назначением заместителем министра образования РД. Прежний глава республики только-только назначил её на эту должность, как покинул пост. Новый—назначил другого министра, своего друга. Неприязнь к бывшему президенту, человеку честному, порядочному, очень уважаемому дагестанцами, отразилась и на судьбе тех, кто работал с ним в одной команде, в частности, Миясат, руководившей в своё время Информационно-аналитическим управлением президента РД. Так, с приходом нового руководства, Миясат, которую знают в республике, кроме всего прочего, и как заслуженного учителя, учёного-педагога, оказалась загнанной в резервацию бездействия и молчания. Ей не дали никаких полномочий и, в сущности, не допустили к работе. Уволить Муслимову не имели права, да и не могли: слишком хорошо её имя известно в республике и за её пределами. Но работать с ней министр не стал. Это с ней-то! С её энергией, с фейерверком идей, с фанатизмом служения любимому делу, с неистребимым вниманием к человеку! Миясат до сих пор вспоминает об этом—с иронией, но и с болью. Времени даром она, конечно, не теряла: продолжала работать в университете, написала несколько книг, стала лауреатом нескольких литературных конкурсов. Но кто измерит глубину нанесённой раны? Сейчас, в должности заместителя министра печати и информации РД, она словно навёрстывает постигшее её тогда безвременье. Я ещё не встречала чиновника, который бы (извини за просторечье, читатель!)—так пахал!

Что касается стихов… Миясат—в творческом «монашестве», Мариян Шейхова—начала всерьёз работать стихами сравнительно недавно. Но почти сразу—мощно. Как будто душа её годами копила художественную энергию, и в момент катастрофического надрыва и подъёма энергия эта вырвалась наружу, быстро и уверенно обретя свою форму:

Куда же я должна уносить
То, что переполняет моё сердце?
Оно сильнее меня,
Хотя ещё не обрело голоса
И думает, что спит.
Но в какие-то мгновения
Смерч чужой тоски
Вздымает мою душу
К высоте неба,
И стражи горла
Перехватывают его.
Может, если бы смерч тайной силы
Смог обернуться вокруг Земли,
Девочки с несозревшим сердцем
Не успели бы обернуться поясами смерти
И мальчики с когда-то пухлыми щёчками,
Прикасаясь к холоду оружия,
Никогда не забывали бы руку матери,
Ведущей их к дому…

*Из дневника. Июнь 2013 г.*

4-го—в середине дня—мой поезд прибыл в Махачкалу на вокзал. Ещё из вагонного окна увидела Миясат: рядом с ней—молодая женщина, потом оказалось—знакомая, тоже кого-то встречала. Мы обнялись радостно, она подхватила мой чемоданчик на колёсиках, тут же взяла такси—и мы помчались к ней домой. В Махачкале—солнечно и почти жарко, хотя с моря дует свежий ветерок, навевая прохладу. Центр города—старой застройки.

Пока мы ехали, я думала, что это уже другой Кавказ, иной, чем Северная Осетия. Во Владикавказе, пожалуй, больше цивилизации… всё как-то ближе к Европе. В Махачкале — Восток. Уже совершенно и явно. На каждой третьей женщине — хиджаб, всюду — приметы исламского мира.

Мия живёт вместе с матушкой. Маленькая, согбенная, в тёмном платье до пят и коричневом платке, она улыбается и с милой невнятностью говорит по-русски[5]. И ещё кот — толстячок-британец. По имени Тони Блэр. Сначала он меня немножко шугался. Но мы быстро подружились. Меня устроили, как я поняла, в кабинете Миясат. Я сплю на ложе, на коем некогда отдыхала Эльвира Горюхина[6], будучи здесь в гостях.

Потом мы гуляли по городу. Я впервые увидела тутовые деревья. Они уже усыпаны ягодами — белыми, красными, чёрными, зелёными. Ягоды всюду на тротуаре: хочешь — подбирай, хочешь — топчи. На вкус тутовник напоминает ежевику, только мягче, нежнее.

Мия отвела меня в Национальный музей. Интереснее всего, конечно, — традиционные предметы быта и декора. Дагестан — страна многих народов. Разные, хотя и родственные, языки. Разная форма утвари, разный орнамент, разные способы обработки материалов… Восхитительны серебряные и золотые женские украшения, оружие, посуда… Ковры! Здесь как раз проходит выставка «Дагестан в творчестве русских художников». Много интересного. Главное впечатление — горцы и кони. Первые поражают горделивой осанкой и красотой мужественных лиц. Вторые — силой и грацией: лебединые шеи, упруго изогнутые крупы, тонкие мускулистые ноги…

На следующий день мы отправились в Дербент. Министерство печати и информации выделило нам автомобиль — с очень хорошим молодым человеком Юрой. К нам присоединился Марат Гаджиев (художник, писатель, редактор, умнейший и интеллигентнейший) с дочерью Изой. Плотность населения здесь очень высокая. По дороге мы всё время проносились мимо посёлков — с мечетями и базарами. Удивило огромное количество мастерских, производящих ворота и двери, большей частью металлические, — всех фасонов и размеров. И, видимо, на любой кошелёк. К дверям здесь отношение серьёзное: мой дом — моя крепость. Врата крепостей — знак благосостояния и общей респектабельности хозяев.

Ещё удивило изобилие мечетей: на каждой автозаправке обязательно имеется что-то вроде дома или хотя бы комнаты для совершения намаза. А некоторые мечети — великолепные дворцы с уносящимися ввысь белоснежными с золотом минаретами. Что бы ни говорили об исламе недоброжелатели, его могучая идейная экспансия вызывает уважение.[7] Главное, эта идеология оказалась непостижимо привлекательна для молодёжи — в Махачкале и Дербенте большинство молодых женщин одеты по шариату. При этом — вынуждена признать — привлекательности и элегантности здешних модниц наряды в духе шариата никак не вредят.[8]

Дербент — каспийский порт. С горы, на которой расположена древняя крепость, открывается изумительный вид на город: сверху кажется, что он совершенно не тронут современностью. Узенькие улочки-кварталы с прилепившимися друг к другу одно-двухэтажными каменными домиками, мощённые булыжником мостовые, тихие женщины в традиционных одеждах до пят… Но в город мы спустились уже после того, как посетили крепость.

Толщина стен крепости такова, что по ним ездили на колесницах, запряжённых двумя конями. Мы по ним прогулялись тоже: не скажу, что не ощущала опаски, но было здорово — смотреть вниз со стены, с головокружительной высоты. Сразу за воротами — здание древнего судилища и т. н. «малый зиндан» — тупик подземной тюрьмы, колодец

5. Выяснилось, что я совершенно беспомощна перед махачкалинскими улицами: я так и не взяла в толк, как их переходить. Правил дорожного движения здесь просто нет: их никто не соблюдает — ни автомобилисты, ни пешеходы. И надо было видеть, как матушка Миясат, крохотная старушка, достающая мне маковкой до плеча и похожая на сказочную добрую колдунью, за ручку переводит через дорогу меня, более чем зрелую тётеньку, зажмурившуюся от ужаса и тормозящую на каждом шагу.

6. Э. Н. Горюхина — доктор педагогических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета. Член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. Постоянный обозреватель «Новой газеты» (Москва). Лауреат премии А. Сахарова по журналистике (2001). Лауреат знака общественного признания «Символ свободы» в номинации «Журналист» (2003). Лауреат премии «За подвижничество» (2001) и гранта Института «Открытое общество». С 1992 года Э. Н. Горюхина постоянно выезжает в так называемые горячие точки Северного Кавказа.

7. Комментарий М. Ш. Муслимовой: «Отказ государства от последовательной политики в сфере идей, духовных ценностей либо действует разлагающе, либо стимулирует к поиску идеологии, к поиску смысла жизни. Религия отвечает духовным запросам ищущих людей, главное, чтобы ее проводниками были люди высокой культуры, умеющие предостеречь от влияния псевдорелигиозных деятелей, использующих постулаты веры для увода в сферу вражды и криминала».

8. Нужно отметить, что «арабская мода» местным мусульманским руководством отнюдь не приветствуется. Видимо, момент внешней экспансии и в этом, казалось бы, личном и домашнем аспекте, настораживает здравомыслящих людей.

примерно в два человеческих роста с решёткой, закрывающей отверстие-люк. Говорят, под этой решёткой находился заключённый и слушал, как наверху суд выносит решение по его делу: оправдать, казнить или отправить в «большой зиндан». Последнее было страшнее смерти. Этот «большой зиндан» мы тоже видели — сверху. Подземная тюрьма с зарешеченной отдушиной, откуда не было никакого выхода: люди гнили там заживо и молили Аллаха только о скорейшей смерти.

У крепостных ворот — тщательно обихоженный источник родниковой воды, отведённой откуда-то с гор. Тут же — музей, бережно сохраняющий всевозможные артефакты. У стен музея — каменные надгробия, свезённые с кладбищ, — на них надписи или просто растительный орнамент (говорят, погребальных слов удостаивались только мужчины).

Выше — руины дворца, гарем среди садов, роскошные бани — венец технической мысли незапамятной древности (до их совершенства последующие поколения инженеров не поднялись до сих пор)…

Когда-то эта земля принадлежала Кавказской Албании. Ещё в четвёртом веке от РХ здесь была построена христианская церковь, древнейшая на территории нынешней России. Позднейшие преобразователи крепости не нашли ничего лучшего, как закопать церковь в землю и превратить в огромное водохранилище — с водой всегда были трудности. Ничего себе задача! Но она была выполнена. На остатки храма мы любовались сверху — через металлические прутья купола, водружённого над руиной.

Мы спустились в город. Нашли музей Бестужева-Марлинского. Послушали милейшую экскурсоводшу, посочувствовали горестной судьбе писателя и отправились дальше — на древнее мусульманское кладбище Кырхляр.

К мусульманской святыне — могилам сорока асхабов, сподвижников пророка, — женщин в европейской одежде не пускают. Нам с Миясат выдали по халату с капюшонами, у меня был с собой платок, который я повязала, закрыв лоб до бровей, и мы вошли.

(Невозможно вообразить, чтобы здесь совершена была выходка, подобная той, что «пуськи» отчебучили в Москве. Лишний упрёк нашему лицемерному обществу!)

Священнослужитель в тюбетейке, восседая на каменной скамье, разговаривал с женщинами, пришедшими просить Аллаха о потомстве. В знак особенности молитвы посреди пространства, ограниченного скамьями, — маленькая каменная колыбель, судя по виду, очень древняя. Рядом с надгробиями — специальное сооружение, вроде домика, с отверстием в середине (напоминает русскую печь), верующие просовываются в него по пояс и молятся Аллаху о чём-то конкретном… рядом на каменной ограде — углубление с водой и чаша. Можно совершить возлияние, испить святой воды. Мы дождались, когда мулла закончит проповедь, подошли к нему и попросили рассказать о святыне. Ничего внятного он не сказал, но почему-то захотел со мной сфотографироваться.

Другой молодой служитель провёл нас в мечеть: там, внутри, всё очень уютно обустроено для молитвы — ковры, подушки… Посреди зала — несколько серых каменных обелисков над могилами святых. Энергетика — потрясающая. Здесь «место силы». Однозначно. Заметила, что далеко не во всех храмах это есть. Как раз в очень немногих. Здесь — определённо. Всё та же захватывающая всё твоё существо тяга вверх. И звон в ушах… даже не звон — такое звенящее жужжание… где-то сильнее, где-то слабее. Я уже научилась различать.

В Дербенте посетили мы и медресе — древнейшее на Кавказе. Здесь растут восьмисотлетние платаны, впятером не обхватить… Мы зашли с Миясат в тамошнюю мечеть — хорошее место, но далеко не столь сильное, как Кырхляр.

Ну вот, однако, «тайм»: не без сожаления — я, по крайней мере, — покинули Дербент и помчались в Махачкалу.

По дороге говорили ещё и о тревожной ситуации, которая складывается в Дербенте. Здесь давно уже сталкиваются интересы Дагестана и Азербайджана (читай: России и Турции). Давление настолько велико, что ходят разговоры даже о переводе культурных текстов с привычной кириллицы на арабскую графику. В Дербенте хотят улицу Советскую назвать именем Гейдара Алиева. Это вызвало волну протеста со стороны лезгин, основного этноса Дербента. Перепалка идёт основательная. Вплоть до того, что некоторые жители Дербента — в пику «Алиеву» — предлагают назвать эту улицу именем Путина. Но большинство — за сохранение старого названия. Российская геополитика затрагивается тут настолько очевидно, что непонятно бездействие федеральных властей. Культура, наука, образование! Вот куда надо вкладывать деньги! Иначе уйдёт Кавказ, из-под носа уплывёт! Это сейчас, кажется, всем понятно.

На следующий день, шестого, с утра пораньше мы узнали, что в Махачкале вчера полицейские обезвредили двух шахидок-смертниц, готовившихся к совершению теракта… Наверняка спасли, как минимум, несколько жизней, в том числе — и этих несчастных…

## 4. Интеллигенция

Я спросила у своих «сетевых» друзей, какие ассоциации вызывают у них слова «Дагестан», «дагестанцы». Оказывается, первое, что сразу приходит в голову большинству из них, — Расул Гамзатов. Дальше, в порядке убывания, — горы, Шамиль, борода, кровь, честь, отвага, не надо, острый, молчи, гостеприимство, коньяк…

Набор понятий — примечательный. Карябает Дагестан многострадальную и загадочную русскую душу.

В конце июня блогосферу всколыхнуло сообщение о гибели двадцатичетырёхлетнего махачкалинца Марата Рахметова. В Звенигороде, на Москве-реке, он спас двух девочек-подростков, а сам утонул. Градус и оттенки связанных с этой трагедией разговоров в Интернете сами по себе наводят на тревожные размышления. О том, насколько сильны в России националистические предрассудки (русские ли, кавказские, татарские или еврейские — какая разница?). В мутной водице взаимных оскорблений, вызванных из неандертальских глубин подсознания некоторых наших сограждан (увы! имя им — легион!), обсуждающих, казалось бы, неоспоримый факт самопожертвования ради спасения чужих жизней, лишь изредка всплывали здравые мысли о том, что национальность героя здесь совершенно ни при чём! Воспитание — да. Марата Рахметова *так* воспитали. В духе определённых традиций, бережно сохраняемых в семье.

Он был единственным сыном декана экономического факультета Дагестанского педагогического института. И, кроме естественного сострадания к доброму, умному, порядочному юноше (Миясат его знала, он работал программистом в Министерстве образования РД, в информационном отделе) и глубокого, искреннего соболезнования его семье, потерявшей, в сущности, осевой росток существования, я, как и некоторые блогеры, обсуждавшие в те дни обстоятельства подвига и гибели Марата Рахметова, ощутила что-то вроде слабой искорки оптимизма.

Вот несколько реплик той дискуссии (из разных блогов):

«Знаете, раньше я, наверное, удивился бы. Но чем дальше, тем меньше меня что бы то ни было удивляет. Девочки живы, вырастут, заведут детей, и есть шанс, что когда их дети, не дай Бог, попадут в беду, где-то неподалёку окажется парень из Махачкалы. А может, и не окажется. Это, в конце концов, не так важно. А важно, пожалуй, что есть ещё — а ведь уж и не думалось — в России закоулки, где единственный сыночек декана факультета, собравшись жениться, вербуется на стройку простым рабочим, ибо свадьба — удовольствие дорогое, а папа взяток не берёт. В такое, конечно, сложно поверить, но факты упрямы — и значит, Россию рано списывать со счетов».

«Марат мой земляк, хотя я его не знал лично, знаю его отца. Спасибо всем за хорошие слова. Хотелось бы, чтобы все мои земляки брали пример с этого молодого человека. А ведь почти все были такими, как Марат, ещё лет пятнадцать назад. Сегодня у многих мозги набекрень. Кучка отребья создаёт плохой имидж всего народа, а лучшие уходят. Некоторые забыли заповеди гостеприимства страны гор и слова великого Расула Гамзатова: „Если ты выстрелишь в своё прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки...“»

«Запомнилось высказывание Владимира Ивановича Даля: „Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности... Кто на каком языке думает — тот к тому народу и принадлежит“. Марат думал на языке *человека* и принадлежал к народности *героев!*»

«Просто *поступок* с большой буквы!!! Горец ли, мусульманин ли — никакого значения в данном случае это не имеет. Жаль геройского парня».

Я читала это и вспоминала рассказ Миясат Муслимовой о том, как министерская машина, в которой она ехала на праздник в горный посёлок Ботлих, едва не попала под обвал. Огромные камни обрушились на дорогу и перекрыли её. Чудом ни один автомобиль не задело. Но движение остановилось. Мгновенно образовалась, как в городе сказали бы, пробка. Что дальше? Ничего. Все мужчины, какие только оказались на месте происшествия, дружно вышли из машин и, не дожидаясь соответствующих служб, сообща расчистили путь. Быстро и без лишних разговоров по поводу чьих-то прав и обязанностей. Пустяк? А ведь впечатляет...

И ещё мне вспомнилось... Глава из книги Эльвиры Горюхиной, которую Миясат пересказала стихами:

Тэмо убили.
Он никогда ни от кого не прятался:
Лечил всех — грузин, осетин, русских.
Накануне грузины сожгли двух осетин.
Проще всего было отомстить Тэмо.
Его бросили на разрывную гранату,
И части тела несколько дней валялись на земле.
Собаки начали их таскать,
И один осетин предал его тело земле.

Два года Русико искала тело своего сына.
Каждый день ей снился один и тот же сон:
Тэмо протягивает к матери руки и шепчет:
«Мэдзебе»[9].
Русико обошла все грузинские и осетинские сёла,
Лежащие вперемежку,
И заглядывала во все колодцы, клети и сараи.
Мы с ней идём вверх по дороге.
Сидящие у дороги осетины знают,
Что это грузинская мать ищет своего сына.
Она останавливается около них и говорит:
«Здравствуйте все. Иду поминать своего сына.
Я не думаю, что его убили осетины.
Вы не виноваты. Простим друг другу всё».

9. Ищи меня *(груз.)*.

Мы идём выше.
«Ты и в самом деле так думаешь, Русико?» —
хотела я спросить.
Она отвечает:
«Не в этом дело. Осетинская мать тоже потеряла детей.
Думаешь, ей каково? Так же, как и мне…
Я ходила в верхние сёла зимой, там снег по шею.
Мне помогал один молодой осетин.
Он мне теперь как сын».

• • •

Я проснулась от плача: Русико молилась.
В больнице собрались все, кого спас Тэмо,
Кто работал с ним.
И вдруг вошли они — мать и дочь, Лиза и Цицо —
Две женщины-осетинки.
Цицо несла перед собой пять грузинских хлебов,
А Лиза — два больших портрета своих сыновей.
Красавец Гурам погиб в Абхазии в 1992 году.
Акакий, младший, пропал без вести.
Русико первой обняла Лизу.
Они застыли, словно не могли оторваться
друг от друга.
«Я не думаю плохо об осетинах.
Перед Богом ты оправдана», — сказала Русико.
Потом они заплакали в голос.
Я видела, каким бывает лицо у прощения.
Не разделяй их, Господи, не разделяй!
Не разделяй их, Господи, не разделяй!
Не разделяй…

Муж Лизы — грузин.
Он хотел вскопать свою делянку
И не слушал Лизу:
У него нет врагов ни среди грузин,
Ни среди осетин.
Фронтовики погибали быстрее всего.
«Я не испугался фашистов.
Почему я должен бояться тех,
С кем прожил всю жизнь?» —
Говорили они
И погибали за порогом своего дома.
Лиза виновата дважды:
Первый раз — когда убили мужа,
Потому что он женат на осетинке.
Второй раз — когда убили её сыновей,
Потому что они дети грузина.

Откуда у неё силы, чтобы идти с хлебами
К грузинской матери?
У них одна молитва,
И я повторяю её вместе с ними:

«Не разделяй нас, Господи, не разделяй!
Не разделяй нас, Господи, не разделяй!
Не разделяй…»

Читаю — и слышу, как слова этой молитвы произносят уста русской учительницы и женщины-поэта из лакского селения Убра… и сама повторяю — задыхаясь от слёз. А корни моей культурной памяти выносят из тысячелетних глубин образ старика Приама, целующего руки Ахилла, который вот только что волочил за колесницей тело его сына, Гектора, последнего защитника Трои. Какое потрясение переживаешь, когда Ахилл и Приам, будто прозревшие, рыдая, обнимают друг друга!

Вот для чего Художник! Вот в чём его задача: связывать, созидать человечество, подталкивать отчаявшихся, озверевших от горя людей к милосердию, к взаимному прощению. Особенно когда перед Художником — война. На войне бессмыслен вопрос «кто виноват?». Ещё великий Гомер понял и показал это. Он был — интеллигент, мыслитель. И, может быть, первым в истории нашей цивилизации явил пример интеллигентного творческого поведения.

А вот передо мной — другая книжка, великолепно изданная в Москве. Автор — кавказец, лауреат престижной премии. Книжку напутствовали известные писатели, сделавшие собственную литературную карьеру под флагами переоценок и перестроек. И — как напутствовали! «Макабр с человеческим лицом». «Очень русский в своём чувстве жизни». Один из рецензентов вообще убеждён, что именно *так* гуманизм снова возвратится в русское искусство. Я прочла эту книгу о грузино-осетинской войне. Искренне желаю автору когда-нибудь ответить за содеянное — пусть не сейчас, не силой суда людского, но там ответить, где воздают должное каждому художнику за *его* правду. Вряд ли великая русская литература с её сострадающей и соединяющей напряжённостью приняла бы такого «гуманиста» в свой круг… Так что же? И это — Кавказ, «русский» Кавказ? Или «макабр», выдаваемый за гуманизм последнего поколения, — результат ужасающей порчи, которую продолжает наводить на всех нас, русских и украинцев, осетин и абхазов, грузин и аварцев, армян и азербайджанцев, либерализованная по западному образцу арт-мафия? Этот с гоготом марширующий по трупам и экскрементам отряд — *интеллигенция*? Нет. Не могу мириться. Не могу молчать. И не могу отделаться от ощущения растущего между нами водораздела. Вы, адепты постмодерна, раскатавшие себе дорожку на Запад поношениями «совка», я — не с вами. Между нами — горы и горы, между нами теперь — Кавказ. Я — по эту сторону. С Эльвирой Горюхиной; с Ширвани Чалаевым, чья музыка, как целебный напиток, настоянный на мелодиях гор, заставляет сердце биться чаще, но ровнее; с Миясат Муслимовой; с Маратом Гаджиевым, который осуществляет в Махачкале фантастический проект — издаёт литературно-художественную газету «Горцы»… Для него горцы — люди высокого полёта, к какой бы нации ни принадлежали. Так вот, я с ними, с теми, для кого любовь, честь, совесть,

душа, сострадание — не пустые слова, затасканные предыдущим поколением и обветшавшие, «как платье», а самая что ни на есть реальная реальность, повседневные жизненные мотивы. Это ведь наши записные «макабристы» — с потачки широко размахнувшихся предателей — уже несколько десятилетий развращают молодёжь, внушая ей, что человек — *на самом деле* всего лишь зверь, хуже зверя, потому что животное — невинно, а человек — сознательно извращён, причём любой и каждый. А те, кто говорит и живёт не так, — намеренно *лгут, притворяются*. Неужели правду о человеке несут «гуманисты» вроде прозаика с Кавказа, отхватившего своим циничным опусом «Русскую Премию»? Или русская учительница Эльвира Горюхина, рассказавшая о той же войне с не меньшей откровенностью, но — любящим сердцем и человеческим словом? Или Аминат Абдурашидова, пережившая страшное и сумевшая правдой об этом страшном *поднять* дух человека, а не покрыть чужую душу мраком? Нет, нет… межа проведена. И даже — безошибочные тесты найдены. Несколько понятий — на поверку. Несколько имён и событий. Ваше отношение? И всё становится на места.

## 5. Подвижники и титаны

Ведущая «круглого стола» «Современная национальная литература: наследие советской эпохи и перспективы XXI века»[10] Гулиера Камалова, живо откликнувшись на мой тезис о том, что настала эпоха нового героизма, спросила: «А где вы видели новых героев? Кого так называете?»

Да, пришла, видимо, пора «материализации духов», определения того, что носится в воздухе, даже персонификации — если удастся. Кто они, новые герои? Опираясь на традицию эпохи Возрождения, назову их — титанами. Как известно, Ренессанс породил особый тип личности, отличающийся исключительностью ума, силой духа, многообразием таланта. Многим из титанов были свойственны устремлённость в будущее и готовность к самопожертвованию ради него. Данте… Леонардо да Винчи… Микеланджело… Титанические натуры, будучи всё же людьми, конечно, не могут быть свободны от грехов людских, но не греховная сущность человека определяет их жизненный выбор, их путь, их судьбу. Так кого же назвать «новыми героями», титанами двадцать первого века?

Если с таким внутренним посылом рассмотреть реальность Дагестана, то вот какие вершины открываются взору.

В сентябре исполняется девяносто лет со дня рождения Расула Гамзатова. Совсем недавно в Москве был открыт памятник великому аварскому поэту — совместная работа скульпторов Игоря Новикова и Шамиля Канайгаджиева. Дар Фонда Гамзатова городу Москве. К юбилейным торжествам готовится и Махачкала — более сосредоточенно и масштабно.

Литературный феномен Гамзатова исключителен. Его знают в России — знают широко. В моём экспресс-опросе среди ассоциаций, возникающих у респондентов в связи со словом «Дагестан», имя Расула Гамзатова — на первом месте. Более того, это имя для ценителей поэзии во всём мире, кажется, стало символом всей кавказской литературы. Прежде всего — благодаря русским переводам. Гамзатова действительно переводили блестящие поэты, но было бы, конечно, неверно сводить успех его поэзии только к талантливой работе переводчиков. Перевод — вообще дело тонкое. В юности, столкнувшись с первыми трудностями перевода стихов, я стала искать примеры переводческого успеха. И тут на меня хлынула волшебная волна поэзии Кавказа — сначала, конечно, грузинской: Бараташвили, Галактион и Тициан Табидзе, Важа Пшавела… Дальше — больше: армянской, азербайджанской, дагестанской. А переводили — Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Тарковский, Леонид Мартынов! Голова у меня закружилась, и я смущённо отпрянула.

Но… недаром Лермонтов любил Кавказ, «как сладкую песню Отчизны моей». Любил — странной, катулловской любовью, в которой Бог знает чего больше — притяжения или отталкивания. Русского поэта — его всеприемлющую и всеотвечающую душу — не может не увлекать сама культурно-психологическая атмосфера Кавказа, этот воздух, в котором звенят серебро и булат мужества, дышат свежесть и древность, веет розами и горными травами, потёртой кожей сёдел и ремней, старым деревом и молодым вином… А вот с языком, вернее, с языками — иначе. При всём богатстве звуков — гортанных, щёлкающих, цокающих, придыхающих — уловить в их сочетаниях аналоги интонационным особенностям своих словаря и грамматики русскому уху труднее, чем в любой из европейских звуковых систем. Поэтому переводчик поневоле тянется сначала к известным образцам. И когда мне представилась счастливая возможность переводить современные осетинские стихи — с великолепных аутентичных подстрочников, — я сразу же почувствовала, что нахожусь в безнадёжном плену интонаций Расула Гамзатова — видимо, самого «переведённого» из кавказских поэтов. Гамзатовские лаконизм, благородная учительность, которой художественный темперамент автора не позволяет перерасти в прямое назидание, метафорическая плотность и склонность к афоризму — разве это может быть привнесено переводом? Так — издалека, из далёкого контекста,

10. Он состоялся 10 июня 2013 года в Дагестанском отделении Фонда культуры РФ.

почти от противного — я заново открыла для себя удивительный мир Гамзатова.

Мне — с лёгкой руки Миясат Муслимовой — повезло выступить с чтением собственных стихов перед избраннейшей публикой Дагестана в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова. С первых же минут я почувствовала необыкновенную связь со слушателями, с залом, какую-то общую эмоциональную волну, которая — всякий артист знает, как это бывает, — подхватила меня и увлекла за собой. Признаюсь, у меня ещё никогда не было столь «конгениальной» аудитории. Миясат потом объясняла, что поэтическая метафизика Кавказа — на каком бы языке она ни воспроизводилась — всё же базируется на таких нравственно-эстетических опорах, от которых западная культура давно отступила. «Мы настолько уже вошли в этот мейнстрим, в эту воду, — примерно так говорила она, — что готовы относиться ко всему, что происходит, с точки зрения скепсиса, иронии; считается хорошим тоном всё подвергать сомнению. Это разъедающая, по-моему, разрушительная тенденция — возводить в ранг общепринятого идеала ноту скепсиса, недоверия… тех культурных ценностей, эстетических категорий, которыми живёт европейская литература. Но кавказской ментальности, по существу, это чуждо. Она по-прежнему ожидает от произведений искусства сильных, ярких чувств, точно сформулированных мыслей, запоминающихся образов. Если в России поэт всегда больше, чем поэт, то на Кавказе и подавно! В этом смысле многие твои стихи близки как раз этому психологическому типу. Здесь давно такого не слышали».

Благодарная моим махачкалинским слушателям и вдохновлённая ими, я — как только представилась возможность — нашла стихи, написанные Гамзатовым в последние годы жизни, стихи конца девяностых — начала нулевых. И снова пережила потрясение:

Столько пало халифатов,
Столько сгинуло империй,
И династии сменялись,
И менялось всё стократ…
Что же, наконец, осталось,
Кроме как «люблю» и «верю»?
Что же, наконец, осталось —
Кроме Патимат?

Развалились государства,
Атлантида — под волнами,
Высыхают океаны,
И — не повернуть назад.
Что же, наконец, осталось?
Только лишь вода да пламя…
Что же, наконец, осталось —
Кроме Патимат?

Чингисханы, Тамерланы,
Бонапарты все исчезли.
Как песком сыпучим, время
Всех засыпало подряд…
Что же, наконец, осталось,
Кроме нежности и песни?
Что же, наконец, осталось —
Кроме Патимат?

И великое пространство
Содрогнулось и распалось…
Только бы хватило силы,
Чтобы всё пошло на лад!..
Что же, наконец, осталось —
Колыбели и могилы?
Что же, наконец, осталось —
Кроме Патимат?

Над Землёй, сто раз сожжённой, —
Небо, рвущееся в клочья:
Столько боли, столько крови
Здесь текло века подряд…
Что же, наконец, осталось,
Кроме дня и кроме ночи?
Что же, наконец, осталось —
Кроме Патимат?

Обо мне не беспокойтесь,
Так уж повелось на свете,
Что прощанье неизбежно, —
Нет спасенья от утрат…
Я уйду, но перед этим
Полный мне бокал налейте —
Выпью жизнь свою до капли…
И останется на свете
Только Патимат.[11]

Другое имя, которое сегодня сразу приходит на память, когда слышишь слово «Дагестан», — Рамазан Абдулатипов. Личность, овеянная знобящими сквозняками недавнего прошлого и — по словам многих дагестанцев, с которыми довелось мне говорить в Махачкале, — последними надеждами соотечественников. Надеждами — как минимум — на мир и порядок в регионе. Этот минимум — дороже всякого золота, и добыть его под силу разве политическому Гераклу. Таков ли Абдулатипов? Профессор философии, пишет стихи и политологические трактаты… пожалуй, одна из тех — ныне редких — публичных фигур, на чьих белых одеждах не видно грязных или кровавых пятен. С его приходом к власти в качестве временно исполняющего обязанности главы РД общественная жизнь в регионе приподнялась и задышала. Хотя сохраняющийся социальный вулканизм беспрерывно даёт о себе знать: убийства, теракты, шумные разоблачения, аресты… Возникает ощущение, что Абдулатипов внутренне приготовился ко всему и ответ держать готов, как говорится, по полной. Впрочем, я не политик. Сужу о личности, ориентируясь

11. Перевод Елены Николаевской.

на её творческий продукт,— поэтому предлагаю читателю несколько цитат, на мой взгляд, отменно характеризующих Рамазана Абдулатипова:

«Мне, к примеру, казалось раньше, что от правителя зависит чуть ли не всё. Теперь убеждаюсь, что от меня зависит ещё очень мало, ибо застал утвердившиеся отношения, ценности и связи в обществе, в государстве. Попытка их разрушить может привести к разрушению и неуправляемости всей системы. Кроме того, тысячу дел, до которых я не могу дойти сам, приходится поручать другим людям. А они подчас думают одно, докладывают другое, решают третье. Кроме того, именно они нередко формируют и моё мнение о событиях, делах и людях, подсказывают решения, как потом оказывается часто, угодное себе».

*(«Философ и правитель. Диалоги о правлении», 2004 г.)*[12]

Глядят разочарованно народы
Сквозь бедности нахлынувшей года,
Что алчности полны их верховоды,
Не ведая ни страха, ни стыда.

Смогли себе вы замки возвести,
Чьи серебром украсили пороги,
Но всё равно не будете в чести,
Разбойники с большой дороги.

У каждого своё предназначенье
И на челе своей судьбы печать.
Один рождён разбрасывать каменья,
Другой рождён каменья собирать.

Из тысячи порой не выбрать мудреца,
Чтоб честен был и привлекал сердца.
Зато глупца избрать немудрено:
Куда ни глянешь — их полным-полно.

«…Самый страшный невежда — это невежда с двумя дипломами, научными степенями и при должностях. У него больше возможностей принести вред, чем у рядового человека.

Конечно, можно сколько угодно обвинять политиков. Да, у политиков — своя задача. Им важно получить результат, каким путём — дело, видимо, десятое. Политика не всегда сочетается с нравственностью. А вот когда интеллигенция ведёт себя так же, это уже беда. Между тем, к сожалению, почти невозможно найти армянского, азербайджанского интеллигента или интеллигента любой другой национальности (из тех, что живут на родине, а не в Москве), который был бы способен подняться над конфликтом и сказать: мы — соседи, мы люди, и мы должны научиться жить вместе. Более того, именно интеллигенция будоражит народ и озвучивает „национальную идею“, прилагая для этого свои немалые знания, и таким образом фактически сталкивает народы друг с другом, вместо того чтобы мирить их».

«…Я не зря сказал о совести. Мне не так давно довелось побывать в ленинградском Герценовском институте, на факультете народов Севера. Такого помещения вы, наверное, нигде больше не увидите в России. В кабинетах сидят классики, которые создавали азбуки, буквари для нивхов, чукчей, селькупов,— энтузиасты своего дела, знатоки. Сидят в обшарпанных, неоштукатуренных, холодных и сырых комнатах… А в богатейшем Ханты-Мансийском округе предприниматели ездят на семисотых „мерседесах“, которых ещё и в Европе-то раз-два и обчёлся. Стоимости одного колеса этого „мерседеса“ хватило бы, чтобы отремонтировать весь деканат Герценовского института.

Потеря совести, по-моему, одна из самых страшных проблем — и духовных, и политических, и нравственных, а это, в свою очередь, сказывается на социальном развитии и экономике. Что такое либеральная экономика, которую мы якобы хотим построить? Это экономика, одним из краеугольных камней которой является совестливость. Если человек не держит слова, если он в любой момент готов залезть в чужой карман, ограбить (в том числе и государство), это никакая не либеральная экономика. И Россия — не рыночное общество, а базарное: кто кого обманет, кто кого толкнёт, кто кого пошлёт… Страшное состояние».

«В нашей ситуации не заниматься такими сообществами, как нации, этносы,— преступление. Потому что других устойчивых структур в государстве не сохранилось: ни партийных, ни классовых, ни социальных. У нас сейчас деструктурированное, взорванное общество. И в нём самыми организованными структурами являются этносы. Но если ими не заниматься, они уведут и экономику, и политику — всё, что хотите,— в сторону. Таким образом, национальная проблематика обретает экономическое, политическое и социальное значение. Упустим её — завтра будут выселять по другим признакам: потому что с усами или потому что лысые… Раньше у нас был ЦК идеологический, политический, а сейчас — финансово-олигархический, и неизвестно ещё, от чего больше страдают свобода и независимость, включая творческую.

12. Цитирую по: *Аслан Магомедов*. Вздыбленная власть. «Новое дело», № 22 (1112), 7 июня 2013 г.

Это — просто другая форма несвободы. Для свободы нужны иные и экономические, и политические, и правовые формы организации общества. У нас же происходит недооценка духовно-нравственных факторов развития и отдельной личности, и целых народов, налаживания межнациональных и межгосударственных отношений».

«…Национальная психология — тончайшая материя, это изучить невозможно. Можно лишь прочувствовать и попытаться рассказать об этом другим. Даже самый талантливый человек может выразить словом далеко не всё, что чувствует. Это проблематика, к которой надо подходить крайне осторожно и доброжелательно. Запретами здесь ничего не добиться. Совесть, ответственность и доброжелательность. Только при наличии этих качеств можно заниматься национальными проблемами. Тогда, если даже и допустишь ошибку, она не будет оскорбительной и вызывающей».

«…Во всём мире люди по горло сыты национальной враждой. А у нас узбеки, русские, чуваши, татары, буряты, грузины в понимании большинства проблем в тысячу раз ближе друг другу, чем, казалось бы, более близкие народы — скажем, турки и курды. С какими-то потерями, но мы всё равно вернёмся к дружбе народов. Более того, я предвижу, что случится, как это у нас принято, новый взрыв чувств. К тому же это всем на пользу. Вспомните, чем был Тбилиси для творческой интеллигенции всего СССР! Или, наоборот, могут ли прекрасная грузинская литература и прекрасное грузинское кино, которые мы все помним, существовать так же вольготно и плодотворно без той широкой аудитории, какую они имели в Советском Союзе?»

«…Сколько безнравственности мы видим в последние годы в эшелонах власти. Разве можно было прежде услышать, что первый секретарь обкома бросил жену, женился на любовнице, живёт с соседкой, и вся страна об этом знает, а ему хоть бы что? Президент республики или губернатор — это человек, который находится на виду, он олицетворяет власть. Как он себя ведёт, так ведут себя и остальные».

«…Каждый очередной деятель в России, чтобы обозначить своё присутствие в политике, едет на Кавказ — или войну устраивает, или войну „закрывает“, а толку никакого. Почему же не дают довести эту работу до конца людям, которые знают проблему? Кстати, не дают не только в центре, но и „на местах“. Там люди, которые не столько думают о благе своего народа, сколько работают на себя, тоже не жалуют тех, кто разбирается в ситуации. Я, например, на переговорах с чеченцами для многих — главная нежелательная фигура, потому что прекрасно знаю чеченский народ, знаю, кто там есть кто, какие у каждого родственники, чем кто занимается, знаю, что значат слова и какие за ними стоят дела… Не всем это нравится. А для некоторых политиков федерального центра, да для большинства, я бы сказал, Кавказ — это всё равно что журнал „Вокруг света“. Что-то вроде Африки. Директор уважаемого института, имеющего отношение к этнологии, как-то спросил: „Слушай, почему на Кавказе такие большие дома строят, а чукчи — в чумах живут?“ Каково?»

*(Из интервью журналу «Дружба народов», 1998 г.)*[13]

«…Думаю, что после трагического развала Советского Союза у многих произошёл определённый перекос в сознании, в оценках, установках… Одно дело — получить свободу, а другое — ею распорядиться. По-моему, мы, советские люди, знали свою дозу свободы. <…> После того как распался СССР, мы забыли о дозе, потеряли меру. И поэтому одни ходят под наркотическим дурманом от свободы, другие не знают, куда от неё деваться, потому что она не даёт им жить. Их освободили от всего. Третьи повели себя словно мародёры, которые попали в дом, где умер хозяин, а на полках лежат золотые вещи, на стенах висят картины… Они мародёрствуют до сих пор. Такое происходит на всём вообще постсоветском пространстве. Развал Советского Союза — это глубочайшая деформация не только промышленности и экономики, но прежде всего сознания людей, нравственности. Мы до сих пор ещё во многом находимся под развалинами этого сознания. Более того, начали считать, что совесть — категория, изжившая себя. А исторический потенциал дружбы народов сводят к лозунгам».

*(Из интервью журналу «Дружба народов», 2005 г.)*[14]

…………………………………………

Вот такой сейчас в Дагестане руководитель. Отношение к нему в народе разное, но ведущее настроение: сможет ли? справится ли? Дай Бог, чтобы смог и справился.

Ещё имена? Ширвани Чалаев. Я очень надеялась нынче в Махачкале встретиться с ним. Не получилось. Но, думаю, звёзды рано или поздно сложатся в мою пользу — и мне удастся поговорить с Ширвани Рамазановичем. О чём? Об особенностях современной музыки. О сегодняшних «попсе» и классике. О национальных интонациях и ритмах как основном источнике обновления музыкального искусства. К великому стыду своему, я узнала Чалаева только три года назад — когда впервые посмотрела фильм Аслана Галазова «Ласточки

13. http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/10/abdul.html
14. http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/12/ab20.html

прилетели». Саундтрек фильма глубоко поразил меня — поразил в самое сердце. Музыка в «Ласточках» — не просто сопровождение. Она — мистический субъект, мета-герой драмы, разворачивающейся на экране. Я заинтересовалась композитором, стала наводить справки, и мне открылось дарование такой мощи, какой я уже и не чаяла в современном искусстве. Чалаев — Леонардо да Винчи от музыки: композитор, актёр, певец, мыслитель. Народный артист России, дважды лауреат Государственной премии. «Я лично отношусь к тем людям, — говорит он, — которые считают: что бы с твоей Родиной ни случилось, что бы там ни происходило, — понятия «Родина», «патрия»[15], «земля», «небо», «вода», «горы» — это священно!» Чалаев написал музыку государственного гимна Дагестана. Наверное, это единственный государственный гимн на свете, который вызывает не просто приподнятое чувство и переживание торжественного момента, а подлинное эстетическое наслаждение.

Миясат много рассказывала о Фаине Графченко, талантливейшей исполнительнице стихов. Когда-то — давным-давно — она приехала в Дагестан и осталась здесь навсегда. Фрагмент её страстного монолога, записанного Миясат, о многом говорит и точно характеризует актрису и личность:

«Какие-то мы обездоленные. Вся страна. Не хватает раздумья, образованности, мы же отобрали у людей культуру, дали им книги для убогих. Мы искромсали историю — мы никто, у нас нет науки, образования, войну выиграли американцы, а вы кто такие? Сколько времени унижают «лиц кавказской национальности». Никогда не могла видеть этого армянина, который кладёт под ноги таджикский народ. Нам говорят, что гомосексуализм — хорошо, наркотики — хорошо. Теперь вынудят в школах изучать секс как половое воспитание. Это разрушение семьи. Начинайте сначала, говорят нам, покайтесь за свою историю. Это сиротство — начинать сначала. И наши дети — сироты, потому что у них отнимают право любить свою страну. С ними нужно говорить на языке подлинной культуры, высоты духа. <…> Попробуйте покорить публику, которая не приучена к стихам. Когда Феллини снял свой фильм «Луна», в зал, вмещающий две тысячи человек, на просмотр пришли сто. На вопрос, почему так мало, он ответил: «Мой зритель умер. И мне остаётся сделать то же самое». Я взрыхляла почву с тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, принесла звучащую поэзию в Дагестан, и её приняли все. Сидящая на ступеньках своего дома старушка из Сергокалы говорила мне: «Фаина, здравствуй! Мы тоже любим стихи!» Я на работу шла переулками, чтобы успеть: люди останавливали на улицах и просили стихи. Потом мой слушатель, мой зритель бросил всё и уехал из республики. А я опять поднимаю знамя поэзии. Поднимаю в мире, где стихи никому не нужны, где вместо стихов любят стишочки, где засилье идиотских стихов. А я поднимаю флаг поэзии и вижу, что это больше чем нужно. Пусть я это делаю там, где десятки людей, пусть кустарным способом, но я вижу по лицам, как она нужна этим страдальцам, даже если они не чувствуют своей обделённости. Я хочу кричать: «Господа, всё в порядке! Все живы, несмотря на эту погань». Надо теребить людей, надо заставлять их думать. У нас время сытых. В Дагестане нет голодных, что бы ни говорили. Сытость, которая заполонила наш желудок, заполонила и ум. У нас нет голодных и не может быть, потому что живём в райском месте. Только души мельчают. Сколько людей мы погубили, они читать не могут вообще — ни стихи, ни прозу. Но когда им читаешь, они преображаются. Со звучащего слова и надо начинать, начинать с учителя».

Художники, с которыми я познакомилась в Махачкале, — тоже люди титанического склада. Имя Марата Гаджиева уже не раз возникало на этих страницах. Да, редактор, писатель, блестящий организатор. Но — и художник исключительный. В маленькой мастерской на улице Батырая в Махачкале вместе с несколькими художницами — такими же труженицами и бессребреницами, как он сам, — Марат расписывает фарфор. Мы пили чай под стеной старого домика, построенного, кажется, ещё до «исторического материализма», в колышущейся сени лиственного покрова, и я думала о том, что эта мастерская, пожалуй, как нельзя лучше отражает положение большого искусства в современной России. Благоустройство — на том уровне, который могут обеспечить люди, не имея лишнего гроша за душой. И среди этого скудного быта — драгоценные шедевры, от созерцания которых захватывает дух. Художник и торговец — разные профессии. А государство, к сожалению, совершенно отстранилось от распространения произведений настоящего искусства, отмеченных высоким вкусом, излучающих энергию красоты и добра. На рынке же, увы, привычно правит пошлость… В мастерскую Марата Гаджиева беспрестанно наведываются всевозможные проверяющие — налоговики, пожарные, санэпидстанция… Как пишет Миясат, «все пытаются деньги получить или брать борзыми — то есть посудой. Но со временем проникаются уважением к труду и удивлением перед бескорыстием и безденежностью мастерской и сами начинают болеть за них, защищая от коллег по проверкам»[16].

15. Отчизна *(лат.)*.
16. Картину Марата Гаджиева, подаренную художником, я привезла в Красноярск, укутав куртками и шарфами, как ребёнка в мороз и вьюгу, — всё переживала, как бы её не повредили в самолёте. Теперь она висит у меня в гостиной — на почётном месте.

Сабир Гейбатов — скульптор. В мастерской, принадлежавшей отцу Сабира, народному художнику России и Дагестана Гейбату Гейбатову, словно остановилось время. Работы отца и сына перекликаются, подают друг другу весть. Может быть, поэтому мысль о глубокой связи с традицией, о необходимости новых культурологических исследований творческого наследия двадцатого века так часто и отчётливо звучит в статьях и выступлениях Сабира. Помимо всего прочего, он — мозг и душа интеллектуального клуба «Эпохе», регулярно собирающегося в одном из махачкалинских кафе. Миясат с неизменным восхищением рассказывает об этом клубе. Она старается не пропускать ни одного заседания — и не зря. Здесь разговор о насущном ведёт — без преувеличения — гуманитарная элита республики. В конце мая, например, обсуждалась тема «Развивающаяся теория и пространство современной национальной литературы». Вместе с Сабиром, Миясат, известными филологами Мусой Гаджиевым и Зулейхой Курамагомедовой, вместе с другими сведущими в тонких вопросах литературоведения и философии людьми в дискуссии принимала участие молодёжь, причём весьма продуктивно.

Ибрагимхалил Супьянов… его мастерская напоминает театральный цех или лабораторию архитектора. Удивительные деревянные конструкции, развешанные по перилам цветные лоскуты и полотнища. Фантазия мастера неистощима: новые материалы, новые техники. Мы рассматриваем фотографии картин, которых уже не существует в реальности. Это — роспись водой по камню. Сам художественный эффект достигается за счёт разных оттенков, которые возникают на камне по мере высыхания воды. Ускользающее чудо! Вот где в полной мере понимаешь, что это значит: «Остановись, мгновенье! Ты — прекрасно!» А вот ещё — обширный альбом тончайших листов с рисунками из причудливо переплетённых нитей. Волшебство! Магия! И словно в подтверждение этой догадки — Ибрагимхалил достаёт деревянную флейту. Волшебную.

## 6. Друзья и соратники

Перед самым отъездом я имела честь и удовольствие выступить в Центре культуры андодидойских народов и познакомиться с его организаторами и завсегдатаями. Камиль Тархо и Максуд Гаджиев, как я поняла, строят Центр на собственные деньги. Он расположен на окраине Махачкалы, недалеко от новой автостанции. Здесь будут кафе, художественная галерея, место для встреч и концертов. Всё это будет, а пока… за круглым столиком под вишней — они уже почти созрели, вишни, и кокетливо краснели среди листвы прямо над головами — мы слушали и пели песни. У Расула — баян, у Камиля — барабан. Расул поёт так страстно и самозабвенно, что горло его дрожит, как у певчей птицы. Народные мотивы, кажется, на аварском языке. А потом мы все вдруг стали петь то, что любили в юности, — советские песни, которые и я, и Расул, и Камиль, и Аминат, и Мия пели когда-то в кругу разноплемённых друзей, в походе, у костра, в застолье… По-русски и по-украински. Так-то вот.

Андийцы и дидойцы — по дагестанским меркам довольно крупные группы народов. Андийцы, например, объединяют около десятка народностей, среди которых ахвахцы, ботлихцы, каратинцы… Их сейчас около двенадцати тысяч — по одним данным, по другим — до тридцати тысяч. Все вместе по численности — население небольшого городка. Но у каждого народа — свой диалект, свои песни, свои приёмы ремесла и собственная горская гордость.

А Миясат — ими гордится. Рассказывает о каждом госте за столом. Вот поэт Махмуд Апанди. Вот певец Махач Магомедов. Выпускник Литинститута, поэт и прозаик Гаджияв Гусейнов — он читал свои трагические стихи на аварском, но так выразительно, что у меня буквально выступили слёзы. Может, ещё потому, что внешне Гаджияв похож скорее на жителя Подмосковья или Рязани — светло-русый, с рыжими бровями и зелёными глазами. Оказывается, очень распространённый аварский тип.

Помню, как в процессе проектирования Красноярского литературного лицея мы искали точную дефиницию понятия «квалифицированный читатель». Мои квалифицированные слушатели, сочиняющие стихи и прозу на кавказских языках, после того, как я закончила читать, неожиданно «раскочегарили» лингвистическую дискуссию по поводу русского слова, простодушно использованного мною в одном из стихотворений. «Откуда вы слова такие берёте? — спросил Исмаил. — «Сопряжение» — что это значит?» И мы — всей компанией — погрузились в столь глубокий анализ, что собственное произведение озарилось для меня невиданным и неслыханным прежде светом. «Вот это публика! — подумала я. — Знали бы так русский язык московские бакалавры и магистры…»

…Меня бесконечно трогает их отношение друг к другу. Может быть, это всего лишь результат «стороннего взгляда», но — в конце концов, большое и видится на расстоянии. Прислушайся, читатель! *Марат Гаджиев* рассказывает о художнике Ибрагимхалиле Супьянове:

*Песочные часы Ибрагимхалила Супьянова*

Его село расположено в верхней части Гимринского плато. Появившись на свет, он запомнил его — с плоскими крышами и мощёными дорогами. Из детства он вынес синяки и ссадины,

обиды и любовь, ослепшего после ранения отца и карандашный портрет Чехова, выполненный неизвестным мальчику русским художником Врубелем. «Так вот, оказывается, как можно всего несколькими линиями. Если он смог, почему я не смогу?»—и Врубель позвал в дорогу.

Спустя время на занятиях по рисунку в художественном училище Парук Муртазалиев (человек, прошедший войну, концлагерь и открывший миру Кала-Корейш) поправлял его: «Не манерничай». А через год, когда представил на суд преподавателей две работы—сказочных зелёных дев и казнь Хочбара,—за него вступились Сталина Бачинская и Эдуард Путерброт. Последний в начале семидесятых потянул юношу в Кумыкский театр и, собственно, предопределил путь художника Ибрагимхалила Супьянова.

Дружба с Путербротом, первые постановки в театре, участие в международной выставке художников театра и кино «Квадрианаль-83», потом во всесоюзной в Казани, постоянный поиск. За каждым образом вставали новые. Дорога, которую он выбрал,—это густой лес, где сотни нехоженых тропинок среди вознёсшихся в облака и поваленных временем деревьев. Что означал для художника переход от фигуративного к не…

— Наверное, на вас, Ибрагимхалил, повлиял театр, где жизнь декораций начинается параллельно с человеческой игрой и имеет самостоятельное значение?

— Он только дал мне инструменты. Слова Эйнштейна, что «за предметом всегда стоит ещё что-то», есть выражение моего поиска. Слова, смех, крики, желания, скрип металла, остывающий чай, про который мы с вами забыли…

«Души людей за ночными окнами его мастерской, шелест опавших листьев под их ногами и дальше»,—мысленно продолжал уже я его цепочку.

Передо мной разворачивается отснятая художником панорама родного села. Сегодня он приезжает туда, в покинутый дедовский дом, где ещё сохранились ступеньки, выдолбленные из скалы, а арка нижнего подворья может вот-вот развалиться, с совсем другими чувствами. Это груз из ненависти и любви, «но от него я не откажусь». Время—лучшее лекарство и судья.

*Сжигая потерянное время*

Пятьдесят пятая осень. До поездки на Ураза-байрам в Каранай был юбилей, а ещё раньше—Гянджа, Баку, Шеки и восемнадцать километров по бездорожью в заложенное туманом русло реки. Как это называется у наших современников—акция?

— Ибрагимхалил, то, что проводит Союз художников Азербайджана, нельзя назвать акцией?

— Официально это носит название Международной выставки современного искусства. Я уже в пятый раз получил приглашение участвовать в этом фестивале искусств, куда съезжаются не только художники, но и фотографы, музыканты, писатели. (На своей последней персональной выставке в Дагестанском музее изобразительных искусств я запомнил серию графических работ, сделанных по возвращении с прошлого фестиваля. Название одой из них—как пояснение: «Разговор с рекой».) Самое лучшее слово, характеризующее атмосферу,—*беседа*.

— Хороша беседа! Ладно вы себя обрекли на такой разговор, а теперь и друзей-абстракционистов позвали: Магомеда Кажлаева и Апанди Магомедова. Тащить на себе сумки с красками, холсты, бумагу—и к бабушке на кулички… от Шеки вверх. И не говоря о том, что сегодня нас разделяет государственная граница.

— Да, красивая беседа, к которой подключились художники и деятели искусств из Москвы (кстати, Магомед вместе с Еленой Загуловской представлял столицу), Татарстана, Казахстана, Грузии, Турции и, конечно, Азербайджана. В рамках фестиваля мы в сопровождении искусствоведа Диляры Вагабовой провели несколько плодотворных дней в Гяндже. Там произошла интересная история с работой Е. Загуловской. Она расписала в витражном стиле стёкла веранды заброшенной бани, наполнив их библейскими сюжетами, а наутро, проснувшись, застала за работой уборщицу, которая так же аккуратно всё это смывала (благо это была гуашь). Вклад каждого в общую идею сделать хоть ненадолго, но красочней мир. Грузин Ушанги просто запустил голубого надувного лебедя в пруд с живыми птицами. <…> …Мы полностью отдались теме «*Бумага*», которую нам предложили организаторы в лице художницы Инны Костиной. Два дня держался туман, и настроение многих художников было пасмурным. Да и сама задача—создать нечто с использованием бумаги—требовала много солнца и прозрачного воздуха. Учитывая, что это дикая природа гор,—оставалось ждать.

Созданные им формы, обтянутые бумагой, вытянулись по склону, и их линия повторяла то молнию, то наклонную кладку, иные собирались лесенками в закрытые конструкции. И вот тут я увидел фотографии горящих форм. Одна из них похожа на песочные часы.

— Ибрагимхалил, зачем вы их сожгли?

— Пришло время, и надо было разбирать работы. И тут мне что-то внутри подсказало, что обратный процесс может быть только через огонь. Это нельзя повторить заново. Нельзя, не оторвав бумагу, вернуть ей чистоту. И вот пламя. Эти часы не были задуманы как самостоятельная форма, а получились случайно, когда я пытался разобрать каркас другой. Часы. Я сжигал то бесцельное время моего существования, которое не дало всходов, оставляя существенным только те песчинки, что проходят через песочные часы.

— Мне удивительно, как вам удаётся работать в театре, причём создавать декорации и костюмы к совершенно разным по стилю постановкам. А иногда это происходит так, что приглашения поступают из разных театров одновременно, не говоря о постоянных выставках в Америке, Германии, Москве. Теперь ещё эти ваши «беседы». И при этом вы остаётесь самим собой — спокойным, уравновешенным и недоступным для понимания широких масс. Ведь надо прямо сказать, что «искусство в массы» — это не про вас.

— Я всего лишь пытаюсь посмотреть: а что там, за тем эйнштейновским предметом? — и осветить. А поймут или нет — время всё равно бежит вперёд. И долгая детская история о путешествии из Караная в Махачкалу сегодня для меня сжалась в размер кошелька. Вот сейчас на этом повороте надо успеть приготовить деньги за проезд. Поток информации забивает наши головы, и то, о чём вчера предвещали, стало расхожей монетой. Поэтому я отбрасываю и отбрасываю. Для меня всегда была поучительна мысль, рождённая житейской сценкой. Соседка каждый день проделывала одну и ту же операцию. Она шила матрацы. Раскладывала ткань, потом бросала на неё кучу ваты и равномерно покрывала ею всю площадь. Затем сшивала и делала элементарные стежки — сначала вдоль, потом поперёк. Простые линии. Если это так просто, почему я не могу засучить рукава и делать то, что я умею и хочу? И что происходит: поднимаюсь утром с какой-то неотступной мыслью, иду в театр, возможно, и там не сделав ничего, прихожу в мастерскую, пытаюсь отвлечься и подготовиться к работе чаем. Потом подхожу и не могу начать, опять успокаиваюсь, беру книгу — вот хоть что-то полезное внёс в этот день — утешение. А ведь ты понимаешь, что для художника эти мучения могут длиться долго. Что мешает ему творить? Груз, который мы на себя взвалили и тащим. Я по-хорошему завидую той мастерице и вижу всегда её перед глазами.

Мы закончили разговор и вышли из мастерской в мир вечернего осеннего города, далеко от Верхнего Караная, ещё дальше от Москвы, но совсем рядом с обычными людьми, рисующими прямые линии.

Ибрагимхалилу Супьянову недавно исполнилось пятьдесят пять лет. Он заслуженный художник РД, сценограф и художник самых известных театральных постановок, последние из которых читатель, может быть, смотрел и оценил: «Хаджи-Мурат», «Колесо жизни», балет «Имам Шамиль».

А здесь *Миясат Муслимова* рассказывает о Марате Гаджиеве:

*Художник в приморском городе*

Приморские города изначально не принадлежат себе: они обречены отражаться в молчании морской лазури, накатах вздымающихся волн, влажных набегах утреннего бриза, потоках солнечного ветра и каскадах брызг. Они обречены переживать своё несовершенство и утешать себя близостью к прекрасному, томиться неясной тоской новых воплощений и искать берега, усмиряющие порывы к беспредельному. И хотя чем дальше от берега, тем меньше свободы у города, зажатого в тиски ненасытных притязаний на каждый клочок земли, широкое дыхание моря даёт ему воспоминание о жизни и обещание новых горизонтов. Город, отягощённый всяческими памятниками своего удушения и изгнания, находит пристанище в картинах художника, который умеет раскрывать прекрасный замысел своего создателя. И встреча двух миров — это нередко, как пишет Марат Гаджиев, сомнения действительности перед замыслом художника.

Пока поэзия и музыка картин Марата Гаджиева зовёт своих зрителей под купол художественной галереи в Каспийске, море за воздушными стёклами зала будет ревниво наблюдать за лицами горожан и вновь уноситься за горизонт, чтобы утешать берега новыми песнями и надеждами. На полотнах художника мир разворачивается во всём богатстве даров и обретений. Пастельный режим его существования создан не для того, чтобы закрыть глаза на чёрно-белые пересечения линий и остроту их углов, — он призван открыть взгляду феерическое богатство миров на расстоянии протянутой руки и гармоничность их сосуществований.

Песчаные, охристые и карминные линии земли легко перетекают в сиреневые и алые краски неба, оранжевые и лиловые потоки неба плавно огибают рельефы земли, и в тонкой очерченности ветвей, ночных улиц, мерцающих окон, женских ликов земное и небесное утверждают свою нераздельность и неслиянность. И если в творчестве других художников такое сочетание всегда являлось отражением трагического мироощущения, попыток преодоления линии разлома и разъединённости, то в картинах Марата нет этой коллизии. Стремительность движения линий и цветовых потоков гармонична, потому что выше обращённости друг к другу и возможного несовпадения оказывается совместная устремлённость к новым мирам, к тому, что вовне и притягательно для обоих и каждого. И вот только здесь, в пространстве доверия к миру и его обживаемости, и возможно услышать друг друга или молчать об этом. И интересны их равновеликость и одновременно некое равное пребывание в тени, даже там, где волей и рукой художника

центральное место в картине оказывается занято, отказ от первого и единственно крупного плана, равноустремлённость и равноудалённость, сохранение самоценности, когда существование другого ни на йоту не умаляется и не ставится под сомнение, и в то же время сохраняется весомость и значимость каждого образа. В мире художника нет ранжированности по композиционному или цветовому акцентированию реальности на полотне, главного и второстепенного. И если даже какой-то образ кажется сюжетообразующим, главным, то это лишь на первый взгляд.

Вообще, ракурс изображения везде сложен, необычен, и он во многом даёт эффект воздействия. Теряются привычные точки опоры, инерция восприятия, и мир, схваченный в его вечном движении и брожении новых сил, легко перемещается в пространстве и во времени, сохраняя при этом свою созерцательность и чуткость слуха. Реальность высоты и неба оказывается устойчивее почвы под ногами, а земля обладает той же невесомостью и прозрачностью, что небесные родники. Духовное и материальное не исключает и не умаляет друг друга. Именно оно и даёт гармоничность видения, радость зрителя, вызванную доверием к миру, рождающемуся в процессе знакомства с творчеством. Чашка в центре стола на картине «Кофе» притягивает взгляд; увиденная сверху, она заставляет искать ракурс перемещения и так обнаруживает самоценность и сопричастность всего; кольцо рук, плавно замыкающих круг чашки, не отпускает зрителя, втягивая в пространство новых широт. Линия, стремительная, изящная, рассекающая и соединяющая берега различных миров, прорывающаяся сквозь их вихревые потоки и верная своему предназначению, указывает путь паломникам искусства. «В забытой Богом степи одинокая кривая стала вытягиваться и выпрямлять спину. С невероятной скоростью на пространстве серого листа замелькали гранатовые пунктиры времени, и Земля, сделав полуоборот вокруг светила, открыла дорогу к рассвету».

Руки, создававшие фарфор, лёгкий и прозрачный, как мечта, наносившие узор и прокладывавшие пути в лабиринты земных цивилизаций, поднимающие в небо китайских змеев, творят гармонию с лёгкостью танцующего Шивы. Художник знает, что руки балхарских и африканских мастериц—ветви одного дерева, единой мировой летописи со-творения, «их объединяют взлёты и падения человеческого рода».

Смотреть картины Марата—это не просто вглядываться в мир, это отражаться в окоёмах играющего мира, в мириадах его превращений. Любой цвет, образ, любая форма, линия—это и взгляд из других измерений, и обещание их постижения, а главное—обнаружение их присутствия вокруг. Порой, чтобы стереть случайные черты и увидеть красоту мира, надо ловить мир в сети своих прихотливых и бесконечно рождающихся линий, заполняя их фантазиями полотно жизни. Линий, преодолевающих прерывистость полёта, ибо и так всё может разорваться в любую секунду. «Как натянутая тетива, сердце не ищет послабления». Творчество—приглашение к счастью, обретённому в поисках художника, в его бесконечном диалоге с миром, его сомнениях и поисках, разворачивающих свитки прошлого и создающих тончайшие пласты нового времени. «Гавань», «Всё возвращается», «Эльдорадо», «За музой»… «Корабли поднимают паруса и отправляются навстречу новым островам. Только единицам удаётся, несмотря на близость бушующей за окном стихии, выполнить своё предназначение».

Притягательно сочетание в картинах созерцательности, некой замедленности времени, позволяющей ощутить его вкус и аромат, и изменчивости мира, его перетекания в иные формы, его животворящей энергии, и во всём этом—вечность движения, непрерывность устремлённости, неизменность красоты в изменчивости её видов. Богатство красок и их сочетаний, гармония их сосуществования создают ощущение праздничности. И хотя поиски Нила, смыслов и первоистоков—крестный путь каждого, кисть художника рассказывает об увлекательности и радости этого поиска. Я не знаю другого такого художника, который создаёт эффект воздуха и воды, пространства, свободы дыхания отказом от традиционных их цветов—синего, голубого, белого, их различных сочетаний.

Стихия воды словно растворена в самых знойных, жарких красках и оттенках жёлтого, оранжевого, пустынно-охристого, красках, словно полученных из незрелых ягод крушины. Берилловый, малиновый отсвет кошенили, офитовые всполохи цветения, богатство коричневых оттенков, напоминающих очерки Луи-Себастиана Мерсье «Картины Парижа», оттенки лилового, как сказал бы И. С. Тургенев, цвета аделаиды, кубовый, он же индиго, розовато-жёлтый сомо, встречавшийся у Л. Толстого в «Войне и мире», цвета парнасской розы—оттенки розового с фиолетовым, сиреневые оттенки перванша, цвет сольферино и, конечно, танго—оранжевый с коричневыми оттенками, терракотовый, турмалиновый, амарантовый… Странно: при редком роскошестве красок и богатстве их сочетаний—ничего кричащего, ничего от внешнего эффекта, некая приглушённость звучания, заставляющая вглядываться и вслушиваться в подводность их течений. Вот откуда ощущение водной стихии в этих красках—от утоления. «Везде капли воды… Вода всё отражает сочнее, и любой всплеск волны делает объёмным уходящий день. Вода проникает везде и заполняет подсознание».

Сама стихия движения, пронизывающая как будто даже статические сюжеты, несёт энергию очищения. На картине «Другой берег» дерево взрывается тончайшими красками весеннего сада, земля пролегает линиями жёлто-зелёных пересечений, широкая серая полоса реки как будто спокойна, но отдельные мерцающие вкрапления красок словно говорят о призрачности покоя и простоты. Малейший поворот взгляда—и мир готов вспыхнуть яркими красками, стоящая у берега лодка в любую секунду готова отправиться в плавание и вспыхнуть в ореоле сияния плавающих рядом фосфоресцирующих рыбок. Жизнь полна играющих сил, превращений и смен декораций. И это не наивное юношеское открытие, ещё не знающее природы зла, а опыт, прошедший через погружение в глубины, не потерявший при этом чистоты и ясности взгляда. И ещё важная составляющая мира художника: в ней нет смерти. Осень и весна, зима и лето не знают увядания, деревья склоняются над сидящими в их тени и простирают свои ветви в пространство земли и неба, и в их гибких тончайших протоках дремлют всполохи новых листьев, чтобы в положенный час вновь открыться подлунному миру.

Переполненность чувств ищет гармонию своего выражения, но что такое красота линий и красок, как не пафос должной меры действительности? Приглушить его помогает ирония, она или прячется в деталях, или напоминает улыбкой художника, отдающего почести ушастому гранду в романтическом плаще, коту в сапогах, уверенно восседающему на ваших плечах. Детство пробирается по следу на холсте или бумаге, чтобы вернуть утраченное время, пытаясь ухватить его или вновь погрузиться в вечность его существования.

«Эта детская игра в моём сердце рождает большую надежду и щемящую, неодолимую тоску невозвращения… Река прекрасна и глубока, и по направлению к звёздам плывут, качаясь в корабликах, бесчисленные треугольники зажжённых свечек.

Стоило только протянуть вперёд ладони—и новый огонёк срывается в невозвратное уходящее время. Всё летит вокруг холодного и покрытого всполохами лица».

И не спрашивайте, откуда рождаются инопланетные чувства,—они рождаются из детства. А ещё их обитель—город, оставшийся в прошлом, утопающий в аромате акаций и тополиного пуха. «Ещё в те времена, когда деревья были большими. Когда сквозь утренний туман солнце выкатывалось на ладонь и косыми лучами заполняло тупики Батырая, в первых зелёных листочках акаций и тополей уже жил черепичный дух одноэтажных домов и общих дворов. Аура любви—звёзды одни на всех. Рядом, в роддоме №1, рождались, как часто это бывает на склоне ночи, будущие жители нашего города. А рядом в мастерской художники расписывали фарфоровые тарелки, первый космический объект, который видели египтяне, древние кельты и индейцы племени майя… Теперь, на стыке двух веков, инопланетный корабль приземлился на «батырке». Может показаться, что высокий ряд слов—это музыка пустого бахвальства. Но кто не смотрел на белый круг и не вращал его так, чтобы рука чувствовала сердце, того не посетят инопланетные чувства».

Что случилось с жителями города за эти годы? Художник знает, как город разъедает сердца и делает из них бетонные блоки, но расскажет он о другом. И мы увидим его путь, путь мастера, умеющего вращать гончарный круг так, чтобы рука чувствовала сердце, чтобы в его созданиях загорались фонари, «приучая к любви и заботе души малые и не знающие провалы памяти и предательств», чтобы явью и сном красок и линий рассказать о том, что только руки, ваши руки, белые руки с полосами любви способны—слышите?—заслонить чёрное и быть, быть, быть…

Где твои Художники, город, выдавливающий всё цветущее и плодоносящее из своих владений? «Судьба многих прекрасных художников, на ком лежала печать одухотворённости и таланта, вершится теперь помимо Батырая, в других городах и странах. Век новый с жёсткими ритмами ворвался в стены маленького цеха. За окнами «батырки» нет раскидистых деревьев, их поглотили гаражи и асфальт. Жаль, что в приморском городе душа художника творит только на бумаге и холсте…»

«Час свидания», «В переулках времени», «Возвращение в лето»—это всё те же поиски Нила и вечная душа художника, возвращающая нам Время и Встречу.

«Не хочется покидать мир, тот самый, который любовно выстроил и раскрасил в свои цвета. Человек—как свеча, и в подобном сравнении огонь обязательно становится первопричиной зарождения жизни. В нём всё: и крик рождения, и хор венчальный, и похоронный плач.

Как это кажется верным—в ладонях помещается судьба живущего. Вот и несите свечу бережно, затаив дыхание, и, предчувствуя опасность, прикрывайте рукой. Где-то в конце пути её выхватит молодость. Она обязательно придёт за вашим огнём—не знающая ошибок поросль, ведь это те же мы, много солнц назад…»

## 7. Дожди

Ночью над Махачкалой разразилась мощная гроза. Ливень хлестал, разогнав комаров и автомобилистов, с музыкальным грохотом и оглушительным визгом тормозов летающих по улице Радищева, прямо под окнами. И комары, и автомобили

вчера не давали мне спать, а тут, под шум дождя, я выспалась, как младенец в колыбели. Утром — солнце ласковое и свежее, как обрызганный росой апельсин… прохладно, и дышится легко…

Где-то в нескольких минутах ходьбы отсюда, зябко ёжась, приходит в себя Каспийское море; Родопский бульвар, спускаясь к городскому пляжу, расправляет ветки и соцветия; открываются лавочки-пекарни, наполняющие воздух соблазнительными запахами… готовят чуду́ — лепёшки из тонко раскатанного теста с разнообразными начинками: творогом, зеленью, мясным фаршем, сыром. Вкусно!

Уже шевелится, раскладывается ближайший рынок, изобильный, доброжелательный и щедрый. Какой там сыр! какие орехи! какая зелень! Я уж не говорю о фруктах: черешня и клубника совсем свежие и уже спелые, абрикосы ещё чуть-чуть недо… А *рыба!!!* И во всём этом — какая-то благость особенная, благодать, не свойственная вообще-то рынкам. С детства базарный дух не переношу, но тут — как будто теплом земли напитан каждый кубик воздуха.

Город с 1921 года носит имя пламенного революционера — Магомеда-Али Дахадаева, по прозвищу Махач. Памятник Махачу встречает приезжающих перед Махачкалинским железнодорожным вокзалом. Но в глубине души город, кажется, до сих пор таит древнее название этого места: Анжи. «Жемчужина» по-кумыкски.

Этот жемчуг я увезла с собой. Он не даёт мне покоя. Дожди Дагестана ходят за мной по пятам. Пугают. Призывают. Завораживают. Каждый день, замирая, ловлю сигналы новостей — каждый день из Дагестана поступают фронтовые сводки: убит журналист… убит спортсмен… трое крестьян подорвались на мине во время сенокоса… обезврежена бомба… обезврежены две бомбы… убит адвокат… бунтует Пугачёво… избит депутат Госдумы на московском шоссе… Сердце сжимается, и губы уже привычно, как бы сами собой, шепчут: «Господи, спаси и сохрани!..» И ещё — сразу вслед: «Не разделяй нас, Господи, не разделяй!..»

*Красноярск — Махачкала — Красноярск, июнь-июль 2013*

ДиН ревю

# Влияние неевклидовой геометрии на художественное сознание

Сборник статей и материалов международной научной конференции в рамках международного литературно-философского фестиваля им. Н. И. Лобачевского.

Под редакцией
*А. Ф. Галимуллиной*
*Л. Р. Газизовой*

Рецензенты
*Х. Ю. Миннегулов*
*Н. М. Солодухо*

Казань: Республиканский центр мониторинга качества образования, 2012. — 156 с.

…Это единственный в мире литературный фестиваль, который носит имя математика. Николай Лобачевский, которому в 2012 году исполнилось 220 лет, известен также как выдающийся просветитель и ректор Казанского Императорского университета. А его учение о пространственной геометрии по масштабу и влиянию на развитие математики, философии и других наук и искусств можно сравнить лишь с открытием теории относительности Альберта Эйнштейна или учением Коперника.

…Искусство живёт по законам пропорции и меры, математика без вдохновения — просто скучный ряд чисел. Чтобы создать выдающееся литературное произведение и совершить открытие в науке, необходимо обладать богатым воображением и образным мышлением, потому что и в том, и в другом случае творец нарушает привычные представления, выходит за пределы традиционного и общепринятого. Поэтому геометрия Н. И. Лобачевского стала для просвещённых людей символом выхода за рамки обычного, преодоления границ… Образно говоря, геометрия Лобачевского с пересечением параллельных и есть суть поэзии. Ведь талантливые поэты заставляют пересекаться непересекающиеся образы и понятия. В самом Н. И. Лобачевском, помимо гениальности, присутствовал дух свободомыслия, независимости, человеческого достоинства, и это роднит его с природой поэзии как таковой.

Алитет Немтушкин

# Храним твои заветы, Хэвэки…

Перевод с эвенкийского Александра Щербакова

## От переводчика

В восьмидесятые годы минувшего века мы тесно сотрудничали с Алитетом Немтушкиным. Особенно — в перестроечные. Чувствовался общий подъём, все ждали обновления, много спорили, писали. Алитет не был исключением и предложил мне перевести несколько своих стихотворений с эвенкийского на русский. Я уже подобный опыт имел и согласился. Переводы мои ему понравились, он стал приносить всё новые подстрочники. И вскоре число переведённых стихов перевалило за полсотни. Мы печатали их в «Енисее», «Красноярском рабочем», «Комсомольце», даже в московских изданиях — «Литературной России», ещё где-то… Однако после девяносто первого сотрудничество заглохло. По идейному размежеванию. Алитет, задрав штаны, побежал за «демократами»-либералами, я же остался «консерватором» и державником.

Не знаю, что ставил «эвенкийский Пушкин» из моих переводов в свои последние книжки. Он мне их не дарил, не показывал и, говорят, даже под иными «моими» строками не ставил имени переводчика, что не есть хорошо. По слову классика, если переводчик прозы — лишь посредник, то переводчик поэзии — *соперник* автора! Но с уходом его я, конечно, всё ему простил по-христиански. Царствия тебе Небесного, незабвенный Алитет Николаевич…

Подстрочники и переводы поныне хранятся в моём архиве. Недавно, листая их, я наткнулся на полузабытый оригинальный цикл (почти поэму) «Храним твои заветы, Хэвэки». И вспомнилось, как автор объяснял мне свой замысел: «Когда-то каждый эвенк имел свою «личную» песню, которую напевал в минуты душевного подъёма, отправляясь в очередное кочевье или отдыхая у вечернего костра. С возрастом она могла меняться, но основа её сохранялась. Были свои песни и в семье экондинского оленевода Владимира Удыгира, в семье дружной, работящей, настоящей хранительнице народных традиций. Некоторые из этих песен я попытался воспроизвести в стихах».

Думается, будет неплохо, если «День и ночь» их «воспроизведёт» ныне на своих благословенных страницах.

## Песня оленевода Владимира Удыгира

Откуда началась моя дорога?
Отсюда, с нашей речки Вилюйкан,
С тропинок, что, ветвясь оленьим рогом,
Бегут через таёжный океан.
Отсюда мои песни полетели…
А я из сказки, надо понимать,
Явился, если было в самом деле
Всё так, как мне рассказывала мать:
«Тебя нашли в лесу в морозный полдень.
С топориком пошла я по дрова,
Вдруг слышу — где-то рядом, меж колодин,
Заплакало дитя: уа, уа…»
Вот так в роду эвенков Удыгиров,
Известных щегольством своих одежд,
Я появился, чтобы слиться с миром
Людей тайги, их судеб и надежд.
Потомок предков должен быть достоин,
Недаром позаботился отец:
Он гордое прозванье дал мне — Сонинг,
Что значит — богатырь и молодец.
Не веря ни шаманам, ни старухам,
Он всё же, чтобы выжил я и жил,
Обманывая Харги, злого духа,
Щенка сначала в зыбку положил.
С пелёнок я, чтоб вырасти умелым
Охотником и ловким рыбаком,
Играл с зубами лис, медведей, белок
И спал то с поплавком, то с молотком.
Я сызмальства качался на олене,
Ходил с аргишем, покидал жильё.
Спасибо людям — берегли от лени,
Держать учили маут и ружьё.
«Подрос кормилец!» — радовалась мама.
Отец хвалил: «Помощник мировой!»
Они не знали, что меня поймала
«Шаманка» на тропинке кочевой.
Я сам попался в сети глаз весёлых,
Они сверкнули: «Укради меня!» —
И я украл…
Теперь живут в посёлке
Моя жена и наша ребятня.
У нас их девять — и парней, и девок
(А меньше Удыгиру не с руки).
За то, что ты помог мне в главном деле,
Благодарю, дух добрый — Хэвэки.

Любви дочерней, помощи сыновней—
Каких ещё от жизни ждать щедрот?
И есть кому наследовать становья,
И есть кому продолжить древний род.
По тропам наших пращуров кочуя
И греясь у отцовских очагов,
Иной судьбы и жизни не хочу я.
Одно прошу у духов и богов:
Чтобы продлили дни на этом свете
Незаменимой спутницы моей.
Мне без неё не только счастья нету—
Дыханья нету без неё, ей-ей.
Не приобщённый к таинствам молений,
Пока с любимой рядом—я пою.
Услышьте, белогубые олени,
Услышьте, лес и горы, песнь мою!

## Песня его жены Ольги Удыгир

Откуда я взяла своё начало?
Из Катанги из матушки я вышла.
На волнах мою лодочку качая,
Она мне мир отрыла, полный смысла.
А мать шутила, что меня поймали
В осенней тундре малым оленёнком,
В руках-ногах суставы поломали,
Стянули туго-натуго в пелёнках
И уложили в зыбку: «Будь здорова,
Расти быстрей, Чичаку-трясогузка!
Без пищи не оставим и без крова,
Без солнышка над Катангой-Тунгуской».
Потом, носами чуткими обнюхав,
Меня качали вместе с птичкой долго,
Чтоб скрыть мои следы от злого духа,
И наконец назвали звонко—Ольга.
По-русски. И, должно быть, потому-то
Здоровья это имя придало мне.
Так поймана была я родом Мукто
(Народом кабарги, гласит преданье).
И вот, спасибо людям, стала взрослой,
Держу очаг, орудую иголкой.
И не боюсь ни зноя, ни мороза,
Ни хитрой росомахи и ни волка.
Я в Эконде, опередив подружек,
Охотника нашла себе весною
И чувствую с тех пор себя за мужем
Надёжно, как за каменной стеною.
«Пойдём со мной!»—глаза его позвали,
Душа отозвалась без колебаний.
И время, что с весны той миновало,
Не принесло мне разочарований.
Который год одним умом и сердцем
Живу с Богатырём моим и рада,
Что полон чум разноголосьем детским,
Горит костёр, олени ходят рядом.
Вот только тяжелеют руки-ноги—
Года, года… Нелёгкая поклажа.
И о птенцах о наших сердце ноет:
Им разлетаться скоро. Но куда же?
Олений ягель в тундре всё скуднее,
Зверьё в тайге редеет с каждым годом,
И на родных просторах всё труднее
Живётся нам, таёжному народу.
А я хочу, чтоб умножалось стадо,
В тайге еда росла по всем наукам…
А будет так—и никуда не надо
Лететь за счастьем сыновьям и внукам.
…Такая моя скромная песня.

## Песня их дочери Оксаны

Откуда пошла-началась я? Не знаю.
Представьте, не думала просто об этом.
Но если подумать… Вполне допускаю,
Что от поцелуев, как пишут поэты.
Вы только взгляните, как мир наш прелестен,
Как солнышко ярко над речкой стеклянной,
Как хвойные лапы свежи в краснолесье
И зелены травы на светлых полянах!
И эта земля называется старой?
Я кое бы с кем поделилась советом:
Очков не носите чернее гагары—
И мир в настоящем увидите свете.
Я ныне учусь. И живу горожанкой.
Мне нравится город—большой муравейник.
Всё лица и лица… Смотрю на них жадно:
Быть может, родное мелькнёт на мгновенье.
Быть может, с единственным встретиться взглядом
Мне здесь суждено, на асфальтовых тропах.
Мне кажется, ходит мой суженый рядом,
Но слишком уж он недогадлив и робок.
Неважно, он темноволосый иль русый,—
Мне б только плечо, чтоб могла опереться;
Неважно, из рода эвенков иль русский,—
Имел бы он только хорошее сердце.
Такого бы я полюбила навечно.
Что вечной любови бывает прелестней?
Но чувство должно быть взаимным, конечно…
Пока вот такую сложила я песню.

## Песня их сына Ванчо

Откуда я пришёл, увы, не помню.
И рассказать никто мне не спешит:
То ли, как мать, я в светлой тундре пойман,
То ль найден, как отец, в лесной глуши.
Но думаю, нашли меня в больнице—
Теперь все там находят ребятьё:
В палатах белых ловят медсестрицы
И пеленают в белое бельё.
Потом дитя подростят возле мамы
И в интернат отправят малышом.
Как все, и я учился там с друзьями,
След мыши выводил карандашом.
Немало мной исписано тетрадей
И книга не одна одолена,
Но всё же для меня, сказать по правде,
Родной тайги понятней письмена.
Глаза, бывало, вечером прикрою—

И вновь олени предо мной бегут,
И в сердце, обливаемое кровью,
Копытами своими больно бьют…
Я выбрал путь, что на роду написан,
Пошёл по следу моего отца.
Иной дороги не ищу, не мыслю,
Пройти по ней надеюсь до конца.
Опять олени предо мною мчатся,
Живые, вихревые, наяву!
Пускай они меня выносят к счастью,
Мечтою о котором я живу.
Нет, не витаю я за облаками.
Ту девушку, какую полюблю,
Я жаркими словами заарканю
И меткими глазами подстрелю.
Мне горожанки мазаной не надо,
Лохматая мне тоже ни к чему:
Здесь есть кому пугать оленье стадо,
Унты подладить было бы кому…
Не сложил ещё я свою песню.

## Песня их бабушки Нюригды

Откуда пошла-началась я? О небо, забыла.
Не спрашивайте… Далеко-далеко это было.
Туда самый сильный олень не дойдёт, не дотянет,
Лишь птицей бесшумной летает туда моя память.
И нет никого уж на свете из тех поколений,
Кто помнил меня бы привязанной к холке оленьей.
Ушли они все… Отсмеялись и отгоревали,
В холодную землю навеки все откочевали.
Одна только я вот торчу здесь отставшей от стаи,
Чужие года (да простится мне грех) заедаю.
Наверно, за вас я живу, не дожившие века,
Кто водкой проклятой в себе убивал человека.
О, сколько красивых и юных ушло слишком рано,
Владевших прекрасно ружьём, и веслом, и арканом.
Да, скоро, похоже, прикончит оно весь народ наш—
Коварное зелье, что бьёт человека наотмашь.
Эрэ!—тяжко мне, уже гнётся спина моя еле.
Эрэ!—непослушные ноги одеревенели.
Едва шевелюсь я, совсем никудышною стала,
Таскаю свой зад вроде старой гусыни линялой.
Последние годы промучилась здесь, в Кислокане,
Дремала у печки, с висячими сидя ногами.
Но память тайгою жила. И под сердцем болело
При думе о том, что творится на свете на белом.
Почто же олени уходят от нас косяками—
От нас, от эвенков, с которыми жили веками?
Я всё размышляла, но руки не праздными были—
Иголка с напёрстком мой рот, слава богу, кормили.
А нынче—недаром приснился мне чум на поляне—
Приехал со стойбища в гости внучатый племянник.
Меня он с собою в тайгу увезёт, к Вилюйкану,
И в чуме у речки опять я хозяйничать стану:
Варить на костре оленятину и куропаток
И новорождённых качать на руках оленяток.

В кустах, на вершинки талиновых прутьев,
Навешаю красных, и синих, и жёлтых лоскутьев.
По древним обычаям (не обессудьте старуху),
С заклятием тайным дарение сделаю духам.
Они от меня ещё не отвернулись покуда,
Я людям удачи и счастья просить у них буду,
Чтоб множились звери, оленей рождалось помногу,
А Харги, злой дух, позабыл чтобы к людям дорогу.
«Объелся ты ими,—скажу я ему в заклинанье,—
Довольно совсем молодых уносить на закланье!
А если уж жертва нужна тебе очередная,
С меня начинай. Испила чашу жизни до дна я.
Давно зажилась, и пора мне в иные пределы…»
Такую я песню сложила, её и пропела.

# Пушкиноты

Альманах Международного
Хлебниковского фестиваля «Ладомир»

Казань, 2013

Перед вами первый номер альманаха «Пушкиноты», официального издания Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир», который прошёл в Казани 18–20 апреля 2013 года.

«Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие…»—писал Осип Мандельштам, тем самым обозначив огромное влияние поэта на развитие всей русской поэзии. Многие выдающиеся поэты 20 века отдали дань уважения и внимания поэзии, теории, взглядам Хлебникова. Реформатор поэтического языка, один из теоретиков русского футуризма и авангардного искусства провёл в Казани наиболее длительный период своей жизни—около 10-ти лет. Поэтому не случайно, что в Казани, где «пересекаются параллельные», мирно уживаются «разное и разные», появился Хлебниковский фестиваль «Ладомир».

Этот форум—своеобразное продолжение прошедшего также в Казани в декабре 2012 года Международного поэтического фестиваля им. Н. Лобачевского. «Я—Разин со знаменем Лобачевского»,—писал о себе Велимир Хлебников, который, подобно создателю неевклидовой геометрии, совершил переворот в поэзии. Самого же Хлебникова называют «поэтом для поэтов», «трудным поэтом», «поэтом для производителей, а не потребителей».

Одно из самых загадочных произведений Велимира называется «Доски судьбы». Оно находится на пересечении параллельных прямых поэзии, языкознания, истории, математики и философии. Поэт говорит о том, что в нашем мире всё подчиняется определённым числовым закономерностям, надо только найти их—и жизнь изменится в лучшую сторону.

Подобные интуитивные озарения, своеобразные творческие ассоциативные взаимопроникновения мыслей, образов, чувственных восприятий имеют место и в стихах участников Хлебниковского фестиваля. Современные поэты, к какому бы течению они ни принадлежали—классическому или авангардному, уже не могут пройти мимо открытий Велимира Хлебникова.

В юношеском «Завещании» Хлебников, будучи девятнадцатилетним студентом, начертал такие слова: «Пусть на могильной плите прочтут: „Он связал время с пространством“». Идея объединенияя времён встречается в его творчестве неоднократно. Соединение, смешение времени и пространства создаёт атмосферу соприкосновенности, сопричастности Прошедшего и Будущего, Грядущего и Настоящего. Время—мера мира. Наступира эра Велимира.

**Лиля Газизова**
*организатор Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир»*

Валерий Кузнецов

# История моего современника

(поэта, музыканта и гитарного мастера)

*Я — бард простой*
*И не могу творить*
*По правилам искусства…*

Роберт Бёрнс.
Июль 1786 года

## Вместо предисловия

Если кто помнит, в начале двадцатого века уже издавалась книжка с таким же названием. Правда, автор, В. Г. Короленко[1], писал её шестнадцать лет. Зато в итоге у него получилось замечательное повествование о героических представителях молодёжи девятнадцатого века. Но, несмотря на то, что Короленко, писатель, вошедший в золотой фонд русской литературы, поведал о своих ровесниках, которых один известный политик назовёт позже «штурманами будущей бури», вскоре разразившейся в России, — о них в наши дни предпочитают не вспоминать.

Как, впрочем, и о самой буре.

Что поделаешь: в каждой избушке свои погремушки, у каждой эпохи свои любимчики. В девятнадцатом веке — народовольцы, в двадцатом веке — комсомольцы-добровольцы, в двадцать первом веке — ну, вы в курсе…

Я же на свою историю потратил гораздо меньше времени, да, честно говоря, и забвения особо не страшусь, так как не вхожу в золотой фонд нынешней российской литературы. И задача моя скромнее: поведать вам, уважаемые читатели, не обо всех современниках, а лишь об одном. Кстати, он похож на героев Короленко — его тоже мало кто помнит.

Судите сами: актёру Высоцкому[2], ничем не связанному с Красноярском (кроме участия в съёмках фильма «Хозяин тайги» на Мане), у нас посвящаются фестивали, проводятся конкурсы на лучшее исполнение его песен. Где-то даже изваяли памятник на тему его известной песни про волков. Высоцкий настойчиво внедряется в сознание молодёжи как популярнейший бард России, хотя это вопрос спорный. Во-первых, сам он никогда не причислял себя к бардам. Во-вторых, Якушева[3], Визбор[4], Ким[5], Кукин[6], Городницкий[7], Окуджава[8] и многие другие были не менее (если не более) популярными бардами того времени. Их песни молодёжь и знала больше, и пела гораздо чаще, чем Высоцкого. Свидетельствую это как бывший студент шестидесятых годов.

И потом, это сейчас Интернет, ноутбуки, скайпы, пятьдесят телепрограмм на ТВ; в те же годы Красноярск был глухой провинцией, да ещё насыщенной секретной инфраструктурой: военные заводы, ракетные части, лагеря… Вражеские «голоса» глушились, ТВ и радио транслировали две программы — московскую и местную. Бардов можно было услышать лишь на любительских магнитофонных записях да по радиостанции «Юность».

А в Красноярске шестидесятых годов самым известным бардом среди молодёжи был не Высоцкий, не Визбор, не Ким и даже не Окуджава, а Юра Бендюков[9], наш, родной, местный — поэт, музыкант и гитарных дел мастер. Однако сегодня почему-то никому не приходит в голову

1. *В. Г. Короленко* (1853–1921) — русский писатель, за революционную деятельность был сослан в Якутию. После ссылки — редактор журнала «Русское богатство» (1895–1918).
2. *В. С. Высоцкий* (1938–1980) — с 1964 года актёр театра на Таганке, поэт, популярный автор-исполнитель собственных песен.
3. *А. А. Якушева* (1934–2012) — выпускница Московского пединститута, журналистка, автор-исполнитель, песни писала с 1964 года.
4. *Ю. И. Визбор* (1934–1984) — поэт, сценарист, киноактёр. Популярный автор-исполнитель.
5. *Ю. Ч. Ким* (1936 г. р.) — выпускник Московского пединститута, поэт, драматург. Один из основоположников современной авторской песни в России.
6. *Ю. А. Кукин* (1932–2011) — выпускник Ленинградского института физкультуры, популярный автор-исполнитель.
7. *А. М. Городницкий* (1933 г. р.) — выпускник Ленинградского горного института, учёный-геофизик, поэт и автор-исполнитель.
8. *Б. Ш. Окуджава* (1924–1997) — прозаик и поэт, один из основоположников современной авторской песни в России.
9. *Ю. П. Бендюков* (1946–1910) — поэт, музыкант, мастер по изготовлению гитар, один из организаторов движения авторской песни в Красноярске.

организовать фестиваль его имени или объявить конкурс на лучшее исполнение его песен. Он забыт на своей земле, которую любил, о которой пел и в которой похоронен. Хотя в своё время его песни исполнялись Аркадием Северным[10] и Михаилом Шуфутинским[11], они были на слуху у красноярских туристов, столбистов, студентов. А «Робинзона», «Сигарету» и «Дельфина» распевали даже тинейджеры в пионерских лагерях.

В восьмидесятые-девяностые годы фестивали, которые Бендюков проводил с друзьями на острове Сосновом, собирали тысячи зрителей; к нам съезжались и маститые барды, и простые любители авторской песни со всей страны, от Москвы до Камчатки. Если бы сегодня кто-то сумел организовать подобный фестиваль, звону было бы на весь свет. Но в то время считалось неприличным пиариться—да и слова-то такого не знали. А кроме того, были фестивали в Норильске, Сростках, Саяногорске, Томске, Юрге… Когда же у нас затевался Сибирский фестиваль авторской песни, все ехали сюда, ставили палатки на Сосновом—и три дня он был песенной республикой. Тут пробовали голоса и вставали на крыло будущие лауреаты и дипломанты всероссийской «Грушинки»: Ира Орищенко[12] из Усть-Каменогорска, Сергей Наумов[13] из Норильска, красноярцы Геннадий Васильев[14], Лариса Ялынская, Евгений Савельев[15] и совсем ещё юные томички Ира Абушаева и Марина Томилова[16].

Кроме того, Юра был известен как гитарных дел мастер, создававший уникальные инструменты. На его гитарах играли классику профессиональные гитаристы и свои песни—знаменитые барды шестидесятых годов. И как ни удивительно, но его инструменты до сих пор живы. Спросите у профессионала, сколько длится концертная жизнь гитары,—он ответит: не более пяти-шести лет. Нет, играть на ней можно и дольше, но звучать как прежде она не будет.

А его гитары звучат даже через двадцать лет!

И здесь самое время обозначить авторскую песню как социальный феномен, с чем, пожалуй, не каждый и согласится. Потому что социальные феномены проходят по ведомству хоть и почтенной, но скучной науки социологии. Авторская же песня—дело молодое и зачастую воспринимается не более чем «ля-ля у костра». Нет, уважаемые читатели, это далеко не «ля-ля». Это категория, я бы сказал, где-то даже философская.

Не верите? Тогда давайте серьёзно. Следите за мыслью.

Система устройства человеческого общества, как любая сложная система, складывается из подсистем, обеспечивающих её жизнедеятельность и выполняющих различные функции. Подсистемы не образованы изначально, «из яйца», они появились (и появляются) по мере усложнения всей Системы и необходимости сохранения её устойчивости.

Вначале подсистемы возникают как некие субкультуры, которые вроде бы и не играют в обществе особой роли, но имеют тенденцию к росту. Бесперспективные субкультуры Система уничтожает. А те, что сумели адаптироваться и выполнять полезные функции, переходят в ранг подсистем. Классический пример—христианство. Субкультура бродяг, нищих и рабов, преследуемая властью, заняла, в конце концов, одну из ключевых ниш в общественном устройстве. Причём занимает её две тысячи лет. Значит, это уже никакая не субкультура, а подсистема, наделённая определёнными социальными функциями.

Запомнили? Идём дальше.

Авторская песня—тоже субкультура, востребованная в молодёжной среде, как и рок. Но рок инфицирован нам Западом, он не имеет национальных корней и поэтому постепенно деградирует (сравните Шевчука[17] со Шнуром[18]). Авторская песня—своя плоть от плоти. Здесь ничего не привнесено извне и не украдено: ни гармония, ни

10. *Аркадий Северный* (А.Д. Звездин, 1939–1980)—исполнитель песен городского и тюремного фольклора, автор романсов и стилизаций.
11. *М.З. Шуфутинский* (1947 г.р.)—выпускник музыкального училища им. Ипполитова-Иванова (сокурсник Пугачёвой). Был музыкантом в квартете «Аккорд», ансамбле «Лейся, песня». В 1981 году эмигрировал в Израиль, переехал в США, известен там как исполнитель песен для русскоязычной публики. Регулярно концертирует в России.
12. *Ирина Орищенко*—автор-исполнитель, лауреат XXIII Грушинского фестиваля (1996).
13. *Сергей Наумов*—автор-исполнитель, дипломант XXV Грушинского фестиваля (1998), сейчас живёт на Украине.
14. *Г.М. Васильев*—журналист, лауреат XVIII Грушинского фестиваля (1991), президент шарыповского, красноярского клубов КСП (1988). Автор сборника стихов «Посвящение друзьям» (Красноярск, 1996). См. о нём также: «Семь нот» («ДиН» №4/1994) и сборник авторских песен «Романс листочка на ветру» (Красноярск, 2000).
15. Дуэт *Ларисы Ялынской* и *Евгения Савельева*—лауреат XVIII Грушинского фестиваля (1991). Оба исполнителя сейчас живут и работают в Москве.
16. Дуэт *Ирины Абушаевой* и *Марины Томиловой*—лауреат XXVI Грушинского фестиваля (1999). Томилова работает в министерстве спорта в Москве, Абушаева преподаёт музыку в Томске.
17. *Ю.Ю. Шевчук* (1957 г.р.)—рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» (1980).
18. *С.В. Шнуров* (1973 г.р.)—эпатажный рок-музыкант, лидер групп «Ленинград» (1997) и «Рубль» (2008). В песнях повсеместно использует ненормативную лексику.

ритмика, ни тексты. Наша, русская поэзия, наша, русская музыкальная гармония. А главное, авторская песня, в отличие от рока (не в обиду будь сказано его фанатам), популярна среди мыслящей молодёжи. В ней ощущается не только присущий молодым фрондёрский привкус, но и желание видеть общество другим — менее лицемерным, циничным, более человечным.

И хотя всеми уважаемый Б. Ш. Окуджава при жизни неоднократно заявлял, что авторская песня родилась в шестидесятые годы «на московских кухнях», — вынужден с присущей мне бестактностью заявить: мэтр ошибался. Чтобы не дискутировать на эту тему, отсылаю читателя к моему эссе «Семь нот» («ДиН» № 4/1994), в котором я относил появление авторской песни аж к девятому веку до н. э. Именно в ту пору она появилась — и не «на московских кухнях», а на заре человечества. В Древней Греции.

Опять не верите?

Тогда укажу ещё на один авторитетный источник — А. М. Городницкого, известного учёного, барда, песни которого я, да и все мои ровесники, распевали ещё в 1964 году, на первом курсе. В своей книге «След в океане» он тоже пишет: «…Если мы заглянем в нашу раннюю историю, в античные времена, то убедимся, что авторская песня существовала всегда. Задолго до появления печатных станков и даже письменности. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. При этом изустное творчество было неизменно связано со струнными инструментами: арфа, гусли, саз, гитара».

Как хотите, а я больше доверяю Городницкому — всё же не просто бард, а ещё и геофизик, Платона знает, Атлантиду искал. Но если авторскую песню поют более двух тысяч лет, и не только в разных странах, а даже в различных общественно-экономических формациях, — значит, это уже давно не субкультура. Это подсистема, существующая… Для чего?

Положим, я могу ответить. А вам самим слабо́ догадаться?

И вот в 1967 году в Красноярске появился парень, чьи песни сразу и повсеместно запела молодёжь. Да не только у нас. Упоминавшийся выше Геннадий Васильев рассказывал, как школьником в Томской области организовал с друзьями вокально-инструментальный ансамбль, исполнявший кем-то слышанные песни Бендюкова. Причём тогда никто из них не слыхал даже имени автора песен, с которым Геннадий познакомился через много лет.

Почему же сегодня о Бендюкове практически никто ничего не знает? В Интернете можно послушать песни Бена. Старые столбисты его тоже помнят. Но из памяти красноярского сообщества время, когда он считался неформальным лидером молодёжного объединения авторской песни, както незаметно выветрилось. Будто этого времени не было. Почему?

Потому что неформал? Или покупной торт всегда кажется слаще домашней выпечки?

В науке это называется коллективной амнезией — потерей обществом коллективной памяти. Коллективная память — одно из основных отличий человека от прочего животного мира. Говорят, с её утратой общество перестаёт эволюционировать. Академик РАН Н. Н. Моисеев, известный трудами по разработке моделей биосферы в условиях антропогенного воздействия, пишет в своих мемуарах «Как далеко до завтрашнего дня»: «Человек — единственное животное, создавшее коллективную память и коллективный интеллект. Осьминоги, чей мозг сопоставим с человеческим, не имеют ни коллективной памяти, ни коллективного интеллекта. Поэтому их развитие завершено».

То есть если будет утрачена связь с прошлым, нас ждёт судьба осьминогов. Забавно?

Вот для того, чтобы сохранить коллективную память о времени, когда молодёжь тянулась к Юре и его песням, сохранить коллективный интеллект той поры, мы, его друзья, решили издать книгу о Юре Бендюкове — поэте, музыканте, гитарном мастере. Когда это удастся сделать — не знаю, потому и спешу рассказать о нём хотя бы на страницах журнала.

## Бен

Под этим именем его знали по всей Сибири: в Новосибирске, Норильске, Томске и других городах. Он родился 22 марта 1946 года в селе Ширяево Одесской области. Возможно, от родителей Бен и унаследовал музыкальные способности. Маму, Любовь Петровну, до войны брали в свердловскую консерваторию, а отец, Павел Иосифович Бендюков, играл на аккордеоне, впоследствии в Ульяновске преподавал теорию музыки в одном из училищ. Но война внесла свои коррективы в их судьбы: Любовь Петровна стала военным санинструктором, а Павел Иосифович — артиллеристом. На фронте и познакомились.

После рождения Юра с родителями уехал в Китай, к новому месту службы отца. Там родители разошлись, и мальчик, уже вместе с отчимом, Мефодием Кузнецовым, и мамой приехал в Красноярск, где до шестнадцати лет звался Юрой Кузнецовым. Мама, Любовь Петровна, сперва работала директором гастронома, но потом всё чаще стала заглядывать в рюмку, её понижали в должности, наконец — уволили. Это была беда многих фронтовиков. Но пьющий мужчина — картина привычная, а вот когда запивает женщина…

В таких случаях Бена отправляли в Усть-Дербино, где жили родители отчима — его дедушка и бабушка. Можно только догадываться, что чувствовал мальчик, у которого мама пила, вместо отца

был отчим (да и тот умер в 1952 году), и даже дед с бабкой были неродными. Зато в Усть-Дербино он мог рыбачить, ездить в ночное, там появились друзья и первая полудетская безответная любовь. Но подходил срок, ему надо было возвращаться к матери в Красноярск, где он снова оставался один на один с самим собой.

А одиночество рождает поэтов…

Этой ночью луна
Мне уснуть не даёт.
Знать, река Дербина
Посылает привет.
Что ж, сегодня без сна
Повстречаю рассвет.
Сбереги, тишина,
Светлой памяти след.

Это детство моё,
Это юность моя
Укоряют меня,
Что души не сберёг,
Не сберёг чистоты
В паутине дорог,
Был неправильно добр
И неправедно строг.

Я скакал на коне,
Вылетал из седла,
Я срывался со скал
И купался в вине.
Я летал над землёю
Мальчишкой во сне,
Видел счастья улыбку
И горя оскал…

Впоследствии, когда в 1993 году мать умерла и Бен попросил помочь похоронить, он немало порассказал о своём противоречивом отношении к ней. Не буду повторять того, что он говорил, да и забыто многое за давностью лет. Помню, мы с Сашей Альшанским[19], принимавшим участие в этом скорбном деле, помалкивали. Саша тоже сочинял песни, был участником нашего клуба и другом Юры. И никто из нас тогда подумать не мог, что в 2007 году Сашу похоронят здесь же, через могилу от места упокоения матери Бена.

## Если бы молодость знала…

Когда Юре исполнилось шестнадцать лет, пришла пора получать паспорт. Он поехал к своему отцу в Ульяновск, где записался на его фамилию — Бендюков. И если в детстве у него была школьная кличка — Кузя, то с получением паспорта детство кончилось. С этого времени и до самой смерти его будут звать — Бен.

Ещё в школьные годы Бен стал ходить в городской Дворец пионеров, где в авиамодельном кружке делал планеры, учился работать с деревом — строгать, сверлить, пилить, клеить, — что впоследствии пригодилось. После школы поступил в ПТУ, где учился на слесаря. И там, начав, как и все ребята, играть на гитаре (а гитары у нас в подавляющем большинстве были тогда работы нашей большемуртинской фабрики), задумался над тем, можно ли улучшить качество звука и как это сделать. Он начал изучать гитару: снимал верхнюю деку, смотрел, как приклеены пружины, пробовал менять схему их расположения. Тут впервые и пришла в голову мысль попытаться сделать гитару самому.

Укрепился он в этой мысли, когда после ПТУ стал работать настройщиком на фабрике пианино. Там Бен впервые увидел и начал сравнивать структуру различных древесных пород в процессе распила, обработки и сушки, их резонансные свойства, необходимые для музыкальных инструментов. Попутно освоил профессию столяра-краснодеревщика.

Однако на фабрике пианино Бен долго не задержался. Он органически не переносил однообразной, конвейерной работы. Сам как-то признался в одном газетном интервью: «Менял работы, как перчатки. Придёшь куда-нибудь, устроишься, махом освоишь, а дальше становится неинтересно. Скучно…»

На «Столбах», где Бен бывал, как и остальная красноярская молодёжь, он встретил В. И. Дитриха[20], профессора, преподавателя политехнического института. Они познакомились в «беркутянке», старой столбистской избе, построенной ещё в 1918 году. И Дитрих помог Юре устроиться в СибНИИЛП (Сибирский научно-исследовательский институт лесной промышленности). Там по проектам инженеров Бен делал макеты различных машин с навесными универсальными манипуляторами. Один из его макетов даже попал на ВДНХ.

Там же, в СибНИИЛП, он начал делать гитары. И это стало делом всей его жизни — не однообразной подёнщиной, а неограниченным полем поиска. Где всегда рождалась новая идея, новая схема, новая модель — новая гитара. Материал для гитары Бен подбирал на фабрике пианино, в старых, разбиравшихся на дрова домах выбирал стропила, а однажды на свалке обнаружил брошенный диван, обивка которого скрывала сухую дубовую основу. Наконец, нашёл постоянный источник — превосходный материал на забытых таёжных гарях — и ежегодно пополнял там запасы. Первую свою

19. *А. М. Альшанский* (1950–2007) — окончил новосибирскую физико-математическую школу и Красноярский филиал НГУ по специальности «Биофизика». Бард, член красноярского КСП, песни писал с 1968 года («Романс листочка на ветру», Красноярск, 2000).

20. *В. И. Дитрих* — профессор, преподаватель политехнического институту в шестидесятые годы.

гитару сделал в 1967 году. Сам себе был и конструктор, и дизайнер, и мастер-краснодеревщик.

А в ноябре 1967 года состоялся первый Красноярский фестиваль самодеятельной песни; организатором его стал один из руководителей молодёжного клуба «Горизонт» Виталий Крейндель[21]. В технологическом институте прошёл конкурс, а на заключительный концерт собралось столько народу, что серьёзно опасались обрушения балкона. Балкон, слава Богу, выдержал, и одним из победителей конкурса стал Бен.

В марте 1968 года трое участников конкурса — Бендюков, Ерёмин[22] и Мельцер[23] — поехали на знаменитый Новосибирский фестиваль, где собрались ленинградские, свердловские, московские и другие барды — всего двадцать семь авторов из двенадцати городов. И главное — ожидался приезд Александра Галича[24]. Про фестиваль, триумф Галича и книг понаписано, и в Интернете есть сайт с мемуарами участников, фотосессией… Но наших ребят нигде не вспоминают.

А они тогда приехали практически раньше всех. И по просьбе организаторов фестиваля начали концерт 7 марта, до официального открытия: билеты были уже раскуплены, народ истомился от слухов, циркулировавших по городу (разрешат — не разрешат, приедут — не приедут), а основных участников — москвичей, ленинградцев — нет. Начали Ерёмин и Бендюков (у Мельцера голос сел, его песни пел тоже Бендюков). А уж потом появился Галич, за ним — московские журналисты, московские барды. И кого из них интересовало, что там было в Доме учёных до их появления? Зато обо всём, что происходило потом, сегодня можно самым подробным образом узнать из Интернета, книг, публикаций.

Журналистам, да и прочим, не было никакого дела до наших ребят, что вполне понятно. Во-первых, в сравнении с приезжими именитыми бардами они были «малоизвестными». Во-вторых, все пасли Галича: организаторы фестиваля, барды, киношники, гэбэшники… Поэтому я не особо удивился, вычитав в программе концерта 8 марта в Доме учёных — в Интернете, на сайте Новосибирского фестиваля 1968 года, — что песни А. Мельфера (так окрестили Мельцера) исполнял Ю. Третьяков (то есть Ю. Бендюков).

А что касается гитары, на которой играл Галич, — тут вообще полный абзац: и москвич Сергей Смирнов, и ленинградец Валентин Глазанов[25] — каждый утверждал, что мэтр на сцену выходил именно с его гитарой. Я же не раз слышал от Бендюкова и Ерёмина, что Галич аккомпанировал себе на гитаре Ерёмина, а перед выходом всегда просил Бена проверить, как она «строит». И кто из них, по-вашему, прав? У меня лично сомнений нет! Хотя вся эта история с гитарой, на которой играл Галич, чем-то напоминает мне хохму с бревном, которое однажды Ленин нёс на субботнике в Кремле.

Наши барды получили автографы Галича: у Ерёмина он расписался прямо на его гитаре, у Бена с Мельцером — на входных билетах. Участвовали ребята и в нескончаемых диспутах, проходивших в Академгородке. Однажды московская журналистка, пытаясь примирить противников бардовской песни и её сторонников, призвала снисходительно относиться к песням бардов, сославшись на их непрофессионализм в поэзии. Но Мельцер, оппонентами которого в пору его занятий в поэтическом объединении при ленинградской молодёжной газете «Смена» были Л. Васильева[26] и И. Бродский[27], — возмутился: «Это почему нас надо пожалеть? Температура поэтического жара может быть разной, что у меня, что у Маяковского, — но градусник, согласитесь, должен быть один. Поэтому не надо заранее относиться к творчеству бардов как к поэзии второго сорта».

Там, в Новосибирске, после ночного концерта в комнату к красноярцам (их разместили в общежитии) пришёл корреспондент журнала «Турист» и попросил у Бена песню. Ребята к утру переложили её на ноты, и «Турист» опубликовал песню с его автографом. Она была в духе тех лет, пафосная, и, может, сегодня кому-то захочется упрекнуть Юру в сервилизме:

Уходит юность к вершинам белым,
Шагает всюду под небом синим,
Уходит юность тропою смелых
Туда, где трудно, где место сильным.

21. *В. Е. Крейндель* (1944 г. р.) — радиоинженер, один из основателей молодёжного клуба «Горизонт» в шестидесятых годах, инициатор первого Красноярского фестиваля авторской песни.

22. *Н. Н. Ерёмин* (1943 г. р.) — поэт, прозаик, член Союза писателей с 1981 года.

23. *А. С. Мельцер* (1936 г. р.) — старший инженер ВНИЦ, автор песен и стихов. См. «Кто есть кто в Красноярском крае» (1993), «Романс листочка на ветру» (2000).

24. *А. А. Галич* (1918–1977) — поэт, киносценарист, бард. После Новосибирского фестиваля началась его травля, он был исключён из Союза кинематографистов, Союза писателей, в 1974 году эмигрировал, работал в Мюнхене и Берлине на радио «Свобода». По официальной версии, погиб в результате несчастного случая.

25. *В. Е. Глазанов* (1931 г. р., СПб) — инженер, автор-исполнитель; С. Смирнов — московский бард. О них см.: *М. Аронов*. Александр Галич. Полная биография. М., 2012.

26. *Л. Н. Васильева* (1935 г. р.) — автор сборников стихов, прозы, в т. ч. книг о жизни кремлёвской элиты.

27. *Иосиф Бродский* (1940–1996) — поэт, в 1964 году по сфальсифицированному обвинению приговорён к ссылке, в 1972 году выслан за границу. В Америке преподавал русскую литературу, получил гражданство. Лауреат Нобелевской премии (1987).

Ушли ребята, ушли упрямо,
Остались дома сироты-мамы.
Ушли ребята затем, чтоб просто
Зажечь в Саянах другие звёзды.

Над котлованом, встречая зори,
В земных делах в чудеса не веря,
Ребята знают, что скоро море
Волной окатит таёжный берег.

А вечерами под небом синим —
Нестройный хор голосов усталых.
Поют ребята о Бригантине,
О ЛЭП-500, о тайге, о скалах…

Да, сегодня звучит наивно. Однако когда песня сложилась, Бену минул двадцать один год, и он был абсолютно искренен в своём идеализме — а это, согласитесь, нечто совсем иное, нежели сервилизм. Мне возразят, что и его ровесник Вадим Делоне[28] был искренен, когда шёл на демонстрацию в защиту диссидентов, где его арестовали. Всю свою короткую жизнь (он умер в тридцать шесть лет) Делоне оставался противником советского романтизма и, конечно, никогда не сочинил бы подобных стихов. У него были другие стихи — обличительные.

Но, во-первых, Делоне в глаза не видел ребят, строивших все эти ГЭС и ЛЭП. Говорю не в укор: диссидент рушит, романтик строит — каждому своё. Человеку, поверившему в песни Галича, трудно поверить в рукотворные моря, созданные не зэками, а романтиками, вроде тех, что в стихах у Бена. А я их знал, с некоторыми даже встречался: с Солнцевым[29], Белкиным[30], Марчуком[31]… Это потом время поделит их на сторонников и противников нынешнего сообщества. Тогда же они мчались в одном поезде и во всё горло распевали:

А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

Во-вторых, Бен и Делоне — из разных миров. Делоне рос в другой среде: жил в Москве, учился в пединституте, имел непростую родословную. Дед, Б. Н. Делоне[32], был знаменитым математиком, который, как только внука начал прижимать КГБ, отправил Вадима к бывшему ученику, академику А. Д. Александрову[33], в Новосибирск. Тот поселил его в своём коттедже, где Вадим мог, не опасаясь гэбэшников, слушать передачи западных «голосов» о Пражской весне и об угрозе вторжения советских войск. С приездом Галича Делоне был рядом на всех «посиделках», читал ему свои стихи… Короче — диссидент.

Но кто знает, что вышло бы из этого диссидента, родись он не в Москве, а где-нибудь у нас в Канске? Может, комсомольский поэт, а может, что и похлеще. Вы про «синдром солёного огурца» слышали? Тут главное — вовремя угодить в нужный рассол. Рассолу всё равно, кого довести до кондиции: хоть человека, хоть овощ. Да имей Бен такого деда и такие возможности, он, может, тоже стал бы диссидентом. Но он вырос не в московской профессорской семье, а в сибирской глубинке. И сочинял песни про то, что видел вокруг: про строительство Саяно-Шушенской ГЭС, про Ману, «Столбы»…

Так что не судите — не судимы будете.

Чем кончился Новосибирский фестиваль, известно. К тому же в дни фестиваля «Голос Америки» передал текст письма сорока шести научных сотрудников Сибирского отделения Академии наук и сотрудников Новосибирского университета в защиту диссидентов Гинзбурга[34],

28. *В. Н. Делоне* (1947–1983) — поэт, диссидент. Исключён из Московского пединститута за попытку создать независимое общество писателей (с В. Буковским и И. Галансковым). 1967 — за участие в демонстрации протеста против ареста Галанскова девять месяцев провёл в тюрьме. 1968 — арестован на Красной площади за участие в демонстрации против ввода войск в Чехословакию. 1975 — покинул СССР, остаток жизни провёл в Париже.

29. *Р. Х. Солнцев* (1939–2007) — прозаик, поэт, выпускник Казанского университета (1961), работал в геологических партиях Сибири, журналистом в Красноярске, первый сборник стихов вышел в 1964 году, окончил Высшие литературные курсы (1973). Автор книг стихов и прозы, сценариев спектаклей и фильмов. Основатель журнала «День и ночь» (1993).

30. *В. Н. Белкин* (1931 г. р.) — поэт, выпускник Ярославского пединститута (1952), по комсомольской путёвке осваивал целину в Казахстане (1954). С 1956 года — один из первых строителей Красноярской ГЭС. Живёт в Дивногорске. Издал более десятка сборников стихов. См. интервью с ним в «Красноярских профсоюзах» № 6/13.06.1997.

31. *А. Н. Марчук* — бывший строитель Братской, Усть-Илимской, Колымской ГЭС, доктор технических наук. Ему посвящена песня А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Марчук играет на гитаре». См. интервью с ним в «Красноярских профсоюзах» от 31.12.1998–8.01.1999.

32. *Б. Н. Делоне* (1890–1980) — математик, член-корреспондент АН СССР.

33. *А. Д. Александров* (1912–1999) — математик, академик РАН, лауреат Госпремии (1942).

34. *А. И. Гинзбург* (1936 г. р.) — учился в МГУ. В 1959–60 годах за редактирование журнала «Синтаксис» осуждён на два года. В 1966 году за сбор документов по процессу А. Синявского и Ю. Даниеля («Белая книга») — пять лет строгого режима. 1972 — создал с Солженицыным Фонд помощи политзаключённым. 1974 — после изгнания Солженицына распорядитель Фонда его имени (гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ»). 1976 — основал Московское отделение Хельсинкской группы. 1977 — получил новый срок. 1979 — обменян на двух советских шпионов. Живёт в Париже. Редактор газеты «Русская мысль».

Галанскова[35], Добровольского[36] и Лашковой[37]. Многие подписанты входили в число организаторов фестиваля. Поэтому власть решила в буквальном смысле из теплицы Академгородка пересадить их в открытый грунт — чтобы другим неповадно было. Михаила Макаренко[38], вручившего Галичу серебряную копию золотого гусиного пера, некогда подаренного Пушкину, приговорили к восьми годам строгого режима. Доктора биологических наук Раису Берг[39] уволили из института цитологии и генетики. Анатолия Бурштейна[40], президента клуба «Под интегралом», лишили кафедры в университете. И т. д.

А Вадим Делоне уехал в Москву и 25 августа с семью единомышленниками вышел на Красную площадь в знак протеста против ввода наших войск в Чехословакию. Их моментально скрутили, избили и увезли. В этот раз даже дед не смог ему помочь…

В сравнении с новосибирцами красноярцы потерь не понесли. Никто из партийных бонз не корил их за участие в скандальном фестивале, «Горизонт» не закрыли, магнитофонные записи песен Бена с новосибирского фестиваля Крейндель потом слышал даже где-то на Байкале. И только когда они решили пригласить в Красноярск Евгения Клячкина[41] — над ними разразилась гроза. Организаторов клуба Крейнделя, Кравченко[42] и Лившица[43] вызвала в горком партии сама Н. П. Силкова[44] (я слыхал, что она послужила Астафьеву прототипом партийной дамы в его «Печальном детективе») и заявила, что пока она здесь, Клячкин в Красноярск не приедет. Организаторы поняли, что отныне шаг влево, шаг вправо будет считаться побегом, а «заниматься художественной самодеятельностью», как советовала Силкова, они не собирались. И «Горизонт» прекратил своё существование.

А Бен к этому времени стал своим человеком на «Столбах». И вполне прилично лазал по скалам — но однажды сорвался с «Авиатора» (так называется сложный ход на вершину «Перьев» по вертикальному ребру центрального «Пера», имеющего вид пропеллера). Падение стоило ему сотрясения головного мозга, от которого Бен потом страдал всю жизнь головными болями. И это ещё — слава Богу: на «Столбах» редкий год обходился без того, чтобы кто-нибудь не упал со скалы. Причём срывались не только новички. 6 августа 1989 года легендарный столбист Володя Теплых[45] упал с «Перьев», всегда покорявшихся ему раньше. Из-за ерунды погиб: недалеко от вершины под галошу попал крошечный камушек. И сорвался Володя, и пролетел двадцать метров до земли за пять секунд.

Если бы молодость знала…

Впрочем, на «Столбах» Бен был больше известен своими песнями. Кудрявый, красивый, с мушкетёрской бородкой, в кожаной лётной куртке на «молнии», с гитарой, на которой выжжено «Бен», он производил неотразимое впечатление, особенно на девчонок. А если где-нибудь в столбистской избе они сходились с Володей Хаскиным[46] — это был аншлаг. Начинали петь вечером, заканчивали под утро. Набивалась изба до отказа, слушали, затаив дыхание. И когда гитару брал Бен, зрители

35. *Ю. Т. Галансков* (1939–1972) — диссидент, редактировал самиздатовский журнал «Феникс» (1966), неоднократно помещался в психиатрические заведения. Арестован в 1967 году, приговорён к восьми годам лишения свободы. Погиб в мордовских лагерях.
36. *А. А. Добровольский* (1938 г. р.) — участник диссидентского движения пятидесятых-шестидесятых, член НТС, на «процессе четырёх» (1968) «сдал» подельников, чем сократил своё наказание. Сейчас — идеолог славянского неоязычества, национал-анархист.
37. *В. И. Лашкова* (1945 г. р.) — участник диссидентского движения. В шестидесятых годах училась на режиссёрском факультете Московского института культуры, работала машинисткой. В 1966 году перепечатывала самиздатские сборники, в связи с чем была арестована, осуждена к году тюрьмы, освобождена с зачётом проведённого в СИЗО времени. Живёт в Москве.
38. *М. Я. Макаренко* (1931 г. р.) — организатор в Новосибирске картинной галереи, где пропагандировал Шагала, русских и зарубежных художников. КГБ закрыл галерею, Макаренко был обвинён в антисоветской деятельности, приговорён к восьми годам л/с. В 1978 году, после освобождения, уехал в Германию, затем в США.
39. *Р. Л. Берг* (1913 г. р.) — биолог, генетик, работала в Новосибирске. После репрессий в связи с правозащитной деятельностью в 1973 году уехала из СССР.
40. *Анатолий Бурштейн* — президент клуба «Под интегралом». Эмигрировал в Израиль.
41. *Е. И. Клячкин* (1934–1994) — выпускник Ленинградского инженерно-строительного института, автор-исполнитель. Песни начал писать с 1961 года. Выступал в Лен- и Госконцерте. Эмигрировал в Израиль в 1990 году.
42. *В. В. Кравченко* (1937 г. р.) — радиоинженер, лауреат Государственной премии СССР, в шестидесятых годах работал в конструкторском бюро радиотехнического завода, один из организаторов молодёжного клуба «Горизонт», сейчас пенсионер.
43. *В. Л. Лившиц* — радиоинженер, один из организаторов и председатель молодёжного клуба «Горизонт» в 1967 году.
44. *Н. П. Силкова* (1939 г. р.) — первый секретарь Иланского РК ВЛКСМ, секретарь Центрального РК, затем ГК КПСС Красноярска. Будучи секретарём КК ВЛКСМ, КК КПСС, без отрыва от производства окончила Красноярский пединститут. Отозвана в Москву, назначена замминистра культуры. После развала СССР — секретарь ЦК КПРФ.
45. *В. К. Теплых* (1946–1989) — красноярский столбист, придумавший новые способы восхождения на скалы («Петля Теплых»). Трагически погиб при восхождении на «Перья».
46. *В. Я. Хаскин* (1950–1997) — спортивный фотокорреспондент, один из основателей КСП в Красноярске.

записывали его песни или запоминали на слух (портативные магнитофоны были редкостью)—а на другой день они звенели на «Столбах». Ещё через пару дней их пели уже в общагах Красноярска. Потому что никто и никогда не слыхал ни у Визбора, ни у Высоцкого таких песен про рисковых и бесшабашных парней:

С тобой беда такая приключилась,
Что я к тебе привыкнуть не могу,
Ведь у тебя недавно появилась
Первая извилина в мозгу.

Ха-ха! Держись покрепче за кушак,
А то ты в пропасть шлёпнешься, дурак.
И мы пойдём под лунный свет.
Найдём тебя мы или нет?
А коль найдём, то только твой скелет.

Эту песню Бена, да ещё с гитарными фиоритурами, до сих пор поют на «Столбах»—«своя»! Певали её, наверное, в компании с Беном и Володя Теплых, и Володя Хаскин.

А 2 апреля 1997 года Володю Хаскина хоронили—погиб в автокатастрофе. Мы готовили концерт в Доме офицеров, там должны были петь Бен, Васильев, Поповы[47]—словом, все наши. Я накануне вечером позвонил Хаскину, попросил исполнить с Серёжей Поповым «Месяц спрятался за рощу»—у них это здорово выходило. Но он ответил, что договорился с машиной и ему надо ехать в Новосибирск, снимать какие-то состязания (он спортивный фотограф). Я сам журналист, понимал, что такое срочное задание. Но не знаю почему, без всякой надежды на успех, долго уговаривал его остаться и выступить с нами в концерте: «Плюнь ты на эту поездку, мы так редко бываем вместе. Попоём, тяпнем по чуть-чуть…»—«Не могу, Валера, скоро будет машина»,—были его последние слова, и мы попрощались.

Назавтра узнал: после разговора, ночью, он выехал и где-то под Новосибирском разбился.

## Если бы старость могла…

Однако я забежал вперёд. После того как «Горизонт» самораспустился, наступила пора безвременья. Кто-то относит возрождение клуба к 1972 году, кто-то связывает это с деятельностью Б. П. Соустина[48], стараниями которого Евгений Клячкин всё-таки побывал в Красноярске—вопреки пророчеству Силковой. Кстати, впоследствии Клячкин играл на гитаре, сработанной Беном. Вам, однако, про это время лучше узнать из книжки «Романс листочка на ветру» (Красноярск, 2000), предисловием к которой служит краткий очерк истории авторской песни в Красноярске, написанный Я. М. Кофманом[49].

Я же сошлюсь на Бена, рассказавшего об этом в газетных интервью: «Всё возродилось после 1972 года. Точно не помню, я как-то отошёл от дел: всё гитары, гитары… Потом смотрю: что такое? Пять человек сидят, обзываются городским клубом. Собрал старых ребят, и мы опять начали с нуля. Серёжа Попов—президент КСП, я—художественный руководитель; организовали фестиваль. С этим свяжешься—и уже навсегда».

Сейчас не могу припомнить, кто познакомил нас с Беном. Это было где-то в восьмидесятых годах. Узнав, что я сочиняю песни и пою под гитару, он затащил меня в городской КСП. Пришёл я туда не без опаски, поскольку уже имел печальный опыт на эту тему. Летом 1968 года, аккурат после Новосибирского фестиваля, у нас в Свердловске был смотр студенческой самодеятельной песни. На заключительном концерте за пять минут до выступления меня подвели к «куратору» смотра. И тот мягко, но настойчиво потребовал заменить песни про Вечного Жида («В зале же есть евреи!») и Вовку Снегирёва[50] («Да он у вас там с военной кафедрой конфликтует!») песней о любви («И зрителям приятно, и вам спокойней!»).

Я взбеленился, нахамил «куратору» и ушёл с концерта. Назавтра у меня была защита диплома, после неё декан по секрету сообщил, что утром звонили «оттуда», спрашивали, что я за человек, когда у меня защита и куда распределяюсь. Декан, добрая душа, соврал, что я защитился досрочно, завербовался на Север и уехал, куда—он не знает. Придвинулся ближе и тихо процитировал незнакомого мне тогда Апдайка: «Беги, кролик, беги!»

Именно так я и сделал. Думаю, это помогло избежать серьёзных неприятностей.

47. *С. П. Попов* (1950 г. р.)—выпускник Сибирского технологического института, один из организаторов и президент красноярского КСП (1987), провёл на острове Сосновом близ Красноярска I Сибирский фестиваль авторской песни. С женой Н. Н. Поповой (1960 г. р.), выпускницей КИЦМ, создал ансамбль «АУ» (1989), просуществовавший пятнадцать лет.

48. *Б. П. Соустин* (1933–2001)—доктор технических наук, профессор, действительный член РАТН, РАЕН, заслуженный деятель науки и техники, преподаватель КПИ. Альпинист, один из организаторов бардовского движения в Красноярске.

49. *Я. М. Кофман* (1948–2012)—профессор кафедры отечественной истории педагогического университета, декан факультета начальных классов (1980–2003), проректор по учебной работе (с 2003-го), автор шестидесяти девяти публикаций, двух учебников. Автор-исполнитель песен. См. «Романс листочка на ветру», Красноярск, 2000.

50. *В. Снегирёв*—выпускник УрГУ (1969), участник экспедиции Д. Шпаро к Северному полюсу, собкор «Комсомольской правды» в Афганистане, редактор журнала «Собеседник», автор книг о советском военном присутствии в Афганистане.

Теперь, придя в клуб, я опасался, что опять появятся «кураторы», будут советовать, что и как мне петь. Сегодня уже не секрет, что клубы самодеятельной песни через комсомол контролировались гэбэшниками. К счастью, возле нашего клуба никого из них и близко не стояло. Здесь оказалось много весёлых и талантливых ребят; впрочем, я уже рассказывал об этом в «ДиН» №4/1994. Кто-то хорошо играл на гитаре, кто-то прекрасно пел, кто-то сочинял. И над всем этим царил Бен, который всех собрал вокруг себя. Хотя внешне он ничем не отличался от других, кроме разве одного: его называли по отчеству — Палыч.

И ещё он отличался от всех своими песнями. С возрастом Бен всё реже пел в концертах. Зато когда был в настроении — его надо было слушать. Не знаю, как он это делал, но его песни создавали у слушателя эффект дежавю. Погружаясь в исполняемые им песни, ты погружался в странно знакомую картину, нарисованную будто специально для тебя:

Мы о любви уже не говорим
Не те года, увы, уже не те.
В мельканье дней, в житейской суете
С грустинкой смотрим на календари.

Виски засеребрить торопятся года,
И прячется в сердцах не отданная нежность.
Обманчивый покой, в цепях души мятежность
Да кандалы дороги в никуда.

Не тронь огня души — не вороши,
Не разжигай упрятанные страсти,
Не раздувай огня любви-напасти
И перемены мне не ворожи…

Его всегда считали лирическим автором. Норильский дуэт «Аян» в прошлом году переслал мне диск. Там из десяти исполняемых ими песен шесть принадлежат Бену. И все шесть — лирические: «Свет погасим, у свечи посидим с гитарой», «Робинзон», "Ты не говори мне", «Рябинушка», «Дельфин», «Капитан покинул судно». Лирик…

Но это не совсем так. С годами тема любви, тема безмятежного созерцания окружающего мира сменилась осознанием неизбежности жизненных невзгод. Постепенно всё глубже он уходит в себя, в свои мироощущения. Да и от привычной нашей клубной среды Бен тоже отдаляется. Во-первых, он делал гитары, и это было его заработком. Кроме того, Юра должен был ежегодно уходить в тайгу в поисках материала для своих гитар. И потом, у него же семья. Когда гитары раскупаются, жить можно. А когда нет? А если руки болят, да так, что рубанка не поднять? А ведь заказчик ждать не будет.

Его «Автопортрет на 40 лет» — это откровение, на которое не каждый из нас решился бы. Мы же привыкли скрывать свои неудачи, беды — мы же все гордые… А Бен не скрывал:

Мой дневной рацион — из пакета супчик,
Крепкий чай, моцион — жив ещё голубчик.
Потому не грешу и не выступаю,
Не тельняшку ношу — рёбра проступают.

Только у одного поэта я слышал похожие интонации — то же горькое скоморошье веселье. Правда, тот поэт жил во Франции, в пятнадцатом веке, и звали его Франсуа Вийон. А сочинил он даже меньше, чем Бен: две небольшие поэмы и шестнадцать стихотворений, Всё это издали через двадцать пять лет после его таинственного исчезновения. Причём издали не по рукописям, а со слов людей, знавших стихи наизусть. И сейчас тоненькая эта книжка «томов премногих тяжелей». Так что, по-моему, у Бена ещё есть шанс, хотя он вроде не Вийон и не Галич.

Впрочем, как знать — он ведь тоже не особо стеснялся говорить то, что думал…

Догорела свечка на столе,
И в стакане капли не найти,
И Россия всё ещё во мгле,
Россияне всё ещё в пути…

А пути всегда большой длины.
Что ни день — истории урок.
И такой огромной ширины:
Шлёпаем то вдоль, то поперёк.

Эх, загадка, русская душа…
Ты, планета, нас не презирай.
Можем сделать рай без шалаша:
Две фуфайки — вот тебе и рай.

И живёт Россия без оков —
Век такой свободы не видать:
Рай для сволочей и дураков,
Шито-крыто, тишь да благодать…

Погиб Бен три года назад, совершенно нелепо: от непотушенной сигареты в квартире вспыхнул пожар. Бушевавший огонь каким-то чудом обошёл незаконченные гитары, висевшие на стене, но Бена опалил смертельным жаром. Через день от полученных ожогов он скончался в больнице. Как и предсказывал в одном из стихотворений:

Вспышкой в ночи — да всё ярче и ярче —
Вдруг мне почудилось в сонном бреду:
Я на шесте, гуттаперчевый мальчик,
И под ногой ощутил пустоту.

В бездну сорвусь без начала и края,
В ночь, сквозь последнюю в жизни беду.
Может, к вратам поднебесного рая,
Может, у адских ворот упаду…

Вдова Бена, Ирина, мечтает с помощью друзей закончить создание уцелевших в огне инструментов

и подарить их детям. Чтобы у каждого была память об отце — его гитара.

Юрин новосибирский друг, Володя Брусенцов[51], автор-исполнитель и гитарных дел мастер, уже взялся за их завершение. А мы, его красноярские друзья, через сорок дней после смерти Бена собрались в нашем клубе, в Доме учителя, и решили сделать книгу о нём — поэте, музыканте и гитарном мастере.

Это — один из её фрагментов.

## Юрий Бендюков

### Колыбельная самому себе

Мне годы говорят, жестокие невежды,
Что никогда уже мне ран не залечить.
Порывы догорят, а юности надежды —
Растаявший дымок погашенной свечи.

О Боже, как спешу на свет в конце тоннеля.
Недопитый бокал мятущейся души…
Люблю, пою, дышу — и вот уже похмелье,
Но я ещё своей свечи не затушил.

Веди меня, Звезда, вперёд, судьбе навстречу,
Куда стремглав несёт река без берегов.
Что мне мои года? — пока ещё не вечер,
И может, повезёт в игре без дураков.

Не сложенный очаг не остаётся детям,
А песня, что не спел, забвенья не простит.
Гори, моя свеча, не дай покоя, ветер,
Покуда надо мной Звезда моя летит.

### Капитан

Капитан покинул судно,
Капитану очень трудно,
И звучит на корабле: «Отдать швартовы!»
Пыхнув трубкой прогоревшей,
Лет на десять постаревший
Капитан уходит улочкой портовой.

И теперь не спит ночами,
Не поймёт, о чём скучает,
Не поймёт, о чём грустит, о чём мечтает.
Обошёл всего полсвета,
И его тревожит это:
Капитану снова моря не хватает.

Никуда седин не денешь,
Курс на старость не изменишь.
Только ты не усидишь, пожалуй, дома.
Снова из дому без спроса
Убежишь простым матросом,
Как когда-то, избегая лиц знакомых.

*Припев:*

Прощай навсегда, солёная вода!
Привет берегам, где бывать не довелось!
А штурманам совет — не перепутать курс,
А капитанам молодым — морской привет!

### Манская зарисовка

След одинокой луны на воде,
Искры костра салютуют мгновенно.
Топится банька — я тоже у дел:
Листик к листку шью берёзовый веник.

Кажется мне, здесь я вечно живу,
Здесь и умру, и, наверно, воскресну.
Чудная ночь! Словно сон наяву:
Не у костра — у камина и в кресле.

Речка, мурлыча журчащей водой,
Рвётся в века из-под лунной дороги.
На берегу старикашка седой
Ловит на жизнь, озабоченно-строгий.

Выбив морзянку, слезинки дождя
Вдруг мне расскажут, о чём и не ведал.
Как не хочу уходить, уходя
В мир, где нет листьев и лунного света!

Что принесёт мне мой завтрашний день?
Что будет утром: проблемы, задачи?..
Мне б в изголовье да лунную тень —
Может быть, чуда, а может, удачи.

Пальцы по струнам — и звуки плывут
Лунной дорогой до лунной орбиты.
Переживу этот сон наяву —
До переезда в иную обитель…

51. *Владимир Владимирович Брусенцов* («Поручик Брусенцов», Новосибирск) — автор песен, гитарный мастер. Родился 20 июня 1959 года. Окончил Томский политехнический (ныне) университет. В настоящее время — свободный художник. Окончил четыре класса музыкальной школы по классу баяна. Играет на шестиструнной гитаре. Первая песня — «Гитара милая, звени…». Пишет песни, в основном на стихи В. Сосноры, Н. Гумилёва, О. Чухонцева, Плещеева. Немного — на свои стихи. Был членом томского клуба «Пьеро». В 1977 году участвовал в дуэте и ансамбле. С 1977 по 1985 год участвовал в фестивалях в Томске, Москве, Владивостоке, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке. Было отмечено исполнение песен В. Луферова и В. Туриянского. Принимает участие в работе жюри фестивалей и конкурсов.

## Душа

Что ж ты, душенька, не поёшь?
Что ж ты, милая, так грустна?
Слышишь, музыку долбит дождь
По стеклу моего окна?

Это жизнь, как клюкой слепой,
Бьёт в окно: «Запрягай коня!»—
Чтоб любою уйти тропой—
К счастью, что где-то ждёт меня.

Что ж ты, душенька, не спешишь?
Дождь в ночи—как сигнал: «Подъём!»
И вопросами не души,
Как же мы пойдём под дождём.

Как пойдём—не твои дела.
Я усталый и злой, как зверь.
Я собрался, а ты легла.
Эй, душа,—открываю дверь!

Не скули, душа, не скули,
Что к дороге желания нет.
Наши стёжки давно в пыли—
Так оставим последний след.

И расставим в ночи огни
Тем, кто следом, устал, продрог.
Молодец! Запрягай, гони—
Метить вёрсты земных дорог.

## Красноярску

Горы спрятали закат,
Ночь пришла издалека,
К Енисею тишину принесла.
Красноярск зажёг огни,
Серебром купаясь в них,
Чья-то песня по волнам поплыла.

Город песню нам сложил,
Как он строился и жил,
Как старел и молодел триста лет.
В этой сказке не мечты—
Просто я и просто ты,
Просто то, как мы идём по земле.

Вечно молод, как и мы,
От весны и до зимы,
С ним все радости делить и печаль.
С ним нам много-много лет
Что-то строить на земле,
С ним морщины на лице отмечать.

## Без названия

Зарастает быльём прожитое,
Улетают года в никуда.
Где ж ты, время моё золотое,
Убежавшая к морю вода?

Где Надежда—надёжная пристань?
Где ты, Веры блаженный дымок?
А Любовь—пожелтевшие листья—
Всё мне строит чудной теремок.

Теремок из любви и печали,
Он построен на правде и лжи.
Только я по Свободе скучаю—
Потому что свободным не жил.

То Надежда поманит надеждой,
То Любовь за любовью зовёт.
Ну а Вера… да что наша Вера?—
Лишь бумажный цветной пароход.

Я печально пройдусь по погосту,
Как обычно, в Родительский день.
Не погост, а Таинственный Остров:
Где-то след, где-то свет, где-то тень.

Злой, и Добрый, и Белый, и Красный—
Все ушли из мирской суеты.
Снег и листья ложатся прекрасно
И на звёздочки, и на кресты…

Все мы странники в поисках рая,
Бой с судьбою один на один.
Я дорогу себе выбираю,
Словно утлый челнок между льдин.

Но кому-то и я неугоден,
Гнусь по ветру, ковыль по степи.
Я, как все в этом мире, свободен,
Как свободно кольцо у цепи.

## Юрий Беликов, Андрей Савельев

# Один спартанец в поле воин

«Россия — страна людей с потухшими взорами…» Такое уподобление мне приходилось слышать не раз. И встречать тому подтверждение. В том числе — среди носителей глобальных идей. Однако мой собеседник поразил меня, в первую очередь, тем, что глаза его были переполнены внутренним светом. Они буквально его излучали! Сияли. Признаться, я давно не встречал людей с сияющими глазами. Во всяком случае, в России. Горят они обычно у личностей фанатичных, но Андрея Савельева вряд ли можно было отнести к этому ряду. За всем, что говорил экс-депутат Государственной Думы, доктор политических наук и лидер партии «Великая Россия», сквозили целесообразность, ясность и одухотворённость.

— А ещё он дрался с Жириновским! — как бы по секрету, но не без нотки восхищения сказала мне полушёпотом в библиотечном гардеробе одна из пришедших на лекцию Савельева в Перми представительниц лучшей половины человечества.

Действительно, этот эпизод из думской практики моего визави не вычеркнешь. Лидер ЛДПР, экспансивно крича и жестикулируя, брызгал на него слюной. Савельев не утёрся, а, будучи обладателем чёрного пояса по карате, обозначил удар. Это сначала отрезвило, а потом взъярило Вольфовича. Как обычно, он начал звать телохранителей…

Вот интересно: в отчизне нашей всё ещё жива поговорка «без царя в голове», хотя давно уж нет царей. Стало быть, она для русского человека важна?

Мы говорили с Андреем Савельевым об идее возвращения монархии в Россию, достаточно экзотической для среднестатистического россиянина. Хотя почему, собственно, не поговорить о ней в год 400-летия Дома Романовых? Именно в 1613 году — четыреста лет назад — в Москве Великим Земским собором был избран на царство первый из государей будущей династии — Михаил Фёдорович Романов. Эта дата положила окончание Смуте на Руси. Впрочем, в дальнейшем призрак Смуты будет ещё не раз являться и разгуливать по отчей земле, находя своё воплощение и в наши дни.

*— Андрей Николаевич, поколению, воспитанному на фильмах из серии «Неуловимые мстители» (а мы с вами — оттуда), непросто прийти к мысли, что монархия — лучшая форма правления. По крайней мере, таково ваше убеждение. Почему в России можно всё чаще услышать голоса о монархическом устройстве как форме спасения нашего государства?*

— Во-первых, не для каждого в России монархическая идея созрела. И если она созревает, то не сразу начинает плодоносить. Когда я обратился к идее монархии — естественно, опирался на фундаментальные работы тех, кто ранее над ней размышлял. Для меня, как, впрочем, для многих в начале девяностых годов прошлого века, таким откровением стали книги Ивана Ильина, которые тогда были изданы массовым тиражом. Люди стали их читать и понимать, что есть альтернатива тому, от чего мы только что отказались. Что касается «Неуловимых», то они и сейчас смотрятся бодро и весело, но всё-таки идея монархии в «Короне Российской империи» изображена достаточно карикатурно. И эта карикатурность сохраняется и по сей день. И она справедлива. Хотя, заметьте, борьба происходит вокруг короны Российской империи, и корона оказывается почему-то ценностью. Её же не разобрали на бриллианты?..

*— Стало быть, подспудно большевики, низвергая идею монархии, полагали, что, возможно, сей символ пригодится?*

— Да, если помните, это музейный экспонат, установленный отдельно и, мало того, неусыпно охраняющийся. Но, отвечая на ваш вопрос, я не могу сказать, что монархия — это единственная форма существования России как государства. Я говорил о монархии как о единственной форме спасения. Однако это не значит, что установление монархии — это и есть спасение. До монархии ещё надо дорасти. Но сначала нужно спасти Россию, и тогда в ней может быть установлена монархия. Об этом речь.

*— Вы родились в городе Свободном на Амуре. До Октябрьского переворота он именовался Алексеевском — в честь наследника престола цесаревича Алексея. В этом же городе родился замечательный писатель, ныне покойный, Борис Черных, когда-то отбывавший срок в политзоне «Пермь-36». Однажды в беседе со мной он рассказал о своей переписке*

*с Солженицыным. Александр Исаевич написал Черныху, что теперешняя Россия к монархии не готова. На что тот ему ответил: «А разве был готов иудейский народ к приходу Христа?» Кто, на ваш взгляд, из них прав?*

— Оба правы. Конечно, сейчас Россия к монархии не готова. Но и иудейский народ не был готов к приходу Христа.

*— Однако это ведь не означает, что Христос не должен был прийти?*

— К его приходу были готовы отдельные люди, которые потом несли слово Христово. Впоследствии оказалось, что готово гораздо больше людей, чем могло представляться на тот самый момент, когда Иисус нёс свою истину. Точно так же и с монархией в России. Сейчас немногие понимают необходимость этой идеи. Даже те, которые считают, что они уже всё постигли. На самом деле их постижение может не выходить за рамки каких-либо исторических мечтаний.

*— Но вы-то чётко поняли: монархизм — ваша главная фанатическая идея?*

— Не скажу, что она фанатическая. Как раз есть такие фанатичные монархисты, которым свойственно восклицать: «Всё пропало! Нам надо царя. А откуда его взять, мы не знаем. Сейчас вот Господь Бог даст — и царь объявится. Не нужно прикладывать никаких усилий. Царь, говоря простым языком, всё разрулит». Другие говорят: «Монархию надо заслужить». Вопрос: как заслужить? Поэтому я не мучаюсь фанатической идеей, а думаю об исторической перспективе.

*— Относительно возможного монархического выбора мне приходилось слышать и такое: «Не нужно возвращения к династическим выродившимся наследникам престола — России надо выбрать монарха из нынешней русской элиты».*

— К подобному способу определения монарха я отношусь негативно, потому что не случайно династическая форма правления существовала во всех государствах, где была монархия. По крайней мере, это можно проследить из истории Римской империи: там, где кровное родство сохранялось, сохранялась и преемственность власти, и не было конкуренции за высший пост.

*— То есть мы возвращаем Романовых?*

— Возвращать надо тех, кто по закону имеет право на верховную власть.

*— Но ведь Романовых тоже избирали!*

— Избирали, но как ближайших родственников Рюриковичей. Это не были случайные люди. Почему бы не избрать тогда вместо Михаила Романова, например, князя Пожарского? И родовитый, и послуживший Отечеству. Но, я думаю, здесь и сам Пожарский понимал: должен быть законный, «природный» царь. В дальнейшем, в законе Павла Первого и в последующих исправлениях к нему, сделанных в девятнадцатом веке, все эти тонкости были поставлены на свои места, проработаны до деталей. Поэтому законы Российской империи о престолонаследии являются чёткой инструкцией о том, как определяется первенство в правах на царствование.

*— Но любой человек массового сознания вам возразит: «Ну хорошо, призовём мы Романовых. Но ведь они для нас почти что варяги, чужаки, не помнящие и не знающие России, хотя наверняка их предки-эмигранты стремились сохранить в них образ Родины».*

— Вопрос серьёзный. Он возникал и в тысяча шестьсот тринадцатом году. Поэтому и избрали на царство отрока, который не мог лично участвовать в драке за власть. Там же Смутой замазаны были все. А Михаил Романов был к этому непричастен. Значит, надо искать, но искать в тот самый момент, когда это будет возможно. Например, собрать Земский собор, где и поднять уже вполне назревший вопрос. А до этого путь достаточно сложный. Монархию невозможно навязывать. Она должна быть для народа желанна.

*— В своих лекциях вы утверждаете, что «Россия может быть только империей. Но империей она может стать, будучи национальным государством». Нет ли здесь противоречия? Мы сегодня часто называем империей СССР. В известном смысле СССР и был империей, однако — не будучи национальным, но являясь многонациональным государством…*

— Империей Советский Союз, конечно, не был. Из тех качеств империи, которые ей предписаны, он не унаследовал ровным счётом ничего. Что Советская империя (если так мы её условно именуем) унаследовала от Российской? Территорию? Всё остальное было отброшено. СССР не мог быть империей именно потому, что он был многонациональным государством. В том смысле, что на его территории существовали другие государства, которые имели собственные конституции и свои избирательные системы. А империя не состоит из отдельных республик. Империя — это целостное унитарное государство.

*— Здесь я с вами не соглашусь. «Состоит из отдельных» — де-юре. А де-факто? Есть довольно известная песня пермского барда Евгения Матвеева на стихи Геннадия Русакова, прозвучавшая в кинофильме «Парк советского периода», которая так и называется — «Прощай, Империя!»:*

*Имперской нежностью мне стискивает грудь.*
*Я тоже по земле ходил державным шагом.*
*О этот шёлковый, бухарский этот путь!*
*И ветер Юрмалы с напругом и оттягом!*

*Это явно интернационально-имперский мотив. Тогда расшифруйте ваш посыл о том, что «Россия может стать империей, будучи только национальным государством». Это империя титульной нации и примкнувших к ней других национальностей?..*

— Вы совершенно правы. Государство начинается с титульной нации. А примыкание—это уже следующий исторический этап. Сейчас Российская Федерация подготовлена как раз к тому, чтобы стать национальным государством. Но для этого нужна национальная власть. Восстановление русской национальной власти поможет России превратиться из непонятной, никогда не существовавшей формы государственного устройства во вполне внятное национальное государство, которое способно к развитию и превращению в империю в полном смысле этого слова.

*— Вот ещё любопытная цитата из Андрея Савельева: «Некоторые думают, что диктатура—это ругательство. Диктатура вовсе не беззаконие, а диктатор—не тиран. Есть периоды необходимости в диктатуре». В идеале этот парадокс звучит заманчиво. Но при этом думаешь: смотря о какой диктатуре речь. Взять, например, диктатуру пролетариата. Разве она не становилась беззаконием? Или—диктатура Колчака? Какими бы благими помыслами она ни была предписана, но ведь тоже граничила с беззаконием. Может быть, вы имеете в виду какую-то другую диктатуру?*

— Диктатура пролетариата—диктатура охлоса, толпы. Это не подходит под ту классификацию, о которой я говорил. Диктатура—это законное правление в чрезвычайных условиях. А «диктатура пролетариата»—на самом деле тирания. Беззаконное правление в тех же чрезвычайных условиях. Относительно Колчака я сказал бы так: может, это и беззаконие, но не произвол. Диктатура, она всё-таки управляет—либо законами, либо указами. Произвол же хаотичен—это просто разгул преступности. Поэтому диктатура на самом деле—жёсткий закон. Источником закона может быть либо писаное право, либо приказ и указ диктатора. И в чрезвычайных ситуациях, в условиях военного положения это единственная форма управления. Некогда собирать парламенты. Надо принимать решения.

То есть мы спасаем право как таковое, уступая в каких-то элементах, связанных с источниками права. Мы можем отменить львиную долю статей конституции, но сохраним сам конституционализм. Эта теория в подробностях разработана крупнейшим немецким правоведом Карлом Шмиттом. В конституции Российской Федерации есть такие статьи, которые позволяют ввести чрезвычайное положение. Но это не означает, что отменяется вся правовая система. Она приостанавливается для того, чтобы разрешить в том числе и проблемы, которые накопились в законодательстве. Это зов времени, но у нас предпочитают фактическое беззаконие—«ручное управление» без легального и открытого введения диктатуры. Обманывают себя и весь народ.

*— «Превратим банки в меняльные конторы! Прибыли—ноль. Никакого ростовщичества. Закрыть все формы платного образования». Более всего меня восхитило чудесное преображение чиновничества по Савельеву: «Они станут светскими монахами». Это, разумеется, из предлагаемых вами мер чрезвычайного положения. У человека, проутюженного рынком, может поехать «крыша». В своём известном манифесте просвещённого консерватизма Никита Михалков пишет: «...считать человеческую природу греховной». Если это так (а это, видимо, так), создаётся впечатление, что вы пытаетесь спорить с человеческой природой.*

— Конечно! Дух спорит с материей. Это—тот самый момент, когда победа духа означает победу жизни, восстановление страны. Если дух для нас первичен, он, в конце концов, побеждает. А в данном случае он спорит уже не с материей, а с материализованным духом зла. Потому что денежное обращение и всё, что с ним связано, включая его институты, это же и есть материализованный дух зла. Он оперирует фиктивными сущностями и ценностями. Разве не для этого создана мировая денежная система?

*— Вы даже напугали часть публики, когда объявили на лекции прямо-таки как оракул: «Заканчивается цивилизация денег!» Я ощутил, как люди мысленно хватаются за кошельки и банковские карты, словно их кто-то пытается обокрасть. Во-первых, каковы приметы того, что «цивилизация денег» заканчивается? Во-вторых, что делать с привыкшей к ней человеческой психологией?*

— Главная примета, что «цивилизация денег» заканчивается,—в том, что холостой оборот денежной массы и денежных суррогатов по объёму и по скорости обращения многократно превосходит ту часть финансовой системы, которая обслуживает реальное производство. Ведь это в десятки, в сотни раз более массивный оборот, а по скорости—просто несоизмеримый с тем обращением, которое связано с товарообменом и с тем, что обеспечивает материальное производство. Это система, оторвавшаяся от жизни! И она начинает заедать жизнь. Она прекращает производство тех товаров и услуг, которые необходимы для жизни

человека. Но если в девятнадцатом веке всё это приводило к катастрофе какие-то узкие слои общества — относительно обеспеченных людей, то сейчас мы накануне катастроф, грозящих целым государствам.

Как пошатнулась могучая экономика Соединённых Штатов в результате кризиса две тысячи восьмого года! И кризис не изжит. Все его причины сохраняются, будучи пока что прикрытыми колоссальной работой печатного станка, выпускающего резаную бумагу, заполонившую весь мир. А что же будет с Россией, если её качнёт такой же кризис? Тогда её тоже тряхануло основательно. Но, кроме того, у нас есть ещё и собственные причины кризиса, связанные как раз с массовой психологией, так внезапно прикипевшей к деньгам.

И тут мне хочется привести один аналог древности. Не все знают, что спартанцы жили фактически без денег, хотя денежное обращение у них было — пусть и весьма своеобразное: не в виде монет из драгоценных металлов, а в виде… железных прутьев — драхм. Невозможно спрятать — в карман-то прут не положишь. И чтобы совершить какую-то сделку, нужно перевезти целый воз этих прутьев с места на место. Поэтому денежная система была открытой, а любая сделка — публичной.

Но как только в результате борьбы с Афинами Спарта стала доминирующим государством и спартанцы прикоснулись к богатствам денежного обращения афинян, началась их стремительная нравственная деградация…

*— Вы — автор книги «Настоящая Спарта». Кроме того, у вас — чёрный пояс по карате. Не кажется ли вам, что в России геометрическая прогрессия различных школ боевых искусств обратно пропорциональна искусствам не боевым — музыкальным школам, драмкружкам и мастерским живописи? Про школы боевых искусств один из моих знакомых как-то сказал: «Это же школы будущих убийц!» Если взять СССР, там всё-таки не было такого «боевого» перекоса. А про нынешние времена нередко можно услышать: «Россия — это Спарта».*

— Но в Спарте музицировали весьма основательно. И общий уровень культуры там был заметно высок. Это всё сказки, что в Спарте знали только искусство войны и все были невежественны. И конечно, Россия — не настоящая Спарта. И Советский Союз тоже был от этого далёк. Я думаю, развитие боевых искусств в России — это иллюзия. Во-первых, занимаясь боевыми искусствами довольно много лет и детей своих тоже этим занимая, могу засвидетельствовать: никакой массовости здесь нет. Массовость случилась как раз в СССР, когда информация о карате стала доступной. То же самое было, кстати, и с йогой, всяческой мистикой и эзотерикой. Потом был запрет. Когда его сняли, вот тогда спортзалы были набиты до отказа! Сейчас обычная секция карате — от полутора до двух десятков человек на занятии. Есть множество крошечных секций. И в этих секциях — «творчество» многих профанаторов, создающих иллюзию, что с ними люди занимаются боевыми искусствами. В реальности же преподают некую картинку, наблюдая которую, человек начинает сам себя сильно уважать и фактически платит деньги за самоуважение. При этом в действительности боевыми техниками он не владеет. Школа убийц?.. Ничего подобного! Чем больше человек осваивает боевые искусства, тем дальше он от криминального поведения.

*— Но жизнь-то вас опровергает! А как же чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев, которого фактически оправдали за убийство русского юноши Ивана Агафонова?*

— Это другая история. Боевые искусства — не спорт. А здесь налицо превращение спортивного варианта боевого искусства в бизнес. Человек начинает на этом зарабатывать. Обычные люди, занимающиеся боевыми искусствами, не зарабатывают, а, наоборот, тратят деньги на то, чтобы оплачивать залы и работу своего учителя. А когда начинается зарабатывание денег — соответственно, происходит перестройка мозгов. В них вливается представление о том, что на этом можно обогатиться. Конечно, мы знаем и другие примеры, когда спортивные успехи, даже в весьма жестоких соревнованиях, не ломают человеку психику.

А Мирзаев — скорее, выродок этой системы. Да, вы правы: таких вырожденцев сейчас стало больше, но это вырождение связано не с самими боевыми искусствами, а с менталитетом тех, кто начинает ими заниматься ради наживы.

*— Если Россия — не настоящая Спарта, тогда какой образ вызывает она у вас? Быть может, Афин?*

— Существует излюбленная либеральная характеристика, которую относят к Спарте: «Это тоталитарное государство и образец для всех последующих тоталитарных государств. А вот Афины — это не тоталитарное государство. Это — демократия и образец для всех последующих демократий». Но когда разбираешься в деталях — видишь, что это была за «демократия» и что это было за «тоталитарное государство». Спарта опиралась на традиционную мораль и нравственность, сплочённость и коллективизм. А что происходило в Афинах?

Например, в нескольких войнах, когда к Афинам подступала армия Ксеркса, афиняне оставляли город, и он дотла сжигался неприятелем. Спарта такого никогда себе не позволяла! Там дрались до последнего и стремились к справедливости. Я не буду сейчас вдаваться в исторические подробности, но когда предметно работаешь с историческим материалом, убеждаешься в абсолютной

непривлекательности Афин и большой привлекательности Спарты как целостного социального явления.

Но Россия — не Спарта и не Афины. Россия больше похожа на Персию, по которой то и дело проходят фаланги Александра Македонского. В одну сторону прошли — не встретили сопротивления, прошли в другую — то же самое. Это при том, что Персия была великой цивилизацией. Но всё время — в состоянии войны. То и дело приходилось принуждать к покорности провинции. Поэтому армии ходили с края империи на край. Вот и мы находимся на переломе: провинции и властные группировки уже живут своей жизнью, а восстанавливать целостность государства пока что некому. Пришло прочное осознание, что эксперименты двадцатого века провалились. Сюда входит коммунистический эксперимент, который сам себя аннулировал. Очевидно, провалился и эксперимент либеральный. Он аннулировал себя уже наполовину, если не больше. Критика того, что было в девяностые годы, исходит от самих же либералов. Да и в глазах народа этот эксперимент тоже оказался абсолютно несостоятельным.

Поэтому поиск людьми того, что же должно быть для них приемлемым, — это текущее состояние российского общества. Найти некую идею, её носителей и последовать какому-то другому сценарию развития страны — это просто носится в воздухе! Существует три классических идейных формы: либерализм, социализм и национализм. Других просто не придумано. Человеческая психология не настолько разнообразна, чтобы преподносить бесконечное множество типов, её определяющих. Поэтому, испытав лидерство одного и другого психотипов, мы должны теперь обратиться к третьему варианту и его опробовать.

*— Я знаю, что вы в своё время предприняли путешествие в Непал. Это осознанная тяга или туристическая случайность? В том смысле, что Непал вас не манил, как, манили, допустим, Рериха Гималаи — олицетворение Шамбалы?*

— Меня не притягивал Непал, пока я туда не попал!

*— Прямо-таки в рифму!*

— Да… А вот когда я туда попал (это был тысяча девятьсот девяносто седьмой год), действительно, какое-то мистическое ощущение меня настигло. Там за очень короткий промежуток времени состоялось несколько приключений, которые запали в память весьма основательно. Помню, как мы сплавлялись на резиновых плотах и не могли выгрести из водоворота. Два плота прошли. А мы — на третьем. И — потеряли время. Представьте себе ночь на горной реке. Тьма абсолютная. Я такой никогда не видел. Мощный фонарик дальше трёх метров не пробивал. Выгребли едва-едва. Так, что под ложечкой сосало. В общем, приключение было достаточно серьёзным…

*— Кто вы по внутреннему состоянию — мистик или практик? Или — и то, и другое?*

— В разных условиях — по-разному. Вообще, я хочу заниматься практикой. Я занимался наукой. Мне было это интересно. Но буквально недавно я сказал себе: «Всё! Больше книг не пишу. Все они будут ничто, в лучшем случае — только моими личными изысканиями, если от страны ничего не останется». Вот здесь я мистик. И то, что это время подступает, то, что страна — на грани гибели, чувствую буквально кожей. Поэтому нужно заниматься практическими задачами, которые эту гибель могли бы отвести. А потом уже, если это, дай Бог, произойдёт, можно вернуться и к научным изысканиям.

Олеся Николаева

# Воздаянье

● ● ●

Подтверди, что так бывает:
Входит гость со злым лицом,
Колченогий ковыляет
Бес вослед за чернецом.

Платье в госпожу одето,
Ухарем сидит пальто,—
Это ж оборотни! Это—
Не улыбка, а Ничто!

И когда луна взрезает
Туч мучительных слои,
То герой уже не знает,
Где чужие, где свои.

Но чем больше бури, гнева
Будит он, чем жарче страсть,
Чем огульней—справа, слева,
Всюду—ужас и напасть,

Тем ему потом блаженней
У камина, глядя вспfive,
Сквозь горящие поленья
Эти страхи вспоминать.

## Воздаянье

Когда услышишь о цунами ты,
землетрясениях и войнах:
все бухты дохлой рыбой заняты,
низины в тучах беспокойных,—
когда услышишь ты об ужасах,
о саранче тысячеустой,
и тьма, звезду рожая, тужится,
дрожит и корчится, но—пусто,—
так вот, когда увидишь пламени
столпы и смерч как бы из зева—
пойми, прочти это как зна́менье,
скажи: «То День Господня гнева».

…Но есть такие—где бы ни были
герои эти—красотою
картины воздаянья, гибели
влекут их за Ахиллом в Трою.
От моря ж Мёртвого хотят они
таких свидетельств долгожданно,
чтоб небо грянуло с крылатыми
легионерами: «Осанна!»

## Иосиф

Когда б Иосиф, злыми братьями
Израненный, в пустынном месте,
Сжимая кулаки с проклятьями,
Роптал и вопиял о мести;
Когда б Иосиф, в рабство проданный,
Во тьме, к исходу первых суток,
Нил проклинал со всеми водами,
Пустынями мутил рассудок;
Когда б Иосиф, опороченный
Клеветами, уже в темнице,
На крюк в стене, на камень сточенный,
На яд змеиный смог польститься,—

Что было бы тогда?—инаково
Судьба пошла бы и юродом
Смела б голодного Иакова
И Ханаан с его народом?
И подвиг Авраама-странника
Пошёл бы прахом?.. Иль другого
Бог создал бы себе избранника
В часы смятенья рокового?..
Иль всуе эти всхлипы с вскриками—
Души неверной вестовые:
Сиди во рву, мирись с язы́ками
Да сны разгадывай кривые…

## Ангелы

Я знаю тончайших, незримых
и вытянутых в небеса…
Но мощные ангелы Рима!
Их мускулы, их телеса!

Литой гладиаторской статью
и крепким мечом у ноги
они верховодят над ратью
трусливой земной мелюзги.

Чеканной и мраморной силой,
округлостью яблок глазных
они поднимают унылых
и мягкими делают злых.

И воины кесаря, право,
пред ними—всё сброд и пурга.
Мир—Риму, а Господу—слава,
А ересиарху—в бега!

## Баллада

Это умер дурень Юрка—не крещён и не отпет.
Чует только кошка Мурка в мире его смутный след:
И мятётся, выгибает спину, и кричит своё,
Из-под шкафа выгребает пыль какую-то, тряпьё…

Есть у Юрки дочь Мария, дочь Мария—так она
За пути его кривые горечь испила сполна.
За бесчинства роковые, без креста чумной погост,
За грехи его Мария принимает строгий пост.

…Так проходит время—Мурка помирает, туфли трут,
Сверху слышится мазурка, снизу—дворники орут.
Справа—кто-то колобродит, слева—завывает дрель,
А Мария ходит, ходит средь мертвеющих земель.

В седине, почти без пищи, в старом рубище, без сна,
В царстве мёртвых ищет, ищет папку глупого она.
Видно, он совсем в поганом месте, в гуще темноты,
И Мария в платье рваном лезет, лезет сквозь кусты.

Сверху слышится сюита, снизу—заунывный звук,
Справа—женский крик сердито: «Сволочь!», слева—бодрый стук.
Видно, он совсем в пропащем месте, посреди болот.
И Мария тащит, тащит ноги, падает, ползёт…

И внезапно видит: что там? Дуновенье ветерка,
Свет как будто над болотом, словно голос свысока:
«За любовь твою, за слово, за слезу твоих пустынь
Я помиловал дурного папку твоего. Аминь».

Где-то снова—вальс собачий, где-то шум бензопилы,
Кто-то воет, кто-то плачет, что-то там Бюль-Бюль-оглы…
Рёв машины, скрежет, полька, скрип, кукушка на часах…
Но Мария слышит только «аллилуйя» в небесах.

## Пуговица

Я пуговицу вдруг нашла в траве
От платья белого—лет семь уже, как эта
Смешная пуговка на пышном рукаве
Оторвалась. Уже и платья нету.
Но—пуговка! Как пели соловьи!
Один—так прямо на сирени, с края.
И в платье белом, как в пандан ему,—свои
Слова подсказывать я стала, подпевая…
И эти пышные вздымала рукава,
Как будто дирижировала,—верно,
С тревогой ночь следила, чтоб слова
Ни тайн не выдали, ни лгали лицемерно.
И вдруг, ревнивая, затеребила шёлк
И эту пуговку—а та не удержалась…
И ночь прошла, и соловей умолк,
И платье скомкалось и затерялось…
И безалаберные потянулись дни:
То дождь, то снег, то воронье, то пусто…
Так застегни скорее, застегни
На эту пуговку расхристанные чувства!

## Владимир Костров

# Мы — последние этого века

• • •

Морозным вздохом белого пиона
Душа уйдёт в томительный эфир…
Молитвою отца Серапиона
Я был допущен в этот горький мир.

Был храм забит — меня крестили в бане,
От бдительного ока хороня.
Телёнок пегий тёплыми губами
В предбаннике поцеловал меня.

И стал я жить, беспечен и доверчив,
Любил, кутил и плакал на износ.
Но треснул мир, и обнажилась вечность.
Я вздрогнул и сказал: «Спаси, Христос!»

Спаси, Христос! Кругом одна измена,
Пустых словес густые вороха.
Свеченье молока и запах сена
Смешались с третьим криком петуха.

Ликует зверь… Спаситель безутешен,
Но верю, что не отвернётся Он,
Всё знающий: кто праведен, кто грешен.
Он вороньё отгонит от скворешен…
Тяжёл твой крест, отец Серапион.

• • •

Защити, Приснодева Мария!
Укажи мне дорогу, звезда!
Я распятое имя «Россия»
Не любил ещё так никогда.

На равнине пригорки горбами,
Перелески, ручьи, соловьи.
Хочешь, я отогрею губами
Изъязвлённые ноги твои?

На дорогах сплошные заторы,
Скарабей, воробей, муравей.
Словно Шейлок, пришли кредиторы
За трепещущей плотью твоей.

Оставляют последние силы,
Ничего не видать впереди,
Но распятое имя «Россия»,
Как набат, отдаётся в груди.

• • •

Мы — последние этого века,
Мы великой надеждой больны.
Мы — подснежники. Мы — из-под снега,
Сумасшедшего снега войны.

Доверяя словам и молитвам
И не требуя блага взамен,
Мы по битвам прошли, как по бритвам,
Так, что ноги в рубцах до колен.

И в конце прохрипим не проклятья —
О любви разговор поведём.
Мы — последние века. Мы братья
По ладони, пробитой гвоздём.

Время быстро идёт по маршруту,
Бьют часы, отбивая года.
И встречаемся мы на минуту,
И прощаемся мы навсегда.

Так обнимемся. Путь наш недолог
На виду у судьбы и страны.
Мы — подснежники. Мы — из-под ёлок,
Мы — последняя нежность войны.

• • •

Я стою, как дерево в лесу,
Сединой купаясь в синеве,
И славянской вязью времена
На моей записаны листве.
Ничего я лучше не нашёл,
Никуда я больше не уйду,
И когда наступит судный срок,
На родную землю упаду.
Уступлю пространство молодым —
Пусть они увидят Божий свет
И прочтут по кольцам годовым
Дни моих падений и побед.
Да стоят по родине кремли,
Утишая яростную новь, —
Белые, как русские тела,
Красные, как пролитая кровь.

● ● ●

*Владимиру Соколову*

Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушёл, и писать, и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека.
Тяжело просыпаюсь, грущу и смеюсь,
Но тебе-то признаюсь: я очень боюсь,
Да, боюсь двадцать первого века.
Здесь бумажным рулоном шуршит Балахна,
На прилавках любого полно барахла,
И осенний русак не линяет,
И родное моё умирает село,
И весёлая группа «Ногу свело»
Почему-то тоску навевает.
Знать бы: как там у вас?
Там, поди, тишина,
Не кровит, не гремит на Кавказе война.
И за сердце инфаркт не хватает.
Здесь российская муза гитарой бренчит
Или матом со сцены истошно кричит.
Нам сегодня тебя не хватает.
Я почти не бываю у близких могил,
Но друзей и родных я в душе не избыл.
Мне они — как Афон или Мекка.
Я боюсь, чтобы завтра не прервалась
Меж живыми и мёртвыми вечная связь,
Я боюсь двадцать первого века.

● ● ●

Поскорей раствори эти рамы,
Разведи, как разводят мосты,
И вдохни этот утренний, ранний
Незадымленный холод Москвы.
На такси из осеннего леса
Прилетел я на дальний звонок,
Словно рябчик весенний, повеса,
На охотничий точный манок.
Что меж нами? Какая зараза,
Разъедая судьбу, проползла?
Эти два не прощающих глаза —
Словно два наведённых ствола.
Это вовсе уже не охота.
Ну чего же ты? Бей — не тяни.
Разобью свою голову с лёта
О закрытые рамы твои.

● ● ●

Хватит в тёплом дремать овине —
Просыпайся, ямщик удалой.
Вновь грызутся на луговине
Красный, белый и вороной.
Губы в пене, грозят глазами,
Чёрный скалится на врага,
Красный мечется, словно пламя,
Белый бесится, как пурга.
У обрыва, над самой бездной,
Гривы на руки намотай,
Укроти их уздой железной,
Крепкой сбруею обратай.
И гони их под свист и клики
К звёздам в маревом далеке,
Встав, огромный, как Пётр Великий,
На грохочущем облучке.
Чтобы брат побратался с братом,
Чтоб Россия была крепка,
Чтоб Царь-колокол плыл набатом
Под дугой у коренника.

● ● ●

Укрепись, православная вера,
И душевную смуту рассей.
Ведь должна быть какая-то мера
Человеческих дел и страстей.
Ведь должна же подняться преграда
В исстрадавшейся милой стране
И, копьём поражающий гада,
Появиться Стратиг на коне.
Что творится: так зло и нелепо —
Безнаказанность, холод и глад.
Неужели высокое небо
Поскупится на огненный град?
И огромное это пространство,
Тешась ложью, не зная стыда,
Будет биться в тисках окаянства
До последнего в мире суда?
Нет. Я жду очищающей вести.
И стремлюсь, и молюсь одному.
И палящее пламя Возмездья
Как небесную манну приму.

Светлана Мингазова

# Одуванчики

● ● ●

Город дымкой затянут. Вдали, в стороне,
Этот угол медвежий — спасение.
Опускается птицей на плечи ко мне
Ангел белый — село Вознесения.
Рассыпается боль пересохшим листом.
Исчезает тревога. И верится:
Подождём, переждём.
За весенним дождём
Наши беды в труху перемелются.
Заигралась со мной —
Засыпает снежком,
Круговертит шальная метелица
И к ногам густошёрстным
Своим животом
Прижимается,
Словно медведица.
Дышит колко в лицо,
Лижет ласково в нос
Зверь мой умный —
Души исцеление.
Мне с тобою тепло
В самый лютый мороз,
Мой спаситель — село Вознесения.

● ● ●

Ночное Азино. Больница
Инфекционная.
Не спится.
Светает. За окном кружится
Стерильный снег.

Я — выписная единица,
На волю выпорхну
Синицей,
Но надо срочно дозвониться
Родным — их трое человек…

И нежности моей крупица
Растёт,
И ширится, и длится…
Холодной пеленой ложится
На землю выбеленный снег…

● ● ●

Сосен верхушки шептались
с напористым ветром.
Что в этом шёпоте —
тайны лесные,
быть может?
Я никогда-никогда
не узнаю об этом.
Так и деревьям язык человечий
неведом.
И так не похожи
кожа ладоней моих
и кора вековая.
Недолговечный рисунок
извилистых линий
ближе к запястью
слабеет, теряется, тает…

Я и деревья. Над нами —
пронзительно синий
купол небесный. Пунктир
улетающей стаи…

Огненным летом, тем гулким,
погибельным летом
пламя сжирало стволы
и нежнейшие стебли…
Сколько деревьев упало
в бездонную небыль? —
Я никогда-никогда
не узнаю об этом!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разные мы. Все — живые!
Друг друга мы видим и слышим!
Сколь беспощадна,
страшна и печальна разлука…
Я собираю с кустов
обожжённых для внука
горсточку сладких,
поклёванных птицами вишен.

● ● ●

Хризолитовое море.
Камни, белые от соли.
Сутоморе, Сутоморе!
Не забыть твоих красот.
В дымке розовой над пляжем
Скал размыты очертанья,
На холме далёком мальчик
Коз коричневых пасёт.
Камни, белые от соли,
Тотчас радужными станут,
Лишь волна омоет берег,
Пеной лёгкою скользя.
От паденья смоквы спелой—
Тёмный след на тротуаре.
Над углём вращают вертел—
Ловко жарят поросят.
Сутоморе, Сутоморе!
Олеандры вдоль дороги,
Солнцем вскормленные гроздья
Тонкой жилистой лозы.
Мандариновые кущи,
И над ними—вездесущий
Аромат летучий моря.
Вечер цвета бирюзы.

● ● ●

Ледяными пальцами дождя
Вновь октябрь забарабанил в стёкла.
Льёт с утра. Земля насквозь промокла.
Сквер в дожде и статуя вождя.

Тусклый свет от фонарей вокзальных—
Как маяк спасительный в ночи.
В паузе короткой странствий дальних
Мы в купе, обнявшись, помолчим.

Нам опять не разрешить дилемму.
Поезд твой—транзитом на восток.
Вновь шары тугие—хризантемы,
Наспех чай: пакетик, кипяток…

Дан сигнал. Ещё одна минута.
Все слова истрачены давно.
Постоянство встреч среди маршрута
Нам, похоже, на́долго дано…

Дождь идёт, не зная передышки.
Льёт с небес, смывая все следы…
У окна вагонного стоишь ты,
Заштрихован струйками воды…

## Одуванчики

Жёлтых солнышек лукошко
Здесь рассыпано случайно,
В ослепительно зелёной
Юной шёлковой траве.
Мёдом пахнущее лето,
Зазывая, обещает,
Утешая, укрощает
Пыл в мятежной голове.
Как вихрастые детишки
Все подряд—рыжее рыжих!
Будто кто-то усадил их
Сказки слушать в детсаду.
На тропе, посерединке,
Скачет птичка—чижик-пыжик,
И по этой же тропинке
Я, счастливая, иду.
Кринолином пышным феи,
Взрывом, в воздухе застывшим,
Сотканной из пуха сферой
Станет солнечный цветок.
Шмель меняет направленье—
Было сладостное время:
В середине жёлтой гривки
Собирать волшебный сок!

● ● ●

Цепляет облако
    скалы зазубрину.
Сиреневая тень
    легла в распадок.
Сгущается туман.
    Ночь растекается…
Неспешно в небе тёмном
                зажигает
Свои лампады
    вечный зодиак.
Под тусклым зеркалом,
Таинственным и гладким,
Воды
Воображение рисует
Прозрачные глаза
            Ундины юной…

Софья Иосилевич

# Пройти аллеей сада

### Гимнастёрка

С этой гимнастёрки кровь не смыта.
Застарелых пятен ржавый цвет.
Кто он — рядовой, не знаменитый, —
Иркин дядя, папа или дед?..

В школьном зале — бывшие солдаты.
Праздничный концерт для них идёт.
Только в эти памятные даты
Ира гимнастёрку мне даёт.

Я пою про синенький платочек
И как пулемёт в ночи строчит.
Так дрожит мой тонкий голосочек.
Так плечо под ржавчиной болит…

● ● ●

Это — тайна и суть мастерства?
Но за это не страшно на муки.
Всё по-новому видеть: слова,
Что знакомы, как мамины руки,
Как явлений связуется нить,
Как большое рождается в малом…
Значит, стоило верить и жить,
Чтоб однажды понятнее стало,
Что доступно мне, лёгким крылом
Вдруг нарушить закон притяженья,
А поэзия — не ремесло,
Не профессия — мировоззренье.

● ● ●

Я напишу тебе письмо.
Я напишу — и не отправлю.
Подушку малышу поправлю,
Случайно отражусь в трюмо.

Как хорошо: при ночнике
Не так видны седые пряди.
А боль схоронится в тетради —
В размытой на листе строке.

● ● ●

Пока ласкает щёку осенняя прохлада,
Пока шуршаньем листьев озвучены дворы…
От суеты московской сверну в аллею сада,
Где звонкий птичий щебет беспечной детворы
Пронизывает воздух прозрачный, горьковатый.
Я пью его, смакуя, как терпкое вино,
И взглядом провожаю те облака из ваты,
Что длятся, длятся, словно в замедленном кино.
Ещё не опоздала украсть себя у буден.
Последним днём октябрьским наполнится душа.
А нужно так немного, и путь совсем не труден:
Пройти аллеей сада, и только — не спеша.

● ● ●

Холст с абрисом души, свет заоконный,
А там, где сердце, на холсте провал.
Мне снится мой портрет незавершённый.
За что меня художник наказал?

Жила без страха, ни молвы, ни сглаза,
Не хоронясь, не прячась от огня.
Теперь я недосказанною фразой
Во тьме блуждаю среди бела дня.

Ищу по миру, где ему подобный,
Чтоб жизни не кончалось полотно.
Но кисти той, влюблённой и подробной,
В пути два раза встретить не дано.

Художник мой, откликнись! Как же можно?
Верни мне свет, портрет мой допиши.
Но мне в ответ всё так же непреложно
Зияет чернотой провал души.

Наталия Черных

# Вены-артерии

О стихах Александра Петрушкина

*…мне периодически нужно выскакивать за пределы, чтобы остановиться, перевести дыхание и переварить то, к чему только что прикасался…*

Александр Макаров-Кротков, Москва

## 1. Пугачёвщина. Вместо вступления

Несколько вариаций на уже неплохо разработанную тему. В литературе есть фигуры—масштабные, но на вид какие-то зыбкие. Пока не сталкиваешься, а смотришь издалека. Или с некоторого дружеского расстояния. Если литератор занимается тем, что сколько-нибудь напоминает общественную деятельность (сайт, журнал, издание книг, фестивали), ему нельзя доверять как поэту. История здесь ещё не подводила. Нет времени на сладкое безделье для стихов—на эту самую изматывающую работу.

Петрушкин играет, как небольшими гантелями, уральскими—и не только—литературными горами. Ничего себе дитя, детские забавы: десяток журналов, пара-тройка фестивалей… Писать о стихах такого деятеля—значит, салютовать и выполнять заказ (общественный?). Но какая тут, к собакам, власть, когда—«Северная Зона»?

наконец-то нельзя задразнить щебетать
перегнувшись из смерти
всё равно нас никто не простит—
ну а если простит—не заметит

Впервые столкнулась с этой литературной пугачёвщиной—потом честно недоумевала: что передо мною? Кураж отчаявшегося до последней степени человека или же—литературное явление? Но пугачёвщина манила, и лучше слова (чем «пугачёвщина») не найти. Петрушкин собирает войско, проводит разведку, раздумывает над стратегией «Мегалита». Он большой, у него много что получается. Грубовато, порой с помощью одного только лома (против которого нет приёма), но получается. Так что «Мегалит» живёт и развивается. То, что «Мегалит» есть, раздражает, как запах рыбы. Но он есть, и мы там живём.

Петрушкин пока сидит в Кыштыме, как Пугачёв—на Яике, и нет вероятности, что тронется оттуда. А зачем? На Урале хорошо. Оттуда можно наблюдать за столичным литературным балетом, но при этом не особенно ощущать зависимость от него. Мне кажется, пугачёвщина в том, чтобы создать литературную вольницу, не привязанную к столицам—особенно к Москве. Насколько вышло, судить не мне. Московский опыт «Вавилона» есть, он утверждён, и, возможно, Петрушкин смотрит на ДК, как Пугачёв на Разина. Мне всегда нравилось, как Петрушкин присматривается к тому или иному явлению. Задаёт вопросы, ищет материалы, а потом выдаёт… Стихи или что ещё. «Мегалит» напоминает «Журнальный зал». И пусть. Можно сравнить уровни, а сравнивать есть что.

Миф или нет уральская школа поэзии—решит история, а она любит мифы. Сияющий Кальпиди стал почти недоступным; он прошёл, как Великий Полоз, оставив «Мерцания», и скрылся. Хотя следы его деятельности на Урале возникают то там, то здесь. «Антология уральской поэзии», например. Кальпиди зарифмован с Уралом. Он—символ его поэзии для нынешних читателей. Легенда. Петрушкин—тоже легенда. Но с ней можно быть пока запанибрата, хотя это как сам решит. Эта легенда—Петрушкин—публикует стихи поэтов, которых никогда не видел, эссе, прозу, переводы. Она отвечает на письма, а порой появляется в Москве. Из-под крыла Петрушкина вышел Дмитрий Машарыгин (разбойничья фамилия!) и взял одно из призовых мест премии «Дебют». Вполне доступная получается легенда. Но обольщаться не стоит. Петрушкин—довольно рисковый эксперимент поэта, и поэта очень непростого.

## 2. Богема. Сны

Если поэты, то богема. Ни определённого места жительства, ни определённого рода занятий (никогда не могла понять, отчего такое мнение сложилось), ни корней. И вся жизнь поэтов уходит на бесплодные поиски, фокусы, фортели и другое, о чём даже говорить неуместно. Петрушкин возникает в Сети порой внезапно, с бодрым «улюлю» или неуместно звонкой буквой в конце лихого словца. Друзи, значит. Но если понаблюдать за его сетевым поведением, окажется, что у этого поэта есть довольно чёткий распорядок жизни и дня. Что у него довольно большая семья, и он сам—рыбой в декабре на берегу, а в реку надо. Что

корни у него—о-го-го, Кулибин, и он о них знает. Какой там Данила-мастер. Что Петрушкин сидит в своём Кыштыме, окопавшись, уже много-много лет. Странная получается богема. Ну а если богема—это очень трезвый и отстранённый взгляд на материальные ценности, которого антагонист богемы—обыватель—никогда не примет? Что позиция человека богемы—позиция жертвенная и обречённая; а кто не так—тот не богема? Тогда всё становится на свои места.

И, однако, тема не исчерпана. Как жизнетворчество (а об этом только что было говорено), так и стихи Александра Петрушкина—вне определений, это как небо над горизонтом. Оно есть, оно может быть ясным или мрачным, но оно всегда как бы в полусне, запрокинувшись головой за горизонт.

Сны. У Павла Флоренского, как сказал мне один вдохновенный поэт Д. С., есть труд, в котором есть размышления о природе сна. Сон как переход от венозного сознания к артериальному. Возможно, труд был выдуман, но идея блестящая. В первой части «Имён» есть упоминание о венозном сознании—как о том, что порождает «отрицательную философию».

> «Если бы дедукцию этих универсалий продолжать далее и далее, то мы приходили бы к универсалиям всё менее конкретным и вместе—всё более частным: это как кровеносная система артерий, беднеющая кислородом по мере своего разветвления. А далее она снова начинает сходиться, образуя стволы всё более толстые, чтобы снова собраться к единству. Но это уже венозная система, абстрактные понятия, область отрицательной философии».

Флоренский описывает два сознания, существующие в человеке одновременно, как венозная и артериальная кровь. Очищение и восполнение. А между ними—сон. Поэт сказал: искусство—это сон. Путь от утwомления, принесённого очищением, к радости восполнения. Человек входит в сон (читай: входит в стихи)—и выходит из него обновлённым.

Какое стихотворение Александра Петрушкина ни возьми—сновидческое, даже горячечное. Как будто—в REM-фазе парадоксального сна, когда глазные яблоки вращаются, как будто смотрят кино в тёмном зале, будто видят возлюбленное лицо, покрытое слезами.

Забитый как оболтус в пустоту,
он говорит в ошкуренном Свердловске
про ангелов, вмещённых в гопоту,
про Мира (два?—не вспомню—сорок восемь?),
якшается со всякой татарвой,
оторвою и головой на блюде—
пока сдаёмся мы внаём, пока
целует гопота (живых) нас в губы—
твой пращур ненавидимый, в тебе
в квадрате умножаясь, входит в штопор,
и мясо ангелов висит на потолке,
стихи читает, ничего не просит.

## 3. Стихи

Фамилия автора на самом деле—Вронников. Помню, сразу меня зацепил этот дуализм. Демиург какой-то получился. Петрушкин—шебутной, громкий, деятельный, отчаянный. Вронников—рефлексирующий, с острой поэтической интуицией, вечно сомневающийся. Но если внимательно вчитаться в стихи, вылавливая детали повседневности поэта, откроется удивительная и ни на что не похожая картина. Поэт в духе Малларме или Валери—но в Кыштыме. Почти античный. Земля (сразу вспоминается фото с тыквами), дом, дети, жена—почти сельскохозяйственный, почти эсхиловский мир. Все размышления, чувства—пропитаны почвой, чуть согретой почерневшими руками. Размеренность бытия: работа, сон, пробуждение, ожидание обеда, вечер, чтение, сон. Особенно, как мне видится, много параллелей с Малларме: разомкнутые грамматические структуры, нервически сжатая лексика, ужасающая плотность переживания. Всё сразу.

Теперь, когда в лицо им вылили помои,
В разочарованной провидческой хандре
Они, изобразив отчаянье немое,

Спешат повеситься на первом фонаре.

Финал известного стихотворения Малларме «Рок» в переводе Валерия Дубровкина. Перевод этот, правда, лишь отчасти передаёт извилистую поэтическую речь Малларме. Не очень понятно, почему—«изобразив отчаянье»: если «спешат повеситься»—значит, действительно отчаяние… Подобных вопросов при чтении стихов Александра Петрушкина—множество.

И всё сразу осмыслено быть не может—потому стихи оставляют послевкусие хаоса. Незавершённость, неокончательность, тяга к развитию—хоть к умиранию, понятому как развитие,—доведённая до истерики индивидуальность переживания. Как облако лёгкой головной боли. Головной—главной. Онтологической.

Вот перевод другого стихотворения Стефана Малларме, сделанный Евгением Головиным:

> «Почти и как бы имея для языка только взмах к небесам, будущий стих освобождается от приюта столь драгоценного. / Крыло, совсем тихо, вестник, этот веер, если это он, тот самый, которым позади тебя озаряется какое-то зеркало / Ярко (туда опустится развеянный каждой пылинкой, невидимый пепел—единственная моя печаль) / Всегда таким он может появиться в твоих руках, чуждых праздности».

Предположим, что у каждого поэта имеется кинофильм, в котором, как серии в сериале, отображено то, что повлияло на его поэзию, думал он о влиянии или нет. Предположим, что зафиксированы впечатления, породившие эту поэзию. Может быть, что некий поэт, живший в том или ином месте, сам не зная того, влиял на другого поэта, живущего за несколько тысяч километров и через пару десятков лет, а то и полстолетия. И тот, на кого влияли, поначалу не очень понимал, что на него влияют. Речь шла по одной ей известным проводам и наконец попала в ухо, из которого — прямая дорога в сердце поэта, а после — в слово. Предположим, можно найти такую плёнку и вставить в проектор, чтобы увидеть, что и кто на ней. Увидим парадоксальные вещи.

> в далёком ехать и скрипеть навылет
> пружинами мужчинами детьми
> вагоны переполненные мною
> взлетают в небо около семи

Если разматывать плёнку Петрушкина, обнаружим несколько слоёв, аккуратно идущих один за другим, но настолько плотно, что возникнет ощущение сумятицы, тяжести, чего-то неудобопонимаемого. Примерно так воспринимались современниками стихи некоторых поэтов. Где-то в самой глубине окажутся Раич и Батюшков, но вот мелькнула орденоносная тень Державина. И сразу возле неё — ментик Лермонтова. А там, проступая сквозь эти лица, выходят Белый и Соллогуб. Далее, потеснив их, идёт Хлебников, а в его тени держится коварный Вагинов, которого никак нельзя не заметить. За ним, посмеиваясь, идёт Введенский и что-то говорит Хармсу. Далее, один за другим, — военные поэты, а затем — «барачники-лианозовцы»: Игорь Холин, Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов. Шестидесятники — Вознесенский, например, — тоже довольно хорошо узнаваемы. И вот — почти вплотную.

Конечно, Александр Петрушкин, записывая стихи несколько (допустим, семь) лет назад, не знал ни стихов Евгения Хорвата, ни стихов Глеба Цвеля. И вряд ли был знаком с опытами поставангардистскими. Но пересечения поразительные.

Вот Евгений Хорват, 1960, кишинёвский гений, осевший в Германии и там безвременно ушедший:

● ● ●

> …Как трудно из чайника выкипеть
> воде, и как медленно выкопать
> в оконце незрелую ямку!
> Пропитое хочется выкупить,
> младенчика хочется выкупать,
> и хочется спать китаянку.

Петрушкин:

> Так пусто в доме, что гудит конфорка,
> как стая растревоженных тьмой пчёл
> прищурится, приняв обличье волка,
> и мех словесный, словно кофта, жолт.
>
> Не понимая всякой связной речи —
> склоняется к нам и целует в лоб
> холодный ангел и из голенища
> лёд чаячный за шиворот кладёт.

Трудно представить, чтобы в стихах поэтов, вовсе друг о друге не знавших, вдруг возникла ясная акустика. Но, тем не менее, она есть: чайник, грусть, особенным образом запинающиеся тропы. Чайник — там и там, вожделенная китаянка превращается в холодного ангела. Там — «хочется спать», там — «лёд чаячный».

Глеб Цвель, один из самых ярких авторов-поставангардистов, перформансист, ровесник Хорвата. И тоже умер в Германии.

● ● ●

> Когда ты в сне дурном
> Урок любви мне даришь,
> Я умываюсь пеплом.
> Но нам не верит небо.
>
> Ах, небо нам не верит,
> А звёзды — только дырки,
> А в дырках только пепел,
> Но пепел любим мы.

Петрушкин:

● ● ●

> Сидит обманкой в поплавке
> кузнечик нашей бытовухи —
> поклёвка ходит налегке
> и лижет спирту руки,
>
> и рыбы светят из-под вод
> мохнатым светом глаза,
> везут стихи во мгле подвод
> живых три водолаза…

Там — небо и пепел, здесь — вода и водолазы. Однако по сути оба стихотворения — об одном. О том, как идёт или идут (облака, плотва).

Смыслы в косую линейку. И там, и тут. Нельзя сказать, что Петрушкин намеренно ломает грамматические конструкции, намеренно выдёргивает слово из одного лексического пласта и вклеивает его в другой. Наоборот, всё кружащееся безумие петрушкинского языка мне всегда казалось органичным. Так клошар создаёт огромные, во всю улицу, полотна изо всего, что видит и что попадает ему в руки. Минута за минутой — и к только что найденным обёрткам, на которых внезапно загорается фольгой трогательное «детское», приклеиваются развёрнутые коробки от сильных лекарств или чего похуже. Петрушкин создаёт

фантастический, эклектичный мир, но это мир, в котором есть чёткий вектор. Этот мир, в отличие от мира постмодернизма, не унесёт в никуда ветер. У этого мира есть своя земля и свои деревья. Это мир—маргинальный, потому что он создан человеком, а созданное человеком всегда маргинально. Но это мир, способный защитить свои границы,—там возможен маргинальный джихад. Это отнюдь не эклектика ради эклектики. Всё, что провисает, сделано, по первому впечатлению, «пьяной ногой»,—оказывается воротами в пространство, где хаос может гармонизироваться, но в любом случае не губит. Возникает ощущение дачника в последние дни перед отъездом. На старой скамье, под яблоней, в окружении ос и пчёл—нерешённостей и расхождений. Этот мир можно увидеть целиком, как яблоко. Стоит только вчитаться.

Все мои построения можно перевернуть вверх дном. Переиначить. Но это значит, что стихи, о которых пишу, не настолько хаотичны и настойчивы в проповеди хаоса, как может показаться.

конечная станция новый год Гомер Илиада
законы Дао отменены наличьем Урала
новый почти человек со-стоит из снега в снегу

—поговори со мной говорю ему

конечная станция нежный кастет в кармане
тонкие кости ветра из пустопорожней вербы
отсутствие времени и темноты тебя не обманет

—не
поговоришь со мной?—
бог говорит мне

## 4. Утренний натюрморт

*Вместо заключения*

Это стихи верующего человека или—глумёж, горько-кислое, чем так хорошо закусить пресный беспредел действительности? Не то чтобы неверие, но и не вера.

комочек переваливая
с боку на бок
ещё не Бог а Бога нет и
на фиг

идёшь под фонарём
чертя не круг
и чёрт не брат ещё
и бок не друг

Сомневаюсь, что здесь сознательно (надо ж совсем ничего не чувствовать—чтобы сознательно)—ни Бога, ни чёрта. Кончено, Бог. Христос, как его видел Блок, «в белом венчике из роз»—сновидчески. Эти кыштымские скудные и дорогостоящие рифмы («неба—хлеба», «Бог—бок»)—как горькие родники. Из-за них можно отбросить стихотворение. Но можно его и спеть. Длинно, штопая старый жилет на вате. Ну, если нет жилета—картошки почистить.

Не знаю кому как, а мне в стихах Петрушкина-Вронникова, этого уральского демиурга, видится что-то, что заставляло Сергея Ястребцова—Сержа Ферра—на Монмартре разбивать окоченевшим кулаком лёд в ведре, умываться, а затем—той же окоченевшей рукой разбавлять остатки вчерашнего кофе. И рисовать, рисовать, рисовать. Конечно, пока есть и картошка, и хлеб, и вода в водопроводе. Но это чувство задыхающегося творения, вселенской астмы, изнуряющего лёгкого голода на счастье—вряд ли кто из знакомых мне поэтов сумел и смел передать. В «Трамвае» Воденникова было нечто похожее. Но Петрушкин—человек совсем другого времени. Его не испугаешь сообщением о конце света в точно назначенный день и час. Хаос порой бывает всего лишь предлогом для того, чтобы создать свой собственный космос.

Александр Петрушкин

# Стигматы на теле вещей

Стихи 1999–2013 гг.

● ● ●

И когда я—от нежности—всё же позволил себе умереть,
и когда не случилось впотьмах, и когда
водки было на треть, лимба—только на «дай»—
мне хотелось дышать на стекло и смотреть,
как в прозрачной артерии раннею птахой застынет вода…

И вот—я огибаю тугую струю пустоты,
кем-то прозванной суетой, в первозванной овчине,
между кровлей и Лазарем, огибаю на юг, и не
предчувствую крыльев своих. Только ты
не скорби—это даже не перья, а иней.

А весь транспорт отходит в Иркутск, в Уренгу, в Магадан,
транспорт следует в Рим, заметённый третьим реестром,
косят воду волхвы—где-то между ветхим и местом,
где-то между когда и случится. Осанн
не поют, запивают окисленным тестом.

Погоди. Уходи. Нежность знает ещё половинку
половицы у входа, сверчка ненадёжный залог,
снегом знает, но помнит. Невесты, заметив подлог,
расплетают все косы в фату. Разгрызает снег финку…
остаётся… ещё… что… оброк…

И когда я от нежности пошлой своей не умру,
и когда мы опустим бездонный зарок, и когда
станут камни змеёй, заговорщики скурвятся—там
мы созреем до бреши в брюшине, которой дыру
нарекут после нас. А пока—схорони от татар.

● ● ●

И вот ещё, ещё немного—и начинается потоп,
сминая выдох у порога, чтоб спрятать в травяной носок,
в полынной кости распрямляя [ещё не пойманную] речь
[нагретой до кипенья] почвы, чтобы удобней было лечь.
Так опадают воды… воды… как выдохи и пузырьки,
и люди дышат, словно овцы, дойдя до ледяной реки,

и с ними дышит, улыбаясь, как старость женщины, звезда,
ломаясь в тёмном отраженье на: да—и да—конечно, да,—
ещё, ещё её немного подержишь, выпустив с руки,
а люди дышат, словно овцы с той глубины одной реки,
сминая выдох у порога, в полынной кости копят тьму,
чтоб говорить немного боле немногим меньше одному.

● ● ●

Шёл дождь. Росла трава.
Мы пили эту воду,
мир поделив на два:
на афоризм и оду.
Остаток—пустоте
мы сбрасывали в баки.
Они гремели так,
что лаяли собаки.
С той стороны листа
глядит на нас бумага,
как мы с её лица
пьём воду, точно брагу.
Любой из нас убит,
но мы не умираем,
лакаем белый стыд
и губ не обжигаем…

## Goodbye

я не равен тебе впрочем рано
говорить на замёрзших часах
часовыми куранты растают
и вскипят в плоскодонных котлах
из неравенства следуя в порно
и графически значa любовь
прорастают холодные зёрна
эпителия глубже на бровь

● ● ●

В этом мёде нет пчёл,
только дети и тени детей,
и дождя вертикальная нить.
И короткая память камней
разминает ладонью твоей
мокрый мякиш чужой немоты:
то приходишься братом песку,
то сестрою своей темноты.

## Возвращение

Он плыл среди холмов, надутых пустотой,—
Земля пыталась встать и выдохнуть зерно,—
Он плыл среди земли, чтобы продлить постой,
Которым путь исчислен? И что тебе оно?
Он плыл—его ладонь не ощущала древа—
Земля сходилась с дольше, нащупав глубину,—
Он, посчитавший, что не избежит посева,—
Он плыл среди того, что взял и что вернул.

Он плыл среди своих надежд и ожиданий.
Земля кипела, и—он чувствовал волну,
Он плыл среди всех торжищ и попраний.
Почувствовав, как в пятку термит его кольнул,—
Он плыл среди своих трамваев и вопросов,
Он плыл среди жары с ошеломлённой тьмой,
Он плыл по полостям загадок и засовов.
Земля искала точку средь мёртвых рычагов.

Он плыл по центру речи—который с тишиною
Базарной сплавлен, и—он чувствовал: вдали—
Земля, которой встать—нельзя из тощей плоти,—
Он плыл и знал, что это находится внутри.
Он плыл среди того, что стало Вавилоном—
Развёрнутым в четыре потёмок стороны,—
Он чувствовал, как то, что прорастает лоном,
Лежит, в себе свернувшись, как эмбрион луны.

Он плыл среди червей, и камни следом плыли.
От почвы оттолкнувшись веслом своей руки—
Он плыл, как на свиданье с путями, до которых
Добраться невозможно. С предчувствием тоски—
Он плыл среди обрывков афиш и изменений
Гуленье ощущал, как некой тайны знак.
Он плыл по берегам и наблюдал: их тени
Уходят за водою в без(в)водный жажды мрак.

Земля искала точку и находила в карте
Прореху. Видел свет её горячий вдох.
Земля плыла, собой подобная ореху,
Упавшему на воды,—и с этим вышел срок.
Жена его мертва. Он чувствует, как руки—
Её напряжены, упругий Телемах
Не ищет ничего подобного просвету—
И почвы рассекая—предсмертен каждый взмах.

● ● ●

Наши глаза—стигматы на теле вещей
(пространство и мысли собраны в тусклый зрачок).
Время вербует из зрячих слепцов—стукачей,
пронзая, как бабочек, пойманных в жёсткий сачок,
булавкой никчёмности ---------- или иглою тупой
соединяет с собою—на грани разрыва—
речь человека, вялотекущий запой,
отличье приматов от узконаправленных видов…
…а если всерьёз, то плачет на кухне Она,
вздыхая, роняет—сквозь пол, на соседей—окурки
неясных предчувствий. И разве её в том вина,
что Он—не мужчина, поскольку поэты—придурки?

## Пасха

наконец-то нельзя задразнить щебетать
перегнувшись из смерти
всё равно нас никто не простит—
ну а если простит—не заметит

и вконец перекопанный ад—
назови его будучи живу—
перегнул эту смерть и сломал—
как малец конопатя машину

смерть смотрела в свои же глаза
повторяя бессмысленно жесты
я не помню кто это сказал
но наверное тоже не местный:

вот и я помолчу о себе
вот и я постою о других
а снаружи как видишь всё свет
а по свету небесны круги

● ● ●

Пребывая в том месте,
где кровь истекает и спит,
обнимая дыханье твоё,
и смеётся во сне,
если птица взлетает,
пугая невинную пыль,
принимая участие
в тихоголосой резне,

мы разломим на сытные
ломти свою тишину,
разминая со снегом—
меж пальцев согретую—глину.
Пребывая в том месте,
где проходящие тьму
остановятся, чтобы стоять,
наблюдая свою Хиросиму,

дым поднимется выше, чем
было возможно. Сейчас
начинался Февраль, и навряд
ли мы вспомним об этом,
когда кончится двадцать восьмой
и прокаркает всем свысока,
отлетая в свой рай, как мы в нём
засыпали валетом

на диване ребристом,
дыхание—камешком вниз
упадёт и не вспомнит того, как
его отпускали
от себя тяжело, и как плыли
от места паденья круги,
и как мы—сквозь спираль—
от себя первый вдох отдаляли.

● ● ●

Горит звезда и скоро догорит,
Мы оторвёмся с кровью от экрана—
Под морфием у Бога не болит—
Хотя наш Бог, как звук,—
Сплошная рана.

Звезда одна с другою говорит
Там, на балконе,—и не отвернёшься:
Там плачет Бог—палачит и—болит.
Всё оттого, что ты к нему
Вернёшься.

Горит звезда, где ты с ней говоришь
Из тёмной глубины, которой кислорода
Всегда в достатке для спасения. Болишь?
Нет. Возвращаешь.
И не отвернёшься.

● ● ●

**1.**

На дворе—двести лет
(откуда-докуда—не спросишь).
Указатель накаркает тьму,
целину, Сталинград.

Нас с тобой уносили
сквозь эту прозревшую озимь,
нас с тобой выносил
только (пьяный под Курск) медсанбат.

Мы глотали, как рыбы,
на льду бронзовеющий воздух—
словно в слово, вступали
в болото и в небо. В наряд—

поплыла чешуя толстозадой,
в обрямках, русалки,
и ладонью счечётил
по стулу безногий солдат.

**2.**

Чпок!-чинались русалочьи
пляски на Юг и Восток,
вместо ружей и сабель—
швабры и тощие палки,

вместо кухни с иконкой—
затёртое чёртом лицо.
И плывут по реке восковые,
как бог их цветной, пролетарки

На дворе—тыща лет,
и спрашивать даже не надо,
где нам жить—просто жить,—
но однажды так страшно дышать.

На дворе двести лет
(откуда-докуда—не скажешь)
серпантин, Новый год, тьма во тьме.
Двести лет—Сталинград.

● ● ●

«О» открывает рот и заслоняет ночь,
я на детей смотрю, как на Восток и Запад,
к тому же это—сын, тем паче это—дочь,
а более всего—почти овечий запах.

Почувствуй эту желчь, где сын похож на мать,
где дочка дочерна дыханьем воздух стёрла,
где маленький отец ночами, словно тать,
свой голос воровал из собственного горла.

Папашки вялый вдох, который—как вода.
И дети—как птенцы, и комнаты—как гнёзда,
и более всего, конечно, немота,
и рано всё менять, поскольку очень поздно.

И как мне рассказать про гелий, водород,
про мать своих детей (чуть не сказал—потомков),
про то, как бродит сын уже четвёртый год
и как топочет дочь среди моих обломков?

Они по миру прут, как радостная смерть,
как радостная смерть отца и материнства.
А я гляжу на них и продолжаю петь,
хотя давно готов икать и материться.

Пересечём же Стикс или худой Миасс
промежду арматур, извёстки, пятен меди,
покуда жёлтый дождь, который кровь заменит,
впадает кое-как, но непременно—в нас.

● ● ●

зачем зачем о жизни три вóрона летят
и каждый третий держит в своей руке котят

зачем косноязычье незримо мне дано
о впалое как старость отчаянное дно

зерно в подскулье ноет у бледной из ворон
я склонен к паранойе в любой из всех сторон

зачем мне смерть однажды смеётся изнутри
нет музыки понятной для цифры нумер три

и оспою укрыто у чёрной из ворон
крыло как феней синей написанное С. Л. О. Н.

зачем мне голос птичий безногий голос дан
до боли неприличный как чёрный Казахстан

и рыжий красный ворон забитый в кислород
мне тело лапой ищет и закрывает рот

зачем твоё бессмертье—четвёртый ворон бел
летит на тёмном свете наш чёртов Кыштым-бей

зачем зачем о жизни ворóны три летят
и в каждой третьей дети как умца-ца гудят

● ● ●

Закончил ветер выть, как только свечерело,
а инвалид-сверчок чуть позже замолчал,
ты задала вопрос, точней—его пропела,
да я не отвечал.

О чём мне говорить—что лето нецензурно,
что нас имеет вновь любимая страна,
что ива у реки прозрачна, как мензурка,
а речка—холодна?

Что не умею жить без сурдоперевода,
что не умел любить и получил за то,
что из меня теперь течёт моя свобода,
которая—ничто?

Что ты идёшь гулять с чистопородным шпицем,
что весело свистишь, сзывая кобелей,
что в сумочке твоей двойная доза в шприце?
Давай её скорей…

## Руки Вийона

вот так оставлена одна рука и пусто
в пространстве нет ни слова никого
ни шелеста ни речи ни искусства
найти его

вот так оставлена рука обозреваешь
ей пустоту ощупывая первый
не первобытный хаос понимаешь
его здесь тоже нет (и это в-первых)

и в белом одиночестве своём
рука уже почти не существует
не слышит и не дышит не поёт
глухонемым не тайно и не всуе

(а во-вторых) найди хоть что-то в этих
пустотах пустоте в прозрачном цвете
когда не спросишь мытаря: чаво
здесь выпал снег?
как ты живёшь за этим
с кем говоришь
от имени кого?

рука рисует руку—и вторая
уже почти отсюда нам видна
и тьмы и тени нет изнанка света его отсутствие
а никакая тьма

с той стороны вытягивая спину
которую рукой нарисовал
дурной Вийон Вийон-отец как кошка
второго намурлыкал и пропал

как горько одиночество руки
во тьме в которой не найти вторую
и только небо капает внутри
пока вторую я себе рисую

● ● ●

под деревом сидит над головой
то голос твой

то голод твой по слуху и другим
за это спим

за то законник может даже финку в бок

и внемлет Бог

а голос твой слабее изнутри
и выйдет три

три голоса болячку этот звук
протри испуг

под деревом сидит над головой
с самим собой

царапает смешные письмена
как смерть страна

● ● ●

кому сказать не сказ а многословье
слепой дурак пытается
одеться
слепая птица тычется в ладони
чужое я пытается
согреться

ты сделал страх как Карло Буратино
вокруг тебя то хохлома
то льдина
немой лубок и не мои огни
ну вот и наконец-то мы
одни

кому сказать—не голоса рыданье—
молитва обрывается
на всходе
а на восходе лешего камланье
сквозь тело насовсем душа
проходит

● ● ●

Не смотри, что спичка… Сон
бабочки дольше, чем жизнь человека. Если
ты меня понимаешь—значит, поперёк
Гольфстрим пересекать легче.
И если я расслаблюсь
в протёртом кресле—
значит, я ещё
гутапперчев.
Если эта женщина всё ещё ждёт
сколько-то там эту встречу—
значит, она—единственная из женщин.

● ● ●

Белые одежды обещают свет—
выпью без надежды. Не было—и нет.

Всплыли кверху килем ангелочки—я
слово не обижу. Слышу: чур меня…

Тощие девчонки.
Тоненькие ручки.
Это не судьба.
Я дошёл до ручки,

до дверной, до края смётаной заботы—
все теперь без края: галлы, чукчи, готы.

Мы теперь без рая улетаем в небо—
ты нальёшь чего-то, я порежу хлеба.

Тонкие чернила
нарисуют крестик:
я не улетел—
я себя подвесил.

● ● ●

Где полый стыд бежит наискосок,
взлетает слово, попадая в слово,
стучится птицей пойманной в висок
и падает в меня или в силок.
Речь за меня к ответу не готова.

Где к твёрдой рифме мой привит язык,
роняю тело, обращаясь в штык,
в тесак, в заточку, финку воровскую.
Так пропадает злобный человек,
пока, как диалекты, я блефую.

Мы сбудемся, а может быть, и нет,
нас видит как слепые тени свет.
Ты понимаешь, что проговорил я,
где полый стыд бежал наискосок
и попадал в себя или висок?

## Поминальник

Память—прореха в дверях совершившейся смерти.
Думать—значит, не жить. Не фонтан, что Шива очертит
на голодной воде местечкового Курдистана.
Покурить не найдётся, вернутся—марихуана,
кость игуаны, спидоносная шлюха. Шприц—
это ручка, которой мы пишем лиц
спайки и буквы. Карандаш обломится, если очертит:
всё, что я наломал на жизни,—память о будущей смерти…

● ● ●

Прожив без меня две жизни—ты научилась ждать,
пока тебя память сотрёт до рифмы и, вымолвив: «Жаль»,—
Хронос посмотрит вслед и увидит в себе, как ты
примеряешь к морщине своей промежуток моей пустоты.
Только тогда ты отпустишь меня навсегда—и я,
как свободу свою, твои обрету края.

● ● ●

почти как по ладони, сбегают (только мимо)
холодные пароли, и мимо—голоса…
и кажется, что тень сползёт неотвратимо
в окоченевший свет, трамваи, небеса,
стучащиеся в почву. Теперь—что невозможно:
читать себя по крови… и выпадет роса,
и пятистопным ямбом стучится в пуле Пушкин—
и пьёт, почти как ангел, нас пёс через глаза.

Елена Янге

# Транс

Часть I

**1.**

Мать вошла в комнату, и запах духов заполнил моё жизненное пространство. Ненавижу её духи. Кажется, это—запах похоти.

Кажется.

Остаётся предполагать, ведь похоти я не знаю. Впрочем, как и многого другого.

Запах книг, кошки, лаванды я знаю. Последний—самый приятный. Его подарила миру Дева Мария. Говорят, для поддержания духа.

Красивая легенда.

Жаль, что легенда. В жизни всё проще. Лавандовые саше мать раскладывает в бельё. Считает, что помогает от моли. Лучше бы сказала: для поддержания духа.

Так романтичней.

Мать подошла к журнальному столу и поставила на него поднос.

— Как спала?—спросила она.

Посмотрев на поднос, я промычала. Опять кефир с круассаном.

— Похолодало,—сказала мать.—Надо достать манто.

Ненавижу, когда растягивают слова.

«Ма-а-а-анто».

Лучше бы сказала: меховая накидка. Да разве скажет? Не её стиль. Говорить простым языком мать не умеет, надо манерничать. Зачем? Сорок семь лет, а строит из себя соблазнительницу. Утром—пеньюар, днём—облегающее платье, по вечерам…

Куда она ходит по вечерам? В ресторан? На концерты? В кино? Может, у неё есть любовник? Красится, душится, ездит на массаж.

Наверняка есть.

— Таш, посмотри.

Мать протянула книгу.

— Спасибо,—прокаркала я.

Ужас! Ненавижу свой голос. Как у охрипшей вороны.

Странно, да? Заладила, как попугай: ненавижу, ненавижу… Полагаете, я—с приветом? Не угадали. С головой у меня—всё в порядке. И со словарным запасом. Но это внутри. Стоит произнести что-то вслух—мурашки бегут. Скрип, как у старой телеги. А всё почему? Потому что я проклята!

Да, да. Проклята. Судьбой, Космосом, Богом… Не знаю кем. На мне—клеймо, и имя ему—ДЦП. Три буквы, за ними—трагедия.

Моя трагедия.

Детский церебральный паралич. Слышали о таком? Скольких людей ДЦП выдёргивает из жизни? Тысячи? Миллионы?

Да хоть—миллиарды! Мне-то какое дело? Этим клеймом помечена Я.

За что наказали? Зачем?

Не человек, а червяк. Движение—через боль, желание—через просьбу. Можете такое представить? Уверена, нет. А всё почему? Потому что мы разнополярны. Вы ходите, живёте, я—нет.

Я существую.

Мой мир—это мать, кошка и Аня, работница по дому.

Моя мечта—ходить.

Счастье—это просто ходить. Сам встал, умылся, сварил кофе, самостоятельно вышел на улицу. Сам, сам, сам! Нет поручней, чтобы сесть на горшок, нет жуткого запаха испражнений, нет унижений. Вот оно—счастье.

Сейчас услышу: «Счастье—это когда тебя понимают». Знаю-знаю. Так рассуждают те, у кого—подвижное тело. А у меня его нет. К тому же мне наплевать, понимают меня или нет.

Если бы ходила, была бы счастлива.

А что касается понимания, это—одни слова. Без понимания можно прожить. А лёжа… Попробуйте прожить лёжа.

Я хмуро посмотрела на мать. Она стояла у окна и слушала шум дождя.

— Помнишь Ахматову?—спросила мать.—«Дождь косил свои глаза гневливо, с городом ты в буйный спор вступал…»

Помолчав, добавила:

— «Маяковский в 1913 году».

Зачем спрашивает? Ведь знает: я не отвечу. Не потому, что не помню,—не смогу выговорить. «Маяковский»—куда ни шло. В три приёма осилю. А четырёхзначное число…

— Ладно. Пойду на работу.

Голос у матери—грустный. Под стать погоде.

«Дождь косил свои глаза гневливо».

Верно. Косит. Струи дождя, хмурое небо, перестук по карнизу.
— Прочти эту книгу. Думаю, понравится.

Я посмотрела на руки. Между пальцами торчала брошюра. Взгляд зацепился за название: «Йога сновидений».
— Вдруг поможет,—сказала мать.

Лучше бы не говорила. Кому поможет? Ей или мне?
— Уходи,—прохрипела я.

Мать сделала вид, что не слышит. Знаю, она привыкла. К моей грубости, отчаянию, плохому настроению. Человек ко всему привыкает.

Ко всему, кроме боли.
— Влажные салфетки—на подносе. Аня скоро придёт. У меня—совещание, круглый стол, встреча. Приеду поздно.

Мать направилась к двери. Посмотрев вслед, я заплакала. Тихо, беззвучно, одними глазами. Вернее, сердцем.

Шёлковый пеньюар, тщательно уложенные волосы, прямая спина. Ничего этого у меня нет. И не будет. Всю жизнь я буду лежать на ковре, а развлечения ограничат три репера: книги, Интернет, прогулки.

**2.**

Дверь хлопнула. Я осталась одна. Вернее, с Лушкой. Слышно урчание холодильника, тиканье часов, бульканье в батареях. Лушка зашла в комнату и, не взглянув на меня, прыгнула на подоконник. Вот стерва! Интересно: о чём она думает? Или не думает вовсе? Смотрит на дождь и слушает его перестук.
— Луша,—позвала я.

В уме всё правильно, а прозвучало: «Уша». Точнее, что-то невообразимое. Не получилось ни «ш», ни «у». Однако кошка поняла. Оторвавшись от окна, она повернулась в мою сторону. Дескать, чего тебе?
— Кис,—выдавила я.

Хотелось тепла.

Я попыталась улыбнуться. Однако не получилось. Вместо улыбки—гримаса.

Кошка спрыгнула с подоконника и, посмотрев на кефир, легла на мои ноги. Умная тварь.

Стало тепло. Мягкая шерсть, урчание, присутствие живого существа. Возникла иллюзия, что меня любят.

Лушка раскинула лапы и задремала. Лентяйка. Два-три движения—и спит.

Мне бы так. Диван, поддон, миска, а между ними—сон. И так всю жизнь.

Может, я что-то не понимаю? Может, Лушка не спит? Уткнулась головой в живот и думает: «Вот колода! И чего развалилась? Встала бы, походила, как все… Хотя бы для разнообразия».

Щёлкнул замок. Аня пришла. Слышно, как раскрывает зонт, идёт в туалет, моет руки. Сейчас появится. Приподняв голову, Лушка посмотрела на дверь.

Аня вошла в комнату. Румяная, светловолосая, толстая. Всё в обтяжку—кофта, брюки, жилет.
— Таш, привет. Поела?

Лушка встрепенулась. Ясно. Мать её не кормила. Взглянув на поднос, Аня сказала:
— Так не годится. Кефир не выпила, круассан не съела.

Она присела на корточки и коснулась меня коленом. Запахло дождём, свежестью, утром.
— Хандришь?

Я вздохнула.
— Сейчас сварю бульон. Увидишь, тебе полегчает.

Губы дёрнулись. Бульон—моя слабость. Прозрачный, с золотыми бляшками, с веточкой базилика. Что и говорить, небольшая, но радость. Мать этого не понимает. Боится, что поправлюсь и меня не поднять.

Аня пошла на кухню. На пороге остановилась.
— Пи́сать не хочешь?

Я помотала головой. С чего пи́сать? Пью мало, ем ещё меньше.
— Таш, не ворчи,—ласково сказала Аня.

Вот девица! Мало того, что чувствует настроение,—ещё переживает за меня. А ведь переживания в её обязанности не входят. Мать платит за уборку, готовку, уход.

Я упёрлась в диван. Почуяв еду, Лушка выскочила на кухню. Ну и пожалуйста. Без неё обойдусь. Я поелозила по ковру, дотронулась до подушки. Пальцы не слушались, однако уцепиться за подушку удалось. Осталось переместить к ногам. Судорожные движения разогрели кровь, и я почувствовала тепло. Вот и хорошо. Получилось.

Теперь можно и почитать. Прижав книгу локтем, я перевернула страницу. Взгляд побежал по строчкам, однако смысл летел мимо меня. Медитация, транс, сон…

Видимо, не моё.

Из книги вылетел листок. Ткнувшись в бедро, он приоткрылся. Чья-то записка. Незнакомый почерк, мелкие корявые буквы.

«Лариса, оставляю свои впечатления. Скажу откровенно: я—в шоке! Подробности при встрече, здесь—мои эмоции и ощущения. Теперь понимаю, как увлекательны эти занятия. Целую, Андрей».

Далее короткий рассказ:

«Впал в состояние транса. Был женщиной. Появились новые желания. Захотелось вилять задом, жмуриться, поглядывать из-под ресниц, томно вздыхать. Чёрт-те что! Ощущение, что схожу с ума. Тем не менее, пошёл дальше. Понял, что должен (точнее, должна) кого-то соблазнить. Кого—не видел. Думаю, это неважно. Слышал свой голос, видел плавные движения рук, ощущал мощные удары сердца. Испугался последствий, вышел из транса. К чему приведёт опыт, не знаю. Возникла

мысль: женщина желает быть объектом сексуального желания. Не обиделась? Думаю, нет. Ты — мудрая, всё понимаешь…»

Дальше густо замарано. Однако хватило и этого. Я получила подтверждение: у матери есть любовник. Дурит ей голову, вызывает к себе интерес, набивает цену. Ишь какой! Транс, превращение, новые желания…

Мысли зажужжали, как мухи. Я ощутила Событие. Именно так: Событие с большой буквы. Оно ворвалось в жизнь и, наполнив её смыслом, размазало чёрную краску. У меня закружилась голова. Хотелось одного — хорошенько подумать.

О чём? — спросите вы. О многом. Во-первых, о матери. До этого дня она принадлежала мне. И только. Теперь в её жизни появился мужчина. Могу допустить, что были и раньше. Но если были, то за пределами моей жизни. Мужчин я не знала, не видела, не ощущала. В квартире их не было. А теперь есть. Некий Андрей спрятался в записке, и его слова врезались в память.

Надо обдумать, понять, ощутить тайну — тайну взаимоотношений матери и любовника. Как это у него? «Вошёл в транс». Интересно, как он вошёл?

Я посмотрела на календарь: девятнадцатое марта 2011-го. Надо запомнить. Уходя, мать сказала: «Почитай. Некоторым помогает». Может быть. Ясно одно: записка появилась случайно. Видимо, мать положила в книгу и забыла. Конечно, забыла. Мать я хорошо знаю. Она свою душу не откроет.

— Бульон готов.

Аня вошла с чашкой и улыбнулась.

— Наваристый. И базилик положила.

Вдохнув аромат, я поняла: хочу есть.

— Погоди-погоди. Сначала умоемся.

Схватив меня в охапку, Аня направилась в ванную. Сорок пять килограммов для неё — не проблема. Думаю, подняла бы шестьдесят.

— Помоем личико, почистим зубки…

Я сидела на Аниных коленках и дёргалась. Прижав меня к умывальнику, Аня умыла, причесала, вытерла полотенцем.

— Красивые глазки. Глянь-ко.

Посмотрев в зеркало, я отвернулась. По-моему, ничего хорошего. В моих глазах — уныние, боль и тоска.

— Теперь кушать.

Аня отнесла меня в комнату, накормила, вытерла рот, положила на диван. Прикрыв пледом, оставила одну. Наконец-то.

Что ни говори, жизнь — суета.

3.

Книгу, которую принесла мать, я читала неделю. Дни сменялись ночами, мать приходила и уходила, а я постигала то, что приносило облегчение. Да-да, облегчение.

Появилось подобие интереса. К книге, йоге, снам.

«Что дальше? — спрашивала я. — А вдруг?!»

Восклицательный знак пикировал мозг, мысли приходили в движение.

Тревожно и сладко одновременно. Сладко потому, что появилась мечта. Чтобы отвлечься, я доставала записку. «Впал в состояние транса. Был женщиной. Появились новые желания». Эти строчки будили воображение и дарили надежду.

«Ему удалось, значит, такое бывает. Надо понять, и тогда…»

Что тогда? Встану, пойду, заговорю?

Бог ты мой! Нечего даже мечтать.

А может, увижу мир?

Какой он? Не тот, что рядом, — другой, наполненный жизнью.

Настоящей жизнью.

«Некоторым помогает», — сказала мать.

Значит, слышала, обсуждала, читала. Эта мысль не давала покоя и заставляла перелистывать страницы.

«Тело засыпает, разум бодрствует. Вы постепенно входите в транс».

Ну, скорее! Пусть моё немощное тело заснёт, пусть пропадёт убогость, пусть пойду! В мечтах, во сне, в трансе — неважно.

«Вы теряете осознанность, тело становится уютным. Ваши мысли засыпают».

У меня нет уютного тела — ни днём, ни ночью. Неловкое, малоподвижное — да. А уютное… Трудно даже представить.

«Чтобы подстегнуть воображение, нужен фон. Лучше — природный. Бегущая куда-то река, горы, облака…»

Я осмотрела комнату. Диван, стол, комод, ноутбук… Ни одного яркого пятна. Разве что картина. Её подарила мать. На картине нарисовано море. Видимо, шторм. На переднем плане — волна, забуруненный гребень. Под волной — лодка, в ней — рыбак. Руки рыбака подняты, в глазах — ужас. Рыбак понимает: волна — это смерть. Его смерть. Неотвратимая, с космами по плечам. Выглянув из волны, смерть застыла. На миг или больше — неважно. Смерть наслаждалась испугом.

Разглядывая картину, я впитывала энергетику и задавала вопросы.

Почему мать купила именно эту картину? Почему не мирный пейзаж, дом на опушке? Может, в душе — шторм?

Право, не знаю. Мать не скажет, я не спрошу.

Мысль о штормящей душе пришлась по вкусу. Хотелось новых ассоциаций, новых мыслей. И они пришли.

Мою судьбу испоганила мать. Зачем родила больную? Теперь мучается. Ну и пусть.

Я повернулась к окну и посмотрела на небо. Синее, с барашками облаков. Вчера было серым. Интересно, а что на небе? Не там, где самолёты, а много выше. На самолёте я летала. Смотрела в иллюминатор и млела. Другой мир. Как в книжке. Шапки облаков и синева. Красиво. Однако хотелось выше. Вот бы подняться в космос! Высоко-высоко. В космосе, наверное, страшно. Чёрное небо и звёзды.

Хлопнула дверь. По-моему, на лестничной площадке. Пахнуло борщом. С запахом прилетела мысль: моя жизнь складывается из мелких ощущений. Будто пазл. Я собираю детали и каждой пытаюсь найти своё место.

Скучно.

Монотонная жизнь, куцые впечатления. Звуки, запахи, чьи-то разговоры…

Аня вошла в комнату.

— Пойдём погуляем. На улице — солнце.

Что ж. Я не против.

Меня причесали, обули, усадили в коляску. Зачем обули? Не знаю. Видимо, положено.

Мы вышли из квартиры.

— Черёмуха зацвела, — в ожидании лифта сказала Аня. — Уж такой у неё запах!

«Вот она — деревня. „Уж такой у неё запах!“»

Я почувствовала превосходство. Вернее, хотела почувствовать. Сама говорю плохо, а ошибки слышу. Спасибо матери. Научила читать, считать. Купила ноутбук. Всё-таки развлечение. Можно сказать, окошко в жизнь.

Втолкнув коляску в лифт, Аня втиснулась следом. Ей пришлось потрудиться.

Я ухмыльнулась. Вспомнились слова матери: «При беззаботном характере лишние килограммы неизбежны».

Мать права. Аня и впрямь беззаботна. Поёт, танцует, радуется. Непонятно чему. Сама из деревни. Ни кола ни двора. Снимает комнату вместе с подругой.

— Приехали.

Коляска запрыгала по лестнице.

— Что за люди! — воскликнула Аня. — Нет чтобы сделать нормальные рельсы!

Моя голова болталась из стороны в сторону, ноги бились о подножник коляски.

Проклятье! Когда же конец?!

Спустились. Впереди — металлическая дверь. Запахло потом. Похоже, Аня упрела.

Всё. Вышли.

Коляска выскочила на тротуар. Сквер, детская площадка, пруд, церковь, стадион. Ничего нового. Знакомый получасовой променаж.

Аня посмотрела на часы и пошла по второму кругу. Рядом притормозил велосипед. Он задел коляску, и девочка крикнула:

— Мама, смотри!

— Тише, — отозвалась Аня. — Не видишь — коляска.

Пышные формы Ани пришли в движение, рука плюхнулась на моё плечо.

— Ляля! — раздался женский голос. — Ну-ка ко мне!

Девочка развернула велосипед и, расставив ноги, стала меня разглядывать.

— Езжай к маме, — сказала Аня.

— Не хочу.

— Что тут происходит? — спросила подошедшая женщина.

— За ребёнком надо следить.

Стряхнув с меня пылинку, Аня покатила дальше.

— Тётка в коляске — урод! — услышала я.

— Ну-ка замолчи! — одёрнула мать девочку.

— Урод, урод!

Крик долетел до детской площадки. Дюжина глаз уставилась на меня. Аня набрала скорость, и коляска просвистела мимо.

— Вот поганка! Маленькая, а пакостная.

Анина реплика не успокоила. Слова девочки засели в мозгу и испускали зловоние.

«Урод!»

Девочка права. Она сказала то, что видела.

— Ей бы по заднице нашлёпать. Надо же такое сказать!

Аня подъехала к скамейке и, взглянув на меня, сказала:

— Таш, не обращай внимания. Ты у нас — умница. Вон сколько книжек прочла. А дети есть дети. Что им в башку придёт, то и говорят. Сказала бы я такое, мамка бы в кровь исхлестала. Ох и строгая! Помню, я корову не загнала, так неделю не выпускала из дома. И за дразнилки лупила. Веришь?

От деревенских историй меня тошнило. То Аня в пруду тонула, то в лесу заблудилась, то от пчёл отбивалась. Послушаешь — ни дня без приключений.

— Был у нас Васька Хрумов. Косой, хромой, уши как лопухи. Работал в овчарне. Бывало, идёт по деревне, кнутом пыль поднимает. Прямо герой. Сапоги с отворотами, кепка на голове. Кажись, всё путём — даже прицепиться не к чему. А хочется. Как-то глянула вслед, вижу, на штанах — дыра. Небольшая, с кулак. Но главное — аккурат на заду. Мы в тот день с девками на срубе сидели. Я-то — языкастая, ну и крикнула: «Васенька, жопа красенька!» Представляешь? Девки со смеха помирают, а у Васьки уши — что помидор. Тут и мать показалась. Услышала мои слова, как крикнет: «Нюрка, домой!» Ух и испугалась. Ну, думаю, пропала. Девки за сруб попрятались, шепчутся между собой: «Побьёт Васильевна Нюрку. Спорим, побьёт?» И они были правы. Мать побила меня. Прямо по губам. Ещё приговаривала при этом: «Ишь какая срамница!»

Присев на лавку, Аня занялась семечками. Я передёрнулась.

— Крутой у матери норов. Так и есть. Помню свои уговоры. Дескать, отпусти в Москву. Денег

заработаю, крышу залатаем. Упёрлась рогами. Нет, и всё тут.

Вывернув карманы, Аня заворковала:

— Гули-гули-гули!

Без всякого перехода. Вот характер!

Голуби будто ждали.

— Ну и хорошо,— обрадовалась Аня.— Кушайте на здоровье.

Я отвернулась. Вернее, попыталась отвернуться. Голова дёрнулась и наклонилась к плечу.

«Одна деревня на уме. Кроме неё, и поговорить не о чем».

Я пребывала в отчаянии. Слова девочки вытеснили другие мысли.

*«Урод!»*

Вот, дожила. Раньше меня так никто не называл.

— Всё. Погуляли, и хватит,— сказала Аня.— Сначала тебя домой завезу, потом сбегаю в магазин.

Коляска подскакивала на тротуаре, и вместе с ней скакали мои мысли.

«Все, глядя на меня, думают: вот уродка! Но не говорят. Вроде неудобно. А девочка сказала. Ей-то что?»

Я глянула перед собой. Навстречу шла женщина. Увидев меня, отвела взгляд.

«Вот и женщина думает так же. Ишь как отводит взгляд».

Обида на жизнь, на мать захлестнула меня, и, распахнув объятья, я поместила её на почётное место.

«Мать меня, конечно, жалеет. Неудивительно. Всё-таки дочь. А Луиза, материна подруга, всё время врёт. Сядет на диван и обливается сиропом. «Ташенька, ты — красавица! Глаза как у газели. А ресницы! Смотрю на них и завидую». Мать вышивает и молчит. Не возразит, не поспорит. Как же иначе? Луиза — с большими связями, нужный человек. По её сценариям ставят фильмы, её книги пользуются успехом. Как-то раз прочла Луизину книгу. Чушь несусветная».

Коляска ударилась о бордюр, перескочила его и подлетела к дому. Из подъезда вышел мужчина.

— Не поможете?— спросила Аня.

— Да-да, конечно!

Аня забежала вперёд и стала командовать:

— Зад у коляски поднимите. Спереди сама поддержу. Так... Ещё ступенька.

Я слышала над ухом чужое дыхание. Наконец — длинный выдох.

— Спасибо,— сказала Аня.— Можно сказать, повезло. Самой-то тяжеловато.

— Да-да. Не стоит благодарности.

Мужчине было не по себе. Не смея уйти, он топтался на месте и ждал приказаний.

— До свидания,— кивнула Аня.— В лифт сама запихну.

Покосившись на меня, мужчина кивнул и сбежал по лестнице.

— Смотри-ка, Таш. Грузовой пришёл. И что за везуха!

Закатив в лифт коляску, Аня добавила:

— Хороший сегодня денёк.

«Замечательный»,— подумала я.

## 4.

Вечер. Опять одна. Лушка — на кухне, я — на полу. Смотрю в окно. За ним — сумерки. Облако проплыло. Остановилось. Прильнуло к стеклу. Какое-то оно странное. Будто вуаль. За ним — две звезды. Мерцают, словно глаза. Холодные, далёкие, но живые.

Что это — призрак?

Я напряглась. Потянулась к окну. Хотела спросить, узнать что-то важное. Но голос пропал. Ни хрипа, ни карканья — ничего. Будто бы онемела.

Облако дрогнуло и... пропало. В окно заглянула луна, а вместе с нею — тоска. Липкая, щемящая. Она просочилась в комнату и, заглянув мне в глаза, уселась на плечи.

Как тяжело! Хочется подойти к окну и вдохнуть серую мглу. И крикнуть: «Что я такого сделала?»

Не получится.

И броситься вниз мне не под силу. А хорошо бы. Перевалиться через подоконник и полететь. Минута, две, три... Летела бы вниз, а за мной — моя жизнь. Убогая, куцая, никчёмная. Жизнь, насыщенная ненавистью и болью.

Я застонала.

«Ненависть. Она везде. На сердце, языке, в каждой клетке. Её дыхание отравляет всё — душу, мысли, существование».

Тоска обхватила шею. Я закашлялась. Серая мгла раздвинулась, и появились звёзды. Будто бы изучая, звёзды сонно смотрели на меня.

«Какое странное человеческое существо,— казалось, говорили они.— Уродливое, жалкое, больное».

Порыв ветра открыл окно. Всполошенно забились занавески. В комнату влетела мысль. Точнее, вопрос. Он извивался крючком и бил в висок. Два маленьких, как дробь, слова: «За что?»

Почему так тревожно? Где точка, которая болит? Утром, ночью — всегда. Как называется то, что не даёт покоя? Может, душа?

Почему моя душа не летает? Ползает, смердит вместе со мной. Грызёт, рвёт, превращает в груду тряпья. Затхлого, с полуистлевшими нитками. А каждая нитка — мой день. И как жить, чтобы не захлебнуться? От ненависти, боли, отчаяния.

Тело дёрнулось, и я завалилась навзничь. Казалось, лечу по туннелю. Далеко впереди — глаза. Холодные, далёкие, живые.

Может, вошла в транс? Может, сейчас пойду? Встану во весь рост и пойду?

Я перекувырнулась и... встала на ноги. Сделала шаг.

Какое блаженство!

Ноги касались упругой подушки и шли. Сами. Один шаг, второй, третий… Неведомые глаза следили за мной, звали к себе.

Вперёд. Быстрей. К свету.

Наконец-то!

— Иду-у-у!!!—крикнула я.

Крикнула радостно, звонко—без хрипа.

Я развела руки, и стенки туннеля раздвинулись. Как в сказке. Глаза превратились в шары. Светящиеся шары. Я остановилась. Внутри всё дрожало, слёзы заливали лицо. Свет хлынул навстречу, вместе с ним—адская боль. Она ударила, опалила, взорвала мозг.

— А-а-а!!!

Из сердца вырвался крик. Да-да. Прямо из сердца. Будто открылась дверь—и вылетел заряд. Огненный, мощный, большой. Ноги подкосились, и я упала.

Чёрное покрывало закрыло глаза.

Ночь. Опять ночь.

— Та-а-аша! Таша! Очнись!

Яркие блёстки легли на глаза, тёмное покрывало поднялось вверх и устремилось к окну. Вместе с ним улетел запах. Резкий, медицинский, густой. Я глубоко вздохнула. Ни боли, ни жара. Одна пустота. Удары сердца отдавались в голове. Бум, бум, бум. Как колокол на колокольне.

— Девочка моя.

«Кто это сказал?»

Взгляд потянулся к окну.

Глаза. Однако другие. Зелёные, с вертикальной чертой. Не мигая, смотрели на меня.

«Нет-нет! Не хочу в туннель. Там боль. Невыносимая, как ожог».

Глаза исчезли, послышался стук. За ним—громкое «Мао!».

Лушка. Ну да. Это её глаза. И почему стук, понятно. Сначала сидела на подоконнике, потом, спрыгнув, сказала: «Мао!»

— Приподнимись немножко. Положу на диван.

«Голос матери. Откуда она здесь?»

Белые руки, кружевная сорочка, водопад тёмных волос. Они упали мне на лицо, и стало щекотно.

Я улыбнулась. Слегка. Краешком губ.

Руки обхватили меня, приподняли. Прижавшись к материнской груди, услышала её сердце. Оно походило на птицу. Несчастную, испуганную, больную.

Жаркая волна. Испарина. Громкий всхлип.

— Не плачь. Всё хорошо.

Мать положила меня на диван. Села рядом. Влажная салфетка опустилась на лоб. Пахнуло духами.

— Как ты меня напугала! Крик, закатившиеся глаза. И рука. Похожая на надломленное крыло.

Мать наклонилась ко мне, прикоснулась губами ко лбу.

«Что это? Поцелуй?»

— Температуры нет. Видимо, сон. Мне тоже снятся кошмары.

Мать поправила подушку и добавила:

— Хорошо, в аптечке есть нашатырь. Недавно купила.

Материнские глаза—будто озёра. Тёмные, с отблесками луны.

«Загадочна и красива. Похожа на наяду».

Я перечитывали мифы не раз. Они будили моё воображение. Вот и сейчас: мать показалась Ментой. Это—наяда-целительница. Такая же бледная и холодная.

Мать подняла мою руку и положила на одеяло. Её ресницы затрепетали, из груди вырвался вздох. Длинный, щемящий, с надрывом.

— Твоя рука была похожа на сломанное крыло,— прошептала мать.

По щеке поползла слеза.

— Вспомнились строчки Ахматовой.

Я вздрогнула.

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в чёрную долину.

Меня затошнило.

«Опять тянет слова. «Безу-у-умие», «полови-и-ину»… И снова манерничает».

— Тебе нравится?

— Что дальше?—каркнула я.

Услышав знакомые нотки, мать вышла из роли. Мгновенно. Грудь колыхнулась, и кружева на сорочке разошлись. Теперь передо мной сидела вакханка. Чувственная, сладострастная. Настоящая жрица Вакха. С блеском в глазах и трепетным телом.

Моё лицо залила краска. Мать встала и, скрестив на груди руки, продолжила декламацию:

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

<…>

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдалённый лёгкий звук—
Слова последних утешений.

«Ну и артистка! Фальшивая и бездарная».

Я закашлялась. Надсадно, с хрипом, до слёз. Мать кинулась к дивану.

— Что-то не так? — спросила она.

Я уставилась в бездонные глаза. С ненавистью и презрением.

— Уходи!

Мать обмякла и вмиг постарела.

— Теперь всё в порядке. Вижу, пришла в себя.

Булькнув что-то в ответ, я затихла. Откинув волосы, мать пошла к двери. Величественная осанка, шлёпанцы на каблуке, кружевная сорочка.

— Спокойной ночи, — холодно сказала она.

## 5.

В комнату просочилась мгла. Зацепившись за штору, посмотрела на меня пустыми глазами.

«Злишься?»

Я застонала.

«Что же произошло? Сон или транс?»

Меня лихорадило.

«Где я была? Куда летела? Перекувырнулась, встала, сделала шаг. Один, второй, третий. Далеко впереди — глаза. Холодные, но живые. Глаза следили за мной, звали к себе. Вперёд. Быстрей. Я шла и кричала. А дальше — адская боль. За ней — покрывало. Чёрное, с нашатырём. И что-то светлое…»

Я напряглась. Слёзы заволокли глаза.

«„Девочка моя!“ Это сказала мать. Ласково сказала. С тревогой».

В сердце появился снаряд. Новый, нетерпеливый. Он рвался наружу. Жёг. Я стиснула зубы. До боли. Снаряд затаился. Пропал.

Я помнила мать с двух с половиной лет. Безупречный овал лица, выразительные глаза, соболиные брови. Красавица, фея, принцесса. Или Мадонна.

С трёх лет помнила грусть. Она была рядом всегда. В комнате, словах, глазах. Помню, как мать читала. В эти минуты грусть вырастала до вселенских размеров. У меня было желание броситься к матери и её защитить. Хотела и не могла.

*«Родила царица в ночь не то сына, не то дочь,* — читала мать, — *не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку»*.

Она вытаскивала меня из кроватки и, взяв на руки, ходила по квартире.

«Несчастная, горемычная», — шептала мать.

К кому были обращены эти слова, я не знаю. Может, ко мне; может, к самой себе. Впрочем, неважно. Мы — горемычные обе.

Свой приговор я получила с рождения. Шли дни, недели, месяцы, годы. Я с трудом поднимала голову, с трудом поворачивалась со спины на живот.

Всё с трудом.

О болезни никто не говорил, но я слышала обрывки телефонных разговоров.

«Таша поправилась. Трудно носить на руках».

«Внешне она — прелесть. Большие глаза, длинные ресницы… Как у него».

«Ничего не может. Ни сесть, ни встать, ни есть. А время идёт…»

«Да-да. Страшно».

«На операцию не решусь. Слишком опасно».

«Не помогают ни препараты, ни ЛФК».

«С интеллектом у неё всё нормально. Говорит только плохо… Однако я её понимаю. Всё до единого слова».

«Какая школа?! Конечно, нет. Найму преподавателя».

«Помогаю. Как же без этого? Вместе читаем, считаем, учим английский».

«У нас — прогресс. Возила к ЛОРу. Конечно, заплатила. Подрезал Таше уздечку. Слова произносит чётче. Но голос… Будто из-под земли. У меня мурашки по коже».

«Спасибо за массажистку. Она понравилась. Добрая, это верно. Ягоды нам привозит. Малину, клубнику, крыжовник. Видимо, с дачи. С Ташей у неё — контакт. Мать Тереза, и только».

«Да знаю я о любви! Знаю! Многие говорят. И об энергетике тоже. Стараюсь, конечно. Куда же деваться?!»

«О чём речь! Плачу, конечно. Как правило, по ночам».

«Чем занимаюсь? Работа, занятия, массаж… И так целый день».

«Какой там встать! Сидит в подушках. Недолго. Минут по пятнадцать».

«Где мы гуляем? В сквере, на набережной, у дома. Конечно, в инвалидной коляске».

«Купила Таше компьютер. На кисти рук больно смотреть. Стучит по клавиатуре костяшками пальцев. Порой до крови».

«Как правило, лежит на ковре. Что делает? Мечтает, читает…»

«Грубит постоянно. Да-да, понимаю. Боль, безысходность…»

«Аня — словно солнце. Приходит, и сразу светлее».

«Устала. Очень. Какая тоска!»

«Сравнила тоже! У тебя — будущее, у нас его нет».

## 6.

Рассказала Ане о полёте в туннеле, о том, что сделала пару шагов. Аня пришла в восторг. Щёки покраснели, в глазах появился блеск. То ли порадовалась за меня, то ли вспомнила что-то своё. Оказалось, и то, и другое.

Она присела на диван и таинственно сказала:

— И я летала во сне. Лет в двенадцать. Хочешь, расскажу?

Я кивнула. Пусть расскажет. Всё-таки разнообразие.

— Начну с середины. Будто сижу я на дереве. Какая была, такая и во сне. Две косички, юбка в клетку, на ногах — башмаки. Сижу, значит… семечки грызу, по сторонам смотрю.

«Кто бы сомневался», — подумала я.

— Лес — светлый. Клёны да дубы. На поляне — солнечные зайчики. Прыгают, бегают наперегонки, среди цветов кувыркаются. И вдруг… башмаки упали, я поднялась на ветке и полетела. Сама. Представляешь?

Трудно было представить, но проще кивнуть, чем ответить.

— Сначала летела вверх, а как поднялась над лесом — легла на живот. И так хорошо, что вся я в восторге.

Меня передёрнуло. «Надо же такое сказать! Деревня, и только».

— Внизу — зелёные кружева, а я — над ними. Парю, словно птица, и ничего-то мне не надо. Ни денег, ни дома, ни подруг. Летела бы так и смотрела вниз, — Аня мечтательно вздохнула. — И тут мне стало щекотно. Будто по ноге пером провели. Смотрю, на пятке зайчик сидит.

— Какой зайчик? — удивилась я.

— Солнечный.

«Дурдом какой-то!»

— Золотые ушки обвисли, лапками утирается и… плачет. Жалобно так. Горько. Ну и я разревелась. Вслед за ним.

— А дальше? Упала?

— Нет, — ответила Аня. — Перевернулась.

«Значит, полетела животом кверху», — подумала я. Что ни говори, но точность в выражении мыслей люблю с детства.

— И тут появилась рука. Большая, оранжевая. С толстыми растопыренными пальцами. Она подхватила зайчика и пропала.

Я подняла брови. «Что за бред?»

— Не поняла? — рассмеялась Аня. — Это же — солнечная рука! Она схватила малыша и отнесла его к маме.

«Ну надо, какая чушь!»

— Вот здесь и проснулась. Рассказала сон матери, а она потащила меня к бабе Дуне.

— Зачем?

— Баба Дуня — знахарка. Лечит всех деревенских. К тому же раны заговаривает, сны толкует…

— И что?

— Рассказала бабе Дуне сон, та засыпала меня вопросами. Были ли крылья? Где летала? Какой лес? Всего не упомню. Потом сказала: «Как вырастешь — высоко заберёшься. Из деревни уедешь. Потянет тебя к мужикам. С одним поживёшь, с другим…» Тут мамка глазами сверкнула. Ну, думаю, разорётся. Однако сдержалась. Сидит, будто сыч, глаза в пол опустила и молчит. «Потом заболеешь», — продолжила баба Дуня. Зыркнув на меня, мамка окаменела. Видимо, забоялась.

«„Зыркнув на меня“, „забоялась“, — отметила я. — Деревенскими словами так и сыплет».

— „То, что солнце пришло, это хорошо, — сказала баба Дуня. — Значит, зло от тебя отступит“.

«А солнечный заяц? — мелькнула мысль. — Он с какой стороны?»

Аня будто услышала.

— По словам бабы Дуни, у меня страхов много. Прыгают, как зайцы, житья не дают. Однако пройдут. Не сразу.

Я усмехнулась. «Сядет заяц на пятку, и душа воспарит. Детсад — ни меньше ни больше».

— Так и случилось, — продолжила Аня. — Окончив школу, устроилась секретарём в сельсовет. За большим письменным столом сидела. При бумагах, печати. И в чистом виде весь день. Чёрная юбка на мне, блузка, туфли…

Аня вздохнула. Видно, воспоминания о первых годах работы были для неё сладкими. Затем сделала вывод:

— Так что права баба Дуня: я высоко забралась.

Анина наивность поражала. Тридцать лет, а будто ребёнок. «За большим письменным столом», «при бумагах, печати». Прямо начальник!

Я усмехнулась. Однако есть неясное место. По словам бабы Дуни, Аню должно было потянуть к мужикам. Почему? Хотелось спросить, но… не стала.

«Сама расскажет. У неё не задержится».

Аня уселась на диван и, достав катушку с крючком, стала плести кружева. Без дел она сидеть не умела.

— Мамке салфетку вяжу. На Восьмое марта.

Меня салфетки не интересовали. Скосив глаза, я взглянула на узор и тут же уставилась в окно. Небо будто помыли, солнечные лучи пронизывали облака. Чувствовалось, ещё день или два — и наступит весна.

— К мужикам меня потянуло лет с двадцати, — сказала Аня.

Я встрепенулась. Что и говорить — интересная тема.

— Сначала влюбилась в агронома. Он был высоким, справным. Главное — образованным. Приехал из города. То ли в деревне практику проходил, то ли к месту приглядывался. В сельсовет забегал каждый день. Глаза голубые, плечи широкие, и такой обходительный, что я в него влюбилась в один миг.

Аня вздохнула, пересчитала ряды на салфетке и опять взялась за вязанье.

— Нюрочкой меня называл. То шоколадку принесёт, то платочек. А однажды подарил колечко. Простенькое такое: ободок и цветок в середине. Будто лазоревый.

«Видно, голубая эмаль», — подумала я, но вслух не сказала. Боялась вспугнуть.

— У меня пальцы — толстые. Сама знаешь. Колечко только на мизинец налезло. Так с ним и ходила.

— Долго?

— Месяца три.

— А потом?

— Потом — как в романе. Помиловались, и он меня бросил. Хорошо, не понесла от него. Мать бы убила.

Аня откусила нитку и убрала вязанье.

— Я сильно переживала. Плакала в лесу. При матери разве поплачешь? А потом уехала.

— В Москву?

— Сначала в Павлов Посад. Он к деревне поближе.

Аня подхватила Лушку и вышла из комнаты. Я осталась одна. Чужая судьба развернула мысли, и собственные проблемы отошли на второй план. Влюбилась, обманул, уехала. Это всё из другой жизни. Что значит влюбилась? И как её обманул? Конечно, я читала о любви. Но это в книгах, а тут — живой человек.

Дверь была приоткрыта, и я слышала, что происходило на кухне. Сначала лилась вода, и Аня гремела посудой. Видимо, мыла, вытирала, ставила в шкаф. Затем она хлопнула холодильником, что-то достала, застучала ножом. Послышалось хлюпанье, громкое высмаркивание, затем песня. Аня начала так тихо, что слова было трудно разобрать. Затем её голос окреп, и по квартире полились деревенские страдания:

> Кого ждала, кого любила я,
> Уж не догонишь, не вернёшь.

Высморкавшись ещё раз, Аня запела в полный голос:

> За той рекой, за тихой рощицей,
> Где мы гуляли с ним вдвоём,
> Плывёт луна, любви помощница,
> Напоминает мне о нём.

Я горько ухмыльнулась. Разве страдания Ани сопоставимы с моими? И вообще… Что она знает о страданиях? Подумаешь, бросили. Зато бегает, как молодая кобылица, — только бока трясутся. А я ползаю. И то с трудом. И любви нет и не будет.

Луны за окном не было, а вот солнечные лучи набирали силу. Признаюсь, я не испытывала радости от наступления весны. Свет меня раздражал, птичий гомон вызывал головную боль, треньканье трамваев отвлекало от мыслей. По мне, лучше — ночь. Какая-никакая, а тишина. Лежишь, смотришь в окно и думаешь. Об одиночестве, боли, о том, как несправедливо устроен мир. Мысли обвивают голову, и кажется, на макушке — терновый венец. Как у Христа.

Но венец на голову Христа был возложен для поругания.

А зачем на мою?

Впрочем, ату-ату! Это — не мысль, а крамола.

## 7.

С матерью что-то происходит. Домой приезжает поздно, проходит на цыпочках к себе, раздевается, идёт в ванную. Затем, заглянув в мою комнату, стоит в дверном проёме. Я смотрю сквозь ресницы и понимаю: мать — на подъёме. Видимо, влюбилась. Иначе трудно объяснить румянец на щеках и загадочную улыбку. Будто проглотила огромный кусок радости.

В те моменты, когда мать заходила ко мне, я видела разительные перемены. Глаза стали больше и ярче. Они напоминали омуты в солнечный день (как я представляю их, конечно). На поверхности — блики, внутри — воронка. Она затягивала и направляла взгляд в сердце. Я его физически ощущала. Всполошенные удары, оживление и надежда. И ещё я видела малыша. Да-да! Маленького голого ребёнка. Прямо в сердце. Малыш был похож на мать, сосал палец и безмятежно сучил ногами. Порой казалось, он общался со мной. Дескать, привет! Как дела? Однако на каком-то неведомом, глубинном уровне я понимала: мои проблемы малыша не волнуют. Он появился на свет недавно и сразу приступил к строительству мира. Своего мира. Малыш ни в чём не уверен, но в гости пускает на определённых условиях. По моим ощущениям, одно из них — наличие оптимизма.

Выходит, я малышу не нужна.

Вывод неутешительный. Мать вышла на новый виток жизни, и там для меня нет места. Не знаю, сможет ли она родить — всё-таки сорок семь лет. Но то, что мать влюблена, видно невооружённым взглядом. Может, и замуж выйдет. Тогда в доме появится мужчина, и тишину нарушит скрип кровати.

Я была уверена, что любовь сопровождается скрипом кровати, и раз за разом пыталась понять, что при этом чувствуют два существа, копошащиеся под одеялом. Конечно, секс представить нетрудно (особенно при наличии Интернета), но чувства увидеть нельзя, а меня интересовали именно чувства. Что у любовников в душе? Взрыв петард? Яркие всполохи? Смятение? Любовные романы, которые я прочла, не давали ответа. Приторные переживания, охи и ахи. Мне это противно. Я понимала: за любовью стоит другое — то, о чём не написано в книгах. Но почему? Что — трудно описать словами? Или любовь так многогранна, что невозможно понять? Разумом, конечно.

Я переползла к ноутбуку и выбила слово «любовь». Сначала полезла ерунда — «психологический тест на любовь», «сайт о любви», «всё о любви»… Потом мелькнула научная статья. А может, психологическая.

Мне без разницы.

«Любовь — это энергия жизни, основа мира, голос Бога, умение отдавать, а не брать, чувственное отношение к другой личности…»

Слова пролетели, за ними появились вопросы. Есть ли любовь во мне? Хоть к кому-нибудь? К матери нет, это точно. Аню тоже не люблю. Она, конечно, мне нравится, но глубинной привязанности

нет. Пока Аня рядом — хорошо; ушла — до свиданья. Лушка вызывает желание поиграть, но глубокое чувство… С какой стати? Лушка — всего лишь кошка. Может, любовь к Родине? Я задумалась. Есть ли такая любовь? Когда-то читала о войне. Помню эпизод: солдаты идут в бой, и из их глоток, сердец, обмирающих от страха, несётся крик: «За Родину!» Пыталась представить. Задавала себе вопрос: я бы смогла нестись на пули, смогла бы кричать эти слова? Честно ответила: нет.

Взгляд побежал по строчкам. Встретила классификацию времён античной Греции.

Оживилась.

«Эрос» — стихийная, восторженная влюблённость в форме почитания, направленного на объект любви.

«Филиа» — любовь-дружба или любовь-приязнь по осознанному выбору.

«Сторгэ» — любовь-нежность, особенно семейная.

«Агапэ» — жертвенная любовь, безусловная любовь. Любовь Бога к человеку.

Уткнувшись в классификацию, стала примерять на себя. Красивые слова, понятная расшифровка. Всё-таки молодцы древние греки. Умели произвести впечатление. Вон сколько веков прошло, а их всё читают. И греческие легенды — красивые.

Итак, Эрос, Филиа, Сторгэ, Агапэ. Может, у меня — Филиа? К Ане, например. Почему бы и нет?

Я потыкала пальцем, и нужная страница пропала.

«Проклятье! Вот всегда так. Пальцы как крюки».

Поисковик заморгал, и наверху оказалась притча. О любви, конечно.

«Жил-был один человек. Услышал однажды: «Бог есть Любовь», — и решил эту любовь поискать. Много прошёл мест, много чего видел, но стоило уловить слова «любовь» и «люблю» — тут же останавливался. Как-то пришёл он в незнакомый город и поспешил на базарную площадь. Глянул: народу — видимо-невидимо. И торговцы, и покупатели, и ротозеи… Кого только нет.
— Что любят в вашей стране? — спросил человек.
— Я, например, люблю мясо, — сказал один.
— А я — охоту, — сказал другой.

Одна женщина призналась, что любит меха, другая — букеты цветов, третья — украшения. Воин любил славу, император — власть, однако все они любили Бога. Так сильно любили, что готовы были умереть за веру. И убить тоже.

Ужаснулся человек, и воскликнул он:
— Это — не любовь!

И отозвались горы:
— Это — не любовь.

И зашелестели листья:
— Это — не любовь.

И прокричали птицы:
— Это — не любовь.

И зажурчали реки:
— Это — не любовь.

И пророкотал океанский прибой:
— Это — не любовь. Кто хочет для *себя*, тот не любит…»

Я пнула подушку. Со злостью пнула. С раздражением. Подушка отлетела в сторону и нахохлилась. Будто курица на насесте. Вообще-то я люблю притчи, есть в них какая-то тайна. Но эта мне не понравилась. Трудно сказать, что задело. Может, назидательность, может, «высокие слова». Надо же так сказать: «*Кто хочет для себя, тот не любит*». По-моему, чушь.

Я поморщилась, однако стала читать дальше.

«…И пошёл человек в другую страну. И увидел ребёнка.
— Что любишь ты? — спросил он его.
— Матушку свою люблю. И отца. И эту поляну в цветах, — ответил ребёнок. — Речку люблю. Лес. Ещё люблю петь. Танцевать. Играть.

Пошёл человек дальше и увидел прекрасный сад. И того, кто взрастил этот сад.
— А ты что любишь? — спросил он.
— Землю люблю. На ней я ращу сады, а они дарят плоды и красоту.

И увидел человек порядок и покой. Дошёл он до правителя этой страны и спросил:
— Что любишь ты?

И тот ответил:
— Люблю свою страну. Люблю всех её людей. Голову готов положить, чтобы не допустить войны.

И пошёл человек дальше. И слушал, и смотрел… И увидел он Мастера, который любил Бога всем сердцем. И спросил человек:
— Скажи, какова любовь? Что учит Бог? Как различить любовь и нелюбовь?

И ответил Мастер:
— Не может быть любви в желании себе. Любовь — это *свет души*. Вода струит прозрачный поток и поит нас всех. Так любит Бог. Земля растит и носит на себе жизнь. Так любит Бог. Солнце сияет и дарует нам свет. Так любит Бог. Любовь *дарящая* — вот свет души. Взрасти в себе любовь — и ты услышишь и увидишь Бога».

Нет, такие притчи — не для меня. Будто сахара объелась. Вроде бы всё правильно, но от этого ещё больше тошнит. «*Любовь дарящая — вот свет души*». Видимо, такими словами говорят священники. И при этом губы поджимают: дескать, учись у Бога. А я в Бога не верю. Если бы он был, я бы не страдала. И дети бы не умирали. Некоторые из них не доживают до года. А войны! Сколько горя они принесли? Почему их Бог допускает? Почему не останавливает? А катастрофы, аварии? Словом,

к Богу — много претензий. В частности, у меня. А все говорят: любящий Бог. Видно, эту притчу написали церковники. Сразу виден их почерк.

8.

В эту ночь я долго не могла уснуть. Всё думала: почему не люблю мать? Ведь она старалась, сочувствовала мне. Учила, дарила игрушки, читала книги, сидела у моей постели. А у меня ни благодарности, ни любви. Когда появился протест? Против её манеры говорить, держаться, мыслить. Что послужило поводом?

Пытаясь найти ответ, я заглянула в детство.

Мне пять лет. Мать была главным человеком для меня, центром мира. Я ждала её, тянулась к душистым волосам, пыталась поцеловать. А она отстранялась. Да-да, помню, как мать ускользала из рук. И что интересно — всегда находила объяснение. То меня надо переодеть, то причесать, то умыть. Всё что угодно, только не приласкать. А мне хотелось прижаться к её груди. Уткнуться, замереть, утонуть в звуках сердца.

Ласкала меня только бабушка. Целовала, тискала, называла Татушкой. А мать не ласкала. Всегда серьёзная, грустная, загадочная. И холодная. Как Снежная королева.

Хорошо помню сказку «Снежная королева». Особенно главу, где Кай играет с ледяными фигурами. Сколько мне было лет, когда прочитала? Восемь, десять? Впрочем, неважно. Тогда осознала, что значит холод. Душевный холод. Ведь Снежная королева не любила Кая. Он забавлял, и только.

Может, и я забавляю мать?

Нет. Думаю, не забавляю. Раздражаю, мешаю, вызываю неприязнь…

Жаль, что росла без отца. Интересно бы на него посмотреть. Почему мать не говорила о нём? Както обмолвилась: погиб в Афганистане. Вот и всё. Какой он был? Любил ли мать? Похожа я на него? Полная неизвестность. Мои родственники — это мать, бабушка, дедушка и прабабушка, мать деда. Последняя жила в деревне, и я её видела редко. И больше никакой родни.

В окно заглянула луна. Бледное лицо, пятна и холод. Лунный холод — той же природы, что и материнский. Луна — сама по себе. Печальна и молчалива. Светит отражённым светом. Любит одиночество, ночь.

Прямо материнский портрет. Или мой?

Я уставилась на луну. Та дрогнула и закрылась тучей.

Спряталась. Не любит прямых взглядов. И в душу не пускает.

Что говорить: луна похожа на мать.

Мать-луна. Даже забавно. А может, мать — Снежная королева? Что выбрать? Наверное, первое. Со Снежной королевой — явный перебор. Мать переживает за меня, я это вижу. А Снежная королева — истукан. У неё — никаких эмоций.

А если бы она улыбнулась? Трудно такое представить. Улыбку луны представить могу. Вернее, полуулыбку. Быстрое движение губ и каменное лицо. У матери так бывает.

Я натянула одеяло и стала разглядывать потолок. По нему двигались блики. Видимо, от фар проезжающих машин. Блики похожи на прожектора. Шарят по небу, а чего ищут, никто не знает.

Мысли развернулись и пошли в другом направлении.

«Слышал бы кто о матери-луне — что бы сказал?»

Где-то завыла сирена. Тревога заполнила сердце. То ли пожарная машина, то ли скорая помощь. Дождавшись тишины, я задумалась. Итак, к матери — куча претензий. Их накопилось столько, что можно составить список. А что? Может, попробовать? Всё равно не засну. С чего же начать?

Я оживилась. Покопаться в себе и в матери — любимое дело.

Итак, «поехали».

Во-первых, мать — эгоистка. Её интересуют только свои проблемы. Видимо, боится старости. Вон сколько баночек с кремом. И в ванной стоят, и в спальной. Уж я-то знаю. Когда одна дома, ползаю по всей квартире. Мне, конечно, трудно приподняться, но если задрать голову — кое-что вижу. Вот, например, комната матери. Она — настоящий будуар. Большая кровать под шёлковым покрывалом, тяжёлые шторы с кистями, туалетный столик, бюро… А вдоль стены — шкаф-купе. Дверцы у шкафа — зеркальные, и, глядя в них, комната кажется больше. Я не люблю зеркал, а мать обожает. Не сводит с них глаз. То так встанет, то этак. Конечно, есть на что посмотреть. У матери — стройная фигура, прямая спина, точёные ноги. Прямо статуэтка. И с внешностью всё в порядке. Большие глаза, холёная кожа, правильный овал лица. Думаю, мать работает над мимикой. Денно и нощно. Опять же перед зеркалом. Видеть не видела, но представить могу. Мать примеривает улыбки, удивление, грусть. Словом, артистка.

Во-вторых. Мать — холодная, неэмоциональная. От неё не дождёшься смеха. И тепла не дождёшься. Она — как сфинкс. Смотрит и молчит. Или читает стихи. Сдались ей эти стихи! Неужели нельзя говорить по-человечески? «Дождь косил свои глаза гневливо…» Сказала бы: «Какая унылая погода, и моё настроение ей под стать». Нет, не может. Надо встать в позу и прочесть стих. Без этого никак. Или другой случай. После моего обморока прочла: «Уже безумие крылом души накрыло половину…» Зачем выпендриваться? И перед кем? И потом… Ахматова, сочиняя эти стихи, наверняка думала о своём. А о чём думала мать? О безумии, огненном

вине, чёрной долине? Как бы не так. Насколько помню, она думала о моей руке. Она ей, видите ли, показалась похожей на крыло. Только и всего. Ну ладно, возникла ассоциация, это я могу понять. Однако матери нужна поэзия. Она без неё — как без одежды. И выбор-то невелик. Ан нет — покопается в сундуке и найдёт. Зачем? По-моему, ответ прост: чтобы произвести впечатление.

В-третьих. Моя мать — деспот. Да-да. Внешне — мягкая, романтичная, внутри — кремень. Если что-то задумала — не сдвинешь. Например, вбила в голову, что телевизор — зло, и не покупает. Как-то её спросила: почему? Мать ответила: жить надо своей, не чужой жизнью. О Господи! Какая у меня жизнь? Ползаю по комнате или смотрю в окно. И то снизу. А по телевизору показывают фильмы, опять же — новости, ток-шоу… Хорошо, что компьютер купила. Для меня — главное развлечение. Я скачиваю фильмы, захожу на форумы, отдельные сайты. Чаще всего — когда матери нет. Почему не при ней? А вдруг отберёт? Я уже слышала от неё: дескать, много за компьютером сидишь, глаза испортишь. И на костяшки пальцев смотрит с неодобрением. Они и впрямь все в мозолях. А как же иначе? Пока попадёшь на клавишу, пять раз промахнёшься. И с кормёжкой — проблема. Вбила себе в голову, что мне нельзя поправляться, вот и говорит Ане: «Не перекармливай. Иначе Ташу не поднять». Аня смеётся в ответ: «Что вы, Лариса Валентиновна! Таша у нас как тростинка». Мать сжимает губы и опять за своё: «Ей нужны витамины, а не углеводы. Делай салаты. Покупай фрукты, кефир. Думаю, достаточно». Как это вам? А сама в ресторан ходит. Мясо ест, рыбу. К чаю пирожное заказывает. А мне — салаты. Тошнит уже от фруктов и овощей. Хочется сала, котлет, кровавого бифштекса. Хорошо, хоть Аня меня понимает, балует потихоньку.

В-четвёртых. Любимое развлечение матери — что-то изображать из себя. Она — то романтичная женщина, то психолог, то любитель оперы. Поставит диск и слушает арии. А меня начинает трясти. Если поют басы, я могу пережить. А теноров ненавижу. Стоит услышать тоненький голосок, закрываю уши подушкой. Вот испытание. Не знаю, в чём дело, но в душе поднимается буря. Зажав голову, думаю об одном: «Заткнитесь. Мне плохо». А мать ещё добавит. Послушает оперу — и ко мне. Видите ли, хочет обменяться мнением.

«Ты обратила внимание на дуэт Лизы и Полины? Какая музыка! Какие слова!»

Мать примет любимую позу: взгляд в окно, руки переплетены на груди — и продекламирует: «*Уж вечер. Облаков померкнули края. Последний луч зари на башнях умирает. Последняя в реке блестящая струя с потухшим небом угасает, угасает…*»

Хрупкая фигура, грустные глаза — прямо тургеневская барышня. Но я-то знаю: это — всего лишь поза. Мать выдержит паузу, затем посмотрит на меня влажными глазами.

«Неужели прослезилась?» — мелькнёт мысль.

«Ты уверена, что действие «Пиковой дамы» происходит в восемнадцатом веке?»

Я промычу что-то в ответ и затихну.

«В книге — никаких дат, — продолжит мать с умным видом. — А графиню, как известно, Пушкин писал с двоюродной бабки своего друга». Мать поднимет брови и добавит: «Единственное указание на эпоху — то, что графиня пленила красотой Сен-Жермена, а он жил во второй половине восемнадцатого века».

Боже, какая эрудиция!

Мать вздохнёт и выплывет из комнаты.

Пава. Настоящая пава!

Теперь главная претензия. Мать исковеркала мою жизнь. Родила уродку. Разве не так?

Временами пытаюсь представить жизненный поток. Кажется, жизнь — это река, петляющая в долине. В фарватере потока — те, кто наполнен силой и энергией. Ближе к берегам — робкие, слабосильные. А в затонах — такие, как я. Отбросы жизни.

«Интересно, выбраться из затона можно?»

Я посмотрела на зажатые пальцы и вздохнула.

«Теоретически можно. Затоны в половодье заполняются водой. Вот с ней можно и выплыть. Только с ней».

Я зевнула и закрыла глаза. Теперь можно поспать. С чувством выполненного долга. Или вылитой желчью.

Ну и пусть. Мать заслужила.

С этой мыслью я и уснула.

**9.**

Аня влетела в комнату и, подхватив меня, закружилась в вальсе.

— Я пригласить хочу на танец вас, и только вас… — запела она.

От Ани шла такая энергия, что у меня кружилась голова. Я прижалась к большой тёплой груди и улыбнулась. Будто свежим ветром подуло.

— Представляешь, Лариса Валентиновна предложила переехать.

— Куда? — разволновалась я.

— К вам.

Вот это новость! Честно скажу, такого от матери я не ожидала. С чего это вдруг?

Аня положила меня на диван и, не в силах остановиться, сделала ещё круг.

— Пара-пара-пара-пам-пам! Пара-пара-пара-пам-пам! — напевала она.

«Похоже, из „Сказок Венского леса“», — подумала я.

Аня остановилась и улыбнулась.

— Давно хотела пожить у вас. В вашей квартире просторно, красиво… да и ездить никуда не надо. Скажи, повезло?

— А как же твоя подружка?

Я знала, комнату Аня снимает не одна.

— А-а! Найдёт себе пару. Она на стройке работает, а там полно приезжих девчат.

Аня махнула рукой и полетела к двери.

— Всё, дорогая. Пока-пока. Съезжу за вещами — и тут же назад.

Перед глазами мелькнули широкие бёдра, и Аня исчезла. Дверь хлопнула, и тут же вошла мать.

— Доброе утро, — сказала она.

Я кивнула и пробурчала:

— Привет.

— Как полагаю, ты слышала новость.

Мать растягивала слова. Как всегда.

Я начала заводиться. Она, видите ли, полага-а-а-ет.

— От Аниного переезда выиграют все.

Речь матери приобрела темп.

— К сожалению, у меня много работы. Сама понимаешь, обязанности главного редактора достаточно объёмны. Не взыщи, что не уделяю тебе внимания. А с переездом Ани будет проще. Тебе станет не так одиноко, и Ане не надо будет платить за комнату.

Какая забота! Трогательно до слёз. Однако начала с себя.

Аня приехала через пару часов. Поставила сумки в гостиной и крикнула на всю квартиру:

— Таш, ползи сюда! Будем мои богатства разбирать.

Я выползла из комнаты и с интересом уставилась на сумки. Аня достала вафельницу, допотопный магнитофон, плюшевого медвежонка и ворох вещей.

— Буду тебе вафли делать. С варёной сгущёнкой, — сказала Аня. — Не пробовала?

Я помотала головой.

— Свет такой вкуснятины не видал! А это — мамкин подарок, — Аня погладила мишку. — Двадцать лет с ним сплю. Обниму — и словно детством пахнёт.

Медвежонок на меня не произвёл впечатления. С маленькой головой, холкой на загривке, слегка облезлый. И посадка на четыре лапы — как у настоящих медведей.

— Мамка его в деревенском магазине купила. Чего только там нет! И хлеб, и водка, и галоши, и леденцы — словом, супермаркет. Представляешь?

Я хмыкнула. Чудно. В одном магазине галоши и хлеб.

— Какой магазин! Пальчики оближешь.

Аня раскраснелась и заблестела глазами.

— Все новости там. Бабы к окну притулятся — и ну языками чесать.

«Видно, в деревне много болтают», — беззлобно подумала я.

— И мужики в магазин заходят. Кто за водкой, кто за пивом. Глазами зыркнут, словами пульнут и смотрят, какова реакция. А какая-нибудь бабёнка в ответ: «Ах ты, нечистый дух!»

Аня рассмеялась. Она вытащила коробку из-под обуви и открыла крышку.

— Здесь у меня кассеты. Видишь, сколько?!

Кассет я не видела давно. Мать перешла на диски и выбросила кассетный магнитофон.

— Есть у меня и «Барыня», и «Горка»…

Воткнув кулаки в талию, Аня громко запела:

> Я на горку шла, тяжело несла.
> Уморилась, уморилась, уморилася!

Звучный голос пролетел по квартире, и стало веселей. Сама не пойму почему.

— Слышала такую?

В очередной раз я покачала головой.

— Люблю народные русские песни. В них — сила. Споёшь — и словно заново родился.

Коробка с кассетами оказалась на подоконнике, рядом расположился горшок с геранью. Аня отошла в сторону и полюбовалась на новую композицию.

— Глянь, как хорошо. И цветок, и песни рядышком стоят.

Она сорвала лист герани и сунула мне в нос.

— Чуешь, как пахнет?! Это тебе не лаванда.

Тут не поспоришь. Запах у герани — терпкий, будто летним жаром наполнен.

— Баба Дуня говорит, герань — волшебный цветок. И уши лечит, и моль отгоняет. В деревне она — в каждом доме. У кого с белыми цветами, у кого — с розовыми. А у мамки — красная герань. По-моему, самая красивая.

Далее появились кружевные салфетки. Аня положила их на кресло, внутрь углового шкафа и на журнальный стол.

«Вот мать удивится, — подумала я. — Ещё бы слоников в ряд — и а-ля начало двадцатого века.

— Салфетки баба Дуня научила плести. Трат никаких, а красиво. Будто кружевное облако.

«Ну и пусть лежат. Всё-таки украшение. А то как-то скучно. Шкаф, книжный стеллаж, кожаный диван, кресло. Ни одного яркого пятна. А тут красная герань. Горит, как огонь».

— А вещи суну в кладовку, пусть там лежат.

Аня схватила сумку и вынесла из комнаты. Видимо, для неё одежда не представляла ценности.

Не то что для матери.

## 10.

С переездом Ани жизнь в нашей квартире изменилась. Мать задерживалась на работе до позднего вечера, временами не ночевала дома. Я её видела урывками. Особых переживаний не было — скорее, наоборот. Аня пекла пироги, ходила в магазин,

варила, стирала, убиралась, ухаживала за мной и при этом не уставала радоваться.

— Будто в раю живу!—восклицала она.—Какие хоромы! Три комнаты, ванная, кухня.

— Ничего себе рай,—ухмылялась я.

— Если бы увидела наш деревенский дом, тогда бы поняла, что почём. Крыльцо покосилось, крыша течёт, сарай завалился. Да что говорить. В городе—другая жизнь. Ни дров, ни скотины, ни нужника во дворе. Живи и радуйся.

Аня так и делала. Протрёт утром глаза и радуется. Весне, звону трамвая, подошедшему тесту, вымытым окнам, чириканью воробьёв—словом, всему, что её окружает.

— Как хорошо!—повторяла она.—Солнце выглянуло, и люди повеселели. Глянь, даже светятся.

Я не видела ни свечения, ни веселья. Хотя и смотрела по сторонам. Вот старичок на лавке. Сидит, опершись на клюку, и кормит воробьёв. Вот мамаши с детьми. О чём-то говорят, а дети пихаются, спорят, делят конфеты. А вот—водитель трамвая. Высунулся из окна, дымит сигаретой, посматривает на меня.

Аня толкала коляску и шла к Воробьёвым горам.

— Теперь будем гулять вдоль реки. Нечего по скверу ходить. Дороги подсохли—иди куда хочешь. Сядем с тобой на бережку, посмотрим на воду—и впустим в себя благодать. Не веришь?

Я сделала неопределённый жест.

— Река—что добрая фея. Приласкает и душу омоет. У нас в деревне есть река. Маленькая—не такая, как ваша. На берегу берёзы растут. Бывало, сядешь на траву и замрёшь. Ветерок, шелест листьев, журчание реки. В голове пусто—будто все мысли улетели. И в этот момент в тебя что-то вливается. Не знаю, как и назвать. То ли небесное, то ли солнечное… но то, что светлое, это точно.

Аня перешла Университетский проспект, и коляска затряслась по тропинке.

— Потерпи. Ужо съеду вниз, там и посидим. Я и пирожки взяла, и бутылку с кефиром. Вот красота. Сядем и будем жевать. На воздухе-то слаще. По себе знаю.

«Откуда взялось «ужо»? Наверное, такие слова и в деревне не говорят. Или говорят? Всё-таки Аня несовременна. Пора бы. В городе лет десять живёт. Правда, в Москве—только год. Раньше жила в Павловом Посаде. Подмосковное захолустье».

— Маленькой была—еду из дома вечно таскала. То хлеб, то огурец, то баранку. Выбегу на улицу и вопьюсь в хлеб зубами. Хорошо. Свобода, простор, никаких проблем.

Поправив в кресле подушку, Аня продолжила:

— В деревне меня Булкой дразнили. Я не обижалась. Чего обижаться? Булка так Булка. И впрямь похожа на булку. Пухлая, белокожая, с веснушками на лице. Будто маком посыпана.

Мы подошли к скамейке. Аня развернула коляску и села.

— Отдыхай,—сказала она и сунула мне пирожок.

Я уставилась на реку. Вода—мутная, с бензиновыми пятнами. Напротив—Лужники, за ними—Новодевичий монастырь.

Когда-то читала, что в монастыре томилась царевна Софья. Заперли её в каменных стенах и постригли в монахини. Сильная она была. И характер—мужской. На самого Петра посягнула. Наверное, ходила по монастырю и думала об упущенной власти. Ни реки не видела, ни синего неба, ни красоты.

Я откусила пирог и возвратилась к мыслям. Они текли, как Москва-река,—медленно, лениво, в бетонных берегах. И попахивали бензином. Словом, у меня с рекой—полное созвучие. Хотя о Москве-реке не скажешь, что она—уродка. Конечно, изуродовали её—что есть, то есть. Пойму застроили, русло подправили… однако Москва-река так и осталась рекой. А я? Родилась человеком, а стала змеёй. Кто бы ни подошёл—или шиплю, или ядом плююсь.

Мимо проползла бабуля. Скрюченная, неопрятная, на ходунках. Глянула на меня и улыбнулась. Видно, почуяла пересечение. И неудивительно. Тоже уродка.

— Ну как?—спросила Аня.—Тебе хорошо?

Я раздражённо хмыкнула. Дескать, отстань. Аня подоткнула плед и достала кулёк.

«Сейчас будет плевать».

Однако Москва на Аню как-то влияла. Очистки теперь летели не в руку, а в целлофановый пакет. Прямо интеллигентка! Шелуха на губе, задумчивый взгляд. Видно, деревню вспомнила. Или любовь. Вот и у матери—любовь. Спихнула меня на Аню, а сама тешится. Впрочем, она всегда любила удовольствия. И комплименты. Наверное, Андрей не скупится. Ублажает, жалеет, водит по ресторанам. Мать и довольна.

— Таш, посмотри!

Аня убрала кулёк и полезла по склону. Я скосила глаза.

«Ну и зрелище. Зад—что подушка. А к нему квадратная спина и ноги-бутылки».

Через минуту Аня уже стояла передо мной. Глаза светились, рука за спиной.

— Угадай, что нашла?

Я пожала плечом. Аня засмеялась и показала руку. На ладони лежала мать-и-мачеха.

— Будто детёныш солнца. Спустился на Землю и привет принёс.

Аня протянула цветок.

— Держи. Это тебе.

Я сжала цветок, и он расплющился. Жёлтые лепестки упали на землю, стебель зацепился за колесо.

«Надо же такое придумать! Детёныш солнца».

**11.**

Воспоминания о трансе меня не отпускали. Я копалась в ощущениях и «рассматривала картинки».

Тёмный душный туннель. Далеко впереди глаза. Кувырок. Встала. Пошла. Блаженство. Раз, два, три... Шаги. Длинные, как прыжки. Вперёд. Быстрей. Наконец-то! И голос. Мой голос. Радостный, звонкий, без хрипа. «Иду-у-у-у!»

Сон или транс? Вопрос не давал покоя. Я видела глаза, это точно. Первый раз—в окне, второй—в туннеле. Они походили на звёзды. Холодные и большие. Взгляд Снежной королевы. Отстранённый, внимательный, с превосходством. Глаза наблюдали за мной. Куда я шла? Почему вернулась обратно?

Вытащив книжку, стала читать. В который раз—в пятый, восьмой, десятый? Кажется, дочитаю до дыр. Заглянула в предисловие. Взгляд выхватил фразу: «Путь к самопознанию приведёт к новому восприятию».

Дальше справка: «Йога сновидений—способность видеть осознанные сны. Это—особое состояние, при котором человек сознаёт, что видит сон, и может управлять его содержанием».

Вот это да! Читала-читала, а главное пропустила. Выходит, транс—это осознанный сон. Я что—спала наяву?

В ушах зазвенел колокольчик. Показалось, что я—на пороге открытия. Не научного—личностного. Есть книжка, опыт, новые мысли. Я приняла их, и жизнь изменилась. Видимо, так всегда: увидел, услышал, почувствовал и что-то получил. Наверное, знаки судьбы. Или крючки. Зацепили, дёрнули, а дальше зависит от тебя. Сорвалась с крючка—значит, не твоё. Иди дальше. Если повисла—значит, играй в эту игру.

От мыслей разбухала голова. Я чувствовала, что расту. Духовно, конечно. Хотелось понять, проникнуть туда, куда заглянула в ту ночь. Пожить бы там, полетать. Нет ненавистного тела, нигде ничего не болит. Неужели такое возможно?

Я углубилась в предисловие.

«Осознанные сновидения могут возникнуть в состоянии бодрствования...»

Если бы не дрожали руки, я бы их непременно потёрла. Дескать, нашла. Эврика! Я поняла: транс—это знак. Судьба позвала, и я полетела. Затем пошла. Но почему испытала боль?

Опять потеряла мысль. Только нащупала, и... Ладно, подумаю позже. Важно одно: осознанное сновидение связано с трансом. И, конечно, с судьбой.

Так. Идём дальше. У каждого есть энергия жизни—прана. Если ум и прана в равновесии, можно улететь. Куда—неважно. В туннель, во Вселенную, в межличностное пространство. Главное—смогу ходить. И говорить. Чётко, без хрипа. Значит, надо искать. Ведь невозможного нет.

Стоп! Кто это сказал? Наверное, Бог. Кто же ещё?

Но я не верю в Бога.

Или ошибаюсь? Может, всё-таки верю? Не так, как другие. По-своему.

Я перелистнула страницу.

«Человек живёт в материнской пране до третьего месяца. Начиная с четвёртого месяца, его душа входит в тело».

Стало жарко. Выходит, три месяца я поглощала материнскую прану. Вот откуда злость. Ведь мать по натуре—злая. Это я знаю. Притворяется доброй, а сама... Выходит, от неё нахваталась злости. А потом влетела душа. Оглядевшись, фыркнула: «Вот не повезло. Девчонка—настоящий урод».

Всё. Хватит. Если об этом думать, можно сойти с ума.

Однако нечто неумолимое не давало закрыть книгу. Меня тянуло к ней, и я продолжила чтенье.

«В осознанных сновидениях исцеляются душевные раны, устраняются энергетические заторы, свободная циркуляция энергии в организме восстанавливается».

То ли дошло, то ли дала отмашку судьба, но я поняла: проблемы—во мне.

Это—*мои* энергетические засоры!

Открытие повергло в шок. Как же так? А мать, моя болезнь, уродство? Разве это не в счёт?

Я погрузилась в себя, и всё остальное перестало существовать. Мать, Аня, Лушка—они были рядом и одновременно за тридевять земель. Аня занималась делами, Лушка спала и ела, мать работала, а когда была дома, заглядывала ко мне накоротке. Она смотрела на меня и, похоже, не видела. Ну и пусть. Меня это не волновало. Было ощущение, что я и мать вылетели из родного гнезда и разлетелись в разные стороны. Давно пора. Жить четверть века рядом—большой срок. Пусть любит Андрея, пусть читает стихи, а я буду с Аней. И постараюсь ходить. В трансе, во сне—неважно. Главное—вырваться на простор.

**12.**

Я вырвалась на простор в июне. В прямом и переносном смысле. Мать собралась отдохнуть, а меня отвезла в деревню. Вернее, нас с Аней. Наняла машину и отвезла.

Ничего себе вариант. Сама на Корфу, а меня—в Тверскую область. Впрочем, в деревне неплохо. Дом прабабки—крепкий, воздух—чистый, кругом—луга и леса. Как говорит Аня: «Сплошная красота!»

Деревня, где родился дед, называлась Серьгово. Почему—не знаю. Может, из-за реки, что делает здесь петлю, может, по другой причине. В прошлом году я придумала объяснение. Тогда была с матерью и отдыхала в деревне ровно неделю. Каждый день ходили на реку и сидели на берегу. Как-то раз мать вспомнила встречу со

старым художником. Тот ей рассказал о мёртвой и живой воде. Я слушала, не перебивая. Впервые за много лет рассказ матери вызвал интерес. Помню, взглянула на мальков и подумала: «Ишь как резвятся. Песчаное дно, перекаты, жёлтые островки. А вода—с коричневым отливом. Видно, через торфяник течёт. И напоминает шерсть. Шёлковую, блестящую. Неслучайно Медведицей назвали. Будто бы среди берегов зверь развалился. Волны по шерсти скользят, слепней отгоняют».

Матери об этом не сказала. Зачем? Выслушала рассказ и вспомнила сказку. «Спрыснул он Иван-царевича мёртвою водой—его тело срослось; спрыснул живою водою—Иван-царевич встал».

Мне бы так. Только где их взять—мёртвую и живую воду?

Дом бабы Нюши был небольшим: горница, кухня, мост. К дому примыкал двор, за ним—огород и сарай. Дальше шёл луг, за ним—Медведица.

Мы с Аней в деревне не тужили. И прожили в Серьгово не две недели, как предполагала мать, а три месяца. Причина была не в матери. Она звонила, предлагала отвезти в Москву, но раз за разом получала отказ. Похоже, мать это устраивало. А нас с Аней подавно.

Лето в этом году было ни жарким, ни холодным, и променять деревню на город было бы глупо. Аня навела в доме порядок—вымыла пол, высушила постель, постелила половики—и... переключилась на огород. Она скосила траву, посадила зелень, притащила чурбаны для сиденья. Целыми днями Аня носилась со мной по округе и ахала от восторга. Моя коляска мелькала то здесь, то там—словом, скучать не пришлось. Мы собирали ягоды, лежали на лугу, купались в реке, бродили по лесу.

Когда у Ани были дела, я сидела под яблоней. Надо мной колыхались листья, ветер целовал лицо, высоко в небе пели жаворонки. Временами наваливалась дремота, и я летела в другую реальность. Скорые поезда неслись сквозь тайгу, и слышался стук колёс: «Тук-тук-тук, вперёд. Тук-тук-тук, быстрей». Я видела вагоны будто бы сверху. Много поездов, идущих в одном направлении. И острые верхушки елей. Казалось, гигантский ёж выставил иголки, а среди иголок бегали поезда. Куда—неизвестно. Зачем—тоже. Что интересно, реальность не отпускала. До меня доносились обрывки деревенских разговоров, блеяние соседской козы, плач ребёнка.

Наконец, я погрузилась в транс. Как? Не знаю. Лежала под яблоней, смотрела на облака и... отключилась. Казалось, перенеслась в ночь—душную, непроглядную. Меня охватил страх, и появилось ощущение пустоты. Я замахала руками. Ночь расступилась. Передо мной простиралась пустыня. Безводная, с чёрным песком. Я стояла на песке и растерянно озиралась. Да-да, *стояла*. Помню, была в вертикальном положении, и ноги ощущали холод. Странная пустыня. Подул ветер и поднял песок. Он кружился, лез в ноздри, впивался в кожу. Я задыхалась. Через несколько мгновений всё стихло. Перегнувшись пополам, я раскашлялась. Натужно, тяжело, до слёз. Под ноги летела слизь и тут же уходила в песок. Сколько продолжался кашель, не знаю. Кажется, вечность. Наконец, прекратился. Я вытерла слёзы, и взгляд упёрся в огромную стену. Бетонная стена стояла прямо передо мной, и не было ей ни конца и ни края. Честно признаюсь, я растерялась. Точнее, запаниковала. Сердце разрывало грудь, перед глазами прыгали искры. И вдруг чёрное небо прорвало. В узкую щель втиснулся луч и, побродив по пустыне, дотронулся до ноги. «Надо же. Как в Анином сне». Я пошевелила пальцами и... пошла. Медленно, тяжело, будто на костылях. Один шаг, второй, третий... Бетонная стена приближалась, и я увидела сотни крючков. Большие, маленькие, витиеватые... они походили на письмена. Я взялась за крючок и слегка подтянулась. Началось «восхождение». Долгое, с большим напряжением сил. Наконец, вскарабкалась и, усевшись на край, посмотрела перед собой. Передо мной растилась равнина. На ней—лес, река, поляна, дальше—избушка. Но дело не в этом. Равнина предстала в четырёх пейзажах—зимнем, осеннем, летнем, весеннем. Будто бы четыре картинки.

И тут появилась туча. Пахнуло сыростью, пошёл снег с дождём. Вернее, снег и дождь одновременно. Крупные капли стучали по листьям, а там, где зима, кружились снежинки. От этого зрелища трудно оторвать взгляд. Я любовалась четырьмя пейзажами до тех пор, пока не почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Внизу стояла девочка. Она махнула рукой и улыбнулась.

Девочка повернулась и пошла к избушке. Та стояла на краю весеннего леса. Время от времени девочка оглядывалась и приглашала идти за собой. Я попыталась оторваться от стены, однако ничего не получилось. Незнакомка уходила дальше и дальше. Наконец, подошла к лесу. Обернувшись, помахала рукой. Дескать, пока-пока! До встречи. Я заплакала и... проснулась. Рядом стояла Аня.

—Что с тобой?—спросила она.

—Меня приглашали в весну,—ответила я.

Аня не поняла.

—Кто?

—Девочка.

—И куда она приглашала?

—В весенний лес.

Аня погладила меня по голове и сказала:

—Не плачь. Мы туда сходим.

Она посмотрела на небо и добавила:

—Когда наступит весна.

13.

Мать регулярно звонила, спрашивала, что да как. На звонки отвечала Аня.

— Лариса Валентиновна, миленькая, не беспокойтесь,—прижав трубку к губам, кричала она.—Всё у нас хорошо. Козье молоко—сколько хочешь. Феликс Петрович мёда принёс. Баба Варя, что с другого конца, яйца продаёт. И в магазин ходим. Как же без магазина? Да ерунда! Что нам пять километров? Тропинки сухие, птички поют. И черники наберём по дороге. Таша её с молоком ест. Что? Дров полно. Целый сарай. Нет, Феликс не сжёг. Ой, он такой забавный!

Подмигнув, Аня продолжала с улыбкой:

— Как же. Кавалерится. Живот вперёд—и в наступленье. Не-е-ет! Я пошутила. Не пристаёт. Да куда ему приставать? Поди, лет шестьдесят. Сколько? Шестьдесят два? Ну вот, а вы всполошились. И у Таши—ухажёр. Плотный, румяный, с золотыми кудрями.

Аня хохотала в голос. Она отстранила телефон и воскликнула:

— Ну, не могу! Поверила!

Затем опять в трубку:

— Гляну на него—прямо слюнки текут. Так бы и зацеловала. Да вы не пугайтесь. Никакой не мужчина. Мальчик соседский приходит. Сколько лет? По-моему, четыре. Да-да. Позвоню. До свидания.

Аня убрала мобильник и широко улыбнулась.

— За чистую монету приняла. Думала, хахаль у тебя появился.

Феликс Петрович жил по соседству. Высокий, крупный, с седыми кудрями. Мать говорила, наша родня, а какая—не знает. Феликса она привечала, возила подарки, иногда звонила. Что и говорить, нужный человек. И газовый баллон подключит, и в магазин съездит, а если приспичит—в больницу отвезёт. «Феликс—настоящий хозяин»,—говорила Аня. А по мне—кулак. Чего только не имел! Пасеку в двадцать ульев, «жигули», лошадь с жеребёнком, трактор, косилку, две коровы, десяток овец, козу, штук двадцать уток. А кур не любил. Может, петух в детстве клюнул; может, какая другая причина—не знаю. Так или иначе, яйца Аня покупала на стороне. Однако Феликс нам помогал. Пилил дрова, носил воду, что-то чинил. А главное—следил за домом. Я замечала: Феликс Петрович был к Ане неравнодушен. Подойдёт утром к окну и как гаркнет:

— Анюта, неужто спишь?

Аня выскакивала на крыльцо. Сарафан короткий, под ним—ничего. Формы наружу так и выпирают.

— Привет, Феликс Петрович! Знать, за водой собрался.

— Могу и сходить. Сколько тебе принесть?

— Да вёдер шесть, не меньше. Стирнуть хотела.

Феликс пожирал Аню глазами. Затем вздыхал и говорил:

— Хороша девка! Чай, отбоя от женихов нет?

— Пошто мне женихи?—игриво отвечала Аня.— Я сама по себе. Живу как барыня. Встану когда захочу. С Ташей чайку попьём—и на речку.

— Зубы не заговаривай,—усмехался Феликс Петрович.—То-то смотрю, в делах целый день.

— Да какие дела? Так, одна мелкота.

Я сидела у окна и наблюдала из-за занавески. Аня была хороша. Свежая, румяная—словно булка.

— Замуж тебе пора,—взяв вёдра, говорил Феликс Петрович.—Пошто красота пропадает?!

— Сватов задумал прислать?—улыбалась Аня.

— А что? Пошла бы за меня?

— Нет. У тебя хозяйство большое. Да и староват ты для меня.

— Это верно,—вздыхал Феликс Петрович и шёл за водой.

Аня бежала на двор, долго плескалась у рукомойника и, блестя мокрым лицом, возвращалась в горницу.

— Ишь, жених отыскался,—улыбалась она и включала чайник.—По мне, так свобода дороже.

«Это верно,—думала я.—Ну их, этих мужиков. От них—сплошные проблемы».

Какие проблемы от мужиков, я, конечно, не знала. Но фраза была на слуху и у меня находила понимание.

14.

— Сходим на речку?—как-то спросила Аня.

Я кивнула. Натянув на меня купальник, Аня переоделась, и мы пошли.

— Привет, баба Варь! Здравствуй, Михалыч!

Аня раскланивалась туда-сюда и деловито толкала коляску.

— Здорово живёшь,—ответила баба Варя.—Чай, остановись на минутку.

Михалыч подошёл к коляске и потрепал меня по щеке.

— Ишь, похорошела-то как. Прямо яблочко наливное.

Он улыбнулся и показал единственный зуб.

— Козье молоко пьёт,—ответила Аня.

— Оно и мёртвого поднимет,—согласился Михалыч и достал папиросы.

— Знать, купаться пошли,—то ли спросила, то ли сказала баба Варя.

— Хотим сполоснуться,—ответила Аня.

Она вытащила семечки и сунула горсть бабе Варе.

— Спасибочки,—ответила та.

Попробовав, добавила:

— У нас таких нет. Небось, с Москвы?

Аня кивнула, и началась «работа». Под ноги полетела шелуха, и Аня с бабой Варей заговорили о сене. Дескать, трава больно высокая, косить

тяжело. И дудников много. Откуда чёрт их принёс? Коса тупится, только точи. И оселок — не тот. Кабы хороший купить, другое дело. Михалыч включился в беседу и шамкал о своём. У коровы брюхо раздулось — видно, клевера переела, и молоко нонче горькое.

Словом, пошло-поехало. Одно за другое цепляется, а когда кончится — не разберёшь.

Михалыч, Феликс и баба Варя родились в Серьгово, здесь и прожили жизнь. Несмотря на преклонный возраст, они трудились целыми днями. Косили, ворошили сено, ухаживали за скотиной, копались в огороде. Все остальные в деревне — дачники. Кто из Москвы, кто из Питера, кто из Дубны. Купить дом в Серьгово — это проблема, поэтому здесь в основном проживают наследники. Место — красивое, река — чистая, от главной дороги — три километра. Как говорит Аня, живи и радуйся.

— Та-а-аша!!! — раздался крик.

Куры, копошившиеся на дороге, подняли головы и закудахтали. Из ближайшего палисадника выбежал Игорёк. Русые кудри, большие глаза, в руках — кружка.

— Вот тебе подарок, — радостно сказал мальчик и вывалил в подол красную смороду.

Я улыбнулась. Красные гроздья выглядели аппетитно.

— Сам собрал? — спросила Аня.

— Мамуля.

Игорёк потянулся к моему уху и прошептал:

— У меня — секрет. Хочешь, скажу?

Я наклонила голову и вдохнула запах детских волос. Пахло молоком, свежим воздухом и травой.

— У меня живёт стрекоза, — прошептал Игорь.

Детские губы щекотали ухо, по телу побежали мурашки.

— Крылья у неё — золотые, глаза — как стёкла. Наверное, фея. Представляешь?

Я кивнула.

— На речке поймал. Она на кувшинке сидела.

Я потянулась к мальчику, и он послушно повернул своё ухо.

— Выпусти, — прошептала я. — Стрекоза сказки приносит.

Сказала нечётко, но Игорёк понял. Он кивнул и понёсся к дому.

— Словно ангелочек, — заметила Аня.

— Хороший мальчик, — согласилась баба Варя. — И мать такой же была. Кудрявой, стройной, с большими глазами. А родила — и расползлась, как квашня.

Михалыч закурил и посмотрел на небо.

— Гроза идёт.

— Скажешь тоже! — воскликнула Аня.

— Глянь на облака. С одного места бегут.

Я подняла голову. И верно. Облака неслись из одной точки. Будто веер.

— Тогда мы пошли.

Аня взялась за коляску и, отряхнув шелуху с сарафана, двинулась к реке.

— А можа, не соберётся, — крикнула баба Варя.

— Эх, — поглядев на Аню, крякнул Михалыч. — Справная девка!

Я улыбнулась.

«Видимо, толстых в деревне любят».

Коляска неслась мимо цветов. Колокольчики кланялись вслед, и я пыталась поймать их руками. Хорошо! Впереди голубая лента реки, за ней — сосны, дальше — непроходимый лес. Какой он — трудно сказать. Но то, что в лесу прячутся сказки, я чувствовала сердцем. И вообще… В деревне везде тайны. Не такие, как в городе. Настоящие, идущие от природы. Интересно, почему мать не любит деревню? Неделю погостит — и тут же в город. Видно, в деревне ей тошно. Удобств нет, кровати простые… И ску-у-учно к тому же. Так бы и сказала.

Коляску тряхануло, и мы спустились к реке.

— Река, речонка… — запела Аня.

Она отбросила шлёпанцы и распахнула руки.

— Вот оно — счастье!

Я дёрнулась в знак согласия и гыкнула в ответ.

— А песок-то! Таш, глянь. Прямо золотой.

Аня освободила меня от одежды и положила на горячий песок.

— Спинкой полежи. Погрейся.

Она сбросила сарафан и прыгнула в воду. Брызги взметнулись над рекой, Аня фыркнула, и по реке полетела песня:

Подставляйте ладони, я насыплю вам солнца,
Поделюсь тёплым ветром, белой пеной морской,
А в придачу отдам эту пе-е-есню, вы возьмите её с собой…

Я смотрела на небо, ловила солнечные лучи и улыбалась. Мне было хорошо как никогда. Душа наполнялась чем-то светлым, радостным; хотелось глубоко вздохнуть и… запеть. В этот момент было неважно, смогу ли произнести слова, главное — пела душа. Пела бесхитростно, просто, искренне.

— Ла-ла-ла! — подхватила я.

— Таша!

Я повернула голову. По воде бежала мелкая рябь, по небу плыли облака, там и здесь прыгали солнечные зайчики. На перекате стояла Аня. Словно мать-Земля. Большая, тучная, красивая. Волосы в кудряшках, крупные капли на теле, на ушах — гирлянды из водорослей.

— Прямо русалка, — засмеялась она. — Скажи?

Я помахала рукой. В памяти звучали слова: «Подставляйте ладони, я насыплю вам солнца…»

## 15.

Гроза разразилась вечером. Я лежала на диване и смотрела в окно. Аня вязала салфетку. Горела настольная лампа, где-то шуршала мышь, пахло

свежевымытыми полами. Время от времени небо разрезала яркая молния, и тут же гремел гром.

— Прямо над нами лупит,— расправив салфетку, спокойно сказала Аня.

Ветер свистел в трубе, деревья скрипели, в сарае хлопала дверь. Я вспомнила чёрный вихрь.

— Ань, ты не боишься грозы?

— Чего бояться? Как говорила мамка, от своего хвоста не уйдёшь.

Молния озарила небо, и грохнуло так, что задребезжали стёкла. Мелькнула мысль: вдруг загорится дом? Аня-то убежит. А что будет со мной?

Чтобы отвлечься, решила поговорить.

— Расскажи, как оказалась в Москве.

Аня понимала меня с полуслова. Не надо повторять, путаться в звуках. Прохрипела — и полный порядок. Вопрос принят, за ним тут же ответ:

— От мужа убежала. Мрачный был человек.

«Вот это да! Не знала, что у Ани был муж».

— Помнишь, рассказывала об агрономе?

Я кивнула.

— Ну вот. Когда он меня бросил, я собралась в город — агроном уже с Люськой-продавщицей встречался. Мамка то ли что почуяла, то ли сплетни пошли. Сама знаешь, какие в деревне тайны. Словом, смотрела на меня волком, а сама думу думала. Уж я-то свою мамку знаю. Если молчит — значит, мысли катает. Как-то мы сели ужинать, она и говорит: «В Павлов Посад поезжай. Там Зинка работает».

Аня откусила нитку и пояснила:

— Зинка — моя троюродная сестра.

Мы помолчали. Я глядела на Аню и ждала продолжения.

— Ну, я и поехала. Зинка комнату снимала, вот и стала с ней жить. Она меня на фабрику устроила, сделала своей ученицей, потом я сама пробивалась. Стояла у ткацкого станка, ткала шерсть для павловопосадких платков. Видела их?

Аня встала и, порывшись в сумке, вытащила красный платок. В середине — цветы и витиеватые узоры, по краям — бахрома.

— На всякий случай взяла. Вдруг в гости позовут — неловко ведь без подарка.

Она накинула платок и прошлась по горнице.

— У меня таких штук десять. И шаль с кистями.

Платки меня не интересовали, и я вернула разговор в прежнее русло:

— А твой муж?

— Он инженером был,— ответила Аня.— По павловопосадским меркам, видный жених. Квартиру имел, машину. Я думала, Бог в награду послал, а вышло иначе — в испытание.

Я сочувственно хмыкнула.

— Сначала я сносно жила. Помиловалась, в семью поиграла, уют навела. А потом тоска навалилась. Муж придёт с работы — и начинает нудить. Дескать, всё-то плохо — и на фабрике, и в стране. Люди — плохие, продукты — несвежие, дороги — раздолбанные. И так каждый день. Я улыбнусь, спою, приласкаюсь. Всё бесполезно. Ласку принимает, а сам своё: бабы распустились, мужики пьют, совести ни у кого нет.

— Мать — тоже мрачная,— выдавила я.

— Что ты, Таш!— воскликнула Аня.— Лариса Валентиновна на моего мужа нисколечко не похожа. Тот мусор по жизни собирал, а твоя мать — потерянная.

Я удивлённо подняла брови.

— Потерянная? Но почему?

— Не знаю, смогу ли объяснить. Лариса Валентиновна будто в лесу заблудилась. С тропки на тропку переходит, на открытое место выйти не может.

«Ну нет! С этим я не согласна. Моя мать знает, что хочет».

— Ей бы замуж. Например, за посла,— продолжила Аня.— Тогда бы была на месте. Приёмы, красивые платья…

Я попыталась представить. А что? Аня права. Как понимаю, на посольских приёмах приветствуют сдержанные улыбки, хорошие манеры и разговоры об искусстве… Мать бы имела успех, это точно.

Гроза кончилась, и небо посветлело. Июльские ночи в этих местах — светлые. Аня погасила свет.

— Пора спать.

Она положила меня на кровать и поцеловала в лоб. Улыбнувшись в ответ, я спросила:

— А ты в лесу не плутаешь?

— Нет,— рассмеялась Аня.— Я хорошо ориентируюсь. А вообще-то… я живу не в лесу. На цветущем лугу.

Вот так-то! А где живу я? Наверное, в болоте.

Выползти бы из него.

## 16.

Во сне слышала дождь. Казалось, капли стучат по лицу. Открыла глаза. Нет ничего. Странно. Спустила ноги с кровати. Встала на пол. Что это? Под ногами — песок. Откуда он? Пошевелила пальцами. Точно.

Сердце сжалось от страха. Где я? Куда попала? Провела рукой по лицу. Сухое. А как же тогда дождь?

Сделала шаг, второй… Тьма расступилась. Ни потолка, ни крыши. Звёзды на небе. Вот одна, другая, третья…

Шёпот. А может быть, всплеск? Вытянула руки. Пошла. Звёзд всё больше и больше. Что-то лизнуло пальцы. Видимо, вода.

Напряглась. Положила руку на сердце. «Ну же — спокойней!»

Взглянула на небо. Там шла борьба. Думаю, тьмы и света. Вот и луна. Стало легче. Всё-таки тьма угнетает.

«Пш,—донеслось.—Пшити».

Ба! Да это же—море. Необъяснимо манит.

Пошла. Побежала. Остановилась.

Ой, какая вода! Цвета серебра и бронзы.

В море вошла не сразу. Чуточку постояла. Тихо сказала:

— Здравствуй.

«Пши»,—шепнуло в ответ.

Прибой облизывал ноги. Вода поднималась всё выше. Тепло. Приятно. Щекотно. По морю неслась волна. Прямо по лунной дорожке.

Волна направлялась ко мне.

Вдруг погрузилась в холод. Тело как онемело. Сердце прыгнуло в горло. Встретилось с пустотой.

«Пш, пшити».

Я погружаюсь в воду. Жаль, что исчезну в пене.

— Та-а-аша!!!

Голос. Будто бы детский.

— Не уходи-и-и!!!

Я глубоко вздохнула и посмотрела на берег.

Девочка. С большими глазами. Манит к себе. Зовёт. Я протянула руку.

— Здравствуй!

Голос—как колокольчик.

— Здравствуй!—ответила я.

Странно. Волна убежала. На берегу—стена. Бетонная, как и прежде. Ни чёрного песка, ни крючков. Девочка подвела к калитке. За ней оказалась зима.

Солнце светило в лицо, мороз пощипывал щёки. Мы были одеты в беличьи шубки. На голове—вязаные шапки, на ногах—валенки, из рукавов выглядывали варежки на резинке. Зимнюю тишину нарушали наши шаги. «Скрип-скрип. Скрип-скрип».

Никогда не ходила по снегу (впрочем, по земле тоже). Странное ощущение, я бы сказала—восторженное.

Лес приближался. Казалось, на ветвях деревьев—стеклянная вата (как в новогодних композициях). Мы продвигались, не расцепляя рук. Пальцы девочки—тонкие, с нежной кожей. От них шло живое тепло.

Пришли на поляну. Вокруг сосны, ёлки, берёзы (совсем как у нас в Подмосковье). Девочка обернулась. Глаза—как зимнее небо.

Подул ветерок. Снег начал таять.

Вот это да! Волшебство, не иначе. Проплешина росла, и на поляне появилась трава.

Я ждала. Сейчас послышится треск, деревья расступятся, и на поляну выйдут двенадцать месяцев. Разведут костёр, сядут в круг, поведут беседу. Однако никто не появлялся.

Девочка хлопнула в ладоши. Среди травы появился цветок.

Подснежник! Белый, с нежными лепестками.

Девочка сорвала цветок и, не сказав ни слова, подарила мне. Затем взяла меня за руку и повела к избушке. На пороге я оглянулась. Снежное одеяло лежало на поляне и искрилось на солнце.

Вошли в дом. Лежанка, лавки, стол у окна. И занавески. Белые, кружевные—будто Аня связала. На полу—домотканые дорожки. Яркие, полосатые.

— Как радуга,—сказала я.

Девочка улыбнулась. Она принесла дров и затопила лежанку. Сели плечом к плечу. Стали смотреть на огонь. Я прижимала подснежник к груди и прикрывала его от жара. Отблески огня плясали на занавесках, касались цветка, прятались среди половиц. В топке бушевала жизнь. Неспокойная, жаркая, бурная. Всполохи, треск, мерцание, за ними—волны тепла.

«И под снегом растут цветы»,—подумала я.

## 17.

Бегать по деревне Игорьку не разрешали, а к соседям в гости—пожалуйста. Для четырёхлетнего мальчика подобные визиты были праздником. Впрочем, для меня тоже. Игорёк приходил умытым, причёсанным, одетым в чистую футболку. Сначала заглядывал в сад. Если меня не видел, заходил в дом. Сняв у порога сандалии, здоровался и шёл в горницу. Как правило, приносил гостинцы. Он так и говорил: «Таша, у меня гостинец».

Я улыбалась. Что говорить, подарки получать приятно. Фантазия Игорька была многообразна, и за два месяца мальчик не повторился ни разу. Подарки я хранила в коробке, однако, по мнению Ани, скоро понадобится ларь. Чем отличается ларь от сундука, я не знала. На мой вопрос Аня ответила так:

— Сундук—простой, ларь—расписной.

Я хмыкнула. Получилось складно.

— У мамки в доме стоят три сундука и один ларь,—продолжала Аня.—Сундуки—дубовые. Мамка в них бельё держит. В одном—постельное, в другом—нательное, в третьем—зимние вещи. От этих сундуков нафталином пахнет—сил нет!

— Саше́ из лаванды надо положить,—заметила я.

— Скажешь тоже! Саше́! В деревне о таком не слыхали.

— А ларь для чего?

— Для самого ценного. У мамки в нём лежат документы, облигации, дедушкины письма с фронта, два отреза на платье и узелок со смертным.

— С чем-чем?—не поняла я.

— Ну, с тем, что надеть, когда мамка помрёт. В узелке—панталоны, рубашка, платье, носки, тапки и, конечно, платок.

— Зачем всё это хранить? Если понадобится, можно купить.

— В деревне к смерти готовятся заранее. И правильно делают. Сам себе смертную одежонку выбрал, сам в узелок завязал. К тому же о людях подумал. Сама посуди: у тех, кто остался, и так много хлопот. Надо гроб заказать, могилу

выкопать, обмыть, одеть, проводить… А поминки? Ведь вся деревня придёт. Вот и готовят заранее.

У Ани всегда так: начнёт с одного, кончит другим. Вот и сейчас. Спросила про ларь—она рассказала про похороны.

Ну и тема!

Итак, Игорёк пришёл с новым гостинцем.

— Держи,—сказал он.—Книжку для тебя сделал.

Мальчик протянул сложенный вдвое листок. Внешняя сторона раскрашена оранжевой краской, внутренняя—в зелёных вихрях и красных кружках.

— Красиво,—сказала я.

Сказала нечётко, но Игорёк понял. При наших разговорах мы оба пропускаем множество звуков (я, конечно, больше), однако в общении с Игорьком проблем не было. Мы понимали друг друга, а дефектная речь нас даже сближала.

— В книжке—две песни,—пояснил Игорь.—Я тебе их дарю. Вот здесь (он показал на обложку) спряталась «Оранжевая песня», внутри—«Вместе весело шагать по просторам».

Признаться, я этих песен не знала.

— Спасибо. Споёшь эти песни?

Игорёк кивнул и встал посреди горницы.

— Сначала расскажу, потом спою. Ладно?

Я положила подарок на колени и приготовилась слушать.

— Первая песня—о девочке, которая раскрашивает картинки оранжевой краской. И небо—оранжевое, и мама, и солнце, и верблюд. А потом пришёл дядя и говорит: «Так не бывает». Понимаешь?

Я кивнула. Всё ясно. Девочка и дядя живут в разных мирах.

— А девочка стала спорить. «Бывает»,—говорит. Тут выглянуло солнце, и всё стало таким, как в раскраске.

Игорёк вздохнул и запел тоненьким голосом:

Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг…

Глаза Игорька сверкнули, и припев он спел с большим энтузиазмом:

Оранжевое небо, оранжевое море,
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
Оранжевые песни оранжево поют!

В горницу вошла Аня. По всей вероятности, она ходила за молоком.

— Какая светлая песенка!—воскликнула она.—И голосок будто колокольчик.

От похвалы Игорёк расцвёл.

— Ты всё равно лучше поёшь,—сказал он.

Аня поставила кринку и подхватила мальчика на руки.

— Ух какой сладкий! Так бы и съела!

Игорёк засмеялся.

— Не ешь меня. Я тебе песенку спою.

— Так и быть,—состроив хитрую физиономию, сказала Аня.—Если плохо споёшь—съем, если хорошо—награжу.

Игорёк посмотрел Ане в глаза. Дескать, играешь или как? Затем вынырнул из Аниных рук, поправил футболку и запел громче прежнего.

Спой-ка с нами, перепёлка-перепёлочка.
Раз иголка, два иголка—будет ёлочка,
Раз дощечка, два дощечка—будет лесенка,
Раз словечко, два словечко—будет песенка.

Аня кинулась к мальчику и стала целовать его в щёки, голову и даже в уши.

— Ах ты, моя прелесть! До чего хороша песенка!

Всего не упомнила, но последнее зацепилось: «Раз дощечка, два дощечка—будет лесенка, раз словечко, два словечко—будет пе-сен-ка!»

Аня пропела с таким чувством, что теперь уже Игорёк приподнялся на цыпочки и чмокнул её в щёку.

— Ну и кавалер! Заслужил награду,—воскликнула Аня и выпорхнула из комнаты.

Мы с Игорьком притихли. На кухне слышался шорох. Я поняла, Аня копается в шкафчике, где хранила сладости. Через некоторое время она вернулась.

— Награждаю тебя золотой медалью.

Аня протянула мальчику большую медаль. Игорёк вспыхнул от радости.

— Настоящая?—спросил он.

— Конечно,—ответила Аня.—В Москве купила.

Весело подмигнув, она добавила:

— К тому же шоколадная.

— Спасибо!—воскликнул мальчик.—Я сейчас вернусь. Маме покажу—и назад.

Забыв обуть сандалии, Игорёк выскочил из избы.

— Мама!—услышали мы.—Мне медаль подарили.

Игорёк вернулся через пару минут. Щёки раскраснелись, на лице—улыбка.

— Мама в холодильник медаль положила,—сказал он.—Чтобы не растаяла.

— И правильно сделала,—ответила Аня.

Она поставила на стол тарелку с пирогом и сказала сказочным голосом—да так сладко, будто Лиса Патрикеевна:

— Отведайте пирожков, гости дорогие!

Я подъехала к столу, Игорёк забрался на лавку.

— И молочка попейте,—продолжала Аня.—Знакомая коза угостила.

Ну что с ней поделать? Артистка, и только. Но не такая, как мать,—другая.

Мы с Игорьком откушали и сказали спасибо.

— Теперь в саду посидите,—продолжила спектакль Аня.—На травке поваляйтесь, малинки поешьте.

А у меня — важное дело. Надо кур проведать, яичек собрать.

Аня вывезла коляску и поставила её у ограды. Здесь росла садовая малина. Сама же, подхватив корзинку, скрылась за калиткой.

«К бабе Варе отправилась», — подумала я.

Игорёк подошёл к кусту и стал собирать ягоды.

— Сначала тебе наберу, — сказал он. — Потом себе.

Я благодарно кивнула. Что и говорить, хороший у меня дружок. Внимательный.

## 18.

Большую часть дня я проводила под яблоней. Ветки служили крышей и не пропускали прямых солнечных лучей. Сиди и любуйся. И было чем. Яблоки висели, как новогодние шары.

«Скоро начнут падать. Оторвутся от яблони и полетят вниз. А дальше…»

Что будет дальше, додумать не удалось — пришёл Игорёк. Румяный, умытый, с улыбкой на лице.

— Привет! А у меня — подарок.

Мальчик протянул снежинку, вырезанную из бумаги.

— Мама сделала.

— Но почему снежинка? — спросила я.

— У тебя есть желание? — вопросом на вопрос ответил Игорёк. — Большое-пребольшое.

Мог бы не спрашивать. Моё желание очевидно — встать и пойти. Я решила задать встречный вопрос:

— А у тебя?

— Да. Я хочу железную дорогу.

— Зачем?

— Интересно. Поезд бежит по железной дороге, колёса стучат: «Тук-тук, тук-тук», — а я — машинист. Еду далеко-далеко. И смотрю по сторонам. Коровы, овцы, лошади… потом дома. И мост…

Игорёк посмотрел на небо и стал перечислять то, что хотел бы видеть.

«Так всегда, — подумала я. — Если у человека мечта, он поднимает голову. Но почему? Верит, что небо поможет?»

— У меня много зверей, — продолжал Игорёк. — Целый набор. Я бы их расставил рядом с дорогой, и пассажиры махали бы им рукой. И дома бы построил. Из кубиков. Всё по-настоящему.

— Ну хорошо, — улыбнулась я. — Ты хочешь дорогу, поезд, вагоны. А снежинка зачем?

Игорёк что-то вспомнил.

— Я сейчас. Сбегаю домой — и назад.

Мальчик вернулся с книжкой.

— Вот, почитай. Здесь про снежинки.

— Спасибо.

Я посмотрела на обложку. Луна, заяц в белом халате, в лапах — пестик.

Игорёк потупил взгляд и добавил:

— Книжку подарить не могу, там моя любимая сказка.

— О чём разговор! Прочту и тут же верну.

— Игорёк! — послышалось из-за забора. — Иди обедать.

Я открыла книжку и погрузилась в сказку.

*Лунный Заяц*

В последний день уходящего года Солнечный Луч решил навестить Лунного Зайца. Долетев до Луны, он сунул нос в кратер, прошёлся по борозде и остановился у каменного дома. Рядом росло дерево. Коричневый ствол, корявые ветви, длинные серебристые листья. Дерево испускало свет, и казалось, будто тысячи светлячков включили свои фонари одновременно. Солнечный Луч присел на крыльцо, и тут же появился Заяц. С пестиком в одной лапе и ступкой в другой, он походил на врача. Не хватало только шапки с красным крестом.

— Здравствуй! — поприветствовал Заяц. — Вовремя прилетел.

Солнечный Луч фыркнул.

— Можно подумать, раньше я прилетал не вовремя.

Заяц опёрся о дерево и усмехнулся.

— Каждый слышит своё, — сказал он.

Пестик застучал в агатовой ступке, и над поляной повисла недоговорённость.

Солнечный Луч смутился. «Заяц, конечно, прав, — подумал он. — Каждый слышит своё».

Солнечный Луч перескочил на дерево и заглянул в ступку.

— Давно хотел спросить.

— Спрашивай, — не прекращая работы, сказал Заяц.

— Знаю, ты — врачеватель. Но почему на Луне?

— У каждого — своя судьба. Ты должен светить, я — готовить снадобья.

— Разве на Земле готовить снадобья нельзя?

— Здесь мне никто не мешает.

Заяц потянулся к мешку и вытащил несколько пакетов. В них лежали нефрит, сушёные цветы, кора, пушинки, перья, пузырьки и множество других интересных вещей. Разложив их перед собой, Лунный Заяц достал ручные весы. Он отмерял, взвешивал, добавлял и все компоненты сбрасывал в ступку. Пестик начал работу, и из ступки показалась пена. Она походила на облако. Да-да, пушистое серебристое облако.

Облако перекинулось через край и… поплыло.

— Лови! — крикнул Лунный Заяц. — Неси его людям!

Солнечный Луч догнал облако и заключил его в объятья.

— Что в нём? — напоследок спросил он.

— Каждому своё, — ответил Заяц. — Кому любовь, кому мечта, кому здоровье…

Солнечный Луч не дослушал. Он понял: каждое живое существо получит по заслугам. Блеснув

на фоне заката, Луч растворился в воздухе, и из облака полетели снежинки. Много снежинок. Они кружились над землёй, а внизу бежали, шли, ехали люди.

— Какая красота! — воскликнула девушка — и тут же похорошела.

На тротуаре остановилась старушка. Она стояла у всех на пути и широко улыбалась. Подставив варежку, старушка поймала снежинку и прошептала:

— Она похожа на кружева.

Выцветшие глаза сверкнули, морщинки разгладились, и старушка помолодела.

— Мама, мама! Ну посмотри скорее на небо! — крикнул ребёнок. — Видишь, огромный мешок? Он разорвался, и оттуда сыплются хлопья. Правда, они — волшебные?

Мама поймала снежинку, и взгляд её прояснился. Она наклонилась к ребёнку и весело сказала:

— А не купить ли тортик на ужин?

Однако большинство людей пробежало мимо. Они поднимали капюшоны, кутались в шарфы, отмахивались от снежинок и ворчали под нос:

— Слякоть. Снег. Ботинки промокнут…

Глупые, глупые люди! Они пропустили чудо. Вот оно — протяни только руку.

Лунный Заяц посмотрел на Землю и снова приступил к работе. Он знал: его задача — готовить снадобье. А попадёт ли оно по назначению, зависит от человека.

…………………………………………………………

Я прочла сказку и задумалась. Сказка — простая и непростая одновременно. Как хочешь, так и понимай. Игорёк в ней увидел волшебство. И поверил. Стоит поймать снежинку, и желание исполнится. А что увидела я? Лунного Зайца? Надежду?

Мать подобных сказок не покупала. Почему? Их что — не было?

В этой сказке — всего по чуть-чуть. На разные вкусы. И волшебство, и долг, и светлая грусть. А погрустить я люблю. Почему так тянет на грусть? В сюжетах, разговорах, книгах. Взять, например, Диккенса. Читая его романы, я растворялась в судьбах героев. Чем больше трагедий, тем интересней. Что это — созвучие? А может, желание погрузиться в чужую боль? Будто лекарство. Прочла о тяжёлой судьбе, и стало легче. Дескать, и другие страдают. Однако Аня живёт и радуется. А если уносится в мыслях, то в другие края. Не в те, где бываю я.

Солнечные лучи рассыпались по саду и затеяли салки. С чего бы?

Я посмотрела на небо. Облака — как барашки. И каждое само по себе. Однако стоит подуть ветру, тут же собьются в стадо. И превратятся в тучу.

— А вот и я.

Аня появилась с банкой облепихи.

— Видала, какая красота! А пахнет-то как. Скажи?

## 19.

То ли полнолуние виновато, то ли сказочный Заяц, но я не спала до утра. Ворочалась, вздыхала, ловила мысли. Будто летучие мыши, они кружились надо мной и задевали крылом. Наконец, улетели. Луна заглянула в окно. Огромная, жёлтая, с тёмными пятнами. По полу бежала лунная дорожка. Прямо ко мне. Я спустилась с кровати и встала на половик. Открылось окно, в комнату залетела птица. Большая, похожая на сову. Зависла у потолка, будто крест. Жёлтые глаза неподвижны. Смотрит на меня. На кого-то похожа. Вроде на мать. Печальная, статичная, таинственная.

Ожила. Ухнула. Вылетела в окно. Я вышла из дома и пошла за ней. Луг, берег, вода, лесная тропа. Деревья — как истуканы. Чёрные, неподвижные. Расступились. Та же стена. За ней — солнце. Я оттолкнулась и перелетела. Вот это прыжок! Ноги — будто пружины.

Равнина, избушка, лес в золотой одежде. Видимо, осень.

— Ты бы оделась. Свежо.

Вздрогнув, я обернулась. За спиной стояла старушка. На плечах — телогрейка, на голове — тёплый платок, в руке — кофта.

— Накинь.

Набросив кофту, я улыбнулась. Словно пальто. Длинное, тёплое, пахнет сеном.

— А вот поясок. Обвяжись. Будет ещё теплее.

Старушка протянула верёвку.

— Девочка не придёт? — спросила я.

— Нынче она далеко.

Пошли к лесу. Впереди старушка, за ней я. Тишина и покой. Какое-то сонное царство. Казалось, присутствую при таинстве. Лес и равнина готовились к зиме, но *как*, не дано знать.

Вспомнила стихотворение Тютчева — вернее, декламацию матери. Это было прошлой осенью. Мать стояла у окна, куталась в шаль и смотрела на листопад. Налюбовавшись, повернулась ко мне и сказала: «Не люблю осень. Она наполнена увяданием». Помнится, я хмыкнула. Как всегда в пафосные моменты. Мать поникла головой и, растягивая слова, прочла стихотворение:

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит…
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Ещё на ветви шелестит.

«Полураздетый лес и листья с остатками красоты…» — грустно сказала она. «Всё когда-то умрёт», — заметила я. Мать бросила тоскливый взгляд и вышла из комнаты.

Странное восприятие. По-моему, от стихотворения, которое мать прочитала, веет не смертью, а сном. Я, например, обратила внимание на то, что лес «обвеян вещею дремотой». В этой строчке даже не сон—тайна. А может, сказка.

Старушка остановилась и, поглядев на равнину, сказала:

— В это время года Бог печатает землю.

«Верно,—подумала я.—Накладывает печать. Но зачем? Чтобы земля отдохнула? Или чтобы переродилась?»

Пошли дальше. Вот и лес. Ели—в изумруде, берёзы—в золоте. Красиво.

— Пойдём в дом,—сказала старушка.—Каши поедим.

Избушка была та и не та. Лежанка, лавка, стол у окна. На полу—полосатые дорожки. А занавесок не было. Вместо них—гирлянды листьев.

Я подошла к окну. Листья были нанизаны на нитку. Оригинально. Жёлтый дубовый, красный кленовый, зелёный берёзовый…

— Наталья сделала,—пояснила старушка.

— Какая Наталья?—удивилась я.

— Ты уже спрашивала про неё.

— Девочка из зимы?

— Ну да. Моя правнучка.

Ну и чудеса! Выходит, мы с девочкой—тёзки. И ведь похожи.

Да-да, я только теперь поняла, кого напоминала девочка. Меня—маленькую. Но почему Наталья—в зиме, а бабушка—в осени?

— Ты-то когда родилась?—ставя миски на стол, спросила старушка.

— Тридцать первого декабря.

— Вот и Наталья так же. Аккурат на Новый год.

«Это уже интересно. Мало того, что похожи,—мы и родились в один день».

Сбросив кофту, я села за стол.

— А сколько лет вашей Наталье?

— Десять уже.

— А мне—двадцать пять.

Старушка достала масло, деревянные ложки и, положив кашу в миски, заметила:

— Время на месте стоит.

— Странно. Я слышала другое: «Время не стоит на месте».

— Рот не огород, не затворишь ворот,—улыбнулась старушка.

Она придвинула миску и добавила:

— Ешь. Не ровён час, остынет.

Каша была крутая и цветом под стать осени—желтовато-золотистая.

— Из ячменя сварила,—поглядывая на меня, сказала старушка.—Небось, не пробовала такой?

— Это верно,—уминая кашу, ответила я.—Впервые ем.

— То-то. У нас её яшневой называют. Из всех каш она—самая спорая.

Мне было чудно. Будто в другое время попала. А старушка говорит: время стоит. Вот бы мать пригласить в избушку. Интересно, читала бы она стихи? Ну, например, Некрасова: «*Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели*». Всё-таки мать—артистка. Ей бы на поэтических вечерах выступать.

То ли от этой мысли, то ли от каши, но я рассмеялась.

— Это хорошо,—сказала старушка.—Мешай дело с бездельем, а время проводи с весельем. Глядишь, и радость придёт.

То ли пословица прозвучала, то ли народная мудрость, но сказанное мне понравилось. До прихода Ани в нашем доме не было ни веселья, ни радости, ни света. Жили вдвоём с матерью, как скорпионы. Каждый в своём углу. Одинокие, с ядовитыми хвостами. И мне казалось, что все люди такие. А стоило вылезти из угла, оглянуться по сторонам—сразу увидела свет. Вот он. Сколько хочешь, столько и бери.

Старушка убрала миски и бросила на лавку овчину.

— Поспи маленько.

Меня и правда клонило ко сну. Я устроилась на лавке и, накрывшись кофтой, сказала:

— Не знаю, как вас звать-величать.

— В деревне бабкой Натахой кличут.

— Выходит, в деревне живёте?

— Конечно. Сюда заглядываю ненадолго. Сама видишь, в избушке—ни кровати, ни печи.

Старушка подошла к двери и, улыбнувшись, добавила:

— Стоит моя избушка в неведомой лесушке.

Бабка Натаха задумалась на мгновенье, и из её уст вылетела ещё одна строчка:

— А на краю опушки водятся зверушки.

«Как в сказке,—засыпая, подумала я.—Избушка, опушка, старушка-вековушка».

Проснулась я с петухами. Посмотрела по сторонам. Всё ясно. Я—в домике бабы Нюши. Лежу на кровати, а за перегородкой сопит Аня. Через окно виднеется розово-перламутровое небо. На нём—перистые облака. Видимо, рассвет. Рано ещё. Можно поспать.

Я закрыла глаза и увидела буквы. Золотые, под цвет осени. Они потянулись цепочкой, и я прочла: «Старые мысли—как листья. Сбросив их, можно войти в новую жизнь. Только так, не иначе».

Кто прислал эти буквы? Зачем?

Впрочем, неважно. Хочу спать. А старые мысли… Ну их! Пусть улетают.

Послышался шелест, и я очутилась в лесу. Сразу поняла: в другом.

И чего меня в лес заносит?

Осень. Багряно-жёлтые кроны деревьев. Листья—как разноцветный дождь. Жёлтые, зелёные,

красные. Они шуршат под ногами, что-то хотят сказать. Я напрягаю слух, но не могу ничего разобрать.

Видимо, не время ещё.

## 20.

В середине августа приехала мать. Без предупреждения. Взяла и приехала. Не одна. С мужчиной. Они появились под вечер. Я сидела под яблоней, Аня готовила ужин. Послышался звук приближающейся машины. Всё ближе и ближе.

«Интересно, кто едет? — подумала я. — Феликс Петрович или туристы?»

Туристы на Медведице — не редкость. Они приезжали на пару дней и останавливались на берегу. Ставили палатки, жгли костры, пели песни. Иногда заглядывали в дом — смущаясь, с тысячами извинений. То соли попросят — дескать, забыли, то обливное ведро — конечно, на время. Аня балагурила, угощала яблоками, давала советы. Дом у нас — второй с краю, а так как у Феликса — злые собаки, приезжие заходили к нам.

Машина остановилась у калитки. Я наблюдала за ней сквозь листву. Вышел высокий мужчина. Взялся за деревянные ворота, распахнул, вернулся в машину. Джип заревел и въехал на лужайку. Встал перед окнами.

Хлопнула дверь, на крыльцо выбежала Аня.

— Вот это — сюрприз! — воскликнула она.

«Кого это принесло?»

Ветки заслоняли лужайку, яблоки мельтешили перед глазами. Полного обзора я не имела.

— Здравствуй, — послышался голос матери. — Знакомься, это — Андрей.

— Очень приятно, — защебетала Аня. — Не ждали, не гадали. Надо же, как неожиданно.

Меня захлестнуло волной. Жаркой, удушливой, до дрожи в коленках.

«Мать и её любовник. Что же мне делать?»

— Таша в саду. Сидит под яблоней.

Аня сбросила фартук.

— Погодите. Сейчас помогу разгрузиться.

Я вжалась в кресло. Надо же, какая напасть. Сердце колотилось, кружилась голова, состояние — близкое к панике. К тому же чёрт-те во что одета. Старые лосины, выцветшая майка, на голове — бейсболка.

— Таша, девочка моя!

Мать показалась на тропинке.

Я нахлобучила бейсболку, вытерла лоб, с трудом разомкнула губы.

— Привет, — выдавила из себя.

Поцелуй в щёку, неловкое объятие и шаг в сторону. Мать заслонила солнце, и я оказалась в тени.

— Как ты посвежела. И загорела.

«Скорей бы Аня пришла», — подумала я.

Та словно услышала. Вышла из дома. Направилась к нам.

— Лариса Валентиновна, гляньте, сколько яблок.

Мать посмотрела на дерево.

— Не видела таких. Красные, как огонь.

— Неужто не видели? — удивилась Аня. — Это же — мельва. У мамки в саду тоже растёт.

— В деревне я всегда наездом. Чаще всего — в июне.

— Вот и зря, что наездом. Здесь — настоящая благодать. А Таше как хорошо!

Из дома вышел мужчина. Закрыл машину, направился к нам.

— Андрей, познакомься с Ташей.

«Ясно. Теперь Андрей — первый, я — на задворках».

Мужчина приблизился к коляске, присел и внимательно посмотрел на меня. Глаза — синие, веки — в мелких морщинах. Седые волосы, зачёсанные назад. Волевой подбородок, пухлые губы, крест на распахнутой груди.

— Будем знакомы, — сказал он и протянул руку.

Длинные пальцы коснулись моей руки и застыли.

— Наташа, — прошептала я.

Мать подняла брови. Я поняла почему. Наташей меня никто не называл.

— Красивое имя, — сказал мужчина. — Латинское «наталис» значит «родная».

Он встал и слегка поклонился.

— Позвольте представиться. Андрей.

Я сдёрнула бейсболку и улыбнулась. Слегка, краешком губ. Андрей мне понравился. В его взгляде, в объяснении имени не было позы. Больше того, я почувствовала интерес. Что это? Созвучие или родная душа? Не знаю. Посмотрела в глаза и поняла: с этим человеком будет легко. А почему — вопрос не ко мне, к психологам.

Мать облегчённо вздохнула. Я видела, верней, ощутила этот вздох.

— Не пойти ли нам в дом? — спросила она.

— Идите, — ответил Андрей. — А мы с Наташей поболтаем.

«Как мило звучит: поболтаем. Сумею ли я?»

— Да-да, конечно, — заторопилась мать. — Посидите в саду.

Она пошла к дому, следом отправилась Аня. Обернувшись на полпути, Аня показала большой палец. Дескать, классный мужик. Я кивнула в ответ и повернулась к Андрею. Тот наблюдал за закатом. Стройная фигура, чёрная футболка, джинсы. И белые волосы до плеч. Красивый.

— Как думаешь, какие в закате цвета? — спросил Андрей.

Я посмотрела на солнце. Неожиданный вопрос.

— По-моему, с перламутром.

Как всегда, каша во рту, однако Андрей меня понял.

— Умница, — сказал он. — Но как подобрать перламутр?

Андрей глубоко вздохнул и добавил:

— Это же — не просто цвет, а настоящая благодать.

Я улыбнулась. Говорит будто Аня. Осталось услышать: глянь-ка, какая красота!

Андрей оправдал надежды. Он потянулся и раскинул руки. Казалось, решил обнять деревенский пейзаж — луг, деревню, лес, яблоню с красными яблоками.

— Боже, какая красота! — воскликнул он.

Я засмеялась. Легко, радостно, с горловым переливом. Вот уж не ожидала от себя.

— Разве не так? — спросил Андрей.

Я кивнула и закрылась бейсболкой. Знаю: когда смеюсь, вид у меня глупый. Видела в зеркале. И не раз.

— Ну-ка убери бейсболку, — приказал Андрей.

— Почему? — пискнула я из-под шапки.

— Когда человек смеётся, выглядывает его душа.

— Моя душа дурацкого вида.

— С чего ты взяла?

Андрей отстранил кепку и, глядя в глаза, сказал:

— Запомни, ты из редкой породы людей, кто может обходиться без масок. Дар, между прочим.

**21.**

Приезд Андрея меня взбудоражил. И немудрено. Мужчин я не знала, опыта общения — никакого. Что за порода такая? Чем интересуются? Как смотрят на жизнь? О чём думают? Меня охватило возбуждение, а вместе с ним — интерес. Андрей попал под увеличительное стекло, и я превратилась в наблюдателя. Надо признаться, он себя вёл достойно. Был весел, приветлив, рисовал, балагурил, помогал по хозяйству. А в день приезда произошёл такой разговор.

— Где вам постель приготовить? — спросила Аня. — Домик-то небольшой.

Я напряглась. Аня права, в доме не разгуляться. Горница разделена на парадную и два закутка. Один — с окном, другой — тёмный. В первом стоит топчан, во втором — кровать бабы Нюши. В парадной комнате — старый диван. Над ним — плюшевый ковёр. Мать-олениха и оленёнок. Выбежали на поляну и смотрят. Кто вы — враги или друзья? Будучи маленькой, я часами смотрела на ковёр. Глаза оленёнка притягивали к себе. Они будто сливы. Продолговатые, тёмные, влажные. И доверчивые. Видно, что оленёнок счастлив. Да-да. Я это чувствовала. Лес, синее небо, рядом мама. Разве не счастье? И олениха — красивая. Храбрая, добрая, молодая.

Итак, я спала на кровати, Аня — на топчане. Теперь же повис вопрос: куда положить гостей?

— Мне бы на сеновал, — улыбнулся Андрей. — Надеюсь, сено найдётся?

Мать тут же сникла. Видимо, не ожидала такого поворота.

— Скажете тоже. На сеновале, — развеселилась Аня. — Если бы были деревенским, тогда всё ясно. А так… одно баловство.

— Так есть сеновал или нет? — не отступал Андрей.

— Конечно, есть. Феликс Петрович заполнил сеном весь двор.

Решив проблему, Аня занялась посудой.

— Сейчас помою и постелю, — сказала она. — Сначала половик, на него простынь…

Аня оглядела комнату и добавила:

— Лариса Валентиновна, а вы будете спать на топчане.

— А где же ты? — спросила мать.

— На полу, — ответила Аня. — Матрац на пол брошу, и всё будет нормально.

Андрей встал.

— Не волнуйтесь. Я без белья могу спать.

— Не-е! Так не пойдёт. И одеяло дам, и подушку.

Аня вела себя как хозяйка. Накормила, напоила и спать уложила. А мать, сидя на лавке, ни во что не вмешивалась. И что Андрей в ней нашёл? Ни тепла от неё, ни холода. Так… серединка на половинку.

Проснувшись, услышала звон пустых вёдер, затем разговор.

— Как спалось?

— Отлично. Словно в детстве.

— Хорошо сказали. И у меня так бывает.

Затренькал уличный рукомойник. Андрей, видимо, умывался.

— Проснулся, а из щели — солнечный луч. Бежит, словно руку тянет. Дескать, вставай, лежебока, — солнце взошло.

— Ишь как красиво говорите.

Аня рассмеялась.

— А под крышей пылинки вьются. И все — золотые.

— Верно. И дух такой, что голова кружится.

— Красота!

— Козьего молока принесла. Утрешнего.

— Спасибо, — ответил Андрей. — Сейчас за стаканом схожу.

— Чего церемониться? Пейте из кринки.

Послышался скрип топчана. Из-за полуоткрытой занавески я увидела мать. Она встала, отбросила волосы, достала крем. Намазала лицо, посмотрела в зеркало. Нахмурилась. Стала бить пальцами по коже. Наверное, массаж.

Я откинулась на подушку. Нехорошо, конечно. Будто злорадствую. Мать — немолодая, ей в форме оставаться непросто. А тут любовник. Интересный, красивый, независимый. Ишь как распорядился — ушёл спать один. А мать, значит, побоку. Наверное, обидно. Думала, будет спать в объятьях, а суженый взял и убежал. И куда? На сеновал. Вот потеха!

Стукнула дверь. Чьи-то шаги. Не Анины — чужие.

— Доброе утро.

Голос — весёлый. Видимо, у Андрея — хорошее настроение. Вытянув шею, я посмотрела на мать. Та встрепенулась, накинула пеньюар.

«Надо же, и сюда притащила».
— Доброе утро,— пропела мать.— Может, сходим на речку?
— Хорошая мысль,— ответил Андрей.— И Наташу возьмём. Как она? Уже проснулась?

Мать отвернулась. Будто бы за заколкой. Но мне-то ясно: разочарована. Хотела романтическую прогулку — и не получилось. Заколов волосы, подошла к Андрею. Прикоснулась к щеке. Видимо, поцеловала. Я кашлянула.
— С добрым утром,— сказала мать.

В ответ я издала несколько звуков. То ли «привет», то ли «здрасьте»... Сам чёрт не разберёт.
— Жду вас в саду,— сказал Андрей.

Мать пошлёпала во двор.
— Аня,— услышала я.— Таша проснулась.
— Бегу-бегу!

Аня влетела в дом, вместе с ней — свежий воздух. Я его физически ощутила. Вкусный, наполненный запахом деревни. Он коснулся моей щеки, и я улыбнулась.
— Скажи, хороший мужик?! А?— воскликнула Аня.— Красивый, интересный, в возрасте...

Она вздохнула и посадила меня на горшок.
— Но для меня — слишком умный.

Вроде и разговоров не было, а поди ты — увидела ум. Выждав положенное время, Аня потащила меня к умывальнику.
— Ларисе Валентиновне повезло,— тарахтела она.— Всё-таки немолодая уже. А теперь есть ухажёр. Сразу видно, настоящий мужчина.

«Ну, понеслась. Ухажёр, настоящий мужчина... Что за глупая фраза. А Феликс Петрович — не настоящий мужчина?»

Я по привычке ворчала про себя, однако беззлобно. Андрей мне понравился. Что-то в нём было. То ли свет, то ли искренность. А может, и то, и другое.
— Позавтракаешь — и на речку. Вместе с Андреем и матерью. Возьмите с собой бутерброды. Пока буду готовить, искупаетесь.

Натянув на меня спортивные штаны, Аня задумалась.
— Какую футболку надеть? Может, с розами? Всё-таки гости приехали.

Итак, футболка надета, щётка прошлась по волосам, на ногах появились баретки.
— Ты — мой цветочек!— сказала Аня.— Ишь какая красавица!

**22.**

Мать с Андреем гостили три дня. Куда бы они ни пошли, меня брали с собой. Инициатива исходила от Андрея. Всегда. Он усаживал меня в коляску — и... вперёд. Мы купались, ходили в лес, бродили по лугам, сидели на берегу, жгли костры. Последнее доставляло особое удовольствие. Треск дров, пляшущие языки огня... Словом, романтика.

Однажды, нацепив ломоть хлеба на палку, Андрей опалил его над костром и протянул мне.
— Попробуй. Нет ничего вкуснее.

Откусив кусок, кивнула в ответ. И правда хорошо. Горячий хлеб с запахом дыма.

Андрей посмотрел на костёр и запел. Голос у него — низкий, приятный, с лёгкой хрипотцой.

Дым костра создаёт уют, искры гаснут в полёте сами.
Пять ребят о любви поют чуть охрипшими голосами...

Песня летела над рекой, и Медведица будто вторила. «Уют, искры, любовь...»— журчала она. Последнее слово понеслось по течению. На него отозвался лес. «Лю-ю-юбо-овь»,— проскрипели деревья. «Лю-ю-юбо-овь»,— зашелестела трава.

Андрей замолк, и мать сложила ладони. Несколько хлопков, за ними слова, похожие на ириску. Тягучие, приторные, застревающие в зубах.
— Бра-а-аво,— сказала она.— Не знала, что ты поёшь.

Я взглянула на мать. Уголки губ изображали улыбку (именно так: изображали), глаза — тёмные, невесёлые. С матерью что-то происходит. Все эти дни чувствую изменения. И что интересно, в душе — досада и жалость одновременно. Первое чувство привычно, но почему появилось второе?
— Походная песня,— прокомментировал Андрей.

Он посмотрел на мать и спросил:
— Ходила в походы?
— Было дело,— ответила мать.— И у костра пела.

«Как странно ответила,— удивилась я.— На сей раз без позы, нормальными словами. Неужели пела у костра?»
— Спой,— попросил Андрей.

Я напряжённо ждала. Не помню, чтобы мать пела. Вот стихи читала. Это — всегда пожалуйста. В любое время суток. А песни... Может, колыбельные пела? Такое я допускаю. Качала меня и напевала: «Баю-баюшки-баю...» Жаль, что не помню.

Я вас люблю, мои дожди,—

запела мать. Голос — неуверенный, слабый. Видимо, волнуется. Съёжилась, теребит платок. Взгляд опустила вниз.

Мои тяжёлые осенние...

Голос окреп и полетел над рекой.

Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеянно
Я вас люблю, мои дожди...

«А ничего. И слух есть, и голос».

Мать откашлялась и, приобретя уверенность, запела выше:

А листья ластятся к стволам.
А тротуары — словно зеркало.
И я плыву-у-у по зеркалам,
В которых отражаться некому...

Андрей притянул мать и поцеловал в губы. Коротко, нежно, как-то по-родственному.
— Красивая песня,— сказал он.— Ты должна её записать.

От похвалы мать раскраснелась и сразу похорошела.
— Записать?— переспросила она.— Но зачем?
— Выучу, и будем петь вместе,— улыбнулся Андрей.— На два голоса.
— Думаешь, получится?
— Не сомневаюсь.

Андрей встал и затоптал костёр.
— Наверное, Аня заждалась,— сказал он.— Пора домой.

Наша процессия тронулась к деревне. Впереди я на коляске, за мной Андрей и мать. Я не сомневалась, что одной рукой Андрей толкает коляску, другой обнимает мать. Всё-таки удивительный человек. Чем-то похож на Аню. Такое впечатление, что у них— огромные запасы любви. Бескорыстной и искренней.

Ближе к ночи я и Андрей сидели на крыльце. Аня мыла посуду, мать улеглась с книгой, а мы решили посумерничать. Вернее, решил Андрей, а я согласилась.

Сначала сидели и слушали деревенские звуки. Собака залаяла, у Феликса всхрапнула лошадь, где-то дрались коты.
— Хочешь, спою любимую?— неожиданно спросил Андрей.

Я кивнула. Мы сидели плечом к плечу, и новые ощущения сжимали сердце. Нет, бурления в крови не было. Разум контролировал эмоции, и я понимала: той любви, о которой пишут в книжках, в моей жизни не будет. Что ж, такова судьба, и мне, видимо, надо смириться. И вообще… Что-то произошло. Отчаяние и протест пропали, их место заняла мысль: жили бы одной семьёй— я, мать, Андрей, Аня. Собирались бы за столом, вели бы неспешные разговоры, улыбались бы друг другу. Аня и Андрей пели бы песни и дарили свою любовь. Глядишь, и мы бы с матерью изменились. Научились бы любить, смеяться, видеть благодать, которая сейчас недоступна.

Андрей притянул к себе и прошептал в ухо:
— Эту песню надо петь тихо. Знаешь почему?

Я пожала плечами. Неизъяснимое блаженство наполнило душу, и стало покойно как никогда.
— Волшебная песня.

Он посмотрел на небо и запел:

> Есть десяток звёзд над головой…

Прижавшись к Андрею, я впитывала человеческое тепло. Какое счастье! Не важно, какое оно— мужское или женское. Просто *тепло*. С большой буквы. Я чувствовала: оно необходимо для сердца. Чтобы не замёрзло, чтобы стучало в ответ. Тогда заблестят глаза, и увидишь то, что не видела раньше.

Думаю, мои глаза светились. Как звёзды, о которых пел Андрей. Они не могли не светиться, ведь в душу вошло тепло. Знаю, свет и тепло как-то связаны. Значит, одно привлекает другое.

> Эти десять звёзд— как маяки
> На краю неведомой земли…—

летели слова.

Я смотрела на звёзды и думала, думала… О матери, о себе, об Ане с Андреем. Они появились неслучайно. Зачем-то пересеклись с нашей жизнью. Видимо, и им надо что-то понять.

> А наши песни слушают леса,—

повысил голос Андрей,—

> И в чаще леса прячется беда…

Где-то промычала корова, Аня на кухне громыхнула кастрюлей.

«Пусть гроза прячется. Пусть. Куда угодно. В глубокий колодец, в чащу леса, на дно реки. Хватит уже. Беды нахлебались. И я, и мать».
— Ну как?— улыбнулся Андрей.— Понравилась?
— Да,— выдохнула я.— Она заставляет думать.

Андрей прижал меня ещё крепче.
— Тебе никто не говорил об уме?
— Что-то не так сказала?— насторожилась я.
— Наоборот.

Андрей улыбнулся.
— Ты— умная девушка. Не по годам.
— Скажешь тоже,— ответила я (мы перешли на «ты» в первый же день).— В моей голове— сплошная чушь.
— Ой ли?

Мы рассмеялись одновременно. Андрей звонко, я с бульканьем в горле. И вдруг Андрей замолчал. Он развернул меня и посмотрел в глаза. В его взгляде мерцала ночь. Не тёмная, а с далёкими звёздами.
— В отличие от матери, ты— живая,— сказал Андрей.— А Лариса спит.
— Может, и спит.

Сказала и запнулась.
— Таких людей, как Лариса, много. Они спят наяву. Некоторые так и уходят из жизни. Не проснувшись.
— Аня сказала: мать как потерянная. Бродит по лесу, а выйти не может.
— Верно. Анюта— мудрая. Я это сразу понял. Есть в ней что-то глубинное. От земли.

На этой «ноте» разговор закончился. Вышла Аня, подхватила меня и унесла в закуток. Андрей ушёл на сеновал. Устраиваясь в кровати, я посмотрела на мать. Она лежала на топчане с закрытыми глазами. То ли спала, то ли притворялась— её не поймёшь. Однако «заноза» в сердце засела. «Спит

наяву». Что с матерью происходит? Здорова ли она? Этот вопрос я задала впервые. И тому были причины. С самого рождения у меня было особое положение: я — больная, мать — здоровая; я могу похандрить, мать обязана «держать лицо».

23.

Ночью прилетала сова. Второй раз за лето.

Уселась на подушку. Захлопала крыльями.

«Ну её!»

Я повернулась на бок. Сова переместилась за мной. Ухнула над головой.

— Отстань!

Я открыла глаза. Ночь. Рядом стена. Не бревенчатая — другая. Чёрная, скользкая, будто ракушка. Где я? Не помню, чтобы шла или летела.

Мистика.

Ни крючков, ни ажурной калитки. В голове пусто, только обрывки картинок. Листья, трава, стебель. Кто-то ползёт. Гадкий, зелёный, длинный. Вгрызается в лист. Хрустит. Ни мыслей, ни чувств — сплошные рефлексы. Этот кто-то наелся. Застыл. Похоже, уснул.

У меня возникли желания. Первое — расправить плечи. Второе — вздохнуть. Глубоко, со свистом. А есть ли на теле плечи? Глупый вопрос.

Темно. Ничего не видно. Потянулась. Кажется, подросла. Громкий треск. Щель. За ней — поток света. Чьи-то ноги. Нож. Блестит на солнце.

Страшно.

Нож коснулся щели. Расширил её. Пропал. Стало легче дышать.

Вылезла наружу. Всё будто в тумане. Небо, трава, солнечный луч.

Ни сил, ни воли.

Лежу на траве. Тело обмякло. Кажется, умираю.

Рядом большая рука. Подняла меня вверх. Отпустила. Падение и удар. Сердце зашлось.

Больно.

Закрыла глаза. Услышала голос. Неужели бабка Натаха?

— О-хо-хо! Не знамши, а лезешь. Видно, тебя бес попутал.

— Хотел помочь.

Голос мужчины — незнакомый.

— Чтобы вылететь, нужна сила.

— Понимаю.

«О ком они говорят?»

Снова голос бабки Натахи:

— Силу надо копить.

— Да, это верно.

— И научиться ждать.

— Попробуем снова?

Темно. Ничего не видно. Потянулась. Кажется, подросла. Громкий треск. Щель. За ней — поток света. Всё ярче и ярче.

Выползла. Греюсь на солнце. Жду. Чего — не знаю. Внутри — таймер. Тикает необычно. «Вре-мя, вре-мя...» Намёк поняла: всё в своё время.

Крикнула в полный голос:

— Да не спешу я! Слышите? Не спешу.

Я — это терпение. Крепкое, как корабельный канат. Затаилась и жду.

Время пришло. Наполнило силой. Я полетела. Прямо на небо.

Ух ты! Как же красиво!

На полпути остановка.

Глянула вниз. Лес. Избушка. Море цветов.

Потянуло к земле. Опустилась. Прикоснулась к цветку.

И... захлебнулась от счастья.

24.

Мать и Андрей уехали. Глядя на джип, пыливший по дороге, я задумалась. Провожаю. Грущу. Плачу. Но почему? Видимо, из-за Андрея. Мать к моим нынешним слезам отношения не имеет. Правильно говорят: странная штука жизнь. Знакомы три дня, а думаю только об Андрее. Как это получилось? Вроде общались не много — несколько разговоров, и всё. Однако не успела осесть пыль, а я вспоминаю Андрея.

Такого состояния не припомню. И немудрено. Опыта общения у меня нет. Большую часть людей вижу из-за окна. Бегут мимо и к моей жизни отношения не имеют. А Андрей постучался и вошёл. В жизнь, душу, мысли. Сначала через мать. Ух, как я рассердилась. Затем сам по себе. И что? Теперь мать не стоит между нами.

Или стоит?

То ли от одиночества, то ли характер такой, но я — как корова: люблю пожевать «жвачку». День жую, два, неделю. Времени много, вот и гоняю мысли. Может, поэтому люблю рассуждать. Вспомню разговор и кручу его с разных сторон. Так посмотрю, этак — глядишь, и время пройдёт.

Вот и теперь. Было событие — и ушло. Самое время подумать. Ане-то хорошо. Туда побежала, сюда... Стоило гостям уехать — в гости пошла. Так и сказала:

— К бабе Варе пойду. Давно обещала.

Видно, и Аня загрустила. Оно и понятно. Три дня сплошной беготни — и вдруг тишина. Разве я — собеседник? Где кивну, где промычу... словом, не поговоришь толком. А с бабой Варей — другое дело. Можно об Андрее рассказать: дескать, одинокий художник, к тому же бездетный. Можно мать обсудить.

Так и вижу их разговор. Кухня у бабы Вари — небольшая, у стены — печь. Настоящая, русская, с огромным зевом. Чугуны, ухваты, кринки. Стол клеёнкой покрыт. На клеёнке нарисованы подсолнухи. Баба Варя — в платочке. Из-под него торчит куцый пучок. Руки — натруженные, в выпуклых

жилах. А глаза — чёрные, блестящие, словно пуговицы. И вообще… Баба Варя мне напоминает сказочную сороку-белобоку. Видела такую картинку. Голова у сороки — небольшая, глаза — острые, из-под юбки торчит длинный хвост.

Я хмыкнула. А что? И правда похожа.

Моё воображение разыгралось, и я представила разговор. А может, услышала? Всякое бывает.

Вот села баба Варя за стол, пододвинула к себе чашку и, блеснув глазами, сказала:
— Андрей-то, знать, богатый.
— Кто ж его знает, — ответила Аня.

В отличие от бабы Вари, Аня теперь — городская. Сидит прямо, чай пьёт из чашки, сама как из журнала мод (для пышек, конечно). Лицо — белое, сметанное, стрижка — аккуратная, ногти подпиленные — без черноты. И сарафан — не деревенский.
— Как глянула на машину — сердце зашлось. Этакий зверь! Поди, дорогая. Тыщи и тыщи стоит.

Баба Варя крякнула и взяла сахар. Обмакнув его в чашку, добавила:
— Видела вашего Андрея. Не раз. По берегу носился. Руку козырьком сложит и вглядывается. То на солнце посмотрит, то на речку… И рама какая-то на боку.
— С мольбертом ходил, — перебила Аня. — Для рисования.
— Ишь, слово-то какое чудное — мобет.
— Добрый он. И поёт хорошо.
— И то правда. Песни до околицы долетали.

Баба Варя хитро сощурилась и задала новый вопрос:
— Как думаешь, у них с Лариской любовь?
— Кто знает? Лариса Валентиновна — странная. Словно неживая.
— Так и есть. Лариску словно подменили. Маленькой не такой была. Помню, как у Нюши гостила. Бегала по деревне, с ребятишками играла… А теперь как тетеря. Спит на ходу. Ни спросить, ни поговорить. Кивнула головой и поплыла. Словно заморская пава. Прости меня, Господи. Тьфу! Однако не дело так зазнаваться. Ох, не дело.
— Может, болеет чем?
— Типун тебе на язык! По мне, строит из себя много. Видно, избаловалась. Женихи, наряды, внимание… Вот «крыша» и полетела.

Баба Варя взглянула на икону и зашептала:
— Прости меня, Матушка — Царица Небесная! Не со зла говорю, а так — язык почесала. Избавь, Дева Пречистая, от всякого зла. Просвети ум и очи сердечные…

25.

Август подходил к концу. Вечером холодало, и чуть ли не каждый день появлялся туман. Пыхтя и отдуваясь, он выбирался из реки, полз по лугам, накрывал деревню. В такие вечера казалось, что, кроме нас с Аней, в деревне никого нет. Мы смотрели в окно, затянутое пеленой, и разговаривали. Тихо-тихо. Чтобы не спугнуть туман.
— Я буду с тобой всегда, — как-то сказала Аня.

Мне стало тепло и… немного щекотно. Как если бы очутилась в сказке. По телу пробежала волна, и волшебство вошло внутрь. Оно заполнило душу, и всё изменилось. И мысли, и взгляд, и сама жизнь.

Аня обняла меня и вздохнула (всё-таки грусть и туман — друзья).
— Зимой будем в городе жить, — сказала она. — Летом — в деревне.
— Договорились, — ответила я.
— Представь себе: зимний вечер, фонари, газоны в снегу.
— И снежинки, летящие на асфальт, — добавила я. — Посланники Лунного Зайца.

Аня улыбнулась.
— Протянем руки, и снежинки сядут на варежки.
— Поймаем и загадаем желание.
— И не одно.
— Верно.

В моей копилке — два заветных желания. Первое — ходить, второе — сочинять сказки. Без напряжения. Легко и свободно.

Эх, хорошо бы!

Я потянулась за книгой. Вздохнула. Не тяжело, а глубоко — от души. И ещё… от предвкушения чуда. Открыла страницу и улыбнулась. Кому? Ёжику, конечно. И Медвежонку с Зайцем. Они — мои друзья. И рассуждают так мило.

«Ёжик глядел на Медвежонка тихими глазами и молчал.
— Ну что ты молчишь?
— Я верю, — сказал Ёжик».

Что за прелесть! К этим словам нечего добавить. Всё видно и слышно. «Тихие глаза» и короткая фраза: «Я верю».

«— Давай никуда не улетать. Давай навсегда сидеть на нашем крыльце.
— А зимой — в доме, а весной — снова на крыльце, и летом — тоже, — добавил Медвежонок.
— А у нашего крыльца будут потихоньку отрастать крылья. И однажды мы с тобой проснёмся высоко над землёй. «Это кто там бежит внизу — такой тёмненький? — спросишь ты. — А рядом — ещё один?» — «Да это мы с тобой», — скажу я. «Это наши тени», — добавишь ты».

Аня затопила лежанку и перенесла меня на кровать. Вместе с любимой книжкой.
— Полежи. Я за молоком и обратно.

Хлопнула дверь. Тишина. Тепло и таинственно. Огонь приподнял голову и что-то сказал.

Голос—трескучий, хвастливый. Я прислушалась. Огонь глотал слоги, но я его понимала.

«Гребешок. Золотой. Мать—это пламя. Отец…»

Дальше ворчанье.

Огонь разгорался. По стенам побежали тени. Остановились, вытянулись, задумались. «Отец—это жар»,—сказала первая тень. «А может, пыл?»—спросила другая.

Я смотрела на горящие дрова и щурилась от наслажденья.

«Это кто там бежит внизу—такой тёмненький?»

Перелистнула страницу.

«—Вот слушайте, что мне приснилось,—сказал Заяц.—Будто я остался один в лесу. Будто никого-никого нет—ни птиц, ни белок, ни зайцев,—никого. «Что же я теперь буду делать?»—подумал во сне. И пошёл по лесу. А лес—весь в снегу, и—никого-никого. Я туда, я сюда, три раза весь лес обежал—ну ни души, представляете?»

Я представила сказочный лес. Ни следов, ни голосов. Даже вороны улетели. Полная неизвестность. Ёлки в снегу, на небе—вата. И вот я превратилась в Зайца. Вернее, в Зайчиху. Стою и озираюсь. Одна во всём мире. Вдруг пень приподнялся, и появился Медвежонок. «Не горюй,—сказал он.—Все мы—одни». Подошёл. Обнял меня и ткнулся лбом в лоб. И мне стало так хорошо, что в глазах появились слёзы.

«Я не одна—и одна. Странно».

Медвежонок заплакал. Я за ним. Видимо, слёзы заразны. И вот стоим мы в лесу и плачем. Почему—трудно сказать. То ли от жалости друг к другу, то ли от одиночества. И тут появился Ёжик. «Привет,—сказал он.—Знаете, кто вы для меня? Вы—самые-самые лучшие из всех, кто есть на земле!»

Я всхлипнула. До чего хорошо сказал. И вообще… Сказки Сергея Козлова—удивительные. Ложатся и на душу, и на сердце.

Мелькнула мысль: а может, я и есть Ёжик? Может, моё место в лесу? Полянка, тридцать комариков, сорок лунных зайцев, белая лошадь, туман… Хорошо.

Я вздохнула и тут же заснула. Перед глазами появились старые сны. В них я ходила, прыгала, ползала, легко говорила. Сны закружились, и я увидела карусель. На ней сидели Лошадь, Заяц, Медвежонок и Ёжик. Они кружились вокруг меня и кивали. Дескать, привет-привет. «Добрый вечер»,—ответила я. Что-то отвлекло внимание. Ба, да на зверях кто-то сидел! Движение замедлилось, и появились «наездники». Андрей, Аня, девочка из сна, бабка Натаха. Знакомые лица. А матери среди них нет.

Карусель набрала обороты и превратилась в юлу. Она оторвалась от земли и… поднялась. Выше. Ещё выше. Бух!!! Взорвалась, как петарда. С неба посыпались искры. Странные искры. Похожие на волны.

Равнина. Я лежу на траве. Надо мной—разноцветные волны. Идут одна за другой. Первая коснулась лица, и я увидела вспышку. За ней—цепочку. Будто бы кинолента.

Облако, тьма, две звезды. Мерцают, словно глаза. Ненависть и тоска. Лечу по туннелю. Вот остановилась. Встала на ноги. Глаза превратились в шары. Свет хлынул навстречу. Вместе с ним адская боль. Ноги подкосились. Упала. На меня опустилось покрывало.

Знаю-знаю. Это—мой сон. Он не исчез. Съёжился только. И прилетел с первой волной.

А вот вторая волна. Опустилась и что-то шепнула. И тут же возникла картинка. Душная ночь. Пустыня. Я стою на песке. Озираюсь. Бетонная стена. И шаги. Один, другой, третий. Забралась на стену. Увидела равнину. Четыре пейзажа одновременно. Девочка. Похоже, зовёт. Пытаюсь спрыгнуть. Не получилось. Девочка пошла по равнине. Уходит всё дальше и дальше. Скрылась в лесу. В весеннем. Я по-прежнему на стене. Смотрю и вздыхаю. Видимо, в весенний лес путь для меня закрыт.

Третья волна. Похожа на блёстки. Окутала. Посеребрила. Интересно, день или ночь? Море лизнуло ноги. Боже, какая вода! Цвета серебра и бронзы. Ночь опустилась на море. Вот и волна. Бежит по лунной дорожке. Следом за нею—страх. Жаль, что исчезну в пене. Рядом послышался голос. Я обернулась. Девочка с большими глазами. Я протянула руку. Та же стена. Калитка. Мы окунулись в зиму. Ёлки, сосны, берёзы. И большая поляна. Снег начал таять. Подснежник. Дом и лежанка. Огонь. Всполохи, треск, мерцание. С ними—новая мысль. Надо же, вся в снежинках—тех, что от Лунного Зайца. Ну-ка её поймаю. Раз. И она—на ладони. Ишь как искрится на солнце. Я улыбнулась. Кивнула. «Цветы растут и под снегом».

Четвёртая волна. Золотая. Она унесла меня в осень. Лес в золотой одежде. Бабка Натаха. Избушка. Вкусная каша из жита. И золотые буквы: «Старые мысли—как листья».

Ну их. Пусть улетают.

Шелест. Летят. Упали. Вот я опять в лесу. Осень. И много листьев. Вьются, шуршат под ногами. Я напрягаю слух. Жаль, ничего не слышу.

Последняя волна. Изогнулась. Я взглянула на небо. Господи, как же красиво! Радуга. Мост. Разноцветье. Вспомнила пятый сон. Листья, трава и стебель. Кто-то ползёт. Наелся. Замкнутое пространство. Щель и поток света. Нож прикоснулся к щели. Нет ни силы, ни воли. Рядом большая рука. Голос

бабки Натахи: «Чтобы вылететь, нужна сила». Выползла. Греюсь на солнце. Где-то внутри — таймер. «Вре-мя, вре-мя…» Я теперь — это терпение. Время пришло. Полетела. Глянула вниз. Опустилась. И… захлебнулась от счастья.

Аня вошла в дом.
— Вот и молока принесла.
Я приподнялась на кровати. Огляделась. В лежанке сверкали драгоценные камни. Аня поворошила угли. Синие огоньки вспыхнули и тут же погасли.
— Пора закрывать заслонку. Как бы тепло не ушло.
Я послушно кивнула. Верно. Всё уходит. И тепло, и мысли, и сны.
— Мамка не раз говорила: «Всякая птица ищет тепло», — сказала Аня.
Убрав кочергу, спросила:
— Знаешь почему?
Я пожала плечами.
— Где тепло, там и добро; а где добро, там и любовь, — Аня улыбнулась. — Разве не так?
Тепло, добро, любовь… Мне показалось, что в голове просветлело. Мало того, я физически ощущала перемены. Старые мысли развернулись и направились к выходу. Они оглядывались, кряхтели, устраивали передышки. Ждали, что их позову.
Я заёрзала на кровати.
Как бы не так. Быстрее! Ну же! Катитесь к чёрту!
Старые мысли выскочили наружу. Я ощутила пустоту. Однако пустота странно пахла. Я втянула воздух, и в нос ударил запах лежалого белья. И тут же явилась Аня. Она принюхалась и полезла под кровать.
— Что там?
— Ничего не пойму, — ответила Аня. — Пахнет половой тряпкой.
Она обследовала все углы, но ничего не нашла.
— Видимо, показалось.
Аня отряхнула юбку и направилась к рукомойнику. Я улыбнулась. Видимо, новым мыслям. Они заполнили пустоту. Вот и отлично.
«Старые мысли — как листья. Сбросив их, можно войти в новую жизнь. Только так, не иначе».

## 26.

Меня разбудил телефонный разговор.
— Да-да. Слышу, — говорила Аня. — Что же вы раньше не позвонили? Через сколько приедете? А? И сразу назад? Ну и ну! Всё. Собираюсь.
Аня дала отбой и влетела в мою комнатушку.
— Проснулась? Вот и отлично. Андрей едет. Три часа на сборы — и тут же в Москву. Вот беда!
Я плохо соображала со сна, однако Анино беспокойство меня всколыхнуло.
— Почему беда?
— Яблоки не успею собрать.
«Нашла о чём волноваться».
Аня подняла меня с кровати и посадила на горшок.
— Я мигом. Сумки принесу — и назад.
«Что за спешка? — сидя на горшке, думала я. — Переночевал бы в деревне, а завтра поехали бы».
Аня вернулась в комнату и разразилась длинной тирадой:
— Ну не могу! Москвичи вечно спешат. Всё у них на лету. Разговоры, дела и даже любовь. Чмок-чмок — и тут же в постель. Сделали свои дела и забылись. А утром опять круговерть. Дорога, работа, встречи. Чокнуться можно. Ни поговорить, ни приласкать, ни в душу заглянуть. Некогда!
Аня скрутила куртки и, бросив их в сумку, продолжила:
— И Андрей — такой же. Нет чтобы из Москвы позвонить. Куда там. Выехал — и молчок. А теперь ему, видите ли, двадцать километров осталось. Пока тебя умою, одену, он и приедет.
Я дёрнулась и опрокинула горшок.
— Стоп! — воскликнула Аня. — Не шевелись.
Она подскочила ко мне и бросила в лужу полотенце.
— Потом выброшу. Или на тряпки пойдёт. А ты не переживай. Мало ли что бывает. Я, например, однажды в толчок провалилась. Маленькая была…
Чем закончилась эта история, я так и не узнала. За окном показался джип. Аня кинулась ко мне и, посадив на кровать, вытерла пол. Затем принесла таз и умыла прямо на кровати.
— Права мамка, — вздохнула Аня. — Заторопка со спотычкой рядом живёт.
«Ну и словечки».
В комнату вошёл Андрей.
— Здравствуйте, барышни, — сказал он.
— Добрый день, — ответила Аня. — Вы как ракета.
Я дёрнулась и изобразила улыбку.
— К вечеру в Москву надо вернуться.
— Что за спешка?
— Лариса заболела.
— Батюшки мои! — всполошилась Аня. — Серьёзно?
— Аппендицит. Похоже, с осложнением.
Андрей взял меня на руки и добавил:
— К реке сходим. Ладно? А ты, Аня, собирайся.
— Да-да. Я живенько!

До берега дошли молча. Андрей остановился у липы и посадил меня на траву. Мелкая рябь покрывала воду. Казалось, Медведица щурится на солнце. Тишина и покой. Ивы полоскали узкие листья, в заводи застыли кувшинки.
— Скоро налетит ветер, и листья поплывут по реке, — сказал Андрей. — Ивы заледенеют, река уснёт, и белый саван укроет берег.
Я сморщилась, как от зубной боли. Не люблю слово «саван».
— Но мы-то знаем, что будет дальше, — продолжил Андрей. — Четыре месяца сна — и бурное

пробуждение. Запахнет весной, забурлит вода, проснутся деревья. По ним побежит сок, клейкие листья высунут носы, и всё преобразится. Берега накинут зелёные кружева, и россыпь мать-и-мачехи возвестит о начале нового цикла.

Андрей усмехнулся и спросил:

— А может, старого цикла? Ведь всё повторяется.

— Нет,—коротко ответила я.

— Верно. Посмотри на реку. Минуту назад была другой. Поняла, о чём речь?

Я кивнула. Что говорить?—всё ясно. У каждого мига—своя картинка. Как в мультике. Если разобрать его на кадры, сразу ничего не заметишь. Вроде бы никаких изменений, а рука героя чуть поднялась. В другом кадре—ещё выше. И пошло-поехало. Неуловимые нюансы создают движение. В жизни аналогично. Малейшее изменение в сознании—и ты другой. Взять, например, меня. До двадцати пяти лет сидела в болоте. Ядовитые испарения, мёртвая вода, полный застой в сознании. Казалось, кроме болота, и нет ничего. Но стоило подняться на кочку, найти тропу—и всё изменилось. Я увидела лес, поляну с цветами, услышала пение птиц, почувствовала дуновение ветра. Что это? Новая жизнь? Но ведь она и раньше была. И трясина тоже. Стоит в неё залезть—мир преобразится. Свет померкнет, сузится кругозор, душу сожмёт страх. Жуткое испытание. Может, это—расплата? За ненависть, мысли, злые слова. Но и в болоте есть дно. Это очевидно. В каком-то—близко, в каком-то—глубоко. Видимо, мне повезло. Выползла на поверхность. Но зачем?

Я взглянула на Медведицу. Та же прозрачная вода, те же кувшинки, тот же песок. Река—живое существо. Радуется и страдает одновременно.

Все страдают. Каждый в своё время. Страдают телом—от голода, холода, болезней; страдают душой. Но есть ли в страдании смысл? И кто их нам посылает?

— Веришь в Бога?—неожиданно спросил Андрей.

Я вздрогнула. Вопрос Андрея—подтверждение истины: в мире случайностей нет. Вот пример: мои рассуждения и тут же—встречный вопрос. Чей он?

— А ты веришь?—тихо спросила я.

Андрей посветлел лицом.

— Верю.

Во мне шевельнулась зависть. И я хочу веры. Хочу осознанной жизни. Мне не хватает опоры. Старые мысли ушли, а новые… Им явно чего-то не хватает. Какие-то они—сырые, незрелые.

— Можешь ответить на мой вопрос?—спросила я.

— Попробую.

— У страдания есть смысл?

Андрей покосился на меня и сказал:

— Однажды Будду спросили: «Отчего происходят страдания?» Он ответил таким рассказом: «Охотника поразили стрелой. Он застонал и упал. Нужно ли в этот момент спрашивать, откуда стрела, из чего она сделана? Конечно, нет. Охотник постарается извлечь из тела стрелу и встать на ноги». Так же и в жизни. Если человек страдает, надо вынуть стрелу, а потом задавать вопросы.

То ли день был такой, то ли в воздухе что-то витало, но разговор у реки получился серьёзным. Андрей говорил, я слушала. Однако что-то отвлекало. Может, предчувствие? Я ощущала беду, однако от неё уходила. Что это? Эгоизм или чувство самосохранения? Ни единого вопроса о матери—сплошь отвлечённые темы. И Андрей о матери не говорил. Он смотрел на реку и рассказывал о себе.

— Когда-то я был другим. Жил для внешнего мира, отдавал ему время. Да что там время! Отдавал любовь. Меня волновали успех, внешний вид, мнения окружающих. Что сказали? Как посмотрели? О чём думают?

Я ощутила боль. Она появилась в груди и рвалась наружу. Будто бы прорвался нарыв.

— Полное рабство. Понимаешь?

Я кивнула. Знакомое состояние.

— А потом умер сын. Я погрузился в себя и… переродился. Неожиданно понял: внутреннее видение—моя суть, моя особость. Я и есть настоящее. То, что здесь и сейчас. Его невозможно достичь, пока все мысли и действия подчинены внешнему миру.

Андрей посмотрел на меня: дескать, понимаю ли?—и добавил:

— Наверное, думаешь: мне бы твои заботы. На ноги бы встать.

Я промолчала.

— Как ни странно, но у тебя—огромное преимущество.

— Какое?—удивилась я.

— Твоя болезнь—некий барьер. Она заставляет погружаться в себя. Поэтому и мыслишь глубоко. Поверь, в твоём возрасте такое мышление нехарактерно.

Я вздохнула. Кто не болел, тот больного не поймёт. Как бы мне хотелось пожить в мире, из которого ушёл Андрей. Посмотреть на людей, пообщаться. Делать кучу ошибок, куда-то бежать, с кем-то спорить. Как бы хотела уставать от движения, недосыпа, толпы, многолюдности, шума, суеты. И вообще… Андрею легко говорить, он свободен. Захотел—вышел на люди; захотел—погрузился в себя.

— Уйдя от людей, я услышал тишину. Никогда не думал, что тишина так информативна.

Андрей встал и поднял руки. Казалось, потянулся к облакам. Или к солнцу. А может, к Вселенной. Не оборачиваясь, добавил:

— Тишина—это голос души.

Вот удивил. Если верить его словам, душа безмолвна. Ну уж нет! Я-то знаю, как душа многословна. Бубнит и бубнит целыми днями.

Андрей опустил руки, но так и не повернулся. Он смотрел на реку и, видимо, думал. Наконец, заговорил:

— Недавно был я в Якутии. Подружился с местным художником, ездил в тунгусские посёлки. В одном из них познакомился со старой тунгуской. Звали её бабушка Амарчи. Мы с другом оказались у неё неслучайно. Бабушка Амарчи — искусная рукодельница, а друг собирает этнические костюмы. Так вот. Приехали в гости и остались на пару дней. Бабушка Амарчи принарядилась. На плечах — распашной кафтан, на талии — расшитый бисером пояс, в нём — игольница и кисет. Словом, колоритная фигура. Как-то после ужина заговорили о местных легендах.

Андрей уселся рядом со мной и спросил:

— Хочешь, расскажу?

Я оживилась. Мог бы не спрашивать.

— В тунгусских легендах — три мира: Нижний, Средний и Верхний. «Большой Средний мир, — начала бабушка Амарчи. — Я в нём живу, ты, Байбал (так она друга называла). Много людей, много зверей, много деревьев. Туда погляди — Средний мир, сюда погляди — Средний мир. Все в нём живут. А вокруг — духи». — «И в чуме?» — не удержался я. «Духи везде. Есть много добрых, есть много злых. В чум залетают. Смотрят. Как люди живут, что говорят. Если хороший человек — останется добрый дух; если плохой — злой». — «Человек своих духов притягивает», — пояснил друг. «Правильно говоришь, — кивнула тунгуска. — Духи знают людей». Бабушка Амарчи взяла трубку и, закурив, продолжила: «Духи уже были, а люди нет. В то время было много воды. Весь мир — вода. «Нужна земля», — сказала Энекан-Буга и послала гагар. Стали гагары под воду нырять. Достанут землю — опять нырнут. И так много раз. Получился остров. Увидела Энекан-Буга и говорит: «Гладко, однако». Послала на Землю мамонта и змея. Стали они землю рыть, друг друга бить. Вот и появились горы». — «Дрались что ли?» — спросил я. «Да-да! Так всё и было, — кивнула старушка. — Взяла Энекан-Буга шерстинки, бросила на Землю. Много зверей появилось, много людей. Шерстинки — разные, и люди — разные». — «Как просто. Бросила шерстинки — и все дела». — «Ох, не просто. Однако всего не расскажешь». Бабушка Амарчи докурила трубку и, подсев к очагу, продолжила: «Нижний мир — тоже большой. Там Харга. Огромный, весь в шерсти, ноги — толстые, как столбы. На одной руке — коготь, на другой — человеческая голова. На голове — зубы. Острые, все в крови. Высунет Харга голову, люди увидят его и кричат». — «А помощник Харги — это Кандык», — вступил в разговор друг. Видимо, он знал эту легенду. «Да-да. Страшный Кандык», — пробормотала бабушка Амарчи и опять потянулась за трубкой. «Это демон, — продолжил друг. — Представь себе пасть вместо головы. Если Кандык появился — всех сожрёт. Остановить его может Энекан-Буга. Она насылает духов, и те бросают в демона огненные ножи. Если Кандык проглотит нож, он тут же погружается в землю». — «А что ещё в Нижнем мире?» — спросил я. «Чёрная река и мёртвые буни». — «Кто они?» — «Души умерших, — ответил друг. — К слову сказать, Харги Чёрную реку переплыть не может». — «А буни?» — «И они не могут. Чёрная река похожа на бурлящий котёл. Переправить буни может только шаман. Теперь понимаешь, какая власть у шамана? Без него не добраться до царства мёртвых». — «А поймать шамана Харги не может?» — «Может. Однако шаман — не промах. Прежде чем отправиться в Нижний мир, он собирает в бубен духов-покровителей». Бабушка Амарчи следила за нашей беседой и молчала. Друг улёгся на шкуру. «Теперь ты, энекон, говори». Старушка кивнула и продолжила: «Верхний мир там, — она ткнула корявым пальцем в потолок чума и добавила: — Только шаман бывает у Энекан-Буги».

Андрей улыбнулся и обнял меня за плечи.

— Интересно?

Я кивнула. Новые образы мелькали перед глазами и будили воображение.

— Бабушка Амарчи легла спать, и мы с другом вышли из чума. Звёзды мерцали над верхушками деревьев, из шаманской избы раздавались удары бубна. Представила?

Я дёрнулась от нетерпения.

— Под открытым небом друг и рассказал остальное. Тунгусы считают, что в ближайшем ярусе Верхнего мира живёт властительница Земли. Звать её Энекан-Буга. Шаманы говорят: она похожа на старушку с добрым лицом. В её платье — многочисленные карманы. В них хранятся шерстинки, то есть души животных. Если Энекан-Буге понравится шаман, она подарит ему шерстинки, а значит, у людей будет охота. Если не понравится, будет голод.

— Выходит, у тунгусов Энекан-Буга — главная, — сказала я.

— Похоже, так, — согласился Андрей.

— И животных любит.

— Верно. По тунгусской легенде, если нарушить законы Среднего мира, души животных попадают к Харги, а если охотиться правильно, их души попадают в Верхний мир. Там они превращаются в шерстинки. Энекан-Буга укладывает их в карманы и через некоторое время возвращает Земле.

— А те души, что попали к Харги?

— Они становятся злыми. Эти души преследуют людей и доводят до сумасшествия. Они заманивают людей в чащу, а Харги следует за ними и ждёт. Как только наступит подходящий момент, из-под земли появляется его коготь. Харги ловит жертву и разрывает её на части.

— А куда девается душа?

— Попадает к Харги.

Всё складно. И логика есть. Вывод очевиден: чем больше зла, тем больше помощников у Харги.

А Андрей всё говорил и говорил. Его будто бы прорвало. Он рассказывал о шаманке Хусивлук, с которой познакомился на Байкале, о месте силы, о байкальских восходах и закатах, о Верхнем мире, где отдыхают души… Я окунулась в неведомый мир и купалась в его лучах. Наконец Андрей замолчал. Его глаза светились, и мне казалось, что воспоминания их окрасили в другой цвет—сине-фиолетовый. Может, это цвет байкальской воды?

— Ну ладно. Поговорили и будет. Пора возвращаться.

Андрей взялся за коляску, и мы поехали к деревне. Я смотрела на пожелтевшую траву и пыталась поймать одну мысль. Она была связана с легендой. Но как? Верхний, Средний, Нижний миры. В них духи. Стоп! В этих мирах—цифра «три». Она и в сказках.

— У тунгусов—три мира,—сказала я.—И в сказках—сплошные тройки. Три желания, три брата, тридевять земель.

— Верно. А в христианстве—Святая Троица,—подхватил Андрей.

— Но почему не пять, не десять миров?

Андрей остановился. Похоже, такие разговоры он любил.

— Потому что три—магическое число!—воскликнул он.—Три точки образуют треугольник. В славянской древней вере были Явь, Навь и Правь. Есть нож с трёхгранным лезвием, котёл на трёх ножках, три заклинания, три дороги, три богатыря… Согласна?

— Да.

— «Три»—это совершенство. Дух, тело и душа. А всё вместе—единое целое.

— Интересно.

— Ещё как!—оживился Андрей.—Нумерология—одна из древнейших наук. Взять, например, твоё полное имя. Как тебя звать-величать?

— Наталия Алексеевна.

— Значит, Наталия.

Андрей зашевелил губами. Было ощущение, что он считает. Я улыбалась. Как мальчишка, ей-богу.

— Числовой код имени Наталия—три. Каково!

— И впрямь поразительно.

— То-то и оно. Теперь слушай дальше. Обладателям тройки присуща склонность к сверхспособностям—ясновидению, магии и гаданию. У тебя этого нет? Или скрываешь?

Слова Андрея развеселили. Кто знает, что во мне? Одно не вызывает сомнений: люблю сказки и вижу необычные сны.

— Да, забыл сказать. Многие заклинания повторяются трижды и завершаются фразой: «Да свершится это силой трёх».

И в это время раздался звонок. Андрей вытащил мобильник.

— Слушаю,—сказал он.

Только одно слово, за ним—тишина. Ни крика петухов, ни мычания коров, ни плеска реки. Я напряглась. Почему он молчит? Почему не отвечает? Видимо, что-то случилось.

На меня опустился страх. Чёрный, липкий—будто горячий асфальт.

— Понял,—наконец отозвался Андрей.—К вечеру приеду. Да-да. Раньше не получится. Я далеко. За триста километров от Москвы.

Андрей дал отбой и застыл. Я задёргалась. Чувствовалось, звонок связан с матерью. Не знаю почему, но я была уверена. Андрей ошеломлённо посмотрел на меня и глухо сказал:

— Лариса умерла.

Судорога пронзила тело, и моё существо взбунтовалось. Закружилась голова, к горлу подошла тошнота.

Не-е-е-е-е-ет!!!

Не может быть!

Не верю!

Андрей не шевелился. Я попыталась встать. Как бы не так. Острая боль пронзила тело, и я опрокинулась навзничь.

Мать! Ты не могла умереть!

Как же теперь я?

На кого оставила?

— Вчера вечером отвёз Ларису в больницу,—пробормотал Андрей.—Хирург сказал: перитонит. Но чтобы угроза смерти… Нет, такого не говорил.

Мы подъехали к дому, и чернота пропала. Взгляд упёрся в таз, наполненный яблоками. Круглые, сочные, наливные.

— Гляньте! Разве не красота?!—воскликнула Аня.—Словно из сказки.

Да уж. Из сказки о мёртвой царевне.

Путь в Москву помню плохо. В памяти остались руки Андрея, вцепившиеся в руль, плач Ани и песня Высоцкого. Она вырвалась из приёмника в тот момент, когда машина выезжала из деревни.

> Я несла свою беду по весеннему по льду.
> Надломился лёд—душа оборвалася,
> Камнем под воду пошла, а беда—хоть тяжела,
> А за острые края задержалася…

27.

К крематорию мы с Аней подъехали на такси. Аня позвонила Андрею, и тот вышел из большого серого здания. Он повёз коляску, Аня, шмыгая носом, шла сбоку. В траурном зале стояло человек двадцать. Видимо, сотрудники журнала. Стоило нам войти, все повернули головы. Смерть смертью, а посмотреть на дитя-урода всегда интересно. Андрей взял меня на руки.

— Прощайся,—сказал он.

Я с ужасом посмотрела на гроб. Белый атлас, белое платье, белое лицо.

Мать, ты ведь пошутила — правда?

Судорога свела лицо, и я всхлипнула. Вернее, пролаяла.

— Не плачь, — прошептал Андрей. — Постарайся сдержаться.

Я наклонилась к гробу. Дотронулась губами до холодного лба. Сердце сжал ужас. До меня дошло: мать ушла *навсегда*.

Страшно. Очень страшно. И одиноко. Будто планета опустела. Рядом Аня, Андрей. Где-то в ближайшем окружении — множество людей. Они что-то говорят, но я не слышу. Моя планета пуста, ибо на ней нет матери. Нет человека, носившего меня под сердцем, подарившего жизнь. Какую-никакую, но жизнь.

Скольким зародышам не удалось выйти на свет?! А я вышла. Жила, видела солнце, чувствовала любовь и заботу. Прежде всего — от матери. Ей не дана была свобода передвижения. Какая свобода при таком ребёнке? Мать была обязана находиться рядом со мной. Они и была рядом. Всегда. Сколько я себя помню.

Теперь поняла: я — путы. Каменные башмаки. Испытание. Пристегнула к себе, обвилась вокруг и погрузила мать в холод. Свой холод. Идущий от сердца. Неудивительно, что мать — именно *такая*. Грустный взгляд, растерянность, любовь к стихам. Видимо, поэзия её приподнимала. Уносила в другую жизнь — в ту, где легче дышать. А я выдёргивала мать оттуда. Била кнутом. Возвращала в рабство.

Боже, какая я — дрянь!

А мать — мученица. Видеть больного ребёнка, знать, что он обречён… Одно это — адская мука. В ней мать и жила.

По-прежнему светит солнце, но некого ему согреть. Мать исчезла, я превратилась в *ничто*. Жалкое, мелкотравчатое. Среди развалин жизни носится ветер. На его спине — эгоизм. Мой эгоизм. Он торжествует. Уничтожил мать и меня. Ну и дурак! Спрашивается, чего добился? Праха, пыли?

………………………………………………………

Внутри появился росток. Крохотный. Нежный. Безвинный.

Что это? Новая жизнь?

Я замерла. Погрузилась в себя.

И услышала Голос.

«Жизнь везде. И на пепелище тоже».

Яркий свет, за ним — новая мысль. Жизнь — это Феникс. Сожгла себя и возродилась из пепла. Триумф вечной жизни. Воскресение.

Символ Христа.

………………………………………………………

Вечер. Лушка — на кухне, я — на полу. За окном — две звезды. Будто глаза. Тёплые и живые. Я напряглась. Потянулась к окну. Закричала:

— Ма-а-а-ама! Не уходи-и-и-и!

Ветер открыл окно, всполошенно забились занавески. Звёзды дрогнули и… пропали. В окно заглянула луна, вместе с ней — широкое лицо старухи. Старуха щурила глаза и кого-то искала. Наконец увидела меня. Стекло растворилось, и мощные потоки воздуха заполнили грудь. Я почувствовала необычайную лёгкость. Закричала:

— Лечу-у-у-у!

Казалось, я летела навстречу рассвету. Внизу проносились равнины, горы, леса; на небе блестели первые мазки солнца. Не успев насладиться полётом, я пошла на снижение. Ноги дотронулись до земли и побежали. Медленней, ещё медленней. Бег перешёл на шаг. Я оглянулась по сторонам. Вокруг рос багульник, каменистая тропинка вела вниз, к узкой полоске пляжа, а дальше… Дальше была неземная красота!

Я посмотрела наверх. Ни единого облачка, только солнечные лучи скользили сквозь прозрачный воздух и погружались в синие воды озера.

«Божественно! Кажется, именно здесь покоится бесконечно чистая Душа Земли».

На глаза набежали слёзы, и сквозь них солнечный свет, вода, фиолетовые берега задрожали, закружились… Я села на тёплый прибрежный камень и заплакала. Я плакала не от горя — от счастья. Огромное, бесконечное счастье окружало меня, и хотелось стать лучше и чище. Хотелось стать такой же светлой, как это озеро, эта земля, это прозрачное небо.

— Иди-и-и-и сюда-а-а-а! — послышался голос. — Иди-и-и-и!

Я спустилась к воде. Озеро покрылось перламутром и блестело на солнце. У самой воды притулилась корявая лиственница. Рядом с ней сидела бабка Натаха. Её фигуру прикрывал плащ, на плечах топорщились перья. Морщинистый лоб украшала повязка, а на ней позвякивали колокольчики. Ни дать ни взять — шаманка. Ну и перевоплощение! Бабка Натаха держала бубен и шаманскую колотушку.

— Ты ли это? — тихо спросила я.

— Я. Кто же ещё? — ответила бабка Натаха. — Не мешай. Не время ещё.

Она строго посмотрела на меня, и я уселась рядом на гальку. Колотушка молчала, один только бубен двигался взад-вперёд и пел свою жалобную песню. Глядя на бубен, я забыла и о фиолетовых берегах, и о солнечных лучах, и о смерти матери. Всё это ушло в прошлое. В настоящем был только бубен. Он притягивал взгляд, завораживал, двигался в таинственном ритме.

— Оп-па-па! — прихлопывала бубном бабка Натаха. — Оп-па-па!

Она не смотрела на меня, её взгляд был направлен на восходящее солнце.

— Оп-па-па! Оп-па-па!

Я следила за бубном как заворожённая. Больше того, не замечала ни малинового восхода, ни прозрачного воздуха, ни блеска в глазах старушки. Я чувствовала себя бубном.

— Оп-па-па! Оп-па-па!

С правой стороны вылетела колотушка.

Через день, на третий вечер,—

тихо запела бабка Натаха,—

На пустынный берег моря
В час, когда восходит солнце,
Прилечу я, прилечу!

Бубен с колотушкой подхватили песню:

Там, там, там!
Ра-ра-ра!
Тру-ту-ту!
Та-да-да-да!

Но я уже не смотрела на бубен. Его удары я чувствовала, даже сердце стучало в такт, но взгляд… взгляд неумолимо тянулся к глазам бабки Натахи. Старушка смотрела на меня, и в её глазах отражался Космос. Зрачки притягивали, завораживали и растворяли без остатка.

Прилечу я, прилечу я!
Будет то на третий вечер!

Казалось, что я несусь в вечность, а хрипловатый голос бабки Натахи несётся мне вслед.

И увижу, что из моря
Быстро вышел белый конь!

Глаза старушки кружили голову, и я не могла им сопротивляться. Я приподнялась и протянула руки. И в этот момент появился конь. Его грива развевалась на ветру, точёные копыта цокали по невидимой мостовой.

Понесётся конь мой резвый,
Как огромный пучок света.
На коне том я—наездник!
Управляю я конём!

Бабка Натаха замолчала, и только бубен с колотушкой продолжали выбивать ритм. Наконец, глуховатый голос старушки взлетел над пустынным берегом озера. Но теперь слышались не слова, а хриплые возгласы:

Урхэ, урхэ, трэ-ко, тама!
Бурдэгэла, бурдэгэ!

Голос с лёгкими придыханиями заполнял воздух и тонул в перламутровых водах озера.

Белый конь несётся быстро!
В Верхний мир попасть мне надо!
Там на белой тонкой ветке
Ждёт меня одна душа!

«Какая душа?»—подумала я.

Бабка Натаха пела громче и громче. Порой она переходила на крик, порой её голос затихал, и в нём слышалось шипение, прерываемое резкими выдохами. Казалось, старушка находилась в состоянии транса.

Я схвачу душу-синицу,—

всхлипывала она, и бубен стонал за ней,—

Спрячу в свой кафтан широкий…

Бабка Натаха вскочила и начала плясать. Её ноги, обутые в сапожки из мягкой кожи, притоптывали по гальке.

Защищу её от духов…

Она присела и закружилась на одном месте.

И вдохну синице жизнь!

Бабка Натаха ударила колотушкой по бубну, и тот отозвался резким звуком. Старушка остановилась и протянула мне бубен.

— Вот тебе конь!—закричала она.—Скачи!

Меня подхватил вихрь и понёс к звёздам. Всё выше поднималась я над землёй, всё быстрей было движение вихря. Иногда я видела вспышки, озаряющие пространство, затем наступила темнота.

«Крутящаяся темнота!»

Эти два слова прыгали в воспалённом мозгу и стучали, как хронометр: «Крутящаяся темнота. Крутящаяся темнота».

Я вошла в мерцающий туннель и полетела с огромной скоростью.

«Впереди свет!»

Эта мысль пришла неожиданно и выбила из головы «крутящуюся темноту». Я вылетела из туннеля, и свет, лившийся со всех сторон, заставил меня зажмуриться. Открыв глаза, я увидела вершину огромной горы. Казалось, это—конус, уходящий в бесконечность. Меня подхватил новый поток и поднял на гору.

— Наконец-то стою на твёрдой поверхности,— прошептала я и огляделась.

Как ни странно, под ногами было ровное плато, походившее на застывшую глазурь. Ни отвесной стены, ни скал. На тысячи километров простирался лес. Взглянув на безоблачное небо, я глубоко вздохнула.

«Какой необычный воздух!»

Я чувствовала, что здесь хорошо и спокойно. Маленькие полупрозрачные птицы порхали с ветки на ветку и переговаривались между собой. Их голоса были нежными и звучали как музыка.

Мне захотелось стать такой же птицей и порхать с ветки на ветку. Я ещё раз глубоко вздохнула. С каждым таким вздохом моё тело наполнялось тем же ощущением счастья, которое я чувствовала

на берегу волшебного озера. Я широко раскинула руки и подумала: «Как хочется признаться в любви. Не важно кому. Просто улыбнуться и сказать: „Я люблю!“»

Чуть заметный серебристый поток окрасил синее небо, и в воздухе промелькнуло воздушно-кружевное существо. Оно было большим и красивым. Пока я попыталась осознать, кто бы это мог быть, из-за ближайшего дерева вышла девушка. С её плеч ниспадали накидки, похожие на кружевную вуаль; зелёные глаза приветливо смотрели на меня, светлые волосы, развеваясь на ветру, падали на поверхность плато.

— Я знаю, зачем ты здесь,— низким грудным голосом сказала девушка.

Она достала дудочку и стала играть. Мелодия была простой и однообразной, но птицы прикрыли полупрозрачные веки и слушали её с упоением. Песню дудочки подхватил ветер: «Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!»

Среди птиц началось движение.

— Летит!— зачирикали птицы.— Это ведь — новая душа. Помните? Она прилетела недавно. Да-да. Совсем юная. Однако возвращается. Странно. Но почему? Ничего удивительного. Её позвала Энекан-Буга.

Я увидела крохотную птичку. Она быстро двигала полупрозрачными крылышками и очень спешила. От спешки птичка задыхалась — видимо, поэтому широко раскрыла клюв.

— Лети сюда!— крикнула я.

Собрав последние силы, птичка плюхнулась в мою ладонь и замерла.

«Неужели это — душа?»

Я посмотрела на птичку и осторожно засунула её под рубашку.

— Вот и хорошо,— послышался низкий грудной голос.— Ты нашла мать и можешь возвратиться.

Эти слова прокричал орёл. Посмотрев ему вслед, я почувствовала мощный поток. Он оторвал меня от горы и понёс вниз. Смерч закружился в бешеном водовороте, и я погрузилась во тьму. В ней было темно и пусто.

— *Принесу её на землю и вдохну синице жизнь*,— послышались слова.

Я открыла глаза. Яркие солнечные лучи, голубое небо и тишина. Фиолетовые берега смотрелись в озеро и напоминали вуаль, накинутую на бархат. А рядом ручеёк. Блестя и переливаясь, он бежал к озеру и растворялся в его глубинах.

«Ду-ду-ду!— послышалось невдалеке.— Ду-ду-ду!»

Я вздрогнула и резко повернулась. По берегу озера шла бабка Натаха и играла на дудочке. Рядом с ней — мать. Она была в белом платье. Волосы растрепались, тёмные глаза с любовью смотрели на меня, босые ноги ступали по мокрым камням.

На глаза набежали слёзы.

«Нашла! Я её нашла!!! Теперь всё будет по-другому. Я окружу мать любовью. Буду ей другом. Самым близким человеком на свете».

Бабка Натаха перестала дудеть и приветственно махнула рукой.

— Молодец!— крикнула она — Вижу, что нашла.

Она взяла меня за руку и подвела к ручью.

— Умойся,— сказала она.— Это не простая вода, она — из подземной реки.

Опустив руки в ручей, я почувствовала, как кожа, затем тело наливаются упругой силой. Мне показалось, что предметы, окружавшие меня, стали ярче и чётче. Я посмотрела на озеро и увидела нерпу, красные плавники хариуса, чайку, летящую над водой.

— Волшебное место!

Мать стояла в стороне и не сводила с меня глаз. Казалась, она любовалась. Не озером, не берегами, а именно мной.

Я наклонилась над водой и увидела красавицу. Светлые волосы, белоснежная кожа, огромные глаза.

«Невероятно! Но почему? Почему так похорошела?»

Мать посмотрела на небо, и улыбка пропала. Лицо застыло, в глазах появилась тоска.

— Пора,— прошептала она.

Бабка Натаха пошла к пещере, мать за ней.

— Неслучайно мы здесь, неслучайно,— присев у пещеры, сказала старушка.— Непростое здесь место. Особое.

Было ощущение, что бабка Натаха входит в новый виток транса. Её голова задрожала, взгляд устремился в неведомое пространство, старческая рука крепко вцепилась в руку матери. Мать опять смотрела на меня и светилась лицом.

— Место силы! Здесь россыпи камней, здесь бьют ключи,— крикнула бабка Натаха.— Духи Воды смывают грязь. Духи Воздуха наполняют энергией. Духи Огня выжигают злость. Духи Верхнего мира приносят добро.

Тело матери стало терять контуры.

— Мама!— закричала я.— Я с тобой!

По небу плыли величественные облака. Они походили на гигантские корабли с чёрными парусами. Их движение сопровождал рокот грома. Тень от облаков неслась по озеру, раскрашивая воду в серые тона. Озеро заволновалось, и волны побежали за тенью. Они становились выше и выше. Казалось, ещё немного — и чёрные корабли поплывут по волнам. Яркая стрела вылетела из облака и, пронзив самую высокую волну, ушла в серую толщу. Раздался гром, и бабка Натаха потянула меня в пещеру.

— Энекан-Буга сердится,— зашептала она.— Торопит нас.

Бабка Натаха встала на пороге пещеры и быстро заговорила:

— Никогда не говори, что у тебя ничего не получится. Слышишь меня? *Не давай пищу духу сомнения, иначе потеряешь силу.*

Раздался оглушительный раскат грома, и молния ударила в старую лиственницу. Бабка Натаха исчезла. Над тем местом, где недавно стояла мать, дрожало разноцветное облако. Озеро, не остывшее от борьбы, недовольно шумело. Огромные тучи, освещаемые зарницами, ползли на восток. Около камней резвился фонтанчик. Разноцветные искры растворялись в умытом воздухе, и откуда-то сверху послышался голос матери:

— Та-а-а-аша, проща-а-а-ай! Прощай навсегда!!!

## 28.

В комнату матери я заглянула через месяц после её смерти. Раньше не могла. Все эти дни я лежала на диване и тупо смотрела в окно. Ни мыслей, ни эмоций, одна пустота. Андрей заходил регулярно. Он садился на диван, брал меня за руку и что-то говорил. Это я видела. Однако слов не воспринимала. То ли не слышала, то ли не впускала в себя. Аня была рядом. Она кормила меня, вспоминала мать, хвалила Андрея. Дескать, заботится о нас, привозит продукты, предлагает переехать на дачу. Что интересно, Анины слова до меня долетали. Но я на них не отзывалась. Мне было всё равно. Я чувствовала себя беспомощной, больной, никому не нужной. Однако не зря говорят: время лечит. Через месяц я стала приходить в себя. В голове появились мысли, главная из которых: надо заглянуть к матери в гости. Нелепо звучит, я знаю. Но, так или иначе, в квартире оставался уголок, связанный с матерью. Это — её комната.

Итак, я осторожно открыла дверь. Широкая кровать, шкаф, итальянское бюро. Рядом с ним — сумка. Я подползла к ней. Ноутбук, блокнот, косметичка. Выудив компьютер, я поставила его на зарядку. На экране появилась картинка рабочего стола.

Какая интересная! На переднем плане — река. На заднем — горы, покрытые ледником. И девушка. Она прислонилась к горному склону и закрыла глаза. Вернее, девушка была частью гор. Её обнажённое тело срослось с хребтом, с волос струились горные реки. А кругом — камни. Сплошные камни. Они залегли в котловине, лежали по берегам, громоздились в воде. Грудь девушки освещало солнце. Именно на груди лежала папка со странным названием: «Письма к Отцу». В папке — три файла. В названии каждого — год: «2009», «2010», «2011».

«Странно. Дедушка умер в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году. Кому же писала мать? Или это — рабочий материал? Например, для статьи».

Я открыла файл «2009». В нём — письма. Каждое из них начиналось так: «Здравствуй, Отец!»

*Продолжение следует*



Людмила Гайдукова

# Между сном и явью

Ещё кровь тепла,
ещё чувствую боль,
зрачок фокусирует
майского дня обозримость.
Кончиком языка ловлю
слезы скатившейся соль.
И птицей на выдохе
летит благодарность за милость.

Ещё живо желание
нырнуть в кандалах каблуков
в благоуханный цвет
рядком посаженных яблонь
и пробежать сквозь строй
медоточащих облаков,
как сквозь муку мелодий —
между сном и явью.

Ещё способна душа
запечатлеть эту негу,
а память — хранить неосязаемый
и невесомый дар;
так в шкатулке хранят
драгоценные обереги,
так рождественский снег
хранит запаянный шар.

А там, как знать,
повторится любимым фрагментом —
квинтэссенцией моего
эфемерного бытия —
то ли цветение как метель,
то ли метели цветение
и музыка майи —
вот как из этого майского дня.

## Марат Валеев

# Крыша над головой

Это сейчас я живу в большой, просторной квартире на десятом этаже кирпично-монолитного дома с охраной, с огромным застеклённым балконом, лифтом, мусоропроводом, раздельными ванной и туалетом, с разными современными прибамбасами на большой кухне, с метровоэкранным плоским телевизором в гостиной. А было время…

— Всех убью, не подходите! — кричал отец, стоя у двери в нашу комнату и размахивая ломом.

А за его спиной громко плакала мама и голосил я, трёх- или четырёхлетний пацан, и ещё один мой брат, совсем крохотный, спал в глубине комнаты в зыбке.

Нас пришли выселять какие-то чужие дяди с тётями, и с ними был милиционер. Комната была в подлежащем сносу бараке, где во время войны и после неё жили то ли ссыльные, то ли пленные немцы, под конвоем строившие город Краснотурьинск. Потом их отпустили домой, но бараки эти долго не пустовали — их тут же заняли семьи «вербованных» на городские стройки, в том числе и наша.

В таком возрасте мало что запоминается, так, какие-то отдельные картинки. Я запомнил вот эту. И та комната, из которой нас всё же выгнали, чтобы сломать освобождённый барак и высвободить место под городскую новостройку, была также первым запомнившимся мне, приютившим нашу маленькую семью жильём.

В этом повествовании я хочу рассказать, как мои родители, а затем и я сам, став взрослым, решали пресловутый «квартирный вопрос», эту извечную проблему советских граждан (кстати, она и сегодня никуда не ушла, а возможно, даже стала более острой, так как раньше хоть государство обеспечивало людей жильём, а сейчас народу самому приходится всячески изворачиваться, чтобы заиметь собственную крышу над головой).

Я не собираюсь никого ругать за эту застарелую проблему или как-то анализировать её. Нет. Моя задача куда скромнее — просто описать на собственном примере, как в масштабах огромной страны решалась жилищная проблема её граждан. Для чего это нужно? — спросите вы. Для истории — отвечу я вам. Вот именно так, ни много ни мало, а именно для летописи, так сказать, собственной семьи.

Но вернёмся к нашим баракам. После того как нашу семью всё же выставили из бывшего немецкого коллективного жилья, пребывание в Краснотурьинске (отец там работал на алюминиевом заводе разнорабочим, а мама сидела с нами, малолетними ещё пацанами) без крыши над головой потеряло всякий смысл, и мы вернулись на историческую родину, в татарскую деревушку.

Там мы то ли жили у родителей отца, то ли у кого-то квартировали, это я точно не помню. Но зато хорошо запомнил, как спустя какое-то время разгневанная мама с младшим братом на руках (а я бежал следом) ушла пешком в соседнюю деревню за пять километров, где жили её родители. Оказывается, батяня мой загулял, и мама ушла от него и забрала с собой детей. Вскоре отец и вовсе исчез из деревни вместе со своей пассией.

А мы с уже подросшим братцем без конца орали на два голоса, требуя батю. И мать не выдержала. Она отыскала через знакомых и родственников адрес отца, сгребла нас в охапку и отправилась в Казахстан, где обосновался отец.

Это оказалось маленькое, дворов на сотню с небольшим, сельцо на берегу Иртыша. Помню, как отец обалдело смотрел на нас, когда жарким летним днём мама нашла его на берегу живописного, поросшего камышами озера, где он ловил щук и окуней.

Мы шли к отцу по зелёному лугу, над нашими головами порхали бабочки, на ярких цветах копошились толстые мохнатые шмели, а он стоял, опираясь на длинное удилище и раскрыв рот. А когда я побежал к нему, путаясь ногами в высокой траве и крича: «Папа, папа!» — он бросил удочку и побежал мне навстречу. Так наша семья воссоединилась вновь.

А как же отцова любовница? — спросите вы. Да не знаю, я её не видел даже или просто не запомнил. А мы остались в этом селе со смешным названием Пятерыжск (потом я узнал, что называлось оно так не из-за наличия в нём рыжих людей, а потому, что эта бывшая казачья застава стояла на пятом по счёту не то от Омска, не то от Железинской

крепости «рыжике» — глубокой рытвине, промытой в жёлтом песке ручьями).

Здесь шёл подъём целинных земель, и люди были нужны. Но жить при этом нам было негде: той комнаты, которую снимал отец, ему и его пассии хватало, а на семью из четырёх человек этого было очень мало. Да и мама ни за что не захотела бы здесь жить по понятным всем, я надеюсь, причинам. Но свободных домов в селе не было. И нас поселили в саманном помещении на краю села, на одной половине которого часами тарахтела дизельная электростанция, а вторая была приспособлена под столярную мастерскую.

Мастерскую перевели куда-то в другое место, а в её половине и поселилась наша семья. Мне на всю жизнь запомнились надоедливый грохот дизель-генератора, более чем хорошо слышный через тонкую перегородку, подрагивание и позвякивание посуды на столе от его вибрации и как в нашей комнате всегда стоял запах солярки, просачивающийся даже через стену. Казалось, соляркой пахнут даже мамины вкусные супчики.

Электростанция ревела только до полуночи, и хоть спать мы могли в тишине. Но когда в деревне случались свадьбы или какие-то другие торжества, мотористам «заносили», и они гоняли свой грохочущий дизель часов до двух-трёх ночи.

К счастью, мы прожили в этом кошмаре (хотя мне-то тогда было весело и интересно!) немного, месяца два, наверное. И потом нам от совхоза — нет, ещё от колхоза, совхозом он стал в начале шестидесятых, — выделили двухкомнатную мазанку. Тут, наверное, надо будет пояснить, что такое мазанка и какие вообще дома возводились в степной местности, где не было строительного леса.

Жильё, как, впрочем, сараи и бани, здесь строилось из самодельного кирпича — самана — и камышитовых матов (тростник в изобилии рос на пойменных озёрах в луговине). Были ещё «плетёнки» — это когда по контуру будущего строения ставят ивовые плетни в два ряда, а промежуток между ними засыпают землёй и утрамбовывают. Но во всех случаях полученные таким образом помещения обмазывают глиной (штукатурят), а затем уже белят известью, почему они и назывались мазанками.

Были в Пятерыжске и деревянные дома, но они большей частью строились в дореволюционный период — и какое-то время даже при советской власти — зажиточными казаками, которые имели возможность закупить и доставить из Сибири по Иртышу строевой лес. А позже для колхозников и совхозников «ляпались» именно вот такие дома, из более доступного и дешёвого строительного материала.

Эти дома имели плоские, немного овальные крыши, также обмазанные глиной, и в иные годы на них могли вырасти шампиньоны. Иногда крыши эти покрывали толем. Земляными же и покрытыми толем были и полы — далеко не каждый хозяин мог позволить себе выложить деревянный пол. Впрочем, дома эти хорошо держали тепло — если, конечно, нормально их топить, а в знойные летние дни хранили комфортную прохладу.

Большой проблемой было топливо. Отец телегами привозил сушняк, который он подбирал или срубал в прибрежных пойменных рощах, в которых росли вербы, осины и тополя; их мы потом с моим подросшим младшим братом распиливали на чурбачки и складывали в поленницы под забором. Но эти тонкие и сухие дрова прогорали очень быстро и шли главным образом на растопку. На зиму же нужны были более солидные дрова, чтобы если и разгорались медленно, то и горели потом долго, поддерживая тепло в доме часами. А для таких дров нужно было спиливать или срубать уже целые толстоствольные деревья, для чего нужно было покупать у лесника порубочный билет или что-то в этом роде, уже не помню.

Лесник наш жил в соседней деревне, и отвечал он за огромный лесной участок, протянувшийся на десятки километров по берегу Иртыша. А ездил он присматривать за своим участком на мягкой подрессоренной бричке. И не по лесу ездил, а тихонечко по деревне, и высматривал, у кого за забором видны свеженапиленные дрова. Он всех мужиков знал — как в своей деревне Моисеевке, так и в Пятерыжске. И, естественно, знал, кому он продавал порубочные билеты, а кому нет.

Завидев явно незаконно заготовленные дрова, лесник мягко подкатывал на своей таратайке к такому двору, привязывал лошадь к забору и шёл выявлять браконьера. Обычно всё сводилось к тому, что лесник прочно усаживался с хозяином двора за стол и под белоголовую-другую вёл с ним душеспасительные беседы. А в конце застолья прятал в карман синенькую или красненькую кредитку — насколько удавалось хозяину-браконьеру сговориться с блюстителем лесного законодательства — и уезжал восвояси в добром расположении духа. И мы могли и дальше спокойно топить свою прожорливую печку ивовыми или осиновыми полешками.

Напротив нас, наискосок, жило семейство казахов (их, кстати, в Пятерыжске было очень мало, всего несколько дворов). Так те топили свою печь кизяком — высушенными лепёшками навоза, смешанного с соломой. Этот кизяк они очень умело изготавливали и сушили в высоких, похожих на термитники буртах всё лето. Запах кизячного дыма помню до сих пор, и был он не то чтобы вонюч, но весьма своеобразен, даже не знаю, с чем его сравнить.

Соседи-хохлы прогревали своё жилище путём сжигания в печи… соломы! Она прогорала, правда,

очень быстро, но и жар давала мгновенно, даже чугунная плита у них становилась малиновой. А ещё одна семья, папа в которой был механизатором, топила свою печь соляркой, которая впрыскивалась в неё под давлением из форсунки! И у них дома постоянно воняло этой соляркой всю зиму, как в том помещении, в котором мы жили через стенку от электростанции. С дровами в степной зоне всегда было плохо, стоили они дорого, вот народ и выкручивался как мог.

Это было в пятидесятые-шестидесятые годы. А в семидесятые, когда в Экибастузе, с объявлением там ударной комсомольской стройки, одновременно стали разрабатывать сразу несколько угольных разрезов и угля там стало хоть завались, его стали развозить и продавать по вполне сносным ценам и по сёлам области (от нас Экибастуз был на расстоянии примерно четырёхсот километров). Вот когда с топливом в деревне стало значительно проще, и уже не надо было так изобретательно выкручиваться, чтобы протопить своё жилище.

Но вернёмся в тот дом, который колхоз определил моим родителям как нужным для него работникам (отец был молотобойцем в кузнице, мама — на разных сезонных работах) в постоянное пользование. Дом этот был уже с двором, сараем и коровой в нём — обзавелись ею почти сразу, а то как же без молочка?

Я ещё в школу не ходил, братцу моему было всего три года, и моей обязанностью было присматривать за ним в отсутствие родителей — днём ли, когда они были на работе, а то и вечером, когда они иногда уходили в сельский клуб на индийский фильм. И однажды мы с братцем учудили такую хрень, что мама наша потом без слёз и смеха вспоминать об этом не могла.

Они с отцом ушли на двухсерийный фильм, оставив нас под замком, а когда вернулись — в прямом смысле обалдели. Мы с братом были буквально вываляны в земле: она у нас была на руках, в волосах, на физиономиях, чёрными были наши коленки, а земляной пылью было запорошен весь пол на кухне. Я выше упомянул, что не все пятерыжцы в конце пятидесятых могли позволить себе в домах деревянные полы. Вот и в нашем саманном жилище он был земляной, закрытый сверху толем.

Так как нам с братцем наскучило без дела сидеть и ждать родителей, когда они вернутся с трёхчасового сеанса, то мы надумали поиграть в строителей земляного карьера. В нашем распоряжении имелись машинка-самосвал (заводская) и экскаватор, роль которого выполнял железный припечный совок.

Мы отвернули в одном углу кухни кусок толя, я копал карьер и загружал грунтом машину, а братец отвозил его и сваливал в другом углу. Периодически мы менялись ролями, что делало нашу тяжёлую работу социально справедливой. Ещё бы часок — и мы бы прорыли дыру на волю. Но тут вернулись родители и остолбенели при виде освоенных нами земляных работ.

Я почему-то тот момент не запомнил, но, по всей видимости, нас (по крайней мере, меня, как старшего) угощали далеко не пряниками. И то: вместо того чтобы спокойно обсудить за чашкой чая все перипетии только что просмотренного «Бродяги» с неповторимым Раджем Капуром в главной роли и потом улечься спать, родителям пришлось срочно растапливать печь, греть воду и купать нас, а также возвращать обратно почти кубометр выкопанной земли, утрамбовать её и вновь накрыть толем…

Это, кстати, было не единственное наше жилище в Пятерыжске. Родители даром время в тёмные ночи, когда электричество в дома сельчан подавали не полные сутки, не теряли. И к середине шестидесятых нас у них было уже четверо: три брата и сестрёнка. За это время наша разросшаяся семья поменяла три совхозных дома.

В армию осенью 1969 года уходил из трёхкомнатной квартиры. Ну, третья комната — она хоть была у нас как столовая, там стояла и кровать, на которой мог спать любой желающий. Обычно в столовой дрых или поддатый батя, если мама не пускала его во взрослую спальню, или я, поздно вернувшийся с какой-нибудь «тусовки».

В этой квартире уже всё вроде было как у людей: и пол деревянный, и шиферная двускатная крыша. Но всё же нам здесь было тесновато. И потому, когда я вернулся из стройбата готовым сварщиком и меня тут же приняли в штат тракторной бригады — и получалось, что на совхоз работали уже три члена нашей семьи, а вскоре к нам присоединился и вернувшийся в деревню после окончания профучилища средний братан, — руководство хозяйства сочло необходимым выделить на нашу семью четырёхкомнатную половину вновь выстроенного щитосборного дома.

Строители при его возведении сделали большой шаг к цивилизации: квартира была снабжена системой водяного отопления! Правда, роль котельной при этом играла наша же кухонная печь, в которую и был вмонтирован небольшой котёл. И температура в доме зависела от нас самих: как протопишь печь, так и погреешься. Но у нас уже всегда был уголь, и трёх-четырёх вёдер его хватало на целые зимние сутки. Летом печь, понятное дело, не топили, потому как готовили всё на газовой плите.

Этот дом был самым уютным из всех, в которых нам пришлось жить в Пятерыжске. Вообще, я хочу заметить, что жизнь в деревне по всей стране,

в том числе и в Казахстане, только-только наладилась в семидесятых-восьмидесятых годах. Люди стали неплохо зарабатывать, появился достаток; телевизоры, холодильники, стиральные машины считались уже не роскошью, а вполне заурядными приметами обихода. Парни и девчата одевались не хуже городской молодёжи. Пацаны вечерами носились наперегонки по сельским улицам на мотоциклах, во дворах у сельчан появились «москвичи» и «жигули». Их было бы больше, но на такую серьёзную и дорогую технику надо было выстоять многомесячную очередь.

Людям на селе было чем заняться, и рабочих рук даже не хватало. В нашем четвёртом отделении совхоза «Железинский» на тысячегектарных полях выращивались пшеница и ячмень, многолетние травы, подсолнечник, кукуруза. В дойных гуртах насчитывались сотни коров и телят, животноводы производили и сдавали государству молоко и мясо. Жизнь в селе кипела: постоянно рокотала техника, уезжающая для работы в полях или на лугах, где заготавливались корма, с раннего утра зудели доильные аппараты и задорно переругивались доярки и скотники, гудел сепаратор, перегоняющий молоко в сливки, за которыми приезжал молоковоз из райцентра.

Конечно, молодёжь и тогда старалась уехать в город. Но ведь немало было и таких, что оставались после школы или, помыкавшись в городе, возвращались домой, и им обязательно находилось дело. Теперь всё это, увы, в прошлом. На мою родную деревню без слёз смотреть невозможно. Здесь полностью свёрнуто всё сельскохозяйственное производство — оно всегда ведь было убыточным из-за высокой себестоимости мясо-молочной продукции и низкой урожайности как зерновых, так и кормовых культур (зона рискованного земледелия).

Это советское государство, как мы его, неблагодарные, не ругали, могло позволить себе покрывать убыточность сельскохозяйственного производства, так как оно думало не только о выгоде, но и о людях. А так как мы сейчас идём по пути капиталистического развития, то от всего, что нам невыгодно, отказываемся. Все совхозы накрылись, что называется, медным тазом. На селе у нас не стало работы, и народ начал разъезжаться.

Сейчас от былого Пятерыжска не осталось, пожалуй, и половины. Село стоит в руинах от заброшенных домов, тех самых — саманных, камышитовых, щитосборных… И наша половина дома тоже стала нежилой — её используют теперь то ли как сарай, то ли как гараж; вот съезжу нынче туда, посмотрю, ороню скупую мужскую слезу. А может, и поплачу от души на развалинах родного гнезда, в котором наша семья (всего один год вся целиком, а потом всё уменьшаясь и уменьшаясь, пока дома не осталась одна мама) прожила целых четырнадцать лет. Как нигде долго.

Я уехал в райцентр осенью 1972 года, поскольку был приглашён на работу в редакцию районной газеты «Ленинское знамя». Конечно, вопрос: как это получилось? Начал пописывать, мне показалось, что получается. Послал рассказ в газету, а они взяли и напечатали. Написал и послал второй — опять публикация. Потом меня попросили написать кое-что уже по редакционному заданию — справился. Ну а журналистов в районке не хватало всегда, вот меня и пригласили.

В райцентре я никого не знал, жить мне было негде. На первое время меня приютила мама моего приятеля Гриши Витковского (увы, его уже нет в живых). Он у нас работал заведующим клубом, районное управление культуры послало, а мама осталась в райцентре. Вот к ней меня Гриша и определил:

— И ей не так страшно и скучно будет, и тебе на работу недалеко ходить.

Кстати, домишко, в котором жила Гришина мама, тоже был саманным и всего на две комнаты, одна из которых была в то же время и кухней.

Вот напротив печки я и поставил свою панцирную кровать. За жильё платил символическую цену — трёшку в месяц, да и ту добрая старушка не хотела брать. Продукты я привозил из деревни: мясо, картошку, что-то там ещё. До работы мне действительно было пройти всего метров сто. Удобно, конечно, но делить как-то с бабкой тесное жилище, в котором у меня не было даже своего стола, слушать её рассказы, что болит то там, то здесь, было, что называется, «не комильфо».

Но вскоре моя жилищная проблема была решена кардинальным образом. Заместитель редактора Калиновский получил назначение на должность редактора новой экибастузской объединённой (одновременно городской и районной) газеты «Вперёд». Там ему уже выделили благоустроенное жильё, и в один из ноябрьских дней он съехал со своей двухкомнатной квартиры в двухэтажном каменном доме (из силикатного кирпича) по улице Ленина.

Эта квартира была закреплена за редакцией, и шеф сказал мне:

— Завтра утром помоги Калиновскому погрузить его вещи в машину. Он тебе потом отдаст ключи, тут же занимай квартиру. Пропиской, ордером займёмся позже.

И на следующий день, ранним ноябрьским утром, под обильным снегопадом, в жёлтом тусклом свете редких уличных фонарей, я топал с позванивающей панцирной кроватной сеткой на спине и связанной в узел постелью к своему будущему постоянному жилью.

У подъезда Калиновского уже стоял грузовик с откинутым бортом кузова, куда сноровисто грузили замредакторские вещи сам Владимир Мартынович, ответсекретарь Леонид Павлович

Кишкунов, тоже живущий в этом доме, корреспондент Гена Державцев, он же сын редактора, и толстенький и жизнерадостный, с исходящей паром на лёгком морозце открытой волосатой грудью редакционный шофёр Толя Загородный.
— Заноси своё барахло в дом и присоединяйся к нам,— приказал Калиновский.

Я затащил в открытую настежь квартиру на втором этаже свою постель и успел отнести к машине то ли табуретку, то ли тазик, не помню,— и погрузочные работы закончились. Мы ещё покурили все вместе в пустой затоптанной квартире с повсюду рассыпанными газетами и журналами, и Калиновский отдал мне ключи.
— Ну, живи!— просто сказал он.

И уехал в Экибастуз. Больше я его не видел.

Квартира была двухкомнатная, с полезной площадью в тридцать два квадратных метра, благоустроенная и даже с балконом. Правда, из всех удобств исправным было только центральное отопление, водопровод и канализация почему-то не работали. По нужде жильцы дома ходили в общий сортир на несколько кабинок в конце двора, а воду брали из колодца, спрятанного в надстроенной над ним дощатой будке. Вода, надо признать, была замечательно холодная, от неё даже ломило зубы.

Бесполезную ванну я использовал для хранения пустых бутылок— был же холостым, и ко мне постоянно наведывались коллеги из редакции, приезжающие из деревни по каким-либо делам односельчане. А у нас же не принято ходить в гости с пустыми руками.

Но жениться мне всё же пришлось, причём в срочном порядке. Редактор припугнул, сказав, что в райисполкоме прознали, что я один шикую в двухкомнатной квартире, а это непозволительная роскошь при всеобщей остро стоящей жилищной проблеме. Кстати, в деревне у меня кое-кто просто на уши встал, узнав, что я, не успев уехать в райцентр, стал владельцем благоустроенной квартиры: как? за какие такие заслуги? Да, блин, вам-то какое дело?

Но если своим я ещё мог так ответить, то в райисполкоме такой довод не мог быть принят. Там захотели кого-то ко мне подселить. Шеф вызвал меня к себе и прямо сказал: женись, хотя бы формально. Иначе квартира, всегда негласно державшаяся за редакцией, уплывёт, если раньше меня женится ещё неизвестный мне кандидат на подселение. Тогда меня просто переселят в какую-нибудь общагу, чтобы я не мешал счастливой жизни вновь образованной семейной ячейки.

А у меня, признаться, и кандидатуры-то подходящей на примете не было. Я всего одиннадцать месяцев прожил дома после армии. Успел, правда, погулять сначала с агрономшей приезжей, потом с учительницей, тоже не местной (свои девчонки-ровесницы или учились в это время в городе, или уже повыскакивали замуж); что-то у меня ни с одной не склеилось, и на них потом женились мои приятели.

Тем не менее, невеста для меня отыскалась: была на примете девчонка, не местная, жила на той стороне Иртыша. Родители наши дружили и наезжали иногда друг к другу в гости. Вот её-то я и привёз в свою бывшую холостяцкую двухкомнатную берлогу. Сыграли свадьбу и зажили чин по чину.

Бутылки все сдал, ванна опять освободилась, но водопровод до сих пор не был налажен. Тогда мы в ванне стали хранить картошку, а в самом помещении я стал складировать… кости мамонтов. Я их находил на берегу Старицы, древнего русла Иртыша, куда ходил ловить ельцов и подъязков, и, как давний любитель старины (ещё с детства мечтал стать археологом), не мог пройти мимо таких артефактов, а тащил их домой. Вскоре в ванной комнате скопилось центнера два древних костей: огромная голень мамонта (как я только допёр её!), пара обломанных бивней, несколько зубов, рёбра, ещё что-то.

Они скоро стали пересыхать и осыпаться, а что с ними делать, я не знал. Областной музей, куда я позвонил и великодушно согласился передать им свою бесценную коллекцию, причём даже бесплатно, выступил с обратным предложением, суть которого заключалась в том, что я сам должен привезти им эти кости. То есть найти машину, погрузить это мамонтово кладбище и отвезти в Павлодар, до которого около двухсот километров.

Когда жена, в очередной раз напугавшись вида этих костей, чуть преждевременно не родила, я погрузил их на санки и отвёз по первому снегу в школьный краеведческий музей, чему там тоже не очень-то обрадовались— у них своих костей некуда было девать. Тем не менее, приняли и спрятали до поры до времени в запасник. И ванная комната снова приобрела свой первозданный вид. А вскоре в доме отремонтировали водопровод, и у нас появилась вода. Правда, только холодная. И поэтому мыться мы предпочитали ходить в общественную баню, а не греть дома воду в вёдрах, чтобы наполнять ею ванну.

В этой квартире мы прожили семь с половиной лет. 1980-й стал переломным в моей жизни. Я решил бросить газету— платили в ней мало, хоть запишись, вместе с гонорарами получал максимум сто шестьдесят рублей (начинал вообще со ста пятнадцати). Ну и жена на своей швейной фабрике зарабатывала около сотни, изредка чуть больше. А ведь надо было одеваться, приобретать обстановку, содержать растущую дочь. Не мог я себе

отказать и в поддержании затратных вредных привычек.

Так что хоть я и любил свою работу, но постоянная нехватка денег, когда приходится то и дело занимать «до получки», мне надоела. И я уволился из газеты и уехал сам в Экибастуз, где разворачивалась грандиозная всесоюзная стройка, на которой, говорили, даже обычные землекопы запросто получают по три сотни. А я, если вы помните, был сварщиком четвёртого разряда, так что на работу должен был устроиться с ходу. Ну а со временем решил бы и жилищный вопрос и перевёз семью.

На первое время меня приютила моя двоюродная тётка, тётя Галя. Она с мужем и четырьмя детьми жила в четырёхкомнатной квартире. Давно, ещё в начале шестидесятых, она, неожиданно овдовев (муж разбился на мотоцикле), списалась с моим отцом, её двоюродным братом, и в поисках лучшей доли уехала из Волгограда к нам. Тётя Галя (вообще-то правильно Гульшат-апа), сама ещё молодая синеглазая красавица, привезла с собой и кукольной красоты четырёхлетнюю дочку Гульсину (на русский манер её тоже почему-то называли Галя, хотя явно просилось имя Гуля), которая, завидев у нас во дворе петуха, подбежавшего к ней знакомиться, испуганно закричала мне:

— Убей его! Убей!

«Ишь ты, горожанка ещё мне!—фыркнул я тогда про себя.— Петуха никогда не видала, а туда же: убей!»

Тётю в том же году высватал и увёз к себе в Иртышск отцов земляк Шамиль, работавший электриком в пожарном депо. Мужик он был ничего, даже симпатичный, но очень уж смуглый, просто цыган какой-то. Но тётку он, похоже, устраивал, и вскоре обе Гали перебрались с Шамилем на пароме на ту сторону Иртыша. А в семидесятых, когда их всех стало уже шестеро, переехали в Экибастуз, где Шамиль, как ценный работник (хотя что ценного было в его профессии электрика?) и многодетный глава семьи, быстро получил сначала трёхкомнатную квартиру, а затем и четырёхкомнатную.

Не скажу, чтобы мне сильно обрадовались (кроме Шамиля, которому моё появление дало легальный повод для выпивки, чем он немедленно и воспользовался), когда я объявился на пороге той самой четырёхкомнатной квартиры. Но долг, как говорится, платежом красен, да и родственные узы обязывали. В общем, вопрос был решённым: мне выделили комнату отсутствующей по причине обучения в мединституте старшей дочери тёти Гали— Гульсум. Конкретных сроков, сколько я здесь могу жить, никто не называл, но и так понятно было, что чем быстрее я решу вопрос с трудоустройством и получением жилья, тем будет лучше для всех.

И вот, после того как встретился с работающим в Экибастузе своим земляком (адресом я запасся заранее и нашёл Серёгу вечером в семейной общаге неподалеку от приютивших меня родственников, и он рассказал, как ему работается в домостроительной бригаде, сколько им платят и что им очень нужны сварные), я прогуливался апрельским тёплым деньком в приподнятом настроении по улице Строительной. Мимо, разбрызгивая лужи, часто проезжали легковые машины и автобусы. И вдруг услышал, как кто-то зовёт меня по имени.

В недоумении завертел головой: кто бы это мог быть? Я ведь практически никого не знал в Экибастузе. И тут вижу: впереди меня, метрах в двадцати, притуляется потрёпанная «Нива», а из кабинки высунулся и машет мне рукой не кто иной, как наш бывший ответственный секретарь Кишкунов!

Он получил назначение редактором в ту же газету, что и Калиновский до него, после объявления последнего пропавшим без вести. У Владимира Мартыновича судьба сложилась трагически: он психически заболел, долго лечился, потом его забрал к себе родной брат, живший в одном из совхозов Иртышского района. А там Калиновский однажды вышел из дома, и никто его больше не видел—ни живым, ни мёртвым. Вот Кишкунов и занял его место.

«Если будет звать в газету, ни за что не пойду!»—поклялся я себе, с улыбкой направляясь к машине. Поздоровались, похлопали друг друга по спине. Кишкунов, оказывается, ехал к себе на обед. Пригласил меня отобедать у него. Мне всё равно пока делать нечего было, и я поехал. А дома, под пельмени и водочку с груздочками Леонид Павлович и сосватал меня, клятвоотступника, к себе в газету «Вперёд». На должность завсельхозотделом.

— Квартиру я тебе сделаю через райком как нечего делать,—уговаривал меня Кишкунов, подкладывая мне пельменей и подливая водки.—На стройке ещё неизвестно, когда ты её получишь. Знаешь, сколько народа здесь мается по общагам да времянкам? Годами ждут! А я тебе гарантирую: через пару месяцев хата у тебя будет! С зарплатой всё нормально будет: в облполиграфиздате мне сказали, что ждут повышения со дня на день, гонорарами тебя обижать не буду. Идёт?

И я сломался и пожал протянутую мне будущим редактором руку. И уже через день катил в редакционном «уазике» в какой-то совхоз—кажется, «Саргамысский»—за материалами для газеты.

Квартиру мне Кишкунов пробил только через полгода, причём в двух шагах от работы. Это был двухэтажный кирпичный дом на улице Строительной, рядом с кафе «Юность». Одной из особенностей этого дома (рядом, почти перпендикулярно ему, стоял ещё один такой же) было то, что в нём жили сплошь работники аппаратов управления райкома партии, райисполкома и райсельхозуправления,

а также какие-то городские чины. Вероятно, весь изведшийся в связи с моей жилищной проблемой редактор (подоспела пора перевозить семью, поскольку дочь надо было устраивать в школу) так достал руководство Экибастузского района, что они оторвали от себя вот эту квартиру в элитном доме и выделили её на редакцию.

Квартирка действительно была просторная, с огромной прихожей, просторным балконом, на котором можно было жить. На мой второй этаж вела прямая широкая лестница, по которой удобно было поднимать наверх габаритные вещи. Пока что наверх я затащил купленную для себя простенькую панцирную кровать с деревянными спинками; стол и пара колченогих табуреток оставались от прошлого хозяина. Остальное всё надо было везти из Железинки.

Из моих будущих соседей знал тучного начальника райсельхозуправления (РСХУ) со всегда красным маленьким носиком на круглом лице (на одной площадке со мной), поджарого балагуристого председателя райсовпрофа — тот жил на первом этаже; оба казахи.

В моей квартире тоже жил какой-то начальник, но он то ли пошёл на повышение, то ли наоборот и съехал. И оставил после себя тьму-тьмущую тараканов. Я, когда увидел впервые их несколько штук днём на кухне, подосадовал такому соседству, погонялся за этими шустрыми рыжими тварями с тапком, кое-кого успел прихлопнуть. И решил вплотную заняться ими попозже, предварительно разузнав, как это делается.

Тараканов я впервые в своей жизни увидел именно здесь, в городе, у той же тёти, с которыми она прямо-таки нещадно и героически боролась, но они, по её словам, лезли и лезли от соседей. А в моей деревне и в железинской квартире их почему-то не было, так что опыта их истребления у меня не имелось.

Встав ночью пописать, я зашёл потом на кухню попить. Включил свет и обомлел: пол на кухне, стол, подоконник были бурыми и шевелились. Тараканов были тыщи! Они, видимо, все-все повыползали на свет Божий из-за голода — я ещё здесь и не начинал жить, а прежние хозяева отжили своё давно, так что отходов жизнедеятельности в только что заселённой мной квартире было ноль. Да, тут нужен был тараканий геноцид, иначе не справиться.

Я так и сделал: позвонил в горСЭС, оттуда приехала тётка в комбинезоне и с рюкзаком за плечами. Она нацепила на лицо респиратор, развела в ведре невозможно воняющую ядовито-жёлтую жидкость, обмакнула в неё обычный веник и попросила меня собраться и выйти на площадку и там дожидаться, пока она закончит работу. Я вышел и закрыл за собой дверь. Но даже через закрытую дверь завоняло так, что я предпочёл выйти во двор и дожидаться истребительницу тараканов на лавочке.

Она спустилась вниз через полчаса, потная и ужасно пахнущая тараканьей смертью, попросила меня расписаться в какой-то бумажке. Сунула её в нагрудный карман комбинезона и сказала, что как минимум сутки проветривать квартиру нельзя, иначе вся работа пойдёт насмарку. Пришлось запирать отравленную квартиру и идти ночевать к тётке.

Через сутки я пришёл домой — и пришёл в ужас: эта сука в комбинезоне оставила жёлтые потёки на стенах не только кухни, но и остальных комнат. Одно утешало: все тараканы издохли, они валялись по всей квартире, но на кухне их было целое кладбище. Такого побоища мне ещё не приходилось видеть. Ну а стены всё равно бы пришлось перекрашивать или обклеивать обоями.

Раскрыв настежь все окна, чтобы проветрить квартиру, я принялся сметать валяющихся кверху лапками, бесславно закончивших свой короткий век прусаков в помойное ведро. Их набралось не меньше полуведра — вот нисколько не вру. Когда поволок ведро на помойку, с беспокойством отметил, как на меня враждебно посмотрела из приоткрытой двери соседка, жена начальника РСХУ, и что-то даже прошипела в спину.

Не поздоровался со мной и живущий прямо под моей квартирой председатель райсовпрофа. Из чего я сделал заключение: наверное, им не понравился запах, распространившийся на весь дом (он был одноподъездным). А может, к ним сбежала какая-то часть тараканов? Но, в конце концов, не я же их притащил с собой в этот так называемый элитный дом. Тараканов этих то есть. В общем, особого значения этому настроению соседей, переменившемуся не в лучшую сторону, я не придал. А зря.

Спустя ещё пару дней у меня на работе случилась получка. И хотя общее новоселье я «зажилил» до той поры, пока не перевезу семью и не обустроюсь как следует, от предложения поздравить меня лучшего моего редакционного приятеля той поры Алима (сын отца-казаха и матери-татарки) я отказаться не мог. Тем более что я всё ещё жил пока один, и двух стульев нам вполне должно было хватить.

В квартире всё ещё пованивало той фигнёй, которую распылила веником по моему жилищу работница СЭС, но не очень чтобы сильно. А когда мы Алимом тяпнули по стопке-другой и закурили, вообще стало комфортно. За разговорами поллитровка быстро была прикончена. И хотя мы больше пить не собирались (завтра был рабочий день), Алим снова пошёл в магазин. Вернулся он с двумя бутылками водки и с таким же количеством баб.

Бабы были не первой свежести, но под водку сошли. Правда, были они какие-то визгливые и громкоголосые, хохотливые и водку лопали наравне с нами. В магазин пришлось идти ещё раз, на этот раз мне. Когда я вернулся, даже на площадке было слышно через полуоткрытую дверь, как тягостно скрипела в моей квартире одна из кроватей и слышалось кряхтенье Алима и повизгивание одной из баб.

Когда я торопливо заходил в свою квартиру и захлопывал за собой дверь, просто физически ощущал, как спину мне сверлил чей-то тяжёлый взгляд.

— Ну чего ж ты меня бросил одну?—жеманно пропела скучающая на кухне вторая, незанятая баба.—Там твой приятель такое творит с моей подружкой!..

Вот это-то меня больше всего и беспокоило. Хотя я и был достаточно пьян, но понимал, в каком доме нахожусь, кто мои соседи и чем чреват для меня вот этот загул.

На вторую кровать я с той бабой не пошёл, тем более что она мне не нравилась, а, дождавшись, когда Алим выползет на кухню, выставил обеих его случайных подружек на улицу. Но было поздно. Следующим днём после обеда в редакцию позвонили из райкома и пригласили редактора и меня к первому секретарю райкома партии.

Подробностей нашего разговора уже не помню. А суть его была в следующем. Как к журналисту претензий ко мне у секретаря не было, а даже наоборот. Но вот мой моральный облик никак не позволяет руководству района оставлять меня в доме для номенклатурных работников.

Меня спасло лишь то, что я был беспартийным. Так что меня и на работе оставили, и даже жильё всё же предложили—также двухкомнатную квартиру и также на втором этаже, но в обычной панельной пятиэтажке для простых смертных, в 19-м микрорайоне.

Она была поменьше площадью, с крохотной прихожей, маленьким балконом и в паре километров от редакции, так что на работу добираться приходилось на автобусе. Но—зато всем моим соседям было плевать, чем я занимаюсь в своей квартире, кто ко мне приходит и когда уходит. И я со спокойной душой переехал в эту квартиру.

Здесь я прожил до 1989 года. Так же работал в газете «Вперёд», поступил на заочный факультет журналистики Казахского госуниверситета, раз в год стал ездить на сорокадневные экзаменационные сессии в Алма-Ату, опять порядком устал от районной газеты с её бесконечными командировками в совхозы и засобирался в многотиражку «Угольный Экибастуз», куда меня звал редактор Василий Матвеюк.

— Триста рэ будешь получать как с куста,—сулил он мне.—И не надо мотаться по аулам. Ну, съездишь пару раз в месяц на угольный разрез на электричке, а так весь материал можно брать в шахтоуправлении…

Я уже собрался туда, да как-то обмолвился в телефонном разговоре с редактором областной газеты «Звезда Прииртышья» Юрием Поминовым (тоже, кстати, железинский кадр, начинал ещё до меня в «Ленинском знамени») о том, что ухожу из районки в многотиражку.

— Ну, раз ты всё равно уходишь от Кишкунова, то я с чистой совестью приглашаю тебя на работу к нам,—сказал мне Юра.

Я давно печатался в областной газете; кроме того, мою подпись можно было встретить в республиканских газетах и журналах, проскакивали публикации и в столичной прессе, и сейчас, с поступлением в университет, я становился, надо понимать, перспективным журналистом.

Я был ещё достаточно молод—всего тридцать пять лет, ещё не поздно было что-то менять в своей жизни и карьере. И я принял приглашение Поминова и, как меня ни уговаривал остаться редактор моей районки Кишкунов, а также к явному разочарованию редактора «Угольного Экибастуза», уехал в Павлодар.

Полтора или два месяца я жил в общежитии железнодорожников, куда меня пристроил Поминов, деля комнату с машинистом тепловоза, который, впрочем, очень редко здесь ночевал, так как постоянно бывал в рейсах.

Я работал корреспондентом в отделе сельского хозяйства, и так же, как и раньше, мотался по командировкам, только теперь уже по всей области, и так же писал о проблемах и заботах аграриев; на выходные уезжал в Экибастуз. И со временем что-то начал сомневаться в том, что скоро получу квартиру в областном центре и перевезу сюда семью.

Но тут в Экибастузе освободилось место собственного корреспондента по ЭТЭК (Экибастузскому топливно-энергетическому комплексу). Бывший собкор Виктор Горбенко закрутил роман с симпатичной сотрудницей городской газеты «Заветы Ильича» Наташей Узуновой, она ушла от мужа, и они вместе уехали на Ставрополье.

Собкоровский пост областной газеты в очень важном для области, да что там—республики, всей страны,—промышленном узле оказался вакантным. И проблема эта был решена моментально: меня просто вернули домой, в Экибастуз, но в новом качестве. Так я стал освещать в «Звезде Прииртышья» ход развития ЭТЭК.

Ездил по стройкам, электростанциям, угольным разрезам, а писал дома на кухне ночами или днём, когда жена уходила на работу, а дочери—одна в школу, вторая в детский сад. Оперативные материалы диктовал в редакцию по телефону (во, забыл

сказать: мне же, как собкору, подвели телефон, а так невозможно было дождаться своей очереди!), а прочие статьи, корреспонденции, очерки и заметки раз в неделю отвозил пакетом на автовокзал, договаривался с шофёром рейсового автобуса, чтобы он оставил пакет в кабинете диспетчера на Павлодарском автовокзале, а там его забирал представитель редакции,—эта схема была отработана ещё до меня и редко когда давала сбои.

В обязанности собкора также входит организация авторского актива, членам которого можно было бы заказать материал для газеты на ту или иную тему. Вскоре в поле моего зрения попала прехорошенькая корреспондентка газеты энергостроителей Светлана, да так в нём и осталась. Более того, она вскоре овладела всеми моими мыслями, а затем и сердцем, причём не безответно.

Завязался «служебный» роман, потому что поначалу мы встречались исключительно в редакции многотиражки, где работала Светлана: я приходил и забирал подготовленные ею для областной газеты материалы, договаривался о новых. Потом наши отношения перешли в стадию, где свидетели совершенно не нужны, и мы стали искать уединения и находили его.

Экибастуз—город небольшой, и наши отношения очень быстро потеряли покров секретности. Нас пытались вернуть обратно в семьи, но всё было напрасно: мы уже не могли быть друг без друга, да и не хотели. И всё завершилось (или началось?) тем, что мы со Светланой оставили Экибастуз и уехали далеко-далеко, на Крайний Север, чтобы нас оставили в покое и не мешали любить друг друга.

Крайний Север—он хоть и необъятный, а для нас сфокусировался в маленькой точке на карте, именуемой посёлком городского типа Тура. Это был административный центр Эвенкийского автономного округа. Был—потому что сегодня это уже районный центр. А тогда Тура на полном серьёзе именовалась даже столицей Эвенкии!

На самом деле в этом крохотном посёлке у слияния рек Нижняя Тунгуска и её притока Кочечум тогда проживало в пределах шести с небольшим тысяч человек. А всего на огромной территории Эвенкийского округа площадью в 766,6 тысяч квадратных километров, в двадцати семи сёлах (городов здесь не было и нет), обитало немногим более двадцати тысяч человек. На долю коренного населения—эвенков, кутов, кетов—из них приходилось менее четверти.

Как мы сюда попали? Ещё в Экибастузе я разослал письма в кучу северных газет с просьбой приютить парочку журналистов. Через пару-тройку недель стали приходить ответы, но в большинстве из них содержалось приглашение только для одного из нас. А вот редактор газеты «Эвенкийская жизнь» Эдуард Иванов звал нас обоих, обещая не только интересную работу, но и быстрое решение квартирного вопроса. Он также расписал прелести эвенкийской природы, местной охоты и рыбалки. А я был заядлым рыбаком, и все эти плюсы сыграли в пользу нашего переезда в Эвенкию.

Прилетели в Туру в конце июня, холодным дождливым днём, втроём. Никто в порту нас не встретил, и мы пешком пошли по мокрому, грязному посёлку, застроенному обшарпанными деревянными двух- и одноэтажными домами, с проложенными вдоль улиц деревянными же тротуарами и коробами теплотрасс. Расспросы редких прохожих привели нас к продолговатому и, как вы догадались, деревянному одноэтажному зданию под жестяной крышей, с решётками на окнах. Это и была редакция (с типографией под одной крышей). Все очень удивились нашему появлению, включая редактора.

На первое время Иванов пригласил нас жить к себе: жена его с дочерью уехали в длительный северный отпуск, и редактор холостяковал. Жил он метрах в ста от редакции, в трёхкомнатной квартире на втором этаже деревянного дома, обшитого крашеной вагонкой. Поскольку, как я понял, нам вскоре тоже предстояло занять примерно такое же жильё (типовое для Туры), я стал внимательно рассматривать дом Иванова и расспрашивать о его особенностях.

Оказалось, что все дома в Туре строят из лиственничного бруса, материала прочного и тёплого. Дома стоят на сваях из-за вечной мерзлоты, и по низу их обшивают той же вагонкой по всему периметру, чтобы тепло не так быстро уходило через пол. Двухэтажные многоквартирные дома подсоединены к центральному отоплению, трубы которого проложены поверху и спрятаны в короба с утеплителем—опилками, стекловатой. В то же время все квартиры для страховки снабжены кирпичными печками. В дальнейшем нашем бытии в Туре я понял, насколько это важно на Севере—при центральном отоплении иметь ещё и печь.

На этом все удобства кончались. Туалет—общий, на несколько «очков», на задворках. Рядом же—большие деревянные ящики для складирования сухого мусора, жидкие отходы предполагалось сливать в вырытые в вечной мерзлоте ямы-септики. Но содержимое ям замерзало с первыми же крепкими морозами (а они в Эвенкии начинаются в октябре и отступают лишь в апреле), и народ всё валил в ящики, и всё это смерзалось колом.

Пытались здесь наладить более-менее цивилизованный подход к утилизации продуктов жизнедеятельности человека. Для чего на всю Туру в разных местах построили около десятка или чуть более того септиков: такие деревянные комплексы типа амбаров, на втором этаже

которых устанавливались бункеры для накапливания мусора (чтобы вывалить туда ведро, надо было подняться по крутой обледенелой лестнице наверх). По мере накопления бункер освобождал своё содержимое в кузов заезжающего в септик через специальные ворота самосвала.

К септику же был пристроен общий многоместный туалет — с отоплением! Но так как септики вовремя не обслуживались, вездесущие вандалы разбивали стёкла и двери в сортирах, отопление в них перемерзало, и все эти грандиозные и весьма недешёвые сооружения очень скоро одно за одним повыходили из строя. И народ снова стал вываливать и выливать мусор на задах дворов и «ходить» в холодные сортиры, а в морозные дни использовать для этого обычное эмалированное ведро.

К счастью, в девяностых в продаже появились компактные биотуалеты голландского производства (как поговаривали, наше изобретение для космонавтов, но выпуск этого чуда сантехники для простого народа наладили, как водится, за бугром и нам же стали продавать). Они стоили довольно дорого, недешёвыми были и полагающиеся к ним химикаты; но кто их приобретал, затем об этом не жалел. Мы тоже обзавелись таким пластиковым «горшком» с двухведёрным объёмом вместимости, но всё это будет позже.

Водопровода в посёлке тоже, понятно, не было. Нет, его хотели построить ещё в советские времена, даже поставили насосную станцию на крутом берегу Нижней Тунгуски и смонтировали сколько-то десятков метров трубопровода за сумасшедшие деньги, но потом эта работа была заброшена. И вода к домам туринцев и по сей день подвозится водовозками и сливается в стоящие во дворах бочки. Зимой её надо срочно перетаскать в дом, иначе замёрзнет. Прозеваешь — и выколачивай потом из бочки двухсоткилограммовую глыбу льда. И это опять же на морозе, которые в Эвенкии за сорок-пятьдесят стоят по нескольку месяцев.

У Иванова мы прожили несколько дней. А потом он нас устроил в местную коммунальную гостиницу рядом с аэропортом, с точно такими же удобствами, описанными выше. Сказал: не переживайте, это временно. Но как было не переживать? Мы со Светланой практически с первого дня нашего приезда сюда были приняты в штат окружной газеты, на второй день пошли в туринские организации за материалом для газеты, на третий уже подготовили свои публикации и сдали их в секретариат. И с той поры стали «гнать» полноценную строку для «Советской Эвенкии».

А что такое появление сразу двух продуктивных и мобильных журналистов в штате небольшой газеты, понимающим людям объяснять не надо. То есть свою часть заключённого с нами договора мы выполняли. А вот обеспечение нас жильём затягивалось. И я уже порой начинал жалеть, что зря мы не поехали, например, в посёлок Дальнегорский Приморского края или в Маму Иркутской области. Там, правда, работу в газете предлагали только одному из нас, но зато жильё обещали предоставить сразу. А с другой стороны, Иванов ведь тоже писал, что у него всё «схвачено» и квартира нам обязательно будет предоставлена. Но пока у него что-то там, в тех инстанциях, куда он ходил хлопотать за нас, не срасталось. Ни в поссовете, ни в райисполкоме, ни в окружкоме партии.

Наконец, в конце июля, редактор пришёл на работу радостный и сказал, что жильё на зиму у нас будет! Правда, пока арендованное. Какая-то семья уезжала на неопределённое время жить и работать в Ванавару (один из трёх райцентров округа), вот Иванов и договорился, что мы временно займём их «полуторку».

Квартира располагалась в длинном деревянном двухэтажном доме (его ещё называли то лежачим небоскрёбом, то китайской стеной), уступами сползающем от поселкового кладбища вдоль улицы имени Увачана. Из стен этого дома, как и многих других, в некоторых местах свисали длинные резиновые шланги, назначение которых мы поняли не сразу. Оказалось, что это так называемые несанкционированные сливы.

Канализации в Туре ведь практически не было, за исключением единственного двухэтажного кирпичного окружкомовского дома да ряда хоть и деревянных, но благоустроенных домов, выстроенных для своих работников богатой экспедицией «Шпат». Вот чтобы не ходить в морозы на улицу с использованной, допустим, для стирки водой или после умывания или мытья посуды, в стенах других неблагоустроенных домов, коих в Туре было большинство, пробивались дыры, в которые и пропускали эти шланги.

В квартирах они крепились к раковинам, в которые и сливались помои. А те по шлангу вытекали наружу — или во двор, или на проезжую часть улицы. И сколько «радости» бывало в зимние дни водителям машин или пешеходам, преодолевающим эти наледи. По весне же всё это добро таяло и по руслам ручьёв стекало или в Нижнюю Тунгуску, или в Кочечум.

Власти старались бороться с этой антисанитарией, пугали владельцев незаконных сливов штрафами, а кого-то и штрафовали, но всё бесполезно — такие сливы в Туре есть и сегодня. По большому счёту, власти окружного (а с 2006 года, после возвращения Эвенкии в лоно Красноярского края, — районного) центра не то чтобы устали бороться с данным явлением, а смотрят на него сквозь пальцы.

Они прекрасно понимают, что жители не из вредности и не от хорошей жизни идут на сооружение этих сливов, а пытаются хоть чуть-чуть

сделать свою жизнь в условиях Крайнего Севера комфортнее. По первости я сам пытался через газету бороться с этим вопиющим проявлением грубейшего нарушения всех санитарных правил и норм, ну и эстетики (дома с торчащими из их стен шлангами выглядят, по крайней мере, нелепо). Но когда сам попал в сложную жизненную ситуацию и был лишён возможности вытаскивать на улицу эти бесчисленные вёдра с помоями, и это за меня должна была делать моя маленькая хрупкая жена, то плюнул на все эти приведённые выше условности, пробил дыру в стене и подвесил снаружи сливной шланг…

Однако я забежал вперёд. Итак, мы получили квартиру. Наш подъезд располагался где-то в середине длиннющего двухэтажного деревянного дома, отделанного снаружи гладкими шиферными листами. Когда дом только сдавался, он, по-видимому, из-за этой самой отделки выглядел вполне прилично. Но со временем какие-то листы потрескались и местами осыпались, какие-то вообще выпали, и потому дом вызывал определённое сочувствие.

И всё равно он смотрелся неплохо по сравнению со многими другими туринскими домами, вообще не отделанными, с почерневшими от времени стенами из ничем не защищённого бруса, или отделанными листами выкрашенного толя, во многих местах прорвавшегося и свисающего со стен безобразными лохмотьями.

Наша квартира была на втором этаже, куда надо было подниматься по деревянной, выкрашенной коричневой краской лестнице со скрипучими ступенями. За дверью, для утепления обитой одеялом, располагались крохотная прихожая, из которой одна дверь вела на кухню, вторая в собственно саму жилую комнату.

В комнате стояла печка, дымоход которой обогревал кухонную стену. Печка занимала приличную площадь, и мы при проведении косметического ремонта перед заселением попросили строителей разломать её и выкинуть (готовить мы приучились на электрической плитке, а отопление в доме было центральным). Так комната стала на пару квадратов побольше.

Из кухни мы сделали дополнительную комнату для девятилетнего сына Светланы Владика (забыл сказать: она забрала его из Экибастуза с собой). А кухню оборудовали в закутке гостиной, образованном перегородкой из сухой штукатурки. Там стояли небольшой холодильник, стол и три табуретки, плитка.

Ещё нашу сугубо спартанскую обстановку дополняли наш со Светланой диван в комнате, небольшой шкаф и чёрно-белый телевизор, в комнате Владика—узенькая кроватка и стол для приготовления уроков. Всё. Мы уехали в эту тьмутаракань с двумя чемоданами; правда, кроме этого, Светлана всё же прихватила из своей квартиры, которую она оставила мужу (как и я свою бывшей жене), пару ковров, книги и стиральную машину, зимнюю одежду; всё это ещё плутало где-то по железной дороге в контейнере.

Что поразило в нашем новом жилище—полное отсутствие какой-либо звукоизоляции. Мы слышали, как скрипят половицы под шагами соседей снизу, и сразу за стенкой, и по диагонали от нас, как и о чём они разговаривают, ссорятся, занимаются любовью. Если вам что-то нужно было от соседей, об этом запросто можно было спросить их, не заходя к ним,—правда, чуть повысив при этом голос. Эффект был такой, как будто мы живём в гитарной коробке!

И если с рядовым звукоиспусканием ещё можно было смириться, то настоящим кошмаром были вечеринки. Мы себя чувствовали их полноправными участниками, вот разве только не выпивали и не закусывали вместе с теми, кто гулеванил за стенкой или снизу.

Сначала пытались урезонивать соседей, а потом махнули рукой—только нервы себе расстроишь да отношения испортишь с неплохими, в общем-то, людьми, просто любящими иногда повеселиться, иногда до утра.

Но самый настоящий шок я испытал не от наличия в доме шумных соседей, а от присутствия в нём других обитателей, которым шум и излишнее от этого внимание к ним совершенно вроде бы ни к чему. Но они были живыми, также вели активный образ жизни и не могли не выдать себя характерными звуками.

Как только заселились в эту «полуторку», я обнаружил в углу около умывальника (обыкновенный дюралевый протекающий рукомойник со штырьком клапана для спуска воды в ковшик из ладоней) дырку в полу около плинтуса. Решил заделать её чем-нибудь потом.

Уставшая от треволнений переезда жена заснула на диване с сыном, а я решил почитать перед сном и устроился с книгой в комнате Владика. Не помню уже, что я читал, но настолько увлёкся, что уже не обращал внимания ни на громкую ссору соседей снизу, ни на чей-то надсадный кашель сбоку, ни на хлопанье входной двери в подъезде.

Но этот вкрадчивый звук расслышал сразу. Кто-то возился и шуршал у нашего рукомойника, который стоял почти напротив двери в комнату, где я читал, полёживая себе на Владькиной кровати.

Вытянув шею, я посмотрел в сторону источника звука и обомлел: две крупные серые крысы в пятне света, падающего из моей комнаты, шуровали в мусорном ведре, куда мы накидали какие-то остатки нашего ужина. Одна сидела в самом ведре,

другая стояла во весь рост, опершись передними лапками о край ведра. А на полу уже валялись добытые ими косточки от рагу из оленины, хлебные корки, что-то ещё.

Я схватил тапок и швырнул в них. Крысы моментально одна за одной юркнули в ту самую дырку, заделывание которой я оставил на потом. А сейчас надо было перекрыть им доступ в квартиру. Я нашёл кусок какой-то палки, ножом заточил её конец на конус, чтобы пролазила в дырку, и злорадно вбил эту палку, как осиновый кол, в крысиный лаз молотком.

От производимого мной шума проснулась Светлана, да, думаю, не только она. Спросила, в чём дело. Ответил, что перекрыл несанкционированный доступ в наше жильё непрошеным квартирантам. Жена ничего не поняла спросонок и снова уронила голову на подушку. А я вернулся дочитывать книгу.

Ну вот, лежу, читаю. И тут слышу: хрусть-хрусть! Сначала тихо так, вкрадчиво, а потом всё громче и громче. Чертыхнулся, отшвырнул книгу и на цыпочках пробрался к углу, откуда слышался хруст. И увидел, что вбитый мной кол шевелится, а хруст слышится именно из-под него, то есть из-под пола. Эти серые твари никак не хотели смириться с тем, что там, наверху, осталось так легко добытое ими из ведра питание.

Я топнул ногой, чтобы отпугнуть крыс, и потащил на себя палку. Она вышла из дырки очень легко—эти проклятые пасюки, оказывается, уже обгрызли её конец. Я снова заточил его ножом и забил молотком ещё глубже. И что выдумаете: только улёгся спать, крысы вновь принялись за свою работу. Сообразив, что сегодня я вряд ли их побежду… победю, решил пока сделать вид, что капитулировал: выдернул кляп из норы и пропихнул в неё всё, что крысы выволокли из мусорного ведра, и ещё кое-что добавил от себя. И услышал, как они там, под полом, радостно завозились и с топотом утаскивали куда-то в глубь изрешеченного их ходами дома честно добытую в неравной схватке с человеком провизию.

А назавтра я положил конец этой экспансии, заколотив нору не только затычкой, но ещё и пробив её сверху куском фанеры. Пусть это было некрасиво, но зато надёжно: больше крысы так и не смогли проникнуть в нашу квартиру, как ни пытались прогрызться в неё из этого, а затем и разных других мест. А через полгода мы уже получили постоянное жильё, с ордером на него!

Это была однокомнатная квартирка в старом двухподъездном деревянном доме по улице Школьной. Всё то же, как и в предыдущем жилье: из благ цивилизации—только центральное отопление. Вода привозная, общий туалет на улице, встроенный в здание уже упомянутого септика. Первоначально он был с отоплением, но батареи (вернее, регистры из труб) быстро переморозились, и теперь температура в отхожем месте была такая же, как и на улице.

А с наступлением настоящих эвенкийских холодов (сорок-пятьдесят градусов, а нередко и под шестьдесят) и дома у нас стало ненамного теплее.

Квартира была на первом этаже, а для Туры это нет ничего хуже. Тех, кто жил над нами, подогревало какое-никакое тепло нашей квартиры (мы сами топили печку, которую мне хватило ума не разобрать и не выкинуть, как в предыдущей квартире). А нам в пол дышала вечная мерзлота, хотя дом и стоял на сваях. Если в метре и выше от пола в квартире, благодаря совместным усилиям батарей отопления и печке с раскалённой малиновой плитой, было почти жарко, то пол продолжал оставаться холодным, так что на ногах у нас всегда были тёплые носки, которые мы не снимали и на ночь.

Спать обычно укладывались в тёплой квартире (перед этим я сжигал в прожорливой печке три-четыре ведра угля, который таскал от ближайшей котельной), но к утру квартира выстывала. Причём настолько, что в прихожей в оцинкованном баке с питьевой водой намерзала корочка льда, замерзала она и в подвесном умывальнике.

Мёрзли не только мы, мёрзла практически вся Тура. Теплосети, как их ни ремонтировали всё лето, один чёрт оставались худыми, батареи из-за плохой воды забивались осадками, привозной уголь был очень плохой, с высокой зольностью, и потому температурные режимы никогда не выдерживались.

А если ещё добавить, что кочегары частенько пьянствовали на своих рабочих местах (в Туре не было единой ТЭЦ, а работали десятки мелких котельных, одно время их было за полсотни) и засыпали, со всеми вытекающими из этого последствиями, то нетрудно представить, как несладко приходилось туринцам в особо холодные зимние месяцы.

Народ обогревался в своих промерзающих квартирах как мог: кому не хватало тепла печей и тем более—у кого их не было, покупали или сами мастерили всевозможные обогреватели. Это приводило к тому, что в Туре периодически вспыхивали пожары. За нашу двадцатидвухлетнюю жизнь в Эвенкии мы стали свидетелями десятков таких ЧП, когда полностью или частично выгорали многоквартирные жилые дома и люди посреди лютой зимы оказывались на улице без крыши над головой, часто лишь в том, в чём успели выскочить,—дома, сложенные из лиственничного бруса, вспыхивали как спички. И прибывшим на место пожарным нередко оставалось лишь заливать пожарище, чтобы оно не перекинулось на соседние здания.

Немало народа погибло в огне таких пожаров. Так что больше всего в Туре мы боялись именно этой беды, которая может нагрянуть, как и полагается, совершенно неожиданно: из твоей ли печки выкатится уголёк на пол, пьяный ли сосед заснёт с непотушенной сигаретой, случится ли короткое замыкание в самодельном обогревательном «козле» в соседнем подъезде — пиши пропало.

Однажды мы едва не угорели. Я, как обычно, хорошенько протопил нашу квартирку перед сном. А проснулся от страшной головной боли и оттого, что Светлана звала меня жалобным голосом:
— Марат, дай чего-нибудь от головы…

Я с трудом встал и чуть не упал на пол, перед глазами плавали какие-то круги. Светлана лежала с лицом бледным, как полотно, её тошнило. Я хоть и плохо соображал в этот момент, но понял, что мы, похоже, угорели.

Добрался до окна, попробовал открыть заделанную наглухо на зиму форточку, но у меня не получилось, и я просто выбил двойное стекло. В комнату хлынул морозный воздух.
— Сейчас, милая, сейчас, — бормотал я, торопливо одеваясь трясущимися руками.

Надо было вызывать скорую, а телефона у нас не было. Позвонил от директора типографии, живущего в доме напротив. К счастью, бригада была свободна, а ехать до нас — пару минут.

Фельдшер скорой сделала Светлане какой-то укол, оставила ещё таблетки и посоветовала чаще поить её чаем с лимоном; с тем и уехала. Светлане после укола стало легче, она сделала пару глотков горячего чая и заснула. Госпитализация ей не потребовалась — и слава Богу: значит, мы не очень сильно угорели. А всё могло быть куда трагичнее, как довольно часто случалось в Эвенкии с обитателями домов с печным отоплением, в том числе и в Туре, за долгие лютые зимы…

Нас такое жильё никак не устраивало. И даже не из-за того, что квартира была такой холодной (мы потом промыли забитые батареи, утеплились, и жить стало можно). А потому, что площадь её была очень маленькой. Сыну негде было заниматься, нам — работать на дому. Мы со Светланой нередко писали дома, и в советские времена за членами творческих сообществ — а мы оба состояли в Союзе журналистов — законодательно было закреплено право на дополнительную площадь; другое дело, что право это надо было выбивать.

Но нас услышали (не без прямой поддержки редактора) и в начале лета выделили двухкомнатную квартиру — в этом же доме, в соседнем подъезде. Увы, новое наше жильё также располагалось на первом этаже, буквально через стенку, и мы, наученные горьким опытом минувшей зимы, сразу же принялись старательно её утеплять: промыли батареи, что гарантировало нам несколько дополнительных градусов тепла, поменяли треснувшие стёкла, купили на пол толстые ковровые дорожки.

Самое удивительное — выдав ордер на новое жильё, поссовет оставил нам и прежнюю однокомнатную квартиру (надо понимать, как дополнительную жилую площадь для творческой семьи), и я уже подумывал, как ей распорядиться. На ум ничего другого, кроме как выпилить в стене дверной проём, ведущий в соседнюю квартиру, не приходило. И тогда мы получили бы в итоге четырёхкомнатную квартиру (из двух кухонь одну можно было бы переоборудовать в дополнительную комнату), но длинную, как трамвай!

Но тут в Туре произошло такое событие, что затмило собой всё происходящее до этого и что должно было ещё свершиться. На центральной дизельной электростанции (я забыл рассказать, что в Эвенкии нет магистральных ЛЭП, от которых были бы запитаны все поселения, да их ещё долго-долго не будет, потому что это просто невозможно и нецелесообразно на таких гигантских расстояниях и при практически полном отсутствии промышленной инфраструктуры. И потому каждый посёлок располагает своей электростанцией, а в Туре их было вообще четыре) случился сильный пожар, и большинство дизель-генераторов вышло из строя. И, таким образом, большинство туринцев осталось без света.

Это было в начале июня, когда началась пора белых ночей, так что без освещения ещё как-то можно было прожить. Но как было обходиться без холодильников, без телевизоров? На чём готовить еду? Причём не день и не два, а практически всё лето: оказывается, сгоревшие дизель-генераторы восстановлению не подлежали, а новые доставят в Туру неизвестно когда.

И тут у народа, как всегда это бывает в экстремальных ситуациях, начала включаться «соображалка».

Чтобы всем в отдельности не топить печи в квартирах, во дворах стали сооружать самодельные камельки из кирпичей и камней, выставлять железные сварные печи, вот на них и готовили. С утра до позднего вечера у этих импровизированных, весело потрескивающих горящими дровами очагов толпился народ с кастрюльками, чайниками. Здесь можно было обменяться новостями, посплетничать, а то и поскандалить — всё как на коммунальной кухне, только под открытым небом. А продукты можно было хранить в лéдниках — у многих они, вырытые в слое вечной мерзлоты, находились в сараях. У нас тоже был погребок, так же продолбленный в толще вечной мерзлоты, и мясо в нём и посреди лета было промёрзшим до каменного состояния.

Люди даже как будто свыклись со своим положением и не особенно роптали, понимая, что рано или поздно власти округа и посёлка восстановят энергоснабжение.

Тогда же в Туре стали появляться так называемые «аварийки» — несанкционированные подключения потерявших терпение и особо хитрых и умелых граждан к электролиниям от других, работающих электростанций. Они, эти несознательные граждане, сами, но чаще всего при помощи подкупленных электриков, где-то раздобывали и прокидывали многометровые кабели к своим квартирам и втихомолку от других пользовались украденным благом цивилизации. Конечно, с такими самовольщиками боролись — мощностей оставшихся ДЭС на всех не хватало. Но запретный плод, он ведь, как известно, особенно притягателен.

Признаюсь, и меня бес попутал. Мы как-то со Светланой совершенно случайно обнаружили, что в одной розетке у нас есть напряжение! Это при том, что не только наш и соседние дома, но и вся улица Школьная была обесточена (не считая детских садов и ещё некоторых стратегических и жизненно важных учреждений и объектов). Откуда в этой розетке на кухне был ток, мы могли только догадываться. До нас квартиру занимал выехавший на материк инженер-энергетик, вот он-то, скорее всего, и провёл к себе дополнительную электролинию — так, на всякий случай. И вот он, этот случай!

И мы хотя и продолжали готовить на уличной печке, но подогревали что-то, чайник кипятили и — самое главное! — смотрели телевизор, включая его в протянутый с кухни удлинитель. Правда, окна при этом зашторивали — неудобно как-то было перед соседями, да и «стукнуть» могли на нас запросто, хотя нашей вины в том, что у нас на кухне обнаружился дополнительный источник энергии, не было. Ну, разве что нас можно было обвинить в том, что мы не пошли к властям и не оповестили их о розетке с током. Но, положа руку на сердце, вы бы на моём месте так поступили?

К осени ДЭС-1 всё-таки отремонтировали, и в домах у нас снова появился свет. Перезимовали без особых происшествий, а дверь, чтобы соединить обе наши небольшие квартиры в одну длинную, я так и не успел прорезать. И хорошо, что не успел: мэрия посёлка (бывший поссовет, а по новой моде — администрацию уже стали называть именно так) предложила нам в обмен на две эти квартиры одну трёхкомнатную.

Она была раза в четыре дальше от нашего места работы (то есть надо было пройти метров четыреста), но зато у неё было много других плюсов. Дом был относительно новый, выстроен меньше десяти лет назад, а тем, в которых мы жили, было уже по три с лишним десятка лет — очень много для брусовых многоквартирных домов, со временем деформирующихся. Народу в нём проживало немного — всего восемь квартир. И наша располагалась на втором этаже, более тёплом по причинам, которые я уже приводил выше.

Квартира показалась нам огромной: да и то дело — свыше семидесяти квадратов! Проходных комнат практически не было: из просторной прихожей двери вели на кухню, в гостиную и спальню. Ещё в одну спальню можно было попасть из гостиной. На кухне имелась печка, и трогать я её, естественно, не стал, так как проникся уважением к этому автономному источнику тепла, несмотря на центральное отопление.

Ну а всё остальное было как у всех: бочки для воды на улице, там же, только с другой стороны дома, и туалет — на две персоны. А ещё нам полагался дощатый сарай (впрочем, уже третий за время проживания в Туре). В сараях обычно лежит всякий ненужный хлам. Но чаще всего там хранятся дрова, ближе к весне там складируется питьевой лёд.

Лёд — это особая история. В толще вечной мерзлоты под днищем рек Кочечум и Нижняя Тунгуска покоятся моря разливанные так называемых кембрийских рассолов и солей тяжёлых металлов — меди и цинка, магния. Ближе к весне они почему-то просачиваются в воду, и она становится не просто солоноватой, а и очень вредной для организма. Вот чтобы хоть на какое-то время обеспечить себя относительно безвредной пресной водой, туринцы покупают лёд у специально заготавливающих его людей и употребляют в пищу только полученную из него воду.

К сожалению, и ряд наших сараев (восемь штук, по числу квартир), и стоящая с ним рядом будочка на два одновременных посещения простояли совсем недолго.

Дом наш располагался в низине, практически в русле ручья, стекающего с ближайшей крупной сопки — Солдатской горки (там размещалась небольшая, в середине девяностых расформированная воинская радиолокационная часть. Да так спешно, что пацаны там находили потом сотни невыстрелянных патронов к ручному пулемёту).

Этот ручей тихо и почти незаметно журчал весь год, утекая вдоль наших хозяйственных построек в Кочечум. А по весне превращался в рычащий бурный поток, упорно подмывающий насыпь, на которой стояли сараи. И в один прекрасный день сначала завалились они, а затем сполз в лощину ручья и наш сортир.

В сарае у нас хранилось где-то с полмашины дров (первые несколько лет в квартире, несмотря на то, что она была на втором этаже, в сильные морозы было довольно прохладно: достаточно сказать, что при температуре минус тридцать и ниже

на кухне, на стене у окна, почему-то упорно образовывался снежный нарост размером со сковороду, то есть стена промерзала, поэтому приходилось печку протапливать); пришлось их перетащить под стену дома, где они и дожидались своей участи до зимы. И они более-менее благополучно для нас сменяли друг друга. В настоящий кошмар для туринцев превратилась зима 1999–2000 годов.

Тут надо сделать небольшое отступление от основной темы к специфической. А именно — к системе теплоэнергообеспечения окружного центра. Котельные в Туре (а их число в разные годы доходило до полусотни и более) отапливались преимущественно углём, и лишь небольшое количество совсем крохотных (типа нашей, редакционной) — дровами. Дизельные электростанции, естественно, работали на соляре. Всё это измерялось десятками тысяч тонн и завозилось с материка водным путём, по Енисею. Навигация на Енисее длится всё лето, а вот его приток Нижняя Тунгуска судоходен в летнее время месяц с небольшим, затем вода падает, и река со многими порогами становится непроходимой. Следующий скачок уровня воды дают осенние дожди, и судам нужно успеть обернуться за две-три недели, потому что к октябрю своенравная река снова неприлично мелеет.

Осенняя краткосрочная навигация обычно используется для доставки низкосидящим флотом — катерами с прицепными баржами, небольшими самоходными баржами — в Туру овощной продукции, продовольствия, строительных и прочих материалов. А основные грузы, обеспечивающие жилищно-коммунальные, транспортные и энергетические предприятия топливом и горюче-смазочными материалами, завозятся преимущественно в период основной, весенне-летней, навигации теплоходами-танкерами и сухогрузными судами.

Когда вовремя и в полном объёме проплачены услуги поставщиков и речников, проблем обычно не случается (за исключением форс-мажора — уровень воды мал), и Тура уходит в зиму с необходимым запасом углеводородов, то есть народ будет с теплом и светом. Если же до весны завезённого запаса, случается, может не хватить, то с января начинают действовать зимники, по которым недостающее доставляется автотранспортом. А что-то можно подвезти и авиацией.

Эта схема отработана за десятилетия и работает практически безукоризненно. Правда, сжирает она сотни миллионов бюджетных рублей, но тут уж ничего не попишешь, так вот неудобно расположена Эвенкия (хотя и в центре России, между прочим), и транспортные издержки здесь одни из самых высоких в стране. Всё потому, что автомобильных дорог с твёрдым покрытием, а тем более железнодорожного сообщения с материком, здесь и в помине нет. И не скоро предвидится.

В весенне-летнюю навигацию 1999 года эта схема дала сбой. У администрации не было денег на решение взятых на себя обязательств. Собственных доходов — кот наплакал, меньше десяти процентов, всё остальное — дотации, но тогда Москва сама бедствовала, соответственно, и давала трансферты дотационным территориям «по бедности». Эвенкии на полноценную жизнь в год надо было в пределах двух с половиной миллиардов рублей, получали же что-то в пределах миллиарда. Но и эти деньги давали обычно с большим опозданием, и их ни на что не хватало.

Как утверждало тогдашнее руководство Эвенкийского автономного округа, федеральный центр не выделил вовремя необходимых денег для обеспечения завоза топлива и ГСМ на предстоящую зиму. Из-за чего и грузы были закуплены в неполном объёме, и речники не получили окончательного расчёта ещё за прошлый завоз, а надо было в пожарном порядке завозить уголь, соляру, бензин, авиационное топливо, масла уже под эту зиму.

Завоз в конечном итоге был сорван. И в ночь с тридцать первого декабря 1999 года на первое января 2000 года в домах большинства туринцев свет погас, в домах стало прохладнее. В силу вступил режим жёсткой экономии, потому что горючего катастрофически не хватало.

Решено было до начала весенне-летней навигации прекратить подачу света в жилые массивы столицы Эвенкии, резко ограничить — для учреждений и организаций. В том числе и для администрации округа. Я, к тому времени ставший редактором окружной газеты, брал интервью у губернатора самостоятельного субъекта Российской Федерации, члена Совета Федерации Александра Боковикова в его кабинете при свете… керосиновой лампы; при зыбком свете этой же коптилки по сумрачным утрам у него проводились и планёрки.

Котельные также работали в режиме экономии, из-за чего температура в коммуникациях была ниже требуемой, и в ту зиму в Туре были разморожены несколько зданий, в том числе и жильё. Некоторые туринцы перешли жить в собственные бани, в свои рабочие кабинеты, в котельные.

У нас в редакции поселилась семья бывшего директора типографии Феликса Буйновского (их двухэтажный многоквартирный дом сгорел — пожары в ту зиму были частыми из-за неосторожного обращения людей с огнём), они же были и сторожами редакции.

Обедали мы на работе — супы забирали с собой утром из дома, разогревали в кабинете на плитке. Как никогда поднялся спрос на дрова, цена на них тут же резко подскочила, но, несмотря на это, кучи дров выросли во всех дворах. Их разворовывали все кому не лень.

Купили полмашины дров и мы со Светкой. Я их колол, жена носила в дом и складывала

в поленницу… в прихожей (благо она у нас огромная). Пример подала соседка, Анна Семёновна Саливончик. Ей надоело наблюдать, как её поленница на улице день ото дня день всё «худеет», и она перенесла все поленья до одного в дом.

Руководство округа судорожно металось в поисках выхода из этой чудовищной ситуации. Подвозимых по зимнику в автоцистернах дизельного топлива с материка и сырой нефти с эвенкийского Юрубчено-Тохомского месторождения не хватало — их сжигали буквально с колёс. Здорово помогли якуты: наш губернатор договорился с Вячеславом Штыровым, хозяином всесильной алмазной компании «АЛРОСА», на товарный кредит, и солярку в Туру стали возить из Мирного даже авиацией.

Как-то, ближе к весне, в квартире неожиданно загорелся свет. Господи, неужели конец нашим мукам? Хотя я и знал, что этого не должно быть до прихода первых судов с горючим, но затеплилась надежда: может быть, произошло какое-то чудо и солярки навозили по зимникам и авиацией столько, что теперь её хватает? Или энергетики по каким-то стратегическим соображениями решили давать свет в наш микрорайон?

На всякий случай позвонил на центральную ДЭС и поинтересовался:

— Мужики, у меня дома свет загорелся. Это как, насовсем или временно?

— По какому адресу? — насторожились на том конце провода.

Я добросовестно ответил.

— Ошибочка произошла. Сейчас исправим, — сказали мне.

И через несколько минут свет в нашем доме погас. До июня.

— Зачем ты им позвонил? — заплакала измученная этой беспросветной жизнью Светланка. — Пусть бы горел, я бы хоть нормально постиралась!

Но всему приходит конец. Кончилась и эта чудовищная зима. В начале июня победно затрубили подошедшие к причалам окружного центра первые танкеры с соляркой, и в квартирах туринцев наконец загорелся свет, заурчали холодильники, забормотали телевизоры.

Жизнь как будто пошла своим чередом. На самом деле это означало, что ситуация в округе оставалась прежней: денег ни на что не хватало. А впереди была следующая зима, и опять надо было закупать и завозить уголь, солярку, бензин, масла. Трансферты по-прежнему приходили с большим опозданием. И совсем не в том объёме, какой нужен был для обеспечения нормальной жизни. Оставались проблемы с выплатой зарплаты, опять округ не мог вовремя рассчитаться за покупку и вывоз нефтепродуктов. Красноярское речное пароходство приступило к навигации в Эвенкии, ещё не до конца получив заработанные средства за прошлый завоз. Когда суда уже были на подходе к Нижней Тунгуске, начальник пароходства Иван Булава останавливал флот и периодически угрожал эвенкийскому губернатору Боковикову, что повернёт нефтеналивы обратно, если округ не расплатится.

В округ снова было завезено недостаточно топлива, и ближе к весне 2001 года в Туре снова пошли веерные отключения. Туринцы, наученные горьким опытом прошлой зимы, к этой подошли во всеоружии: все с дровами, лампами, какими-то керогазами, газовыми печками. Я купил аккумуляторы к маленькому кухонному телевизору, раздобыл самодельное зарядное устройство, и когда гас свет (обычно через каждые несколько часов — на пару часов), их энергии хватало, чтобы посмотреть выпуски новостей и даже часть какого-нибудь фильма.

А сосед снизу где-то раздобыл громоздкую полевую дизельную электростанцию (в Туре же кое у кого появились даже миниатюрные импортные — японские, американские — бензиновые движки) и запихал её в контейнер, стоящий буквально под окнами дома. И как только гас свет, Олег выходил на улицу, с грохотом открывал контейнер и, светя себе фонариком, с полчаса возился в нём, гремя ключами и шипя паяльной лампой.

Наконец движок благодарно чихал и начинал громко тарахтеть и вонять на всю округу отработанной соляркой. Зато семья Олега час-полтора сидела со своим светом, пока в дом не возвращалась большая электроэнергия.

«Эвенкийская жизнь» в те дни из номера в номер рассказывала, сколько подвезли нефти и солярки из Байкита и Ванавары, Усть-Кута по автозимникам (всё это буквально с колёс сжигалось на дизельных электростанциях, в топках котельных), какой запас ГСМ ещё есть на нефтебазе и хватит ли его до весеннего каравана, ругалась по поводу того, что энергетики никак не борются с ловкачами, крадущими электроэнергию путём несанкционированного подключения так называемых «авариек» к магистральным сетям (ещё бы они боролись: многие энергетики сами воровали ток таким образом, существовала даже негласная такса на проброску кабелей от линий электропередач к отдельным квартирам или частным домам).

Мы честно сидели при свете керосиновой лампы (темнеть в Туре зимой начинает куда раньше, чем на материке, — сказывается близость полярного круга), пищу готовили на растапливаемой печи, разогревали её на маленькой корейской газовой печке. Холодильник же нам заменяло окно: небольшие пакеты с нарубленными кусками оленины и с рыбой, фаршем покоились между стёклами, а более солидные объёмы замороженных продуктов висели на улице за форточкой.

Человек ко всему приспосабливается! Особенно российский гражданин. И особенно — северянин!

Муки наши закончились с приходом к власти в округе губернатора Бориса Золотарёва, ставленника и бывшего топ-менеджера «ЮКОСа». У Михаила Ходорковского были большие планы на Эвенкию, и он не жалел денег, когда продвигал сюда своего человека. Бывший руководитель округа Александр Боковиков, растерявший все свои рейтинги за две прошедшие провальные для него и кошмарные для туринцев зимы, не стал выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, а благоразумно уступил Золотарёву.

Агитировать за него приезжал сам Ходорковский; он в красках и с ошеломляющими цифрами в руках расписывал, что ждёт Эвенкию в ближайшие несколько лет… Все перспективы связывались с нефтью: её запасы в Эвенкии не уступают западносибирским месторождениям, и никто не брался за них пока всерьёз потому, что они трудноизвлекаемы, требуют особого подхода, и ещё нет здесь никакой соответствующей инфраструктуры.

Ходорковский заверял, что Эвенкию ждут миллиардные инвестиции, и после строительства нефтепровода эвенкийская нефть буквально хлынет на внутренний и внешний рынки, и бюджет округа, естественно, перестанет зависеть от унизительных дотаций, а эвенкийцы заживут наконец на широкую ногу. Да мы бы за чёрта с рогами проголосовали, только бы наконец кто-то всерьёз взялся за эвенкийскую нефть. Так в округе утвердился губернатор Борис Николаевич Золотарёв.

И свершилось долгожданное чудо: впервые за последние годы в полном объёме были закуплены и завезены все энергоносители, и зима 2001–2002 годов прошла без отключений света. Дальше в Туре была построена центральная котельная с теплообменной системой, к которой были подключены и некоторые другие котельные поменьше, и проблемы с теплом в большинстве домов туринцев тоже ушли в прошлое. Мы это почувствовали по своей квартире: я уже мог ходить по квартире зимой в майке, хотя одна стена на кухне у окна в особо студёные дни промерзала насквозь. Оказалось потом, что это просто воробьи повыщипывали кое-где между брусьев уплотняющую паклю себе на строительство гнёзд — дом наш не был покрыт снаружи ни сухой штукатуркой, ни вагонкой.

Золотарёв также ещё успел построить в Туре целый посёлок из двухэтажных многоквартирных благоустроенных домов, в общей сложности больше чем на сотню квартир. Хотя и всего лишь сборные, однако из-за дорогостоящих коммуникаций, средств благоустройства в квартирах они стоили не меньше красноярских.

Конечно, бесплатно такое жильё никому не давали, но большую часть оплаты стоимости этих квартир в «царской деревне», как тут же окрестили туринцы новый микрорайон, брал на себя окружной бюджет. И мы имели возможность выкупить там «полуторку» — большую не давали, всё было распределено ещё на стадии строительства, — и покинуть свою частично благоустроенную трёхкомнатную квартиру. Но мы уже засобирались на материк, да и привыкли к своей большой квартире, которая благодаря нашим самостоятельным мерам (установка слива, ванны, крана для забора технической воды из системы отопления) стала относительно комфортной в условиях Туры, так что решили не дёргаться.

А ещё Туру — впервые за всю её историю — покрыли асфальтом, с улиц и дорог наконец исчезла эта вечная непролазная грязь. Зашевелилось строительство и в других населённых пунктах Эвенкии. Стремительно прошла компьютеризация округа, стало возрождаться оленеводство (за годы перестройки и последующих кризисных лет от эвенкийского тридцатитысячного стада к тому времени осталось всего две с небольшим тысячи голов домашних оленей — не видящие зарплаты оленеводы соревновались в пожирании этих бедных животных с расплодившимися волками, не отстреливаемыми годами также из-за безденежья). Оленей закупали на соседнем Ямале и завозили их в Эвенкию самолётами!

А самое главное — начали разворачиваться работы на нефтяных и газовых месторождениях. Короче, деньги в Эвенкию сыпались как из рога изобилия. Конечно, были у Золотарёва как у человека и как у руководителя определённые недостатки (покажите мне того человека, у кого их нет!), но ему всё прощалось за то, что он делал для Эвенкии. И, при мощной поддержке своего сюзерена, он сделал наверняка бы ещё больше. Но чёрт дёрнул Ходорковского ввязаться в политику…

Как только он оказался в кутузке за моментально найденные следственными органами экономические и просто уголовные преступления, разделались и с его компанией «ЮКОС».

И всё, лафа для Эвенкии кончилась — тех денег, что дождём сыпались на неё в течение нескольких лет, уже не стало. Перед округом опять замаячила безрадостная перспектива «полуголодного» существования на дотации из центра. И Золотарёв, до этого яростно выступавший против начавшейся кампании укрупнения регионов, круто развернулся на сто восемьдесят градусов и уже не только не препятствовал объединению Эвенкии с Красноярским краем в качестве муниципального района, но и способствовал ускорению этого процесса, что и произошло в 2005 году. За это федеральный

центр и край обещали эвенкийцам обеспечивать тот объём бюджета, который был достигнут при Золотарёве, и, надо отдать должное, слово своё они сдержали.

А мы со Светланой и с нашим котом Тёмой смогли выехать на материк лишь спустя шесть лет, уже не один год будучи пенсионерами. Замены нам не было, и мы все эти годы вместе со своими коллегами продолжали готовить выпуски уже не окружной, но районной газеты «Эвенкийская жизнь», рассказывающей обо всех происходящих в регионе преобразованиях и событиях.

Сейчас же я стал настоящим, неработающим пенсионером, и у меня появилось время, чтобы рассказать о том, что же происходило все эти годы под крышей моего дома—вернее, под крышами, поскольку их у меня случилось много,—и что это были за дома. Что я и сделал с большим удовольствием. Надеюсь, что похожее чувство испытал и ты, мой дорогой читатель, знакомясь с этими записками.

*120 лет со дня рождения* ∴ Д*и*Н антология

## Владимир Маяковский

# Братья-писатели

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я,—
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!

Сидите,
глазёнки в чаишко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы—
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причёсываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причёсанным быть
невозможно».

Евгений Мартынов

# Часы на цепочке

*…По берегам луг зальётся зелёным!*
Е. Казанцев

**1.**

Женька пришёл из школы раньше обычного времени: Ольга Михайловна заболела! Ребятня радовалась. От школы до учительского дома, в котором они — папка Андрей Александрович и братишка Вовка — недавно и поселились в одной из комнат, рукой подать — метров сто пятьдесят, не больше. Дом — одноэтажный, рублен в полдерева. Под железной, зелёного цвета, крышей. Приехали они в Боголюбовку из деревни Шараповка, что километров за пятнадцать отсюда, месяца два тому назад. Прежняя-то деревенька прижималась почти вплотную к Транссибирской магистрали, а от Боголюбовки до железной дороги — киселя хлебать, если вдруг надо! Там-то отец был учителем и, стало быть, классным руководителем выпускного четвёртого, а тут он — преподаватель математики и физики в пятых-шестых классах.

Вот уже и три месяца как скрежещет война. Фашисты нас теснят, гады. Два раза в военкомат, что на станции Марьяновка, уже отца вызывали, но «по семейным обстоятельствам» отпускали домой, давали отсрочку: двое мальчуганов на руках, полусирот, как это было принято говорить в те далёкие суровые времена.

Женька пришёл из школы и бросил свой клеёнчатый зелёный портфель на кровать. Все три кровати заправлены по-солдатски, с подхватом и напуском по фронту. Суконные одеяла — цвета хаки. С плавными разводами, напоминающими линии женского тела.

Присел. Покачался на подпружиненной сетке — и вдруг увидел на тумбочке, что возле окна, отцовские посеребрённые карманные часики, размерами как раз в ладошку, если без пальцев, конечно. Несколько уплощённая цепочка поблёскивала и змеилась, завораживала, гипнотизировала.

Это было удивительно, даже очень, так как отец никогда не расставался с любимцами, был к ним, казалось, более внимателен, чем к своим тётенькам-жёнам, которых к тому времени у него насчитывалось четыре и которых, поочерёдно, естественно, Женьке и Вовке приходилось звать мамами, потому что родная-то мамка у них давным-давно умерла. Но сейчас они жили одни, и это круто радовало: три мужика в одной комнате. Сурово, но здорово. Вот.

А Вовка ещё в школе, его ещё целых — тут Женька взглянул на часы в простенькие, шустренькие ходики — целых два урока не будет. Отец тоже на занятиях, но в здании, что немножко подальше, чем «корпус начальных классов». У него, у отца то есть, сегодня, судя по расписанию, прижатому (кнопками) к стене за столом сбоку, аж пять уроков!

«Так что ты, Женька, можешь быть спокойным, свободным и счастливым. Забот — никаких, делай что хочешь!.. Ура!» — мелькнуло в голове.

А на письменном столе, как уже было сказано, серебрились часики! Женька нередко, когда отец вытягивал их из кармашка, поглядывал — с гордостью за отца, но в то же время с личной немножко завистью: вот бы мне такие!.. Но трогать их, увы, строжайше не разрешалось, такое было недопустимо. Увы. Даже если и демонстрировал отец, как они действуют, тикают то есть и двигают стрелки, то уж только из собственных его, отцовских, рук! Редкие исключения, правда, были, но и тогда держал он их как пойманную синичку. Женьке удавалось поймать птичку, он везучий; поднесёшь такую, не сжимая кулака, к своему чуткому уху, а сердечко её: «Тик-тик-тик, тук-тук-тук…» — здорово!..

Сегодняшний рабочий день для Андрея Александровича с самого утра не заладился. Урок не выстраивался. Куда ни сунься — затычка. Тряпка пылит — не намочена, стало быть, кто бы позаботился. Мела на месте в желобке не оказалось. Не было его ни на полу около, ни на подоконнике, пришлось посылать мальчишку в учительскую, и, стало быть, педагог сумел показать свою неорганизованность. Это новенький-то! Задняя парта вставала на дыбы, почти в буквальном смысле. Пацаны тискали друг друга… Девчонки первого ряда ехидничали, потешались над неуклюжим, стеснительным отроком, что на параллельном ряду справа возле окон, и тайком налево и направо рассылали записочки…

— Петров!.. — окликнул учитель.

Как его звать, забыл: Андрей Александрович пока что не всех знал по имени, хотя фамилии

почти каждого освоил. А тут ещё, как назло, и часы забыл дома.

В начале каждого урока он, как правило, укладывал часы за громоздкий, из зелёного в крапинку недополированного малахита сорта «ширпотреб», чернильный прибор. Таким образом укладывал, что ученики не могли их видеть. Секундная стрелка тут была почти ни к чему, а вот минутная… стоила денег!.. По ней-то, в основном, и ориентировался, проводил в жизнь тактические ходы преподаватель… Строил, ваял, даже можно сказать, урок как основную категорию учебного процесса.

Залился хохотом латунный колокольчик, подавая пример, позвал на первую переменку.

В класс зашла директриса. Проворчала:
— Почему не проветривается помещение?..— и, как бы между прочим, сообщила: — Да, Андрей Александрович, хорошо, что вспомнила: вчера вечером звонили из районо. К нам в школу вот-вот должна подъехать методист. Придёт к вам на пятый урок по математике, в шестом классе, имейте в виду. О, да вы не волнуйтесь, Андрей Александрович, знания элементов высшей математики от вас не потребуют, а вот то, что положено по программе, уж тут извольте изложить, постарайтесь в полном объёме и доходчиво, пожалуйста.
— Спасибо, что заранее предупредили, Вера Георгиевна, буду готовиться,— неестественно улыбнулся учитель, услужливо открывая дверь и, таким образом, вполне естественно кланяясь.

Было понятно, что нового преподавателя решили проверить на соответствие занимаемой должности.

Теперь звонкий латунный колокольчик на своём болтливом язычке «накоротке» оповестил о начале уже большой перемены. Андрей Александрович заторопился домой за оставленными часами — без них учителю как без рук. Благо то, что учительский дом, где он проживал со своими двумя сынишками, был неподалёку — наискосок через дорогу.

— Странно, странно,— сказал отец.— Ты уже дома?!

Старший сын Женька был почему-то не в школе.
— Ты уже дома? — строго переспросил.
— Учительница заболела,— объявил Женька подозрительно виноватым голоском.
— Да?..

Но отцу, видно, некогда было разбираться в причинно-следственных тонкостях. Он целеустремлённо шагнул к письменному столу. Поднял за цепочку часы, опустил их на ладонь левой руки, нажал привычным движением кнопку, чтобы взглянуть на стрелки, крышка-то послушно откинулась… и обмер! Минутная была изуродована.
— Твоя работа?! — лицо отца потемнело.

Грубо повернул сынишку к себе мордашкой, но тот виновато отвернулся. Отец же, не проронив больше ни слова, уже не контролируя свои действия, крепко прищемил уши сына пальцами своих сильных волосатых рук, рывком поднял мальчишку так, что он стукнулся о потолок затылком. Сын развёл ручонки и осел возле его ног. Отец отпятился, резко развернулся и, оставив дверь неприкрытой, выскочил на улицу. Пошагал давать уроки.

Женька прикрыл уши ладошками, сделав их гнёздышками. Поднялся, сел на кровать. Обвёл комнату широко раскрытыми, остекленевшими от испуга заплаканными глазами. Слёзы лились рекой. Все вещи, и даже злосчастные карманные часы, спокойно, как ни в чём не бывало, находились на своих местах. Немо маячили ходики, почему-то не тикая, но так же, как и до этого, озадаченно отмахивали, отсчитывали прожитое. В ушах звенело.
— Вот тебе и журавль в небе!..— отца не было…

А Женька ведь не раз слышал от других взрослых, что отец его любит больше, чем Володьку… Просто они очень редко и помалу жили вместе, вот и весь туман, ясное небо.

Гнев у Андрея Александровича прошёл моментально. Голова «работала» чётко, прозорливо. Навалилось раскаяние. Страшно хотелось вернуть вспять события. Что-то предпринять, смягчить. Исправить. Но, увы, выбор был сделан, и даже как вроде и не им… Ничего не изменишь, не вернёшь.

Перемена ещё не кончилась. В коридоре его встретила учительница с красной накрахмаленной отглаженной повязкой на голой руке.
— Андрей Александрович, а я вас разыскиваю. Директор вызывает. Срочно к себе в кабинет,— сказала она.

«Ну вот, начинается»,— подумал учитель.

Директриса, строгая, русоволосая с гладкой причёской, с узенькими бледными губами под остреньким, чуть загнутым вниз носиком, женщина средних лет, сидела за своим продолговатым столом. Справа от неё, в углу между остальными, накрытыми зелёным сукном, и её «застеклённым» директорским, расположилась сама официальность — видимо, обещанный методист. Эта была женщина пышная, прикрашенная косметикой, но в меру. Она держала обеими руками перед собой на столе толстую папку.
— Садитесь,— предложила директриса, указывая на место за столом напротив гостьи и мельком на неё глянув.

Методист достала из папки необходимый документ…
— Андрей Александрович, я привезла вам,— мадам помедлила,— повестку. Была направлена в Шараповскую школу; видимо, военкомат почему-то не поставили в известность наши кадровики.

Она поднялась и через стол протянула бумажку размером в четверть тетрадного листка. Учитель протянул руку. Взял. Ёкнуло сердце и стало биться

определённо в режиме военного времени. Мелькнула мысль: «Всё к одному». Поднялся, выпрямился до лёгкого хруста в позвоночнике, одёрнул и оправил гимнастёрку.

— Ну вот! — вырвалось. Он оставался единственным мужчиной в школе, если не считать сторожа дядю Петю, глубоко глуховатого старика. — Ну что ж, всё понятно.

А понятно ему стало вдруг то, что на этот раз его, Казанцева Андрея Александровича, 1908 года рождения, обязательно призовут; причины, выставляемые им, окажутся неубедительными, и разумнее будет ему, пожалуй, сделать опережающий выпад, яснее — объявить себя добровольцем. Ведь это была третья повестка за три месяца войны. Надо принимать во внимание и лицевую, и оборотную сторону медали, он — согласен. Дела на фронтах были плохи. И сколько можно дёргаться… с одной стороны, а с другой — сколько можно допускать поблажки?..

— Вы не беспокойтесь, Андрей Александрович, — взволновалась директриса, войдя в положение, — о ребятишках ваших мы побеспокоимся, колхоз, наверное, кому-то их подселит. А там, поговаривают, — она, взглянув на представительницу районо, поправилась, — решается вопрос, меня уже вынуждают отдать два помещения, вопрос об открытии в нашем селе детдома.

— Да, оставленных детей по району становится всё больше, — констатировала методист.

И обе понимающе, как по команде, вздохнули.

— Вот именно — «подселят», — усмехнулся учитель, зациклившись на слове «подселят», живо представляя картинку предстоящего мероприятия.

— Вы когда возвращаетесь, завтра? — спросил он, посмотрев на приезжую. — Извините, не знаю, как вас звать.

— Ничего страшного. Нет, сегодня же и уезжаю, дорогой Андрей Александрович. Велели — сегодня. Рада бы, но…

— На нет — суда нет. В таком случае — разрешите идти?

Женщины смущённо улыбнулись. Обмякли как-то. Вдруг стали понежнее, не такие казённые, как казалось.

Дела-заботы его завертели. Надо было успеть самому поговорить с председателем колхоза, с учительницами сыновей, с соседями по дому… А завтра рано-рано утром он должен отшагать, если не случится оказия, конечно, двенадцать километров до районного центра, благо погода установилась — бабье же лето!.. Чувства, чувства…

…А уши горели.

— Ты меня слышишь, Женя? Не слышит. Почему-то не слышит, — сказал сам себе Вовка, вернувшись из школы. — Ты что, не слышишь?.. Поесть нечего, что ли?..

Боль за ушами утихала.

— Смотри-ка, кровь у тебя ползёт по шее! — посочувствовал братишка.

— Я и сам, Вовочка, знаю!

— Жень, может, вазелином смазать?

— Думаешь, не так больно будет?..

— А ты что, носом в чернильницу лазил, а? В зеркало взгляни.

Оба захохотали. Женька — сквозь непрошеные слёзы. Детство есть детство. Он распахнул самодельный деревянный некрашеный шкафчик для посуды — что-нибудь собрать поесть. Отца всё не было.

Женька проснулся от прикосновения к своему плечу под одеялом руки отца. Тот стоял возле кровати и был уже собран в дорогу.

— Сынок, я пошагал, а вы спите себе: провожай не провожай, а расставаться придётся.

Женька всё вспомнил. Резко сел на кровати, сдвинул одеяло к ногам и твёрдо сказал:

— Подожди, папка, я — сейчас, я пойду!..

И стал натягивать брючишки, поглядывая на отца: не уйдёт ли?.. Он не хотел верить, что тот оставит их надолго, ему хотелось, чтобы он вернулся, как и до этого, и всё тут. Но сердце не обманешь, он понимал, он начинал понимать…

Вчера вечером отец пришёл поздно. Стало темнеть, и хозяйки, молодые учительницы, уже разнесли по своим комнатам сваренные незамысловатые деревенские кушанья. Сыновья встретили отца на улице и поочерёдно, в шеренгу по одному, зашли в комнату. Светёлка на одно широкое окно, до которого от двери метров шесть, пожалуй, будет. Ходики-часы — на пол-одиннадцатого показывали. Справа от двери — по-летнему холодная печь-плита, заставленная, однако, закопчёнными кастрюлями и чугунками, а также эмалированными тарелками. Бачок под питьевую воду, ванна и умывальник — всем своё место. К стенам прижимаются предметы мебели: «железные» односпальные кровати, скрипучие, с провисшими, как животы у свиноматок перед опоросом, сетками. Справа — одна подростковая кровать, это Вовкина, слева — две взрослых. Возле каждой — по тумбочке. Письменный стол для мальчишек покрыт бледно-зелёной, заляпанной синими чернилами клеёнкой. Кляксы бледные, правда, притёрты золой. Мебель и утварь — казённые, школьные, взятые напрокат у завхоза. Вот сундук, что в красном углу комнаты, объёмистый, окованный, с внутренним замком, большой фасонный ключ от которого хранился под тем же сундуком «с добром», — их собственность. Их семейная гордость.

— Вы хоть поужинали? — поинтересовался отец.

— Картошки в мундирах сварили. Поели с постным солёным маслом и ржаным хлебом, чаю с сахаром попили, — доложил Женька.

— Ну, молодцы, ладно. Привыкайте к самостоятельности, теперь уже основательно привыкайте,— таинственно произнёс отец.

Он прошёл к столу и, не оборачиваясь, досказал:
— А у меня новость, ребятишки: в военкомат вызывают, вот — повестка.

Мальчишки подошли к столу, один — справа, другой — слева… Володьку это сообщение не тронуло, потому что такое уже было, его не обманешь, а Женька забеспокоился…

Среди ночи, когда Женьку уже одолевала дремота, а Вовка уже похрапывал, отец позвал Женьку к себе под одеяло. Это было впервые. Сынишка прижался к отцу и сдвинул своё тело так, что ступни ног оказались на одном уровне; но это его не устроило, тогда он передвинул себя, ногами, локтями и лопатками. Лица их теперь оказались на одной подушке. Стало слышно дыхание друг друга. Потревожив свои распухшие уши, нечаянно ойкнул. Отец прижал сына к себе… Женька чуть было не заплакал, но сдержался…
— Я же, папка, тогда хотел только подвести твои часики, потому что они отставали от ходиков на пять минут! Я повертел в руках твои часы, думал, кнопочка какая есть, чтобы передвинуть-то стрелку, а не нашёл. Тогда я и подумал, что, значит, наверное, как настенные можно подвести, за большую стрелку то есть, пап… я же не знал…
— Разве же я тебе не показывал? Да и уследить бы уже мог сам. Что у тебя до сих пор умишко-то такой плоский?.. Вот, смотри,— сказал он шёпотом.

Тут отец отвернул одеяло к стене и сбросил босые ноги с кровати. В кальсонах и рубахе навыпуск, от каждой ноги снизу у щиколоток волочились беленькие подвязки, как будто «усы», когда бредёшь по мелководью. Подошёл к столу, дотянулся до своих часов и стянул их с тумбочки за цепочку. Длинноногий, как журавлёнок, загорелый до тёмно-шоколадного цвета, Женька, в тёмно-синих трусиках, подбежал на цыпочках мелкими шажками и стал рядом. Оба черноволосые. Отец кудрявый, Женька стрижен под машинку, но коротенькая прямая чёлка оставлена!.. Полнолунье. Голубой таинственный свет проникал сквозь широкое окно.
— Вот, смотри,— с присвистом шепчет отец, боясь разбудить Володьку. Часы лежат на левой его ладони.— Как заводить, надеюсь, ты знаешь. А чтобы переместить стрелки, нужно вот так оттянуть на себя это колёсико в рубчиках и тогда поворачивать его, смещая подушечки большого и указательного пальцев. Видишь? Понял? Всё очень просто…

Женька молча кивает.

Они присели на табуретки возле стола и ещё долго тогда говорили.
— Ладно, ложимся спать, а то Вову разбудим. Утро вечера мудреней.

Разошлись по своим кроватям.

— Я тоже пойду провожать! — пробурчал упрямец и стал суетиться, поглядывая на старших: как бы не отказали.
— Ну давай,— согласился отец и присел на свою заправленную строго по-казённому, с «подтыком», кровать, поджидая, пока сыновья соберутся. Встал было, но снова опустился, сказав: — Теперь садитесь, ребята, посидим перед дорогой, она, видимо, будет долгой и трудной и для вас, и для меня тоже. Да, чуть не забыл. Женя, часы свои карманные оставляю. Слышишь, если не вернусь, они — твои, Женька. Они на этажерке, на верхней полочке.

Вовка засопел — ему тоже хотелось такие часики, пусть хоть и без обеих стрелок…

Вышли в неогороженный двор учительского дома. Жильцы, молодые преподаватели, ещё спали, но деревня давно бодрствовала. Вот хозяйка поторапливает хворостинкой свою косолапую коровёнку с пустым выменем. Пастух отпустил стадо и готов принять Пеструху в объятья толстого верёвочного кнута, что свешивается с плеча. Мужик-пастух — средних лет. Похрамывает. Длинный ремённый хлыстик волочится по пыльной дороге и ждёт команды… Приближались к общественному действующему колодцу. Женщина с полными вёдрами воды на коромысле всё вдруг поняла, замедлила шаги, остановилась.
— Проходите, проходите, мои хорошие. Дай вам Бог, солдатик, вернуться живыми, здоровыми. Дай-то Бог, не буду переходить вам дорожку, проходите.

Деревня Боголюбовка — украинская. Здесь обращаются друг к другу вежливо — только на «вы». Так здесь принято.

Дошли до околицы и вклинились в берёзовый колок. Солнышко приподнималось, как бы загибаясь на ясное, по-разному голубое небо. Щебетали птицы. Молча, целенаправленно, как мина, пролетела над ними, но в обратную сторону, в деревню, сорока. Семья шла во всю ширину дороги, взявшись за руки, и тоже молчала, покачивая в такт ходьбе цепочкой рук. Отец посредине, Женька — слева по ходу, Володька — справа. Отец поглядывал на сыновей, сынишки бросали взгляд вверх на отца. У отца за плечами послушник-вещмешок…

Вот и шоссе, «профиль», как тут его называют, до самой Марьяновки.
— Ну, довольно, Вова, Женя. Надо торопиться, а то, глядишь, и не успею к сроку.

Отец остановился, сыновья обогнули его, как бы преграждая путь. Стали друг перед другом. Дорога была пуста.
— Ну что вы?..

Русоволосый Вовка тёр казанками пухлых кулачков свои огромные глаза. Смуглый, черноголовый, в отца, Женька, его любимец, со срастающимися (как он ни старался выщипывать волосики

на вечно припухшей переносице) длинными и широкими чёрными бровями, откровенно плакал. Слёзы катились ручьём по его и так-то смуглым, да ещё и загорелым щекам.

— Тоже мне, мужички мои,— снисходительно и сочувственно подтрунивал отец и присел возле Вовки.

Приподнял его за локти, коротко поцеловал и поставил на ноги.

— Слушайся Женю, Вова. А ты, сын мой старший, береги брата,— несколько высокопарно (отпечаток профессии) сказал отец.

— Может, вернёшься, папа? Может, отпустят?

— Может, но — нет, теперь — навряд ли. Два раза давали отсрочку, теперь, чувствую, возьмут. Так что, как я тебе и говорил, ты остаёшься здесь за старшего, Женя,— отец помедлил и спросил:— Понял?

Женька кивнул.

— Вова, и ты понял всё?

Тот опустил голову и засопел.

— Ну вот и довольно,— отец отстранил сыновей.

Выпрямился, пошевелил плечами, устанавливая таким образом вещмешок поудобней в трошне — в желобке на спине то есть. Ещё раз посмотрел на сыновей. Опустил, как-то напряжённо сдвинул тяжёлые брови, стиснул зубы, сморщился и, резко отвернувшись, пошагал по накатанному «профилю», не оборачиваясь. Так и не обернулся. Ни разу. Ребятишки стояли и смотрели вслед, махали руками.

— Пойдём Вова,— сказал Женька, когда отец исчез за поворотом.— А за часы ты на папку не обижайся,— он положил ладонь на плечо братишки.— Пусть часики будут нашими общими. Ладно?

Вовка взглянул на «старшего», заулыбался и взял его за руку… Так они и вошли в деревню…

Вечером, после уроков, Женька три раза, как паучок, вскарабкивался, громыхая кровельной жестью,— гром при ясном небе!— на крышу по углу дома и подолгу смотрел вдаль на дорогу. Глядел и при оседающем солнце, как пограничник, из-под ладони. Всё ждал, не вернётся ли папка. Лазил и на следующий день. И ещё через день ждал — пока, наконец, до него не дошло, что отца забрали… Да и прибавившиеся заботы, свалившаяся ответственность — собирать брата в школу, самому учить уроки, готовить еду — понемногу отвлекли, оттеснили… Продукты ещё не вышли. Прибирать в комнате, и Вовку заставлять тоже, да мало ли что ещё.

## 2.

Пронеслись, как утки над озером в деревне, три года учёбы в аэроклубе, как один месяц-планер. Налетал все положенные по программе часы, исполнил предписанные прыжки с неба на грешную землю. Вот уже и всем бывшим — теперь уже бывшим!— курсантам присвоено звание младшего лейтенанта, а пятерым, в их числе и Артёму,— летай выше — полного лейтенанта! Предстоит недельный отпуск, получение техники, и, как говорят, «своим ходом» — на фронт. А уж когда — это военная тайна. Старший брат Леонид был уже на фронте. Он — капитан медицинской службы. Госпиталь его — где-то под Москвой. Настроение Артёма было приподнятое, как и надлежит. Замирало сердце, как при исполнении «мёртвой петли»…

На попутной грузовой, оборудованной для перевозки личного состава машине, в кузове, перемахнул по понтонному, качающемуся, как будто в Хабаровском затоне на плавбазе во время шторма, мосту. Переехал с левого берега Иртыша, где располагались аэродром и клуб — училище, ещё не полное, но уже и не клуб. Пересел на трамвай и покатил по чугунным рельсам на улицу Орджоникидзе, домой, к отцу и матери, к сёстрам. Дремать не приходилось — надо было козырять. Последние дни учёбы и день теперешний, конечно, воспринимались особенно остро, щепетильно как-то, впечатляюще даже.

И вот Артём, в форме лётчика Красной Армии, вошёл в ограду большого, рубленного из как бы воронёных, покрывшихся от времени патиной, ровных, одинакового диаметра, брёвен старинного дома (какого-то, видимо, мещанина в прошлом — умели же строить!). Одну половину этого крестового дома занимала его семья. Первым встретил Артёма и громко поздравил дружеским лаем друг детства — старый привязчивый цепной пёс Рекс. Отмахнувшись от его объятий, лейтенант зашёл за сенник. Приблизился к умывальнику. Сполоснул руки. Достал из кармана брюк аккуратно сложенный отглаженный платочек и расчёску. Вытерев руки, он причесал чёлку и оправил гимнастёрку. Ощупал свежий белоснежный подворотничок и застегнул гимнастёрку на все медные надраенные выпуклые пуговки со звёздочками. Сапоги блестели на загляденье. И вот он уже раскрывает последнюю дверь, ведущую в комнату-кухню.

— Здравствуйте!— сказал Артём.

Отец, лет сорока пяти, среднего роста, но богатырского сложения, сидит за столом и читает письмецо. Семья, видимо, только что отобедала. Но ни матери, ни сестёр уже нет дома.

Отец, Борис Андреевич, медленно поднял голову. Только что прочитанное письмо от младшего брата Андрея, написанное убористым почерком химическим карандашом, коробится, тщетно пытается самостоятельно свернуться-сгруппироваться в назначенный автором треугольник.

Отец глядит на сына. Внимательно, пристально, продолжительно. Таким, в командирской форме, он его видел впервые.

Как быстро летит время! Как бывший старшина первой статьи, моряк Амурской флотилии, отец знал толк в армейской выправке, понимал

тонкости службы. Сопоставляя обе среды, обе стихии—небо и «кривое море»,—разом помолодел на четверть века, но всё же медленно вылез из-за стола, степенно выпятил грудь богатырскую и, подавая сыну руку, молвил:

— Ну-ка, ну-ка повернись... Ну, хорош. Ладный.

Было обрадовался, да вдруг как-то сразу погрустнел, опустил плечи.

— По старым временам, стало быть, офицер. В нашем военно-морском флоте кортик положен был, а тут... не вижу.

Задумался.

Борис Александрович—человек степенный. Говорит медленно, обстоятельно. Если ест, скажем, хлеб, то жуёт долго, пока пятьдесят жевков не сделает—не проглотит. Мудрость буддийскую на вооружение взял: информация через пограничный Амур-батюшку тогда просачивалась.

— От кого это, тятя?—спросил Артём, дотягиваясь до письма и догадываясь: почерк уж больно знакомый.

— От Андрея, брата, дяди твоего, видишь. Его призвали, пишет, на днях на фронт, тоже, как и Леонида, отправят. Уже в вагоне, поди, трясётся.

Борис Андреевич сдвинул письмо на край стола и, ущемив его толстенными сильными пальцами, протянул сыну.

— Да что пересказывать—на, прочитай, всё и поймёшь.

Артём повесил форменную фуражку на свободный крючок у двери и углубился за обеденный стол на своё законное место—в углу над божницей.

— Есть будешь?—спросил отец и направился было в куть, в уголок такой, там всякая посуда, залавок, там пекут бабы, там стряпают...

— Угу,—буркнул сын—Да я сам, тятя, ты не тревожься, найду что...

Уронил голову на скрещённые руки. Минуту побыл вот в такой задумчивой позе. Поднял голову и, как бы очнувшись, сказал, недоговаривая предложения:

— Я, пожалуй, к ребятне, тятя. Завтра. Нет,—он встал и прошёл в горницу взглянуть на часы,—прямо сейчас, пожалуй, и пойду, вот только перекушу разве что. Уеду в свой клуб (назвал учебное заведение ещё по-старому, по привычке, хотя гражданский клуб уже успели переквалифицировать в военное училище), там переночую. Тятя, ты слышишь?.. Кажется, как раз завтра и, кстати, почему и тороплюсь-то, в те края, за запчастями, рано утром идёт наша машина. Вернусь на следующий день. На ветке. Женьке-то—всего десять, тятя!.. Хоть он и смышлёный мальчишка, да ведь всего-то... А Вовке—семь, наверное, будет. В четырёх стенах, на новом-то месте—представляешь? А на дворе вот-вот—и белые мухи.

Артём посмотрел в окно. Светило солнце. Отец молчал, сопел и вслух стал думать:

— Оно, конечно, хоть и жалко,—опять помедлил,—отпускать тебя сегодня прямо, да там ведь тоже свои, родня близкая. Ты, Артём, прав, выходит. А отпускать сегодня всё равно жалко. Что ты тут со мной поделаешь—жалко, и всё.

Помолчали.

— Ладно, поезжай, навести. Ох уж обрадуются братья. Они тебя любят, Артём.

Сын, пригибая голову с короткой русоволосой чёлочкой, перешагнул порожек над косяком двери в горницу. А в этой светёлке всё было как в той, деревенской, в их собственном доме. В доме, где Артём вырос, с которым связано столько интересного всякого, что и ни в сказке сказать, ни пером описать. Горница—с «пагодами» подушек в белоснежных наволочках. Взбитые подушки, возвышаясь, уменьшаются в размерах. Они накрыты кружевными фатами, пуховые—на широкой деревянной кровати, под пышной, пуховой тоже, периной, застеленной ватным одеялом в пододеяльнике с фасонным вырезом в виде сердечка, атласно-красного, окаймлённого белыми кружевами тонкой ручной работы. На стене напротив двери вознесены под самый потолок большие старинные часы, квадратной формы, с двойным, разных мелодий, боем, уведомляющим, что прошло полчаса. Они движимы увесистыми гирями, формы стилизованных еловых шишек, на цепочке, отполированной нескончаемым временем совместной работы—их и шестерёнок, да храповиков. Артём подошёл к часам, поднял голову, посмотрел, подумал, может, вспоминая и приобщая свою судьбу к их настенной судьбине. Может, вдруг задумался над судьбой раскулаченного деда, покойничка, и умершей там, за Васюганскими болотами, своей бабушки. Очнулся и подтянул под самый квадратный «подбородок» часов обе гири. Пора уходить. Действовать.

— Тятя, а где мама-то?

— На базар уехала, творог да сметаны немножко продать решила, денег выручить. А Таня должна вот-вот подойти, а Валентина в отъезде, ты знаешь.

— Тогда давай с тобой сами, тятя, соберём что-нибудь на гостинцы ребятишкам.

Пошарили по закуткам, «поскребли»... Артём слазил в погреб. Собрали гостинцы. По банке огурцов да груздей, в деревне набранных, ватрушек, маслица сливочного фунта два. Сала свиного.

— Ну и ладно, тятя. Да я ещё свой сухой паёк получу—отвезу.

На том и остановились. Артём загрузил свой вещмешок. Хоть и не совсем прилично свежеиспечённому, «блестящему» лейтенанту с вещмешком-то на спине по городу, да ведь война—не парад.

Внутри ограды еле отлепил от себя преданного, в благодарность за внимание и заботу, пожалуй, сидящего на подвижной «прикольцованной» цепи Рекса.

Снаружи возле калитки, что врезана в одну из двух створок широких, из плотно пригнанных друг к дружке тёмно-сизых досок, ворот, тут, на узком деревянном тротуаре, вдруг встретились с сестрёнкой Таней, ученицей четвёртого класса. Обнялись: давненько не виделись.

— Ты пришёл или уходишь, Артём?—спросила сестрёнка тоненьким голоском, глядя на него большими карими глазами.

Выслушав басовитое объяснение, опустила руки. Расстроилась, но, что-то такое осознав, успокоилась.—Передай привет от меня и Жене, и Вовке.

Артём обещал.

— Я бы Жене куклу тряпичную, его любимую, подарила, да он обидится.

Так и расстались.

Звонок!.. Колокольчик бронзой оловянистой заливается. (Если почистить—она с розоватым оттенком.) Хохочут любопытные мальчишки. Опустел и широкий коридор, разделяющий здание на два класса. В торце, на три шага от окна, водружены две разные половинки толстенных «домен»—двух печей-голландок, обогревающих зимой оба начальных класса. Дверцы топок, что напротив друг друга, намертво задраены, как кингстоны у корабля.

Начался второй урок—помнится, по истории. Вошла учительница.

— Успокоились,—тихо сказала Ольга Михайловна, молоденькая красавица, строгая, с густыми русыми волосами, закрученными сзади, на затылке, в большой тугой узел. Молвила врастяжку приятным тихим, но властным голосом:—Тишина.

Все встали. В классе бесстыже нарушала тишину муха. Смешила.

— Теперь подойдём к карте и обсудим фронтовые новости,—вздохнула, так как порадовать любимую ребятню, ни будущих солдат, ни будущих солдаток, было нечем.—Кто у нас сегодня докладчик?..

В дверь постучали. Мальчишки и девчонки повернули головы. Учительница приоткрыла высокую створку, выкрашенную в цвет слоновой кости, и в узкую щёлку ускользнула боком в коридор, поворачиваясь... Вернулась в класс и сообщила:

— Женя Казанцев, собирай свои книжки-тетрадки, иди домой. Тихо, тихо, ребята! Тихо, кому сказала!..—повысила она голос и покраснела.

— Тебе повезло!—позавидовал Петька, сосед по парте.

Обняв Артёма, Женька вдруг... заплакал. Плакать—это была его слабость.

Пошли выручать младшего.

И Вовка тоже не поверил своим глазищам. Но они, глаза его тёмно-бирюзовые, сверкали радостным испугом. Не плакали.

— Артём! Пришёл?!—прошептал как-то свистяще, повис на шее своего любимца.—Я так и знал, я так тебя ждал, Артёмка,—прижимался он своей горячей розовой щекой к его щеке, уже чуть-чуть колючей.—Я так тебя ждал, Артём, и сегодня даже во сне тебя видел, правда-правда видел тебя сегодня во сне... и ты пришёл!..

— Ну, показывайте, где живёте.

Пошагали счастливчики—и Артём посредине. Артём—в форме лётчика Красной Армии! Младшим братьям—и Женьке, и Вовке—даже не верилось. Посудите сами: на голове Артёма высокая фуражка с небольшим, чуть побольше, чем у «нахимовки», лакированным блестящим чёрным козырьком под тоже блестящим узеньким ремешком, посредине которого, по центру, на широком околыше—ободке, плотно облегающем голову,—витая кокарда! Кокарда—с Вовкину ладошку будет. Она из золотистого цвета мишуры. А ещё выше, под широким полем фуражки,—гордость воздушного флота—знаменитые «крылышки» в распахнутом виде! На широком отложном воротнике диагоналевой гимнастёрки защитного цвета—суконный, голубой, как небо, лацкан. Он окаймлён белой тесёмкой. На каждом лацкане—по красному эмалированному блестящему кубику! Они, эти самые кубики, сообщают, что звание у владельца—лейтенант!.. Ещё на каждом лацкане—по «крылышку» тоже. Всё это вместе взятое, безусловно, радовало братишек. Они поглядывали снизу вверх на командира, их двоюродного брата, и улыбались до самых ушей. И Вовка, и Женька.

Так что сегодняшний день был для них настоящим праздником.

Артём выгрузил из своего вещмешка в шкаф и тумбочку весь свой, наверное, недельный, сухой паёк и домашние гостинцы тоже. Там были и краковская колбаса, и шпроты, и другие консервы всякие, и сайки, и масло, и сахар, и пряники!..

— Ну, живём!—воскликнул Женька, а Вовка протянул руку за печеньем, не удержался.

Продукты-то у братиков-кроликов были на исходе.

И время полетело... Решили не суетиться возле общей плиты в ограде, а по-военному быстро собраться и отправиться в лесок, благо он был неподалёку, развести костерок. Сварить чай, испечь картошки, пожарить шашлыков—не жизнь, а сказка!.. Сказано—сделано.

— Летим!..—сказал Артём.—Есть у вас излюбленное местечко, наверное, поблизости?

Женька и Вовка переглянулись. Решили идти к старому заброшенному колодцу в берёзовом леске за Вовкиным классом. Бидончик воды на чай прихватили, ну и всё остальное необходимое, конечно; само собой, и гостинцы тоже. Выборочно, не всё сразу. В колодце вода не питьевая, жёсткая, солоноватая. Он давно «позабыт, позаброшен», как в песне поётся,—сирота, в общем.

По пути Артём заходил в классы, разговаривал с учительницами. Идти к председателю колхоза

они ему рассоветовали. Сказали, что совсем скоро братишек определят к «старику со старушкой». Временно определят, на три месяца пока. А потом—в другую семью, и так далее. Так обещают, по крайней мере… Не жизнь, а малина к предстоящему чаю вдобавок, к ароматному клубничному варенью. А вот к весне вроде как даже детдом здесь, в Боголюбовке, откроют!.. Перспектива.

Погода стояла сухая. Хворост валялся под ногами. Быстро организовали высокий лёгенький костерок. Вскоре замелькало его бледненькое при солнечном свете, но очень жгучее и весёлое пламя! Зашипели головешки: всплеснулась, закипев, вода для чая.

Заварили. Когда углей стало достаточно много, загрузили картошечку. Окучили. Сплотили раздёрганные было головёшки, и костерок продолжил свою немую радостную болтовню. Судьба благоволила. Языки прищёлкивали. «Охотники» расположились, расстелив «скатерть-самобранку». Уминали пищу, поглядывая друг на друга и на окружающую благодать. Картошку печёную выкатывали и ели, обжигаясь, катая в ладошках и дуя на неё—остужали, не терпелось. Заострёнными палочками доставали груздочки, похрустывали. Загораживались ладошками от костра. Щурились от надоедливого дымка. Комаров не было—отошли, уснули на зиму. Попили чаю с домашним клубничным вареньем.

— А помнишь, Артём, ты меня учил в деревне свистки делать?—спросил Женька, пригибая ветку талового куста, нависавшего над ним.—Я с тех пор их умею и сам. Не веришь?

— За чем дело стало?—улыбнулся Артём и подал Женьке свой козырный складень со столовым набором первой необходимости.—Вот—нож, сгибай подходящую таловую ветку. Теперь как раз время второго осеннего сокодвижения, кора сойдёт легко, так что берись и… на старт!.. Заодно, смотришь, и Володя научится свистки ладить.

Женьку заело. А Артём лежал и почёсывал затылок. Форменная фуражка висела на пенёчке под берёзой.

— И сделаю!—сказал Женька, отстраняя ножик Артёма.

Вытянул за верёвочку из кармана свой ножичек, смастерённый из резца сенокосилки, самодельный то есть. Он хоть и неказистый на вид, но зато острый и в ножнах!

Взглянув на Артёма, Женька вдруг тоже расплылся в улыбке: вспомнил, что во время первого-то сокодвижения, с марта и до самого лета, и так-то добродушное лицо форменного лейтенанта покрывается рассеянными весёлыми веснушками!.. Жалко, что теперь осень, а то бы посмотрели сами. Да нет, нет, теперь Артём уже не тот давнишний мальчишка-подросток, конечно, который был разве что чуть-чуть постарше теперешнего его, Женьки. Артём-лейтенант—выше среднего роста, крепко сложённый и… и всё же, как и прежде, свой. Добродушный, родной, отзывчивый.

— Ну, так, начали…

Встав поудобней, Женька уверенно срезал подходящий таловый прут, махом сostругнул сучочки и продолговатые, уже пожелтевшие листики. Отчленил лишний хлыст и отдал его Вовке, который изучал складной ножик Артёма. Толстенький кончик оставленного коротыша, длиной со съёмное стекло семилинейной лампы, срезал наискосок. Отступив на ширину своей ладони, немножко даже побольше, прорезал кору вкруговую, прокатав прутик на пеньке, что был неподалёку… Володька—в Артёмовой фуражке, она ему, как ни странно, почти в самый раз. А на Женькиной голове свободно вращалась—примерял. Тут Вовка стал внимательнее следить за действиями брата и при этом вольно остругивал прутик. Командир тоже мельком посматривал, что там делает Женька, и жарил шашлычки из колбаски; запах сбивал прикладника с толку, но тот упорствовал.

— Ну давай, давай, Женя,—поторапливал Володя.

Когда свисток был готов, мастеровой настолько был уверен в себе, что, не попробовав сам, отдал поделку лётчику.

— Ну, возьми, Артём!..

Раздался оглушительный свист. Счастливый Женька заткнул поджившие уши пальцами и раскатисто засмеялся, выказывая ослепительно-белые, ровные, но, увы, редкие зубы. И вовсе неправда, что он был врунишка!

— Дай, дай—я!..—дёргал Артёма за руку Вова.

— Допустим, что экзамен выдержал,—похвалил Артём, уступая свисток младшему.

«Напробовались», насытились, напились чаю…

— А ты давно был в Аксёново?—спросил вдруг Женька.

— Прошлым летом.

— А дом ваш ещё живой, стоит?

Невольно задел, знать, за больное место, потому что Артём нахмурился вдруг: похоже, до сих пор не мог смириться с тем, что они тогда, уже давно, продали дом в деревне и переехали жить в Омск. Как ему тогда не хотелось уезжать! Кто бы знал. До сих пор озеро, роща, поля, заливные луга—перед его глазами.

— Почернел, покосился немного, но стоит,—наконец заговорил Артём.—Посмотрел на него, родимого, со стороны, но в ограду не заходил. Я у нашей тётки Дарьи остановился тогда… И нашего деда дом крестовый тоже стоит себе. Там теперь колхозная контора.

— А ещё, знаешь, Артём, я помню колодец в вашей ограде, а над ним журавль, не взаправдашний, конечно, деревянный, склонился. Высоченный такой, сутулый. А на шесте его ещё пустое ведро прицеплено тугой защёлкой—не расщепишь. Болтается

ведро — зависло. А на шее этой птицы-великана, ты, наверно, не знаешь, дупло, а в том дупле воробей и воробьиха птенцов выпарили, а потом часто к нему подлетали с дождевыми червяками в клюве, как лапша на ложке! Птенцов своих кормили. А мы с Танюшкой ещё бегали смотреть на этих смешных, суетливых воробьёв! И всё ждали: когда же воробьята подрастут и вылетят! А один полуголый птенец потом всё-таки выпал и чуть не разбился. А воробьи плакали, помощи просили, а журавль спокойно наблюдал. А ты, Артём… а ты помнишь, Артём? А, вспомнил, вспомнил: ты, значит, знаешь! Ты, Артём пришёл и подобрал воробьёнка! И не дал ещё нам подержать желторотого в руках, а запихал глупого снова в дупло, и тогда взрослые воробьи успокоились… А в глубине крапивных зарослей синички-гаечки гнёздышко свили, помню.
— Это-то ты помнишь, — смеётся Артём. — А не помнишь ли ты, Женя, как с Таней в куклы играл? Кстати, совсем было забыл, она вам обоим привет передавала. Слышишь, Вова?

Вовка мастерил свисток, высунув язык. Это была тоже его привычка.
— Понятно, что помню тоже, — ответил Женька. — У нас с Таней их в углу целая коммуна была… Я даже помню, как она однажды ночью с полатей свалилась, шлёпнулась, — продолжал Женька.

Привязалось к нему это словечко — «тоже» — сегодня.

Артём заулыбался:
— Её тогда спасло то, что она была сонная, расслабленная, стало быть, а во-вторых, что она упала вместе с большой пуховой подушкой, а так бы…

Ещё Женька любил тогда в деревне ночью перед сном выйти на крыльцо и долго-долго смотреть на звёзды, на полную луну или на месяц старый, а то и на только что народившийся. Собаки залают — и снова тишина, глубокая-глубокая…

«Женя, ты где там пропадаешь? — скажет, бывало, тётя Тая, Танюшкина мама. — Пора спать». А уходить не хочется. На улице ещё душновато, а с озера тянет прохладой. На лавочке за оградой, за высоким плотным забором — наверняка, Женька это точно знает, влюблённая парочка. Целуются, наверное… И вдруг заиграет гармошка!.. девки песню запоют… такая благодать…
— Артём, а ты Бога видел на небе?
— Не встречал. А что?
— Как это что? — удивился Женька. — Всё так загадочно… Вокруг Аксёново — озёра, а здесь нет, если не посчитать за озеро огромную лужу километра за два от Боголюбовки. В нём, чтобы по горло в воду углубиться, нужно с полкилометра идти-хлюпать… — Женька вздохнул, сокрушаясь.
— Правда-правда! — подтвердил и Володя, прислушиваясь к разговору.
— И здесь почему-то по ночам ни гармонь не играет, ни девчата не поют, — продолжал Женька.
— Теперь и в нашей деревне, в Аксёново, поди, не поют. Разве что бабы голосят.
— Это уж точно. Здесь — они тоже голосят, — согласился Женька. — Ты, значит, скоро на фронт?
— Да, Женя, да, Вова, наверное. А когда — это военная тайна. Стихи-то сочиняешь, а, Жень?
— Бывает. Но только я их не записываю, Артёмка, и не запоминаю. Это так, баловство. Они — будто с неба сваливаются, сами как-то…
— Ну и правильно. Всему своё время. А сейчас прямо — сможешь?
— Может, и смогу, — Женька посмотрел вверх, помолчал и выдал: — Тогда слушайте. Вот представьте себе, что вы…

На озере

Притаись
И не дыши!.. —
Длинным
Строем
В камыши
Шли,
Держали
Промежутки
Неустойчивые
Утки!

Проскандировал.
— Ну что ж — похоже. Неплохо, — отозвался Артём.

Ветерок.
Пьян заливной луг.
Сенокос…

— А ещё, Артём, ты меня брал — правильно, на покос. Помнишь? Солнце светило ярко-ярко, гудели и больно кусались оводы, лошадь как заводная махала своим хвостом, отроду нестриженым. Чуть ли не лица моего касалась. Махая им вкруговую, она доставала и до самых её собственных ушей даже — и шагала. Шагала, а ты мне тогда разрешил сесть на железное, гладкое, горячее-прегорячее сиденье конных граблей. Солнце было в зените. А у меня ещё тогда ноги не доставали до педали, помнишь?.. Вот, и чтобы нажать на педаль эту, мне нужно было съезжать, скользить по наклонной железяке-то, горячей-прегорячей тоже. Из-за того-то тогда ещё, понимаешь, грабли у меня срабатывали, сбрасывали то есть свежее душистое сено позже, чем надо было бы, Артём! Я тогда ещё был с Вовку теперешнего, однако, а может, и помладше даже, — Женька перевёл дыхание. — А ещё…

Но тут уж Вовка его перебил:
— Ха-ха-ха, Женечка, теперь я. Артём, Артём, — заглядывая в его светло-зелёные глаза, настаивал Вовка. — Ты меня долго-долго нёс по лесу однажды. На своей горбушке. Тогда я пристал сильно, тогда мы, много нас, по ягоды ходили, помнишь?

Три ведра клубники тогда насобирали в роще! А в ней, в роще-то, берёзы—высоченные, не то что вот эти…—Вовка махнул рукой.—А птички щебечут, поют!..
— Ну ладно. А это—помнишь?—спросил Артём, улыбаясь, взяв братишку за плечи.

А было-то вот что. Тогда Вовка, как на ослике верхом, решил прокатиться на деревянном неустойчивом точиле. Оно большое, о четырёх берёзовых ножках, с тяжёлым, вращающимся от руки, вечно мокрым мелкозернистым камнем. И вот, как только маленький Вовка, оседлав точило, стал его, будто ослика, понукать, оно неожиданно для всадника завалилось тогда и придавило малыша, а камень—прямо на средний палец правой ручонки—и переломил его!.. Вот что ведь было. Вовку тогда, мокрого и зарёванного, вытащили, бедняжку, подбежавшие ребятишки-братки, что постарше его, а может, и Артём… А взрослых почему-то поблизости не оказалось—наверное, где-то на работе были. Сросся палец неважнецки.
— Ну-ка покажи свою правую руку,—поинтересовался Артём. Вовка нехотя протянул.—Сожми кулак.

Средний палец сгибался меньше, чем остальные, и был толще.
— Ну и что? Зато драться хорошо можно,—пробурчал Володька.
— А ты дерёшься, что ли?
— Конечно, если налетают, кому на сдачу только,—Вовкино сообщение—картинка.
— А ещё, Артём, Артём, ты живого журавлёнка притащил под мышкой однажды с озера, подранка, а он злился, вырывался и больно щипался, синяки ставил! Тонкими своими ногами двигал, как на велосипеде будто ехал!—теперь вспоминал снова Женька.—Этот журавлёнок долго-долго жил, по ограде и по огороду до колодца прохаживался, как будто граф какой. Расставит, бывало, свои длинные ноги, окостыжится и заглядывает в колодец, а я за плетнём лежу себе, наблюдаю в щёлку. Однажды я хотел его погладить, а он—как цапнет-цапнет!..
— Мне тогда пришлось от вас уезжать, жалко. Я ещё помню, что ты гагару ловил… и помнишь—да помнишь, конечно,—даже рака приносил, нам показать. Рак: клешни—во! Мы его тогда положили на песок животом, и он спятил в воду, оставляя широкий след, как бы на память о себе. Мы его потом снова в озеро отпустили. И гагару тоже—когда она подлечилась немного. А ещё сети на бату вертлявом с тобой ставили! Я чуть было в воду не свалился, а уже была, кажется, осень, вот как теперь, но только похолодней, пожалуй. Тогда солнце огромное далеко на горизонте стояло—и стало медленно-медленно подниматься тогда над камышами сначала, потом—под тёмные тучи… Над махалками тоже, теми, шоколадного цвета, с кукурузный початок!.. Это—рогоза.

— Во, Женя, тебе сюжеты для новелл!—взглянув на брата, Артём добавил:—Копёнка сухого сена с мышами. Гляди-ка—грибы полезли!.. Поджарим!..

О чём-то задумался.
—Ты же ведь уже совершеннолетний и аттестат зрелости получил?
— Да,—подтвердил Артём.
— Вот здорово! Когда же это мы-то кончим учиться?—сокрушается Женька заодно и за Вовку.

Правда, после того как отец тем утром ушёл на фронт, он и так повзрослел сразу, но не совсем. Да нет, это сегодня Женька расслабился, но сегодня же у них праздник!
— Куда торопиться, Женя, успеешь!—и, посерьёзнев, Артём добавил:—А на войне—как на войне, знаешь. Так что вот.
— А правда, Артём, что дедушку и бабушку сослали за Васюганские болота?—негромко спросил Женька.
— Сущая правда, Женя. Но эта тема—на роман тянет. Вырастешь—рискнёшь… и не посидишь—не напишешь,—загадочно как-то проговорил Артём.

Из пустоты неожиданно возникший вихрь подхватил опавшие листья берёз и осин. Крутанул их вокруг сруба колодца и угас в кронах молодого березняка.
— А что,—продолжил Артём,—вдруг да правда напишешь? Если, конечно, интерес сохранится. Да талант проявится, окрепнет, и если не слишком поздно хватишься, конечно, само собой.

На ветку осины уселась ворона, чёрно-белая. Каркнула. Красные круглые листья задрожали ещё сильней, и некоторые из них стали оседать отвесно в глубь колодца. Осень.
— Какой же он глубокий! Голова кружится. И бесхозный ведь! Хоть бы крышку гнилую заменили да заколотили…
— Это у тебя-то, Артём, кружится?!—не поверил Вова.
— Ох-ох, ребятушки, солнышко-то где, надо уже подумывать и об отбытии. А я ещё хотел всё-таки насчёт вас, устройства вашего, что-то оно мне не очень нравится, с директором школы да с председателем колхоза поговорить,—засобирался Артём.

Всего не перевспоминаешь. Детство—это больше чем половина жизни…

Затоптали костёр. Залили оставшейся водой.

И вот они уже в их комнате.
—…А что стрелка? Так это ж пустячок.
— Как это—пустячок?—удивился Женька, невольно беря в щепотки мочки… своих ушей.
— Да вот так, братики мои. Молоток в этом доме найдётся?

Вовка полез под стол, он его вчера туда засунул, мастерил что-то…

— И вилка, надеюсь, найдётся?

Нашлась и вилка. Артём осторожненько развернул поданную Женей бумажку — четвертинку чистого листа, выдернутого из тетради в косую линейку. В ней была завёрнута и хранилась до случая минутная стрелочка. И вот случай этот чудесный, похоже, настал.

— Увеличительное стекло бы, — вслух подумал Артём.

Отыскали и лупу.

— Всё у вас есть, только порядок надо бы навести и поддерживать, ребятня, — на правах командира заметил Артём.

Рихтовал, выпрямлял то есть. Цепочка тенью дёргалась за часами…

— Ишь, не подчиняется, упрямится стрелочка.

— Как ты, Вова, — не удержался Женька.

Брат не обиделся.

— Упругая! — продолжал Артём. — Но мы её всё равно перехитрим. Если не найдётся свечи, сгодится лучина. Понимаете, отжиг надо провести, нормализацию. Тогда сталь как бы обмякнет и станет более податливой, что ли. Конечно, упругость тоже нужна, но тут уж приходится выбирать.

Специалист! Не зря же столько лет ходил в аэроклуб. У Артёма на шее пот выступил. Гнутая стрелочка малька поменьше и то и дело — хоп, и ускользает!..

Зажгли свечку. Артём щипчиками для колки комкового сахара прикусил стрелку и поместил её над пламенем. Подержал. Она докрасна раскалилась, а он всё ещё держит. Отстранил. А когда стрелка остыла, продолжил рихтовку, нанося резкие удары ребром ручки вилки, поворачивая стрелку то так, то этак. И вскоре дело было сделано! Стрелка восстановлена на место, как тут и была. И ничего будто и не происходило.

— Только-то и всего. И никакой паники, — наконец-то вздохнул с облегчением Артём.

— Как это «и никакой паники»? — обескураженно спросил Женька, внимательно наблюдавший, как и Вовка тоже, затаив дыхание, за действиями мастера.

— Да это, Женя, у нашего ротного такая поговорка, — поднял голову Артём, радуясь, потирая руки, довольный, что справился, что отремонтировал, и стал выставлять текущее время по ходикам.

— Хочешь, Артём, мы тебе их подарим?.. — озарение тут вдруг нашло на Женьку.

— Время у лётчика в небе расписано по минуткам, как у преподавателя, даже ещё построже будет, — уклончиво сказал, смущаясь и радуясь, пожалуй, неожиданному повороту событий.

Тут и Вовка хотел было что-то вставить, но Женька упредил его побуждения, приставив указательный палец к своим губам. Артём продолжил:

— Ладно, подарок принимаю. Да это будет ещё и память о вас, ребятишки.

А Женька представил, как в небе достаёт эти часы и прикидывает, сколько минут осталось до возвращения на базу с боевого задания, лейтенант Артём Борисович Казанцев!..

— Они тебе помогут фашистов уничтожать! — воскликнул вдруг Вовка.

— Давай не будем так, Вовочка. Война — дело серьёзное… А что лак на стрелке потрескался, а кое-где даже облупился, так это — ничего, в Омске я её, стрелочку, заменю на новую, пожалуй. В часовой мастерской.

Да, такие часы были необходимы ему, лётчику, как воздух необходимы. Потому и согласился принять подарок Артём.

— Вам не жалко?..

Он поднял исправленные часы за цепочку, невольно по-мальчишески откровенно любуясь и радуясь приобретению, легонько тюкнул «кулон» указательным пальцем… Закрутились, медленно приподнимаясь, и вдруг быстро-быстро завертелись в обратную сторону, снижаясь, радуя всю троицу, часики.

— Не-а, даже ни вот нисколько не жалко, ни-ни вот настолечко, — Женька прижал нижнюю половинку ноготка мизинца правой руки ногтем большого пальца левой. — Правда-правда! Мы даже рады, правда же, Вова?

Тот — частыми и мелкими кивками своей большой русоволосой головы и хлопаньем шикарных ресниц — подтвердил своё полнейшее согласие, раскрыв рот по привычке.

— Конечно, Артём, они же тебе нужнее. Ты же на фронт своим ходом скоро улетишь, Артём! — продолжал Женька.

Но тут опять Вовка! Хотел что-то (известно что!) сообщить. Не терпится! Но и на этот раз Женя мимикой и мысленно остановил братца.

— Спасибо, ребятишки. До конца своих дней буду помнить ваш, дорогие мои братики, подарок! Ух ты, проканителились мы! Всё, всё… Ну вот, теперь уж точно пора и собираться в дорогу. Как бы на ветку не опоздать, правда. Надо появиться в части вовремя, — невольно он не поленился — вытянул часики, туго было уже утопленные, из кармашка диагоналевых брюк-галифе и взглянул на расположение стрелок. — Время военное, за самоволку наказывают строго.

Будущие солдаты на лету улавливали армейские термины — чем чёрт не шутит, когда Бог спит.

— Рано утром от вашей Марьяновки — ветка «Исилькуль — Омск». Часам к двенадцати завтра буду дома.

Взглянул на ходики, как ни в чём не бывало тикающие себе; видно, чтобы не обидеть трудяг, подошёл и подтянул гири повыше, под самый их кадык. Часы расписаны под лубок в ходовые

цвета с применением красного и коричневого, на равных… на фоне зелёного и голубого…

А сами сборы были недолги. Пустой вещмешок Артём легонько закинул на правое плечо, совместив лямки. Пошли провожать.

Володька посвистывает. Шагают «в колонну по три». День на исходе. Идут деревней.

Мальчишки обгоняют. Оглядываются. Завидуют. Ещё бы! Берутся за козырьки своих кепок, трогают кончики воротников. Сегодня-то Вовка и Женька — на высоте, на седьмом небе, можно сказать. Они сегодня не те, которых повадились называть обидным словечком «сироты».

«С Артёмом-то какой я тебе сирота, какие мы вам, скажите, сироты?!» — думает Женька. Редко попадаются встречные взрослые. Военных нет вовсе, козырять не приходится. К Вовкиному огорчению. Он очень хотел бы посмотреть, как ловко это Артём делает. Отключились, намертво забыли, что идут провожать. Вот ведь…

Место встречи обычной пыльной просёлочной дороги с более или менее цивилизованным шоссе, так называемым «профилем». Простая просёлочная дорога вскарабкивается на него и… готовится исчезнуть и отселе дальше, больше… не существовать в качестве самостоятельной единицы…

Остановились. Растерянно как-то попрощались «за руку», по-мужски…

Ноги Вовкины подкосились сами. Солнце присаживалось тоже.

— Артёмка, передай Рексу от меня большой привет, — сказал Вовка упавшим голосом, когда уже совсем понял, что пришло время расставаться, что праздник подошёл к концу.

— Ну что ж, я ему от тебя лично его передам, Вова! Персональный. Ты понимаешь, что значит — персональный-то?.. — чтобы хоть как-то развеять, словно в пропасти, это сгустившееся, трудно определяемое, спросил Артём.

— Конечно, знаю, вот и передавай, — заявил Вовка — и вдруг кинулся к Артёму.

Этот строптивый мальчишка и папку-то родного, Женька не видел, чтобы целовал, а тут!.. Но Артём — заслужил. Когда они, случалось, вместе жили у дяди Бори с тётей Таей, то он, Артём, был самым внимательным к ним из всех… Так-то.

— Подожди, — сказал Вовка, ещё на руках у Артёма, — фуражку тебе поправлю…

И покорно соскользнул на землю.

Вот и Артём пошагал на фронт своим ходом. Вовка машет: «До свидания, Артёмка!..» И шибко — Женька. Несколько раз оборачивался, как бы стараясь запечатлеть и всё запомнить. Он так же, как и в их комнате, но только значительно выше, над головой поднял часы на цепочке. И, как тогда, озорно щёлкнул их пальцами левой руки. Часы, естественно, опять, как тогда, завращались. То слева направо «по винтовой», замедляясь, то справа налево, оседая и ускоряясь… При этом все стрелки, включая и секундную, совсем уж крохотную, стрелочку, и все шестерёнки вращались вокруг своих осей!..

Мол, такая вот действующая модель *Вселенной*, глядите.

Миг, минута, час… а *вечность* — вне времени.

Пролетела пара сизарей, строго придерживаясь друг друга. И тоже махая… Вдруг сумбурные мысли переплавились в чистые чувства, а чувства — ближе к божественному… Тело человека — ясно, что древней, мудрей его мышления.

Поведением завладели чувства… Пока дорогой гость не скрылся за лесом, стояли и махали братья, потом, не сговариваясь, со всех ног кинулись было за ним, чтобы ещё немножко хоть видеть Артёма, но поворот был крутой, как «мёртвая петля».

Больше они Артёма не видели.

В небесах — гроза грызунов и мелкой птицы, копчик, «отмахиваясь» от привязчивой настырной сороки, исполняет каскад элементов высшего пилотажа. Воздушный бой!.. Парит, расправив победоносные крылья. На обочине просёлочной дороги остолбенел пятнистый суетливый суслик — и, свистнув, провалился в нору вниз головой. Замычала побывавшая в самоволке непутёвая коровёнка-шкода, вдруг всем полным ведёрным выменем почувствовав, что пора срочно возвращаться домой. Залаяли собаки. Молча пролетела ворона. Светило стало погружаться за «линию схода». Вот и кончился праздник.

Расставаться было жалко, да что поделаешь. День подошёл к концу. Штопором оседал жаворонок на ночлег. Телеграфные столбы… провода… шифровки… Заря. Боголюбовка. Округа *осенена*…

За солнцем прошли самолёты. А ниже, на юг, — журавли.

Этой ночью выпал снег. Да так и не растаял.

Владимир Алейников

# На скрещении эпох

**I.**

Дождь нахлынул и прошёл—
Только марево клубится
Там, где столькому не сбыться,
Если сам, как день, тяжёл.

Никому не говори,
Что увидел ты сегодня,—
Нерасшатанные сходни
Протянулись до зари.

Что за невидаль, скажи,
Что за лиственное диво,
На поверку нерадиво,
Охраняет рубежи?

Это лох, лох, лох,[1]
Это дикая маслина,
Холодка врасплох лавина,
Серебра переполох.

Целый вечер бормоча,
В грузном воздухе витая,
Комариный звон вплетая
В отсвет смутного луча,

Целовальником прослыв
На пиру грозы плакучей,
Самый лучший, самый жгучий
Чувств наследуя наплыв,

Он за шорохом таит
Неразгаданное чудо
Слов, берущих ниоткуда
То, на чём весь мир стоит.

Это лох, лох, лох.
Это мыслимо ль в июне,
Полнолунья накануне,
Где сдержать не в силах вздох?

**II.**

Это лох, это лох—
Ворох мокрого жасмина,
Запах уксуса и тмина,
Лунный жмых, слоёный мох.

Это лох, это лох—
Неземной и приземлённый,
За окраиной зелёной
Он в забвенье не заглох.

Это лох, это лох—
Выдох полночи знакомой,
За испугом, за истомой
Шевелящийся сполох.
……..

Роздых памяти во тьме,
Недомолвок возрастанье,
Собирающее данью
Всё, что было на уме.

Серебрение в тиши,
Наважденье, колыханье
Да подспудное дыханье
Незагубленной души.

Духовидческие сны
За языческою сенью
Не уходят во спасенье
И в воде отражены.

1. Лох—это не человек, а дикая маслина, лох серебристый, растущий в моей Скифии везде. Сладкий и вкусный, немного вязкий, его в сентябре есть можно. *(Прим. авт.)*

То не кони у реки—
Тени лени и полыни,
Топи луни и теплыни,
Все мои черновики.

То не думы собрались
Бесконечными гуртами—
Где-то в области гортани
Снова звуки родились.

То не ветер за стеной—
То неведомого лада
Небывалая услада
В дружбе, кажется, со мной.
……..

Говори ж как на духу,
Откровенничай привычно—
Всё сегодня необычно
И внизу, и наверху.

Отворяй свободней слух,
Обостряй привольней зренье—
Принимай светил горенье,
Коль не слеп ты и не глух.

Начинай, как в первый раз,
О годах своих бродяжьих,
На крылах взлетев лебяжьих,
Очарованный рассказ.
……..

И тогда-то—видит Бог—
Невозможные кануны,
Кобзарей дремучих струны
Да родник у трёх дорог—

Всё, что издавна влекло
Чем-то близким, сокровенным,
Призывало к переменам,
По-над пропастью вело,—

Станет, ясностью светясь,
Жить на равных с явью грустной,
Славя в песне безыскусной
Прозревающую связь.
……..

И когда-то, как-нибудь,
Где придётся—кто подскажет?—
Это нитью прочной свяжет
Всё, о чём не позабудь,—

Посох, степь, цыганский лог,
Лета вехи и приметы,
Эхо века, путь кометы,
Твёрдый шаг, калёный слог.

Чтобы всё впиталось в строй,
Чтобы кровь струилась в жилах,
На скрижалях да могилах
Знаки встретишь ты порой.

Лихолетья ли разбой,
Где ходил и ждал подвоха,
Или целая эпоха
Нынче связана с тобой?

То-то видано с лихвой
Да под дых, бывало, бито,
То-то вдосталь с теми квиты,
Кто корёжил голос твой,

То-то вылито впотьмах
Всякой ругани и дряни
Из немыслимой лохани,
Лжи вмещающей размах.
……..

Было—сплыло. Милый лох!
Я стою в твоей чащобе,
В самой сущности—ещё бы!—
Взгляд по-прежнему неплох.

Лист, упругий, как мелок,
Тихо трогаю рукою—
Ты сгустился над рекою,
Как сплошной глазной белок.

Ни кола и ни двора
Для таких вот, слишком зрячих,—
На усах твоих висячих,
Как махра, торчит жара.
……..

Даровать бы эту близь
Всем, кому она в новинку,
Молока испить бы кринку
Там, где гостя заждались.

Не случайно правит дух
Тёмной лавою людскою—
Над оравою такою
Ветер свеж и воздух сух.

Не напрасно не засох
Этот, с терпкою пыльцою,
С вязкой ягодой густою,
Куст—как выдох, куст—как вдох.
……..

По-над берегом брести—
Ну кому такое право
Вдруг даровано лукаво,
Чтобы волю обрести?

Путь растений непростой:
Честно выстояв когда-то,
Это свет облапил хаты,
К нам явившись на постой.

Средостения—и стон,
Среброткаое страданье,
Может—с юностью свиданье,
Может—верно взятый тон.

Мне бы снова не роптать
На расплёснутое влагой,
Подружиться бы с отвагой,
Что-то в жизни наверстать.

Побрататься бы опять
С тем, кому всего дороже
Эта невидаль,—и всё же
Никому не уступать.

Закатиться бы туда,
Где мороки вовсе нету,
Где скользит по белу свету
Незакатная звезда.
……..

Буду вслушиваться в ночь—
Пусть храпит пора-лахудра,—
Для того начнётся утро,
Чтоб недуги превозмочь.

На горах и на холмах,
На околицах застылых,
В передрягах и горнилах,
В самых дальних закромах—

Только лох, лох, лох,
Только лохмы дерзновенья,
Только вспыхнувшее пенье—
И совсем не эпилог.

### III.

Это лох—иди туда,
Где широкая прохлада,
Где встаёт за гранью сада
Невысокая гряда.

Это лох: поди пойми—
Что за блажь? кому неймётся?
И подумай, как придётся
Разговаривать с людьми.

Это лох—и потому
Нам терпение привычно—
И смиренье безгранично,
А посулы ни к чему.

Серебрящаяся скань
Вдруг просвечивает сладко,
Подкрепив мои догадки,
Раз уж встал в такую рань.

Видишь—вправду рассвело.
Знать, плутал ты ночью тёмной,
И в судьбе твоей бездомной
Был тот миг, когда везло.

И теперь, подняв лицо
К седоватому рассвету,
Ты заводишь песню эту,
Только выйдешь на крыльцо.

Покидая низкий дах
Затенённого сарая,
Свищут птицы, собирая
По крупицам в городах

То ли музыки зерно,
То ли истины частицы,—
И пора бы причаститься,
Коль ты с ними заодно.

А по замыслам твоим
Что-то будет создаваться—
И пора ему сбываться,
Ибо знаем, что творим.

На корню рассохся страх,
Придорожный, осторожный,
В перепалке невозможной
Первобытный дремлет прах.

Лихорадило, поди,
А теперь—куда деваться!—
И вольнó ему сжиматься,
Сердцу жаркому, в груди.

Не галах и не валах,
Просто—путаник неловкий,
С божьей знаешься коровкой,
Не нуждаясь в похвалах.

Лиходейство позади:
Где вы, горе да обиды?
Вот и мы видали виды—
Но, однако, погоди.

Что-то в жалах, в хоботках,
В хохотке людей служилых,
В неразбавленных чернилах,
Даже в смятых лепестках

Есть такое, отчего
Вдруг мороз пройдёт по коже,—
Оттого-то мы и вхожи
В мир—один на одного.

Ничего, что побывал
На задворках и вокзалах
В сонме странствий небывалых,
Где никто не узнавал.

Ничего, что уходил,
Чтоб души не числить в школах,
В гуще мыслей невесёлых
Никого не находил.

Ничего, что задевал
Струны тонкие порыва—
И хотя смотрел пугливо,
Никогда не забывал.

Это всё одна тоска,
Это всё одни напасти,
Да ещё—ожоги страсти,
Вздрог невольный волоска.

Это связано с тобой
Столь глубоко и высоко,
Что его провидит око
Где-то в дымке голубой.

Это соткано из слёз,
Из клубящегося дара,
Из вселенского угара,
Что с собою ты принёс.

Это лох, лох, лох,
Это сыворотка боли,
След на шпалах, смех неволи,
Где ручей не пересох.

Это лох, лох, лох,
Это выходки похлеще
Тех, когда сгорают вещи,
Голодух чертополох.

Это лох, лох, лох,
Порох, спрятанный в подвалах
Нечестивцев пятипалых
На скрещении эпох.



Антон Дельвиг

# Когда, душа, просилась ты…

## Пушкину

Кто, как лебедь цветущей Авзонии,
Осенённый и миртом и лаврами,
Майской ночью при хоре порхающих,
В сладких грёзах отвился от матери,—

Тот в советах не мудрствует; на стены
Побеждённых знамёна не вешает;
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым;

Флот, с несчётным богатством Америки,
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукраты экватора
Для него кораблями бегущими.

Но с младенчества он обучается
Воспевать красоты поднебесные,
И ланиты его от приветствия
Удивлённой толпы горят пламенем.

И Паллада туманное облако
Рассевает от взоров,—и в юности
Он уж видит священную истину
И порок, исподлобья взирающий!

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

## Элегия

Когда, душа, просилась ты
　Погибнуть иль любить,
Когда желанья и мечты
　К тебе теснились жить,
Когда ещё я не пил слёз
　Из чаши бытия,—
Зачем тогда, в венке из роз,
　К теням не отбыл я!

Зачем вы начертались так
　На памяти моей,
Единый молодости знак,
　Вы, песни прошлых дней!
Я горько долы и леса
　И милый взгляд забыл,—
Зачем же ваши голоса
　Мне слух мой сохранил!

Не возвратите счастья мне,
　Хоть дышит в вас оно!
С ним в промелькнувшей старине
　Простился я давно.
Не нарушайте ж, я молю,
　Вы сна души моей
И слова страшного «люблю»
　Не повторяйте ей!

Вера Зубарева

# Милая Ольга Юрьевна

1.

Кто она? Старая книжная фея.
Живёт меж засушенных лепестков книги.
Какой? Неизвестно. Листай получше,
Авось и найдёшь её в заводях жёлтой
Трухи, которой она пудрит
Гармошку шеи и лицо перед тем, как
Вспорхнуть (так ей кажется) с насиженной
Стёртой страницы плохого качества
Печати постсеребряного века.
Пыль столбом, когда она в ступе
Чернильницы носится над моею тетрадью,
Опыляя увядшие розы журналов,
И тычется сослепу в авангард.
Он привлекает её непонятным
Сочетанием букв, из которых можно
Сложить «виноград» с двумя описками,
С чернильным привкусом, с кнопками косточек…
Ва-на-град… Она зажмуривается,
И пергамент вкруг её глаз собирается
В плиссе, и она добреет, мурлычет,
Смакует давно позабытое старое.
Сластёна милая, как прекрасно
Чувствовать себя молодой и новой!
Качайся пока на закрученных лозах
С пустышками вымышленных ванаградин.

2.

Кто её выдумал? Навязчивый насморк,
Слезотеченье, першенье в горле.
Кто-то считает её аллергеном,
Кто-то — защитной реакцией полки,
Кто-то — блюстителем книжной нравственности.
— Ольга Юрьевна! — я её окликаю.
Она капает сверху чем-то жирным
На главную букву в моей тетради,
И всё расплывается безвозвратно,
И это безобразие называется деконструктивизмом.
Что ж ты делаешь, Юльга Орьевна?
Разве можно так обращаться с буквами,
Из которых что-нибудь, может быть, вырастет?
Может быть, целая литература?
Она сердито захлопывает обложку
Чьего-то полного собрания сочинений,
За которой отлёживалась её куколка,
Заранее злая. Вот видишь, до чего
Довела ты писателя полного собрания!
Больше он уже ничего не напишет.
А ты всё пудришься книжной пылью
Над его полным собранием огорчений…

3.

Фея моя, зачем ты хочешь
Называться именно этим именем?
В имени — что? Или лучше — кто?
Вот в чём вопрос. Ночами грезишь
Снами подвеянной Веры Павловны
О домах, перекошенных в мозгах архитектора,
Что гнутся медленно, как алюминиевые ложки,
Под взглядом философа из палаты номер шесть.
Ольга моя, долгорукая с большой
Буквы, конечно же. Что ж нам делать?
Построила город из бумажных кирпичиков —
И клонишь полку свою то влево,
То вправо. Вот-вот рассыплется. Снова
Шуршишь страницами. В комнате полночь.
Пьяно, пьяниссимо… Только ветер.
Молчу, прислушиваюсь: где ты? Что ты?
В ходиках стрелочник крутит стрелки,
На всех парах катит поезд-время.
Под него ты читаешь «Анну Каренину».
Анна бессмертна, ей не до времени,
Ей бы только вовремя броситься.
Опять всё запуталось… «время», «вовремя»…
Будильник, негодуя, дрожит клювом стрелки,
Вот-вот обрушится из перьев столетий
На царя в голове, как Золотой Петушок.

4.

Время — в тебе, в твоём беспрестанном
Шуршанье. Страшна его деловитость.
По ней истекает другое время —
Простое, тетрадное, что не вхоже
В то, крепкое, книжное, из дуба зелёного,
Который ты охраняешь зорко.
Мне не приблизиться: шаг влево — сказка,
Шаг вправо — песнь. Поняла, сдаюсь.
Слушаю только твоё священное
Шуршанье. Оно заглушает ветви.
Они пытаются мне нашептать
Какие-то заповеди Лукоморья.
Но ты — на страже. А я — лазутчик.

Меня поджидает на том конце
Тетрадь. Это всё по её заданию.
А она не платит мне ни гроша.
Но это—другое. В эти дебри
Мы не полезем. Дорогая фея,
Что ты делаешь, например, в четверг?

5.

Вся поэзия живёт в котельных,
А браки издателей и писателей
Свершаются на небесах, уже после
Того, как котельную опечатают.
Тогда приходит и твоё времечко,
Фея моя с мушиными крылышками.
На них не подняться тебе выше
Полки с полными собраниями сочинений.
На этот запах ты и слетаешься,
Моя многорукая и долгокрылая
Лже-Ольга. Зачем ты топила в чернилах
Бумажные кораблики, вымарывала чёрным
То, что было написано по белому?
Лютая, лютая… Что ж теперь будет
С посланиями бедных папирусных корабликов?
Опять обижаешься, лицом своим круглым
Пытаясь походить изо всех своих сил
На ту, что *сияла как луна в ночи*.
А получаешься как та, что в «Евгении Онегине».
Поскорей бы нашло на тебя затмение.

6.

Огородилась от меня, фея моя, целым городом.
Теперь мне уже и не подступиться
Даже на поклон. А бывало, пронесётся
Музой иностранной, капнет жирным—
И легче на душе. И даже когда
Ночью затевала пожар, пытаясь
Поджечь рукописи, даже тогда
Тепло и весело было в наших котельных:
Все плясали, чертыхались, дивились
Всполохам по чёрному куполу города.
Купола нет уже. Город осунулся,
Будто кто-то набросил на него
Колпак без прорезей для зренья и дыханья,
И теперь вот снятся плохие сны,
Со сквозняками, и насморком, и всякой нечистью,
Выходящей из носа наружу в полночь,
Когда в за́мке ума одни привидения
Блуждают с поддельными стихами и биографиями.
Ты пестуешь их в своём фолианте,
Пока они не скукожатся в скомканный лист
В корзине для мусора. И приходится
Целую ночь ворочаться, уворачиваться,
Чтобы не сцапали, не затащили
Они и меня в свою шумную компанию
И чтобы я потом не скукожилась
В собственном мусорном ведре или—хуже—
В алюминиевом доме больной Веры Палны
С резким перекосом в научный прогресс,
Где бьётся в стекляшке окна-аквариума
Её слабоумная фантазия. Ну к чему
Мне эти кошмары, Вольга Рьюена?

7.

Стало опасно здесь находиться.
Разобрать вообще ничего невозможно.
Жизнь моя—сплошной абсурдизм,
Что бы ты или кто-то выше
Тебя на этих дубовых полках
Ни говорил, ни писал и ни думал.
Выше дуба нет ничего.
В буквальном смысле этого слова.
Я там была и рукой дотянулась.
Всё, что над кроной,—сплошная бумага.
Потянешь за кончик, и она разматывается
До бесконечности и даже после.
Она размножается сама собой,
Как эти собрания сочинений
С мушками авторов в паутине букв.
Кто их вызволит? Но суть не в этом.
Бумаги много, хватит на всех.
Если вообще это сейчас актуально.

8.

Мучают ли тебя угрызения совести?
Хотя бы сегодня (семнадцатого января
По старому стилю)? Признайся, лицемерная!
Помнишь, как капала чем-то жирным
На его рукопись? А он кашлял, кашлял…
А потом махнул рукой и уехал.
А ты только фыркала, как та лошадь
Перекладная, на которой он плёлся,
Слышал фырканье твоё, просыпался,
Потел и вздрагивал—и снова падал
В овраг. Ты этого тогда хотела?
Сны его до сих пор бродят,
Бередят в сумерках пёстрые страницы
Твоих многочисленных нижних юбок.
Он прыскает со смеху—и они шевелятся,
Как фантики-бантики. Ты комична
Сегодня. Это всё оттого,
Что у него нездоровое чувство юмора.
Но откуда ему набраться здоровья
В таких условиях (по старому стилю)?

10.

У меня от тебя уже мигрень.
Записаться б на приём к доктору Айболиту,
Но он сидит на цепи под дубом
Вместе с другим доктором—Живаго.
Они отбывают по делу врачей,
А мы отбываем по делу пациентов.
Всё. Меняю этот век на позапрошлый.
Но со всеми удобствами. Можно без лифта.
Главное—без печки. От неё много дыму,
А ты на тот свет свела трубочиста.
Он падал и падал сквозь грязь и копоть.

На него уставилась поломанная звезда,
А ты загадывала быстро желание
О полном собрании.—Так нечестно!—
Он только выкрикнул. Прощай, трубочист!
Больше никто никогда не прочистит
Туннель дымохода, ведущего к небу.
Заражены трубы в нашем городе,
Включая и подзорные, и есть лишь один
Выход из нашего архипелага—
Это загадочный
Остров Фюн.

**11.**

Остров Фюн,
Дорогой, любимый,
У моря, с городом добрым Оденса,
Прими меня! Я второе апреля
Буду праздновать как свой собственный день.
Двойка вниз головой—пятёрка,
Если взглянуть на неё сквозь Землю,
Когда стоишь на другой стороне
Эллипса, сплошь окантованного звёздами.
Путь к острову—по дымоходной трубе,
По весёлой и радостной тёплой котельной
Внутри Земли, глубокой и мудрой,
Где всё наполнено тайным смыслом
Зерна́, и звезды́, и живого пламени.
Там обитают мыши и бабочки,
Мерцающие личинки, цветы и породы.
Они указывают дорогу к острову.
Сделать бы только один глоток
Этого испещрённого блёстками соли,
Подвижного, звонкого, как ребёнок,
Воздуха, а потом и назад—
К фее моей, взлохмаченной, лютой,
Как муха, протрезвевшая меж оконных стёкол
После запойной зимней спячки.
Должно быть, мечется, меня дожидаясь,
Чиркает крыльями, брюзжит недовольно.
Вот бы выпустить её на волю!

**12.**

В комнате моей, совсем как во сне,
Плавают в невесомости лунного света
Собрания сочинений—распахивают страницы,
Приглашают в свои тридесятые государства.
Но нам выпадает из этой колоды
Гаданий, и чаяний, и авторских прав,
Отданных на читательское самоуправство,
Узкая, тонкая ледяная пластинка
С острой каёмкой, почти белой.
По ней и движемся—я и она.
Я скольжу, удерживая равновесие.
Ребро пластинки режет подошву.
Ах, вот какой ты, алмазный мой венец!
Она порхает, нервно подпрыгивая,
Точь-в-точь как описка от дрогнувшей ручки.
Вокруг черно, как в моей чернильнице,
Глубокой и страшной, откуда выходят
Мои сновидения, сбываясь в тетради,
Что ёжится всякий раз, как только
В буквах заводится что-то бесплотное.
— Ольга Юрьевна!
Она вздрагивает,
Словно её застукали за перечёркиваньем
Ещё живой, страдающей рукописи,
По которой она проводила отточенным
Стальным пером, и красные чернила
Выступали на поверхности фиолетовых строк.
— Ольга Юрьевна!
Прилив чернил.
Колебание бликов.
Опять мы вместе.
Где-то ты уже об этом читала.
Рукописи—призраки детей Гамлета.
Они оживают в полночь, в полнолуние.
Видишь? Слышишь? Она озирается.
Я наблюдаю. Грустно опущены
Крылья её в горошинках блёсток.
Хочешь свободы? Она лишь ёжится.
Её пугает большой ветер,
В лохмотья грозит изорвать её крылышки.
Большой ветер—для крыльев-парусников,
Звук его ночью вибрирует в дубе,
И тот шелестит страницами в комнате.
Полки—дупла с его книгожизнями.
В них укрывается от большого ветра
Фея моя злая и пугливая.
Свобода мне нужна, а не ей.
Но мне никуда не деться от дуба,
А ей никуда не деться от полок.
И мы продолжаем свой путь, покуда
В стекле чернильницы моей не забрезжит
Мантия рассвета с кровавым подбоем.

## Николай Вдовин

# Падает снег

Падает снег на замёрзшую сонную землю,
резкие грани дневной тишиной округляя.
Вот уже еле видны прошлогодние стебли
жгучей крапивы, и редкий снегирь, пролетая

в дебрях берёз, намекает нам, розовогрудый,
на вероятность весны, а за нею и лета.
От предвкушенья тепла отказаться так трудно
даже на фоне политики и Интернета…

Быт деревенский, он, как и положено,—скромен,
но для того, кто читает античные книги,
бывший колхозный гараж Парфенону подобен,
и ощущается тонкая связь между ними.

Ведь далеко же не всё в безднах времени тонет,
и продолжают работу и мойры, и парки.
Раньше богам подходили крылатые кони,
нынче—для целей иных—трактора на солярке.

Также есть разница и между тем, что писали
люди на стенах, резцом пробирая бороздки,—
вряд ли сравнятся дельфийского храма скрижали
с тем, что царапано ржавым гвоздём по извёстке.

Впрочем, любое явленье подлунного мира
хочет продлиться и смерти бежит как пожара,
в том числе пошлые шутки лохматых сатиров
из незаписанных драм основателей жанра.

Кстати, трактаты, какие не канули в Лету,
хоть и серьёзны, но с юмором небесполезным:
брать управленцев из ряда философов—эта
мудрая мысль позабавней остроты скабрезной.

Им бы всё спорить об истине, широколобым,
да перекладывать мнения с места на место,
а между тем основательно, просто, без злобы
мимо пройдут и займут кабинеты и кресла

люди, которые сызмальства чуют загривком
некие сферы, где крепче, надёжнее, слаще,—
каждый из них приласкает ладонью обивку
тёплого кресла. И запросто их не растащишь.

Что же касается нас—ясно: мы не чета им.
Как-то смешно подражая нездешней природе,
пишем стихи и античные книги читаем,
смотрим кино, на которое мало кто ходит.

Здесь наше место. И время—здесь. Так что пока мы,
сидя на дальних рядах, можем даже не хлопать.
Что там сказали индусы по поводу кармы?—
каждый из нас должен честно её отработать,

чтобы дойти до себя и на дело сгодиться,
после того как в настройках собьётся программа.
…Если в эпоху сатировских драм ты родился,
лучше вернуться к скрижалям дельфийского храма.

Ибо не зря оказался ты маленьким гостем
хвойных морей и проталин, где разве что леший
выйдет навстречу в залатанных чунях и спросит
(как там в апокрифах сказано?): «Камо грядеши?»

Что же ответить ему? Если честно—не знаю:
кто я такой? Где мои города и границы?
Как я иду и куда? По серёдке ль, по краю?
Пробовал верить—и с улиц балтийской столицы

переместился сюда, где людей, в общем, мало.
Те же, что есть, ро́стят мо́рковь на грядках с паслёном,
могут облить из ведра на Ивана Купалу
и, разумеется, травятся водкой палёной.

Жизнь тут не сахар, но—соль вперемежку с морозом.
Люди есть люди, и в том они не виноваты:
строят жилища и смотрят на вещи серьёзно,
любят, ревнуют, грустят и ругаются матом.

А как иначе, коль власть—как один—вор на воре,
платят копейки, хотя всё вокруг дорожает,
ну и так далее?.. В этом расстроенном хоре,
жадном до жалоб, тебя только и не хватает…

Глупости всё это, если сказать по-простому,
или—открытые двери без всякой охраны.
Стоит ли снова петь песни, подобные стону?
Лучше вернуться к скрижалям дельфийского храма,

чтобы без верхней одежды войти в чистый воздух,
капля за каплей в себе кислород растворяя.
И, погрузившись в закат, в снегирей и берёзы,
выдохнуть: «Боже ты мой, красота-то какая!»

Быстрые реки, лекарство крещенской водицы,
стебли поникшей крапивы, кирпичные печи,
треснувший серый асфальт и прекрасные птицы,
благословляющие каждый год бесконечный

край, что освоили ссыльные гипербореи,
где, незаметно безмолвию вечности внемля
и ничего не прося, ни о чём не жалея,
падает снег на замёрзшую тихую землю.

Александр Орлов

# Бородинское крещенье

Девичье поле встретило нас сухощавым шафранным листопадом; сентябрьское солнце то исчезало, то возникало украдкой. Мы шли по усыпанной сухими листьями аллее; за крепостной стеной возвышалась колокольня, сияли купола Смоленского и Успенского соборов. Остались позади Чеботарная, Швальная, Иосафовская башни; дойдя до Никольской башни, мы повернули налево; Царицына башня последней указала нам дорогу к воротам обители.

В арке надвратной Преображенской церкви я увидел, как от неожиданности вздрогнули две монахини, напуганные громкоговорящей разноязычной толпой иностранных туристов.

Я задумался: какой неистовый испуг посетил двести лет назад сестёр обители, когда под исступлённый рёв труб и оглушающую барабанную дробь через монастырские ворота победоносно промаршировали две тысячи французских солдат из 1-го корпуса герцога Ауэрштедтского, маршала Франции Даву?

Запланированная экскурсия старшеклассников в монастырские пределы началась с истории о находившемся здесь штабе одного из самых известных выпускников военного училища в Бриенне. Военное подразделение Даву было самым дисциплинированным и обученным в «Великой армии». Основу корпуса бургундского военачальника, сформированного в Гамбурге, составляли бывалые вояки, а новобранцы были перемешаны с ветеранами, и не было ни одного унтер-офицера, не имевшего опыта боевых действий. Существовал строжайший отбор по национальной принадлежности, и первенство корпуса среди других воинских частей «Великой армии», за исключением императорской гвардии, было неоспоримым. Все солдаты корпуса «железного маршала» были прекрасно вооружены, одеты, обуты, имели амуниционный и съестной припас на продолжительное время. Именно 1-я дивизия генерала Морана из корпуса Даву удостоилась чести открыть Русскую кампанию и первой переправиться через Неман.

Напрашивалась аналогия с войсками СС Адольфа Гитлера, с 33-й гренадерской дивизией СС «Шарлемань», оборонявшей Берлин до последнего патрона. Припомнился и маршрут «Легиона французских добровольцев», проследовавших через Смоленск и воевавших на Бородинском поле.

Мы прошли к Успенскому собору. Урок истории, посвящённый двухсотлетию Бородинского сражения, состоялся возле надгробия генерала от инфантерии, героя Бородинского сражения Василия Ивановича Тимофеева.

Крутые курганы, смешанные леса, глубокие овраги, неприступные холмы, стремительные ручьи, непроходимая река, болотистые низины — так выглядел русский ад для многонационального воинства, овеянного мифической славой.

Французы предстали после первого артиллерийского выстрела из густой вязкой мути, их скованные колонны надвигались на деревню Бородино. Линейные пехотинцы генерала Дельзона после штыковой схватки продавили ряды лейб-гвардии егерского полка. Командир гвардейских егерей полковник Бистром получил приказ отступить на правый берег реки Колочь. Увлечённые победным наступательным порывом, линейные пехотинцы устремились вслед за гатчинскими егерями через мост. Киноварная вспышка — и угольная туча на мгновение укрыла солнце. Мост через реку Колочь пламенел и распадался. Три десятка добровольцев из Гвардейского экипажа под командованием мичмана Лермонтова отсекли передовые части дивизии Дельзона и закрыли дорогу корпусу неаполитанского вице-короля Богарне. А на правом берегу Колочи уже клокотал и краснел зелёно-синий людской вал. Собранный из лучших дворцовых петербургских, кронштадтских гребцов морской экипаж, выжившая часть гвардейских егерей и три подоспевших егерских полка истребляли 106-й линейный полк дивизии Дельзона.

В день высвобождения русского духа на Бородинском поле 2-м батальоном лейб-гвардии Литовского полка командовал подполковник Тимофеев. Его батальону, выстроенному в каре, противостояла тяжёлая кавалерия дивизионного генерала Нансути; перед атакой высокорослых латников лейб-гвардии Литовский полк был открыт для неприятельских батарей и под рьяный свист летящих ядер не выказал никакого беспокойства. Хладнокровные гвардейцы гибли, ряды невозмутимо смыкались. Как только стихла ретивая

пальба, со стороны Семёновского оврага показалась медная сияющая рыцарская лавина. Кирасиры корпуса жирондиста Нансути с шага перешли на рысь, приблизились к солдатам Литовского полка и ринулись в карьер. Конское ржание и дьявольский топот, молниеносное сверкание палашей и устрашающие вскрики. Тимофеев скомандовал: «В ружьё!»—и приказал не стрелять. Опытный офицер был уверен, что лошади не пойдут на блестящие штыки. Каре было окружено. Лошадей, сумевших под напором верховых приблизиться к гвардейским войнам, кололи в морду. «Железные всадники» Наполеона в замешательстве пытались перестроиться. Тимофеев прокричал: «Ура!» Красногрудый батальон бросился в штыки и обратил в отчаянное бегство конную колонну. Растерянные конники, гонимые русскими ратниками, своим обескураженным уходом были подобны тевтонским крестоносцам на Чудском озере.

Поражение панцирников Нансути в верховье Семёновского ручья не остановило Наполеона: пришла очередь пехотинцев напористого Фриана. Два резервных взвода капитана Арцыбашева были поставлены в одну линию, в две шеренги, а не в три, как полагалось: в момент приближения французских колонн нападавшие видели только заячьи султаны, кивера и блеск штыков оборонявшихся; обманутые таким образом французы останавливались и открывали огонь. Обескровленный лейб-гвардии Литовский полк удерживал Семёновскую высоту. Сплочённой нерушимой цепью медленно подступали пехотные полки французов, ведомые в бой дивизионным генералом Фрианом. Солдаты битого пикардийца, превосходившие по численности русских в шесть раз, вытеснили гвардейцев с пропитанной кровью высоты. Господство их было недолгим! При поддержке остатков 2-й и 27-й дивизий лейб-гвардии Литовский полк выбил смельчаков Фриана с Семёновского возвышения. Перед последней атакой раненый командир гвардейцев Удом передал командование единственному штаб-офицеру, оставшемуся в строю, полковнику Шварцу. Во время штурма Семёновской возвышенности получивший два смертельных ранения Шварц не покинул поля боя, оставшись на покорённой высоте. Так состоялись огненные крестины лейб-гвардии Литовского полка. Какое восхищение вызвали они у Кутузова, Коновницына, Дохтурова…

Из солнечного морока на полном ходу кавалергарды полковника Левенвольде врезались в полки вестфальских и саксонских кирасир Лоржа. Мгновения спустя на петербургских латников насели полки польских пикинёров, уланы графа Рожнецкого ударили с фланга и в тыл. Дым, пылища, свист, разноязычные выкрики; в рукопашной схватке кавалеристов всё перемешалось: блеск эполет, яркие попоны, многоцветные чепраки, волосяные гребни, колющие пики, срубающие палаши, рассекающие сабли, блестящие кирасы… В ожесточённый бой ввязались петербургские конногвардейцы, налетевшие на «огаланских» шляхтичей. Гибнет Левенвольде, раненого командира конногвардейцев Арсеньева сменил полковник Леонтьев. В жесточайшую рубку вступили кавалеристы корпуса дивизионного генерала Груши. Промчались саксонский и баварский легкоконные полки, голландские гусары, выручать лейб-гвардии конный полк ринулись драгунские полки 2-го кавалерийского корпуса генерал-майора Корфа. Как меняла свой цвет убийственная сеча! Она белела, желтела, синела, зеленела, рдела и, наконец, исчезла. Французская кавалерия 4-го и 2-го кавалерийских корпусов дивизионных генералов Латур-Мобура и Груши была опрокинута и в окровавленной сумятице умчалась к Семёновскому ручью. Грандиозное дымчато-пурпурное зрелище напоминало Куликовскую битву, Грюнвальдское сражение, Курскую дугу!..

Школьники наперебой обсуждали проигранное и переломное сражение, хитрость Кутузова, смертельное ранение Багратиона, дальновидность Барклая-де-Толли, отвагу Ермолова, стойкость Раевского, говорили о смерти во имя жизни. Но когда заходила речь об участниках кровавой рубки у Семёновского оврага, глаза школьников переполнялись вдумчивым участием. При упоминании лейб-гвардии Литовского полка, его командира полковника Удома, полковника Шварца, подполковника Тимофеева, капитана Арцыбашева, прапорщика Пестеля все с памятным уважением замирали. Оценили они и дивизионных командиров 1-го корпуса французской армии: упрямого Фриана, неустрашимого Дессе и храброго Компана.

Смоленский витязь подполковник Тимофеев в Бородинском сражении был тяжело ранен в левую ногу и покинул поле брани; позднее он был произведён в полковники и награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.

Высочайшим приказом 13 апреля 1813 года полку пожаловано Георгиевское знамя с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года», а 12 октября 1817 года лейб-гвардии Литовский полк переименован в лейб-гвардии Московский полк.

Моросило. Словно золотые острова в малахитовом море, виднелись ольховые листья на газоне у Певческих палат, где два столетия назад каждое утро играли военные музыканты. Кто-то из ребят спросил меня: «А что же было с монастырём дальше?»

Как опричники Иоанна Грозного, французские завоеватели пленили монахинь, превратили красивейший и богатейший монастырь Москвы в бивуак. Солдаты заняли храмы, палаты, кельи, трапезные, подвалы. Обитательницы были

вынуждены со смирением обслуживать непрошеных гостей: монахини стирали, убирались, чинили одежду французов. Некоторое время на оккупированной территории монастыря были разрешены богослужения. По Смоленскому и Успенскому соборам в алтаре у престола и жертвенника, по клиросу разгуливали французские офицеры, не снимавшие головных уборов. Всё время проживания в монастыре французы разыскивали православные святыни. Но накануне вхождения наполеоновской армии в Москву, когда дорога от Филей до Дорогомиловской заставы походила на факел, настоятельница обители игуменья Мефодия Ивановна Якушкина собрала церковную утварь, икону Смоленской Богородицы «Одигитрия», потиры, кресты, Евангелия, серебро и заложила в стену соборной церкви за образом Воскресения Христова.

Молебны, акафисты, псалмопения, сладостный запах афонских благовоний — всё это обыденное монашеское умиротворение досаждало захватчикам.

Как и после нашествия Тохтамыша, Москва превратилась в чёрное уймище; шёл девятнадцатый день после занятия Новодевичьей обители французами.

Дымчатым и влажным утром в монашеское обиталище, как огненное октябрьское пламя, ворвался «Корсиканский дракон». Осеннее ожесточение Бонапарта коснулось и женского монастыря. Восседая на лошади, Наполеон произвёл осмотр, его сопровождали свита и сорок императорских гвардейцев. Накануне приезда императора Франции солдаты вычистили загаженную территорию монастыря, а по его приказу уничтожили храм Иоанна Предтечи, южные ворота были завалены камнями, брёвнами и песком, напротив них была установлена пушка. «Железный человек», как ещё называли Даву, с особым рвением исполнял оскверняющие приказы «Корсиканского дракона». В помещениях монастыря были размещены продовольственные склады. В кельях бесчинствовали одурманенные вином аквитанцы, бретанцы, лангедокцы и овернийцы.

В каждой роте корпуса непобедимого маршала имелись оружейники, каменщики, пекари, сапожники, но работа нашлась только для сапёров.

Промозглой ночью в праздник апостола Иакова Алфеева, покидая монастырские стены, признательные постояльцы заминировали Смоленский собор. К средневековому деревянному иконостасу прикрепили зажжённые свечи, в подклете установили шесть бочек с порохом, храмы, палаты и кельи были завалены ядрами, гранатами, патронами и высушенной соломой.

Так приказал Наполеон, так жаждал Даву, который платил России за свои слёзы. «Железный маршал» Франции плакал лишь однажды, когда во время сражения при Валутиной горе дивизионному генералу Гюдену после первого орудийного залпа оторвало обе ноги; командир 3-й дивизии 1-го корпуса скончался в Смоленске.

Белокаменный собор был спасён казначейшей монастыря инокиней Саррой, которая дождалась ухода последнего французского солдата и залила водой полыхающее пламя вокруг откупоренных пороховых бочек.

Глядя вслед вальяжным европейским туристам, я думал, как два века назад ревностный католик Даву, ежедневно покидая Годуновские палаты, неторопливо направлялся в окутанный карминным маревом Кремль, к алтарю Чудова монастыря, в котором князь Экмюльский устроил себе кощунственное спальное ложе. Какие сны видел Даву?..

Урок был окончен. Брусничные солнечные лучи путались в пожелтевшей листве вязов и тополей и рассеивались за могучими стенами Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря.

Ольга Черенцова

# Встреча в квартире Фолкнера

## 1.

Ночью я сожгла свой роман. Соорудила на заднем дворе костёр и бросила в него рукопись. Пламя было жёлто-алым с синим отблеском — как абстракция. Во все стороны разлетались искры. Одна упала мне на руку, но не обожгла — обернулась светлячком. Искры-светлячки кружились вокруг чёрных деревьев и чёрного филина, который молча наблюдал за мной, сидя на заборе. Всё было цвета сажи, а листы бумаги с умиравшим на них текстом — белыми, пока не превратились в пепел. Моя бывшая учительница Роза Фёдоровна была бы довольна. Давно о ней не вспоминала.

Когда с романом было покончено, я вошла в дом, села за компьютер и, не дрогнув ни рукой, ни сердцем, удалила отовсюду файл. Потом взяла бутылку шампанского, упала на диван, включила телевизор и залпом выпила бокал — за свободу. Что бы там ни твердили о вольном духе тех, кто творит, всё это чепуха. Какая, к чёрту, свобода, если зависишь от других!

— К чёрту! К чёрту! — размахивая бутылкой, пела я.

И тут на стене нарисовался, услышав меня, сам чёрт. Он ухмылялся, кривился, махал хвостом с кисточкой, глумился надо мной. «Дура ты, дура», — говорил он.

Я уткнулась лицом в подушку и пьяно заревела, а утром, когда я проснулась на диване с жуткой головной болью, хвост с кисточкой оказался тенью от засохшей розы, заставившей опять вспомнить учительницу. Жива ли она? Я выдернула цветок из вазы и кинула в мусорную корзину.

В висках сильно стучало. Приняв холодный душ, я заварила кофе. Сделала такой крепкий, что он мог бы оживить и мертвеца. Залпом выпила две чашки. Придя в себя, я кинула в дорожную сумку кое-какие вещи, заперла дверь и пошла к соседке Линде. Она в эту минуту разгружала набитый досками грузовичок. Личностью она была колоритной. В свои семьдесят выглядела на пятьдесят — была подвижной и вполне ещё подтянутой. Выросла она на ферме, откуда привезла с собой в большой город тягучий акцент и ковбойскую одежду, в которой ходила с утра до вечера: шляпу, сапоги с высокими голенищами, кожаные штаны. По праздникам она надевала на шею знаменитый ковбойский платочек. Я ни разу не видела её в чём-то другом. Несмотря на преклонный возраст, она занималась мужским делом — могла починить всё что угодно. Даже разбиралась в компьютерах и не раз налаживала мой, когда он барахлил. Различие во взглядах и вкусах не мешало нашей дружбе. От соседей я, как правило, держусь на расстоянии. Кроме Линды. Я ценила в ней надёжность.

— Привет, Валя! — поздоровалась она. — Рановато ты сегодня, обычно по субботам ты поздно встаёшь.

— Уезжаю, — сказала я и попросила присмотреть за моим домиком.

Вдруг в моё отсутствие влезет какой-нибудь грабитель? Не потеря имущества меня волновала (воровать у меня практически нечего), а мысль, что кто-то вторгнется на мою территорию. Я вроде росомахи — охраняю своё. К себе тоже с некоторых пор мало кого подпускаю.

— Присмотрю, конечно, — кивнула Линда. — Куда собралась?

— В Новый Орлеан, решила смотаться на выходные.

— Ты же там недавно была.

— Не всё там посмотрела. Ты бы тоже съездила, развлеклась.

— Некогда, много работы, а ты поезжай, встретишь кого-нибудь.

Она постоянно искала мне жениха. Объяснять ей, что замуж не стремлюсь (хватит с меня, разок уже побывала!), было бесполезно. Линда считала, что женщина не должна жить одна. Хотя, смешно, сама сторонилась мужчин после смерти мужа. Вдовствовала более четверти века, и за это время — ни одного свидания. Так она говорила. Правда это или нет, понятия не имею.

— Кого можно встретить в новом Орлеане? Пьяницу или женатого туриста, — со смехом сказала я.

— Ну ты и циник, — заявила она. В выражениях она не стеснялась. — Сама же рассказывала, что там немало талантов, одного из них и встретишь.

— Талант мне не нужен.

— Кто же тебе нужен?

— Никто.

— Ну-ну, — она покачала головой. — Когда вернёшься — зайди, нужно поговорить.

— Давай сейчас,— встревожилась я.

Когда слышу: «Нужно поговорить»,— сразу жду неприятностей.

— Сейчас не успеем, потом.

Она пожелала мне удачной поездки и принялась за доски. Собиралась заменить трухлявый забор, через дыры которого я подглядывала за ней, когда она что-то мастерила на своём участке. Она была неутомима, отдыхать не умела.

В Новый Орлеан меня так тянуло, будто заворожила меня в прошлый раз одна из кукол вуду, которые продаются там на каждом шагу. Город этот — идеальное место, чтобы освободиться от навязчивых дум. Например, от мысли, что я тупица и бездарь — то, что утверждала Роза Фёдоровна. Винить её сейчас во всём даже приносило облегчение. После того как я уничтожила свой роман, учительница не выходила у меня из головы, и я прямо с каким-то мазохизмом стала перемалывать прошлое: как она вкатывала мне единицы, как перечёркивала мои сочинения жирной линией и, демонстрируя мою глупость, зачитывала их всему классу. В результате я потеряла интерес к её предмету, перестала заниматься (всё равно же получу кол) и тайком почитывала книги, держа их на коленях под партой. Застукав меня как-то, она велела мне прийти в школу вместе с бабушкой (родителей у меня нет), посадила нас рядышком и сделала выговор, что недостойное это дело — читать на уроках Фолкнера. «А кого надо читать, чтобы было достойно?» — с иронией спросила бабушка. «На уроках литературы не полагается читать! — разозлилась учительница.— Вы хоть видели сочинения вашей внучки? Это же полный бред!»

Вспоминая это, я подумала, что сегодня же отправлюсь в квартиру Фолкнера. В тот раз мне не повезло — музей был закрыт.

Поначалу дорога в Новый Орлеан была скучной: безликие постройки, длиннющее поле, пятнистые коровы, умудрившиеся втиснуться всем стадом в тень одинокого дерева. Следом опять поле, уже с лошадьми, затем бесконечные ряды низких кустов — один такой, вечно норовивший царапнуть меня колючками, когда я проходила мимо, рос у меня на участке, пока я его не срубила. Из его веток я и сделала костёр.

Через час картина поменялась, оживилась. Пошли леса и блестящие болота с пляшущими и плывущими деревьями-раскоряками. Солнечный свет в Луизиане вытворяет чудеса, всё вокруг скачет и танцует. Машину я гнала, подзабыв о ловцах-полицейских, подстерегавших легкомысленных водителей. Вообще-то я не лихач, но после вчерашней ночки потеряла осторожность, даже бравировала. Убивать свой текст оказалось легче, чем я предполагала. Если он никому не нужен, то пусть будет пеплом. Однако радости оттого, что начинаю жизнь с чистого листа, я пока не испытывала. В самом выражении «с чистого листа» сквозила насмешка. В душе было пусто до безразличия. Как будто я — это не я, а наблюдавшая за мной со стороны незнакомка. Я толком ещё не осознала, что натворила. Если же рукописи не горят, как утверждает Воланд, то мой роман, сгорев, остался. С такими противоречивыми мыслями я въехала во Французский квартал.

— Опять к нам! Рад вас видеть! — узнал меня клерк гостиницы, жизнелюбивый малый во всём пёстром — брюках, рубашке, кепке.

Когда я останавливалась в этом месте два месяца назад, его заливистый хохот будил меня по утрам — разносился по всему зданию, отскакивал эхом со дна двора, куда выходило моё окно, и врывался в комнату. Но это не мешало, а если бы мешало, жаловаться на шум в Новом Орлеане бесполезно. Город гудит все ночи напролёт.

— Устроим вас по-королевски, с видом на улицу,— сказал он.

И не обманул: номер был светлый, просторный, а не тёмный и размером с кладовку, как прежний, где по ночам всё скрипело и шевелилось, внушая тревогу, что бродит там чей-то дух.

Прогулку по городу я начала с музея Вуду. Отправилась развлечься, а попала в загробную обстановку — в мрачноватое, без окон, помещение, точно склеп. Экспонаты там весьма зловещего вида и все жухло-коричневого цвета. А вот туалет — королевский: большой, чистый, пахнущий чем-то ароматным, с широкой лесенкой, ведущей вверх к белоснежному унитазу.

Ясными в музее были только входная комната и выражение лица продававшей билеты полной женщины. На её блузке сидела колибри — столь искусно сделанная, что я поначалу приняла её за живую.

Посетителей было всего двое: я и молодой человек, выходивший из шикарного туалета в тот момент, когда я шла по узкому коридору. Музей походил на переделанную коммунальную квартиру. Комнатки были маленькие, пахли чем-то затхлым. В каждой — множество коричневых фигурок божков. У их ног лежали горстки монет, пакетики чая, конфеты и куча фотографий, с которых смотрели на божков с надеждой, что те помогут, мужчины, женщины, дети. Около одной фигурки возвышалась целая гора подношений. Согласно брошюрке, которую вручила мне билетёрша, этот божок обладал скверным нравом и не прощал тех, кто обделял его вниманием. Посмеиваясь, я всё же достала кошелёк. Зачем его гневить? И так неприятностей хватает! Пока я вытаскивала монеты, сзади раздался шорох. Обернувшись, я увидела парня, с которым столкнулась около туалета. Поймав мой взгляд, он шмыгнул за дверь, оставив на стене тень от хвоста с кисточкой. Померещилось или нет?

Всё осмотрев, я вернулась во входную комнату. Там продавались безделушки, пузырьки с волшебной жидкостью и множество кукол вуду на все случаи жизни: устранить соперника, разбогатеть, встретить любовь, выздороветь. И только одна из них обещала успех в работе. Не купить ли? И я напомнила себе, что колдовать бессмысленно — моего романа уже нет.

Пока я выбирала сувенир, чувствовала пытливый взгляд женщины с птичкой на блузке.

— Симпатичная у вас колибри. Где можно такую купить? — спросила я.

Ни слова не говоря, она отстегнула брошку и протянула мне.

— Нет, что вы, это ваша, — смутилась я.

— Берите, берите, — она привстала и буквально силой вложила мне брошку в руку.

— Мне, право, неудобно… давайте я заплачу.

— Не надо, это ваше, принесёт вам удачу.

Неожиданный подарок меня порадовал и удивил — колибри была связана в памяти с моей бабушкой. Когда я вышла на улицу, в стеклянных глазах птички блеснуло солнце. Вблизи она казалась такой же живой, как и на расстоянии. Может, и впрямь принесёт мне удачу. Думая об этом, я вошла в первое подвернувшееся кафе и пристроилась у открытого окна. Напротив было заведение «Весёлые девушки». Одна из этих девушек — на каблуках-ходулях, в обтягивающих лакированных шортах — в эту минуту входила в дверь, около которой стоял амбал с метровыми плечами. Прочёсывая прохожих бритвенным взглядом, он посмотрел и на меня. Я поспешно отвернулась. А то ещё решит, что я не прочь с ним познакомиться! «Дикая ты», — разочарованно сказала бы Линда.

В Новом Орлеане не пить невозможно, и я заказала вина. В городе всё пропитано спиртным: улицы, люди, мысли и воздух — становившийся вонючим к вечеру. Французский квартал пахнет приятно только по утрам, когда народ ещё раскачивается после ночного разгула и нет уже тошнотворных луж на тротуарах. Но избавиться от луж невозможно. Их спозаранку смывают водой, они опять появляются, их смывают… и так каждый день. Утром город пахнет кофе, пончиками, сладостью, беззаботностью.

Попивая вино, я думала о том, что нечего горевать о романе. Не писать мне надо, самонадеянно считая, что могу поведать миру что-то этакое, никому неведомое (смех!), а заняться чем-то толковым, как Линда. Она скромно трудится, выручает людей. Буду, как и она, довольствоваться малым и радоваться тому, что есть. Это соображение взбодрило, и, продлевая хорошее настроение, я заказала ещё вина. Ожидая, пока принесут, я вытащила колибри, приунывшую в глубине сумки, и приколола её к своей футболке. Она оживилась и сверкнула глазами-стекляшками. Я опять подумала о бабушке.

Время подобно трюку иллюзиониста: бежит с бешеной скоростью, а с другой стороны — не движется вовсе, и все родные, кого ты потерял, — вот они, стоят рядом. Чувствуешь их присутствие, слышишь их голоса. Бабушку я чувствую каждый раз, когда думаю о ней. Она меня вырастила. Когда она умерла, я уехала из России. Думала, что уезжаю на время, но задержалась…

Человеком она была стойким, несгибаемым, а одновременно жутко ранимым — могла расстроиться до слёз из-за хамства на улице. Я нередко удивлялась: как же так, войну и лагеря прошла, всю семью похоронила, не сдалась, всё выдержала, а из-за какой-то ерунды переживает. «Себя не переделать», — вздыхала она. Глядя на колибри-брошку, я думала о той истории, которую мне рассказала бабушка. Каждую неделю она ездила на могилу к своему сыну — моему отцу, умершему от желтухи, когда мне был всего год. Когда я появилась на свет, ему было восемнадцать, как и моей матери. Я, что называется, была зачата не в результате любви, а, скорее, неосмотрительности. Свою мать я никогда не видела, а когда подросла и захотела с ней встретиться, все поиски привели в тупик.

Как-то бабушка вернулась с кладбища не подавленной и расстроенной, а на удивление сияющей. В тот день там было пустынно и холодно. Пока она сидела на лавочке, рассказывая своему сыну о житье-бытье, словно он мог услышать, мороз усилился и пробрался через зимнее пальто прямо ей в сердце. Ей стало тяжело как никогда, будто впервые дошло, что разговаривает не с сыном, а сама с собой, и вместо него перед ней памятник с его фотографией. Прошло много лет, а легче ей не становилось. Даже когда казалось, что боль притупилась, отпустила и теперь можно думать о сыне без слёз, она опять накатывала, да ещё с удвоенной силой. И тут на лавочку опустилась колибри. Посидела, глядя на неё, и улетела.

Я не очень-то ей поверила. Непонятно откуда взявшаяся в Москве колибри, да ещё в мороз! «Это была весточка от твоего папы», — сказала бабушка.

Галлюцинация (а что ещё это могло быть?) убедила её в том, что мой отец рядом, что слышит её и что когда она уйдёт из этого мира, они встретятся. Видя, как она радуется, я притворилась, что верю.

— Это вам, — оборвал мои воспоминания официант и поставил на стол бокал шампанского.

— Но я не заказывала.

— Это вон от того человека, — указал он на парня в баре. Того самого, из музея.

Сидя на одноногой табуретке, обкручивая её ножку своим длинным хвостом с кисточкой, он лукаво поглядывал на меня. Шучу, конечно. Хвоста у него не было, он даже не смотрел в мою сторону, а болтал с барменом. Его появление не особенно удивило. В Новом Орлеане всё возможно, всё мистично и нереально. Люди сталкиваются,

расходятся, снова сталкиваются, а в воздухе — приворот: если хоть раз сюда приедешь, будет тянуть назад. Недаром весь город в куклах вуду.
— От какого человека?
— Вон того, — опять махнул официант рукой в сторону парня, из-за спины которого возник улыбавшийся мне незнакомец с треугольной бородкой.

Кивнув, я отвернулась. Посидела немного, расплатилась и ушла.

Гуляя по городу, я раздумывала, куда бы пойти вечером послушать джаз. «Сюда ты тоже собиралась», — напомнила колибри, когда я проходила мимо бордового здания с мемориальной табличкой на стене. «Квартира Уильяма Фолкнера», — прочла я. Надо же, хотела зайти и неожиданно здесь очутилась. Я открыла дверь, известившую о моём приходе стуком, и шагнула внутрь. Дохнуло стариной, запахом книг и кофе, который пила сидевшая за письменным столом пожилая дама — со скорбным лицом, вся в чёрном, будто вернулась с похорон. Глянув на меня поверх очков, она строго предупредила, что через пятнадцать минут они закрываются. В её голосе промелькнул акцент.
— Я быстро, — пообещала я. — За вход нужно платить?
— Не надо, это книжный магазин.
— А я думала — музей.
— Музей и магазин, — подчеркнула она и, давая понять, что занята, потянулась к телефону.

Пока она договаривалась с кем-то о новой партии книг, я скользнула в коридорчик, в котором едва можно было развернуться, и быстро всё рассмотрела: узкую лестницу, на ступеньку которой я украдкой ступила и она пискнула в ответ; высокие, до потолка, книжные стеллажи и видневшийся в конце коридора зелёный дворик. Я мысленно взбежала на второй этаж — в спальню Фолкнера. И донёсся с потолка скрип: кто-то лёг на расшатанную кровать, как в далёком прошлом делал он. Сердитая дама по-прежнему разговаривала по телефону, и я юркнула во двор, игнорируя табличку на калитке: «Посторонним вход воспрещён». Вошла и опустилась на скамейку, на которую не имела права садиться.

Было тихо и умиротворённо. Никого. Кружок неба над головой. А вокруг — цветы. На юге они пахнут остро, терпко, головокружительно. Над ними кружились бабочки. Чьи-то души, как сказала бы бабушка. Возможно, душа Розы Фёдоровны тоже сюда прилетела, чтобы напомнить мне о моей никчёмности. Когда я была девчонкой, я ей поверила, а потом прошлое потускнело, и учительницу я забыла. Вспомнила о ней только спустя много лет, когда родился мой роман. Она оказалась права: мой текст никому не был нужен. Тут я на себя разозлилась: выкапываю старые обиды!

Пока я сидела, налетело много бабочек, крупных, золотистых, с прозрачными крыльями. Одна из них начала выделывать прямо передо мной пируэты. Затем опустилась рядом на скамейку и замерла. Мне даже показалось, что она на меня смотрит. Не бабушкина ли это душа?
— Разве вы не видели табличку «Посторонним вход воспрещён»? — раздалось сзади.

Это была дама в чёрном. Солнце било ей в очки, пряча её глаза. На меня уставились два блестящих стекла.
— Извиняюсь, не могла удержаться. Я приехала в Новый Орлеан ради вашего музея, — попробовала я её разжалобить.

Но она была непреклонна и снова подчеркнула, что это книжный магазин.
— Вы давно здесь работаете? — спросила я.
— Давно. А в чём дело? — насторожилась она.
— Наверное, хорошо здесь работается, так тихо.
— С тишиной у нас когда как. Сами знаете, это же Французский квартал, но место у нас красивое.
— Да, красивое, я давно мечтала посмотреть, — воспользовалась я её потеплением: вдруг разрешит подняться наверх и обойти всю квартиру. — Я ещё в юности зачитывалась Фолкнером, очень его люблю.
— Да, он великий писатель, — держалась она уже приветливее. — К нам много людей заходит, но, не поверите, Фолкнера мало кто читал. Всегда приятно, когда видишь человека, который ценит классику.

Она слегка оживилась, с увлечением заговорила о литературе, хотя лицо оставалось хмурым. Её манера улыбаться без тени улыбки в глазах кого-то напоминала. Я попыталась связать её с кем-нибудь, кого знала раньше, но безуспешно. Кто-то мелькнул в памяти, но, так и не обретя очертания, тут же пропал, как бывает, когда пробуждаешься по утрам: пытаешься задержать сон, пока не размыл его дневной свет, но он тает и оставляет ощущение недосказанности. Эта пасмурная дама была как из забытого сновидения. Сам город казался сновидением.
— Впервые в Новом Орлеане? — спросила она.
— Уже второй раз. Нравится мне здесь, музыка на каждом углу.
— Этого у нас хватает, — недовольным тоном, словно жалуясь на шум, произнесла она.
— Не посоветуете, куда пойти вечером послушать джаз?
— Да куда ни пойдёте — не прогадаете, — она назвала несколько мест, выделив одно. — Говорят, там прекрасная певица, сама давно туда собираюсь. Живу здесь, а ничего толком ещё не видела: дом, работа, сами понимаете… Я уже на пенсии, а сейчас подрабатываю.
— Кем вы раньше работали?
— Педагогом.

Я удивилась. Весь последний день вспоминаю Розу Фёдоровну и сталкиваюсь с педагогом!

А вдруг это она? Она же говорит с акцентом. Вглядываясь в неё, я попыталась увидеть в ней свою бывшую учительницу. Мысленно стёрла с её лица морщины, перекрасила седые волосы в прежний русый цвет. Она? Нет, конечно. В отличие от этой дамы, Роза Фёдоровна не любила Фолкнера, да и не бывает таких случайностей. Но моя фантазия уже разыгралась…

— Вы преподавали в Новом Орлеане? — спросила я.

— Нет, в Эль-Пасо.

— А я подумала, что вы, как и я, из России, — и я внимательно посмотрела ей в глаза. Вернее, в очки, за которыми они прятались, — в стёклах опять сверкало солнце.

— Нет, ни разу там даже не была.

Не мексиканка ли она, раз жила в Эль-Пасо? Непохоже. Что бы я сделала, если бы передо мной и впрямь стояла Роза Фёдоровна? Стала бы ей что-то доказывать? Сейчас ей должно быть шестьдесят с лишним лет, её уже не переубедить, да и не нужно. Не исключено, что она сама жалеет, что срывалась на учениках — не одной мне от неё доставалось. Да нет, не стала бы я ничего доказывать, не стала бы упрекать и не призналась бы, кто я такая. Тем временем дама в чёрном сказала, что пора всё запирать, и повела меня к выходу.

— Я забыла представиться, — произнесла я в дверях. — Меня зовут Валентина. А вас?

— Марта.

Лёгкой заминки в её голосе было достаточно, чтобы я ей не поверила. Внезапно мне страшно захотелось, чтобы она оказалась моей учительницей. Чтобы не себя винить за то, что уничтожила роман, а её.

— Послушайте, приходите вечером на концерт, вы же говорили, что давно туда собираетесь, — предложила я.

— Сегодня не получится, — покачала она головой.

— Приходите, хорошо проведём время.

— Ладно, постараюсь.

— Значит, не прощаемся, — сказала я и вышла на улицу.

Вместе со мной выпорхнула золотистая бабочка. Влетела в луч солнца и растворилась в нём.

На концерт Марта не пришла. Зал был переполнен, немало народу сидело на полу в проходе. Бегая взглядом по толпе, разыскивая учительницу (я убедила себя, что это она), я размышляла: продолжать писать или бросить? Брошу. Станет легче. Ни забот, ни переживаний! А что останется? Скучная работа, на которую хожу только ради денег. Торчать на ней часами помогал мой труд, который я презрительно стала называть писаниной. Не напроситься ли к Линде в подмастерья? Будем вместе заниматься полезным делом. Всё же веселее, чем сидеть в офисе на стуле. «Так она тебя и взяла», — забраковала мой план колибри, перебравшаяся с моей футболки на платье, в котором я пришла на концерт.

Певица, темнокожая, статная, с миллионом светлых косичек до талии, пела так, что захватывало дух. Зал рукоплескал, кричал «Браво!», ну и пил, конечно, как же иначе. Под конец выступления она стала затаскивать на сцену зрителей. Вручала им погремушки, гармошки, забавные самоделки. И они свистели, играли: одни с азартом, приплясывая, другие робко, стесняясь. Я вдруг заметила Марту. Пришла! Она смущалась, неуклюже держала в руке флейту. Один из зрителей — возбуждённый седовласый дядечка — вызвался помочь и показал ей, как надо правильно дуть. Она окончательно стушевалась, разнервничалась, повернулась, чтобы убежать. Но удрать ей не удалось — её остановила певица, сказала что-то ободряющее, спросила, как зовут.

Вокруг галдели, смеялись, бесновались. А вон и знакомый парень из музея Вуду. Он подмигнул мне, подцепил хвостом с кисточкой свисток, поднёс его ко рту, громко зазвенел. Ему вторили остальные. Ор стоял невообразимый, и я боялась, что не услышу ответа Марты. «Меня зовут Роза», — скажет она… Вспыхнул свет. На сцене также плясала и задорно играла группа зрителей, но ни дамы из квартиры Фолкнера, ни парня со свистком среди них не было.

## II.

Вернувшись домой, я сразу же отправилась к Линде. На её крыльце валялась газета — небывалый случай! Газету она подбирала каждое утро. Встревожившись, я с силой застучала в дверь.

— Ты чего барабанишь? — спросила она, открыв.

Выглядела она плоховато: осунувшаяся, с воспалёнными глазами, с помятым лицом. За пять лет нашего знакомства впервые проступил её возраст.

— Что с тобой? — испугалась я.

— Простудилась.

— Давай отвезу тебя к врачу.

— Вот ещё! Из-за какого-то насморка к врачу бежать! — отмахнулась она.

Жаловаться она не любила и сердилась, когда я спрашивала, здорова ли она.

Беспорядок в доме тоже был тревожным знаком. Человеком она была дотошно аккуратным. Всё лежало как приклеенное, на строго положенных местах, переставлять что-либо воспрещалось. Один раз я нарушила это правило: рассматривая фарфоровую кошку, поставила её не на полку, с которой сняла, а на журнальный столик. Линда нахмурилась, будто я совершила кощунство, и водворила кошку назад.

— Кофе будешь? — спросила Линда.

— Я сделаю, а ты ложись.

— Нет, я сделаю, а ты садись, — приказала она.

Поприрекавшись со мной, она всё-таки уступила. Легла, укрылась пледом, несмотря на теплынь и духоту (кондиционер она редко включала), и спросила, как я съездила.

— Необычная была поездка,—и я рассказала про Розу Фёдоровну.

— Вряд ли это она,—произнесла Линда,—хотя всё в жизни бывает.

— Если это она, зачем назвалась Мартой?

— Кто знает… не хочет общаться с иммигрантами или тебя узнала.

— Меня она никак узнать не могла, последний раз она меня видела, когда я была девочкой.

— Чего голову ломать? Какая разница, она это или не она.

— Странно, что я наткнулась на неё после стольких лет именно сейчас…—я хотела было рассказать про уничтоженный роман, но смолчала.

— Если тебе это так важно, позвони ей в магазин.

— Что я ей скажу? «Признавайтесь, что вы не Марта»?

— Ты не представляйся. Когда она или кто другой подойдёт, попроси к телефону Розу, так и узнаешь. Только не понимаю, зачем тебе это. Ну говорила она тебе гадости, ну да, неправильно это. Но мало ли кто чего говорит? Ты что, всех слушаешь?—и без всякого перехода махнула рукой в сторону картины на стене. На ней были изображены дремавшие под деревом коровы—вроде тех, которые повстречались мне по дороге в Новый Орлеан.—Глянь, я на прошлой неделе купила. Нравится?

— Нравится,—покривила я душой, чтобы доставить ей радость.

Весь дом был увешан подобными картинками. Куда ни войдёшь—в комнату, кухню, туалет—везде козы, быки, коровы и скачущие на лошадях ковбои с лассо в руках. Обстановка была в стиле кантри. Всё в цветочках: мебель, обои, подушки и плед, которым Линда укрылась. Цветы были повсюду и в горшках—живые, но сегодня приунывшие, с опущенными головками. Она забыла их полить, как и подобрать газету.

Музыку она тоже предпочитала кантри, была консервативной, уважала традиции. Характер у Линды был колючий, а сердце доброе. Думая об этом, я смотрела на неё, постаревшую всего за два дня, пока меня не было, сникшую, одетую в байковый халат—серовато-зелёный, как и её лицо в эту минуту. Я даже не знала, что у неё имелся халат, она всегда ходила в штанах. В нём она выглядела обыкновеннее, чем в ковбойской одежде.

— Ну так расскажи, что ты там делала. Познакомилась с кем-нибудь?—спросила она.

— Я не за этим туда ехала.

— Во-во, не за этим! Что на старости-то одна будешь делать?

— Когда состарюсь, тогда и решу.

— Тогда поздно будет,—и изрекла с назиданием:—О старости надо уже сейчас думать.

— Но ты же одна и особо не горюешь.

— Иногда горюю,—призналась она,—но чего попусту горевать, что есть, то есть, а ты ещё молодая, нельзя всех сторониться. У тебя не жизнь, а скукота: на работу пошла, вернулась, села за компьютер.

— За компьютером больше не придётся сидеть, только если почитать новости,—усмехнулась я и всё ей рассказала. Решила таки поделиться.

Никак не ожидала, что она бурно прореагирует. Мне казалось, что моё занятие литературой она не воспринимала всерьёз. Хотя она никогда меня не обескураживала (мол, сейчас все кому не лень строчат), обходила эту тему молчанием. Впрочем, она же не могла ничего у меня прочесть—русского языка не знала.

— Ну ты и дура!—повторила она слова привидевшегося мне чёрта.

— Я думала, ты меня поддержишь, а ты ругаешься.

— Поддерживают, когда беда, а не когда сам всё портишь,—со всей прямолинейностью заявила она. Всегда рубила правду-матку, за что я вообще-то её уважала.—Что ты собираешься теперь делать?

— Ничего, буду жить как все.

— Ну вот, растеклась от жалости к себе! Нетерпеливая ты,—вздохнула она.—Ты уверена, что отовсюду удалила? С флешки тоже?

— Да.

Она встала (осанка у неё была ещё довольно прямой, я бы даже назвала—горделивой) и с пледом на плечах, висевшим на ней наподобие королевской мантии, подошла к комоду и вытащила что-то из ящика.

— Держи,—протянула она мне конверт.—Когда я налаживала твой компьютер, то на всякий случай сделала ещё одну флешку. Я же знаю, что ты всё теряешь, ну и в компьютерах паршиво разбираешься, но если опять всё сотрёшь—помогать больше не буду.

— Линда…—выдохнула я и чуть не разрыдалась.

— Ладно, ладно, хватит, нечего нюни распускать,—сказала она, когда я бросилась её обнимать, и указала на увесистую коробку в углу.—У меня для тебя ещё кое-что есть. Раз тебе нравятся мои картины, забирай, а то у меня уже места нет.

— Спасибо,—растерялась я, соображая, как бы потактичнее отказаться от подарка.—Тебе не жалко? Это же твоя коллекция.

— Для дорогой соседки ничего не жалко,—заулыбалась она.

Пришлось взять. Она же спасла мой роман и до этого часто выручала. Повешу её любимых коров и ковбоев на почётное место.

— О чём ты хотела со мной поговорить?—спросила я.

— Когда?

— В субботу, когда я уезжала.

— А-а, да об этом, о моих картинах. Пошли, посидим на терраске.

На улице была банька. Воздух плотный, влажный, в дымке. С листвы стекали тяжёлые дождевые капли. Пам-пам-пам—звонко падали они в стоявшее на грядке ведро. Линда была не только монтёром и плотником—ещё и огородником, часто угощала меня выращенными овощами. Пока мы с ней беседовали в доме, прошёл ливень. Обрушился лавиной, как это бывает на юге, промыл город, погнул цветы на её участке, на моём тоже: через расшатанный дырявый забор я видела, как мои лилии опустили к земле колокола. Пока Линда заменила только пару досок, остальные лежали грудой в траве.

Мы сели на скамейку-качели: она—закутанная в плед, а я—с прижатым к груди конвертом с драгоценной флешкой. Через щели забора был виден узкий пустырь, а за ним вдали тянулась мокрая серая дорога с летевшими по ней автомобилями—казавшимися отсюда крохотными. Одна машинка на долю секунды появилась в щели, юркнула за доску, опять мелькнула, потом спряталась за следующую доску и исчезла. Моё воображение повело её дальше, в наш переулок, к моему дому. Из неё вышел незнакомец, постучался в дверь… Линда права, нельзя вечно жить одной и всех сторониться. И когда через пять минут раздался стук, я даже вздрогнула. Но это оказался почтальон, доставивший посылку с рабочими инструментами. Линда оживилась. Сказала, что спозаранку примется за дело, сколько всего надо починить и наладить.

— Надо вначале отлежаться, а то совсем разболеешься,—предостерегла я.

— Болеть мне некогда, масса дел,—с восторгом рассматривая инструменты, произнесла она.

А через несколько дней я решила последовать её совету и позвонила в квартиру Фолкнера. Подошла Марта. Я мгновенно узнала её акцент.

— Попросите, пожалуйста, Розу,—сказала я, как научила меня Линда.

— Куда вы звоните?—строго спросила та.

И я повесила трубку.

ДиН ревю

## Эдуард Учаров

# SOSтояние невесомости

Стихи. Казань, 2012.—60 с.

«Сегодня принято стыдиться той крови, которая идёт горлом, окрашивая слова поэзией. И особенно ценно для меня, что искренний голос Эдуарда Учарова пробивается сквозь все пласты его технического мастерства и тем самым превращает «стихи для немногих» просто в стихи. Вероятно, поэтому, пройдя искусы концептуализма, метареализма и прочих модных «измов», его поэтика неизменно возвращается на те круги, с которых русской поэзии не сойти ещё долго—к высокому косноязычию Осипа Мандельштама…»

ЮРИЙ ЛУКАЧ
*поэт, переводчик*
*(Екатеринбург)*

### Свияжск

Впадает ли в Волгу кривая Свияга,
где кожа реки золотится на солнце
и храмы медовые, вставши на якорь,
в обеденный проблеск опутаны звонцем?

Впадает ли сердце в острожную крепость,
забившись о берег тугими волнами,
в крови оживляя восторженный эпос
о грозном царе от бревенчатых армий?

Впадают ли в спячку глухие столетья,
ушедшие вплавь на приступье Казани,
внизу по теченью победу отметив,
забывшие всё, что стремительно взяли?

Заблудшее солнце, что рань ножевая,
покойные церкви по горлу полощет.
Но лязгом мечей иногда оживает
на острове новом старинная площадь…

Рустам Карапетьян

# Ульма

## Земля

— Ульма-а-а! Ульма!!!

Маленькая Ульма не отвечает. Она знает, что если ответить сразу, то её тотчас же найдут. И поведут домой кушать. Конечно, Ульма немножечко проголодалась, но сейчас у неё гораздо более интересное и важное занятие. Ульма лежит на земле и наблюдает за муравьём. Муравей спешит к себе домой. Это Ульма знает точно, потому что муравей тащит какую-то съедобную крошку. Когда мама возвращается с работы, она тоже всегда тащит большие пакеты с едой.

— Ульма-а-а!

Если отозваться, то прибегут взрослые и могут раздавить мураша. Поэтому Ульма не отзывается, а думает: «Интересно, а сколько у него детей? Наверное, мальчик и девочка. Они, наверное, сидят в муравейнике и смотрят в окно». Если встать во весь рост, то муравья почти не видно. А если лечь, да ещё и прислонить голову к земле,—муравей становится большим. И хорошо видно, как он торопится домой—покормить своих малышей. Иногда Ульма подставляет на пути муравья веточки и с интересом наблюдает, как он преодолевает внезапно упавшие с неба препятствия. Ульма вовсе не хочет оставить муравьят голодными. Но ведь так интересно наблюдать, как папа-муравей переползает через веточку, таща за собой громадную крошку.

— Ульма-а-а!

Иногда Ульме кажется, что Бог лежит на облаке, свесив голову вниз, и наблюдает за ней. Потому что Бог далеко и он большой. По другому ему Ульму ну никак не разглядеть. Ульма уже знает несколько молитв. Но когда ей кажется, что Бог смотрит на неё, она от волнения сразу их забывает и только шепчет быстро-быстро: «Боженька, Боженька, это я, Боженька, я здесь, Боженька мой». Ещё иногда она машет рукой в небо. И если рядом оказываются взрослые, то они машинально тоже смотрят в небо, потом пожимают плечами и продолжают заниматься своими делами.

— Ульма-а-а!

Муравей дополз до своей норки и нырнул туда. Крошка, которую он тащил, всё никак не хочет протискиваться, но тут выскакивает вся муравьиная семья: мама, дедушка, бабушка и двоюродный дядя,—и все вместе заталкивают крошку в дверь. Ульма радуется: теперь муравьята не останутся голодными. Ульма вскакивает и бежит к дому. Возле дома её уже ждёт мама.

— Ульма, горюшко моё, куда это ты запропастилась? И где это ты так извозюкалась? Ну-ка немедленно марш мыться, а потом кушать!

Ульма в ответ только невинно улыбается. И бежит вприпрыжку в дом. На крыльце она оборачивается и машет кому-то в небе. Я улыбаюсь, глядя на Ульму. Потом вскакиваю и стрелой мчусь домой. Меня, наверное, тоже уже потеряли.

Жарко даже у воды,
Душно в речке даже.
Мне рассказываешь ты
Сон про куклу Дашу.

Над водою стрекоза,
В небе солнца мячик.
Хорошо тебе в глаза
Дунуть одуванчик.

## Огонь

Его зовут Петер. И он рыжий. Ульма так его и зовёт: рыжий Петер. Петер не обижается, а только смеётся. А чего обижаться, если он и правда рыжий? Они познакомились в турпоходе. Она—студентка, он—инструктор. Палатка, костёр, песни—что ещё для знакомства надо? Петер отвратительно поёт. Зато как он играет на гитаре! А Ульма больше всего на свете любит петь. Она даже в детском саду солировала: «Солнечный круг, небо вокруг…» И потом уже хор: «Пусть всегда будет солнце!»

— А за что ты меня полюбил?—часто спрашивает она Петера.

Петер делает вид, что задумался, а потом начинает перечислять:

— Ну, во-первых, ты не дерёшься. Во-вторых, твоя мама бесподобно готовит клёцки. В-третьих, ты не храпишь…

На «в-седьмых» Ульма обычно не выдерживает и кидает в Петера подушкой. Петер швыряет подушку в ответ, и начинается битва. По комнате в полнейшем восторге скачут солнечные зайцы. Вообще-то Петер—архитектор. Будущий. Но он уже спроектировал дом, в котором они будут когда-нибудь жить. В этом доме много воздуха и солнца. И ещё—много детей. Ведь у Ульмы будет много детей. Мальчик, девочка, а потом ещё один мальчик. И все рыжие, как Петер. Зато глаза у них будут голубые, морские, как у их мамы.

Ульма лежит у Петера на груди и рассказывает:
— А ещё, представляешь, нам зачёт перенесли. Я готовилась, готовилась. А теперь за неделю всё позабуду.
— Ага,—сонно бормочет Петер.
— Зато по английскому препод заболел, и ему на смену прислали другого, молодого. Так он всем нашим девчонкам, и мне тоже, пятёрки просто так поставил, за красивые глазки.
— Угу,—сонно соглашается Петер.
— Тебе, что ли, совсем всё равно?—возмущается Ульма.
— Эге,—соглашается Петер, и Ульма тут же вцепляется в его дурацкие рыжие кудри.—Ой-ёй-ёй! Ну не всё равно, не всё равно! Только отпусти, кошка несчастная!

Ульма отпускает его и победно мурлычет.
— Да, мы, кошки, такие! Только я—счастливая кошка.

Иногда ей кажется, что она и Петер—это два язычка пламени. Они то горят по отдельности, то сплетаются в буйном танце—и тогда становится непонятно, где Ульма, а где Петер.
— Я люблю тебя,—почти неслышно шепчет она Петеру в ухо.
— Ага,—сонно бормочет Петер.
По окну уже сползают первые капли рассвета.

И Ульма незаметно проваливается в сон. Сон, кстати, тоже рыжий и тёплый. И в нём много солнечных зайчиков.

Цветом небо загорелось.
Это мне так захотелось,
Чтобы встретила меня
Ты под брызгами огня.

Чтобы рядом мы стояли
И молчали, как во сне,
Чтоб из глаз твоих стекали
Струйки света в губы мне.

## Дождь

Лицо было мокрым. Но не от слёз, а от дождя. Дождь зарядил с самого утра. Серая мелкая морось с серого измятого неба. Серым было всё: дома, прохожие, машины. Серыми были слова, произносимые такими же серыми губами. Серыми и мокрыми.

Отпевали в маленькой загородной церквушке. Народу было немного. Наверное, потому, что по жизни как-то так сложилось, что знакомых было много, а друзей мало. Слишком уж они вдвоём были заняты друг другом. Так что для многочисленных дружб времени не оставалось. Поэтому друзей было мало. Зато пришли все. Они по очереди подходили к Ульме, трогали её за рукав и отходили, не произнося ни слова. На то они были и друзья, чтобы понимать, что Ульме сейчас слова ни к чему.

Ульма знала, что должна поплакать,—но слёз не было.
«Хорошо, что дождь,—думала она,—не так заметно, что я не плачу».
Но, по правде говоря, она и не могла заплакать. Если бы она заплакала, то тогда бы согласилась с происходящим, с тем, что необратимо, с тем, с чем согласиться она никак не хотела. Конечно, никаких таких мыслей в голове Ульмы и в помине не было. Просто она никак не могла заплакать, и всё.

Ульма загадала: «Если я досчитаю до ста и дождь кончится—значит, это всего лишь сон». Она досчитала до ста—медленно, не торопясь. Её о чём-то спрашивали, она кивала в ответ, но на самом деле ничего не слышала, а хмуро и сосредоточенно считала: «Девяносто девять… Сто…»

Дождь не кончался. «До тысячи, я сосчитаю до тысячи»,—решила Ульма. Дождь не кончался. Струйки воды текли по её лицу. Но Ульма не плакала. Она считала.

Приехали домой. Что-то выпили. Так же молча подходили по очереди друзья. Так же молча уходили. На то они и друзья, чтобы понимать, что Ульме хотелось побыть одной. Ульме было не до них. Ульма считала до миллиона. А дождь не кончался.

В Чехии начались наводнения. Польша к ним только ещё готовилась. А в Германии с непогодой боролись уже давно и всерьёз. Ульма об этом не знала. Она не смотрела телевизор, не слушала радио, не включала компьютер. Ульма была очень занята: она считала до миллиона.

«Если считать быстро: раздватричетырепять,—то это не считово, и ничего не получится»,—думала Ульма. И поэтому она считала вдумчиво и серьёзно: «Двести семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один… Двести семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два…» Дождь не кончался.

Ульма смотрела в небо—небо было затянуто серой пеленой, даже помахать некуда. Наверное, Бог сейчас совсем не видит её. Иначе бы он обязательно помог. Но из-за дождя—ничего толком не разглядеть. А даже если на миг и появится просвет, и Бог разглядит в него мокрое Ульмино лицо, он наверняка подумает, что это всего лишь дождь. И, кстати, так ведь оно и есть. «Пятьсот шестьдесят две тысячи триста пятнадцать… Пятьсот шестьдесят две тысячи триста шестнадцать…»

На работе Ульму отправили в отпуск. Ну и правильно. Какой сейчас из неё работник? Спросишь её о чём-нибудь, а она смотрит, смотрит словно бы сквозь тебя и только губами еле шевелит. По-хорошему, может, надо было показать её врачу, но решили, что пока не стоит. Пускай ещё немного времени пройдёт, а там, глядишь, и придёт в себя наша Ульмочка, русалочка голубоглазая. А дождь всё шёл и шёл.

Каждый вечер Ульма приходила в кафе, где они раньше сидели по воскресеньям. Ульма брала чашечку кофе и сидела до самого конца, пока хмурый хозяин кафе не начинал переворачивать стулья и складывать их на столы. Тогда Ульма быстро расплачивалась и уходила. «Восемьсот двадцать девять тысяч сто один…»

Кажется, это был понедельник. Или вторник. Но что не воскресенье—это точно. Потому что по воскресеньям в кафе обычно сидело много народа, а в этот раз оказалось раз-два—и обчёлся: только пожилая пара да саксофонист из дорогого ресторана напротив.

—Миллион!!!—прошептала Ульма, и вдруг дождь кончился.

И серые тучи как-то заробели и так стыдливо отодвинулись друг от друга, а потом и вовсе разбежались в разные стороны. И небо оказалось вдруг таким невыносимо глубоким и синим, что Ульма от неожиданности выронила чашечку. Как в замедленном показе, чашка медленно спланировала на мостовую и разлетелась вдребезги.

Ульма неловко оглянулась, словно ища чего-то. Мир вокруг играл красками, растекался ручейками смеха, поблёскивал осколками луж. Ульма вздохнула и отчаянно разрыдалась.

Тарелка выскользнула луною
Из рук уставших. Осколки—брызгами.
Вздохнула: «К счастью». А сердце ноет.
И мысли—слипшимися огрызками.

А за окном дождик землю штопает,
А за окном целый день ненастье.
А тут ещё и тарелка, чтоб её.
И надо верить, что это к счастью.

## Ветер

Ветер треплет листочки джаза, срывает и долго гоняет их по шуршащей мостовой. Уж ветер-то знает в этом толк.

Ульма чутко прислушивается то ли к нему, то ли к себе.
—Я хочу быть ветром,—внезапно срывается с её губ.

Ветер подхватывает прозрачный шёпот и тоже начинает таскать его по мостовой.
—Я хочу быть ветром,—шелестят листья.
—Я хочу быть ветром,—тихонечко подпевают водосточные трубы.
—Я хочу быть ветром,—скользят по крышам облака.

Я ловлю этот шёпот, сидя у открытого окна последнего этажа, и мой чай наполняется привкусом пыльной печали перед ночным дождём.
—Я хочу быть ветром.

Ульма зажмуривает глаза и поднимает лицо к небу.
—Лети,—слышит она мой тёмно-синий шёпот.

Ульма расправляет руки, и земная тяжесть спадает с неё, словно листочки джаза, срываемые взлохмаченным ветром. Ульма взмывает вверх. На одно мгновение я слышу на своей щеке прикосновение её губ с ароматом недопитого кофе.
—Спасибо,—шепчет мне ветер и уносится прочь к горизонту, в рыжую солнечную даль.

Скорая приезжает через пятнадцать минут.
—Не расплатилась,—вздыхает смурной хозяин уличного кофе, но потом понимает, что сморозил глупость, смущённо машет рукой и отодвигается назад.

Ульму уносят на носилках. Седая прядь выбивается из-под съехавшего платка. Ветер треплет листочки джаза.

Те голуби, что с острой крыши
Метнулись вверх, всё выше, выше,
И растворились в тишине,
Ещё раз встретятся ли мне,
Когда и я нырну за ними,
Чтоб небесами голубыми
Добраться до таких высот,
Где даже смерть уже не в счёт?

Татьяна Эйснер

# Паразит

Вечером двадцать третьего июня 1975 года Володька-экскаваторщик, муж Раисы Полежаевой — передовой доярки колхоза «Родина», не пришёл домой ночевать.

— Вот ведь паразит! Набуздался опеть с мужиками! — прокомментировала отсутствие зятя Раисина мать, высокая, сухая, как палка, старуха по прозвищу Анюта-Гога. — Они там, на стройке этой, токо и знают, что шары свои алшные заливать!

Раиса промолчала. Ничего, не впервой: придёт утром, соврёт, что у матери или сестры Катьки ночевал, — ему сбрехнуть что плюнуть, всю жизнь, сколько она его знает, врёт, — поест и на работу отправится, хмель выгонять; главное, чтобы пьяный стекло где-нибудь не разбил да не подрался. А прогул… Мало ли их у Володьки?!

Но и утром Володька не пришёл. И в течение дня не появился он ни на строительстве нового коровника, где он работал на подмоге бригаде шабашников, ни дома. К вечеру Раиса побежала искать: к Лёньке Хромому, к Ване Синему, к Семёну Бессолицину. Обежала полдеревни — никто Володьку не видел. Только Серафима, Семёнова жена, сказала, что встретила Полежаева двадцать третьего утром в магазине, водку брал — две бутылки, пряников — триста граммов и карамельки-подушечки — сто.

Шабашники только плечами пожали: не видели, мол. В тот день и копать-то ничего не надо было, на работе никто его и не хватился даже: не пришёл — и ладно.

Неделя прошла, другая — нет Володьки, как сквозь землю провалился.

Бабы стали у магазина шушукаться: Раиса, мол, стерва такая, мужика довела, пилила его за прогулы, за лень, за хулиганство, пьяного метлой вдоль хребтины сколько раз охаживала — все видели!

— Она, она, всё она! — многозначительно поджимала дрябые губы бабка Пелагея, Раисина соседка. — Скоко раз я слышала: «Райкя! Не зуди — повешуся, как Митька-брательник!» Дак вот, поди, и накинул вожжу на шею!

— Знамо, повесился, то бы уж объявился давно! — согласно кивали бабы.

Сама же Раиса не знала, что и думать, и уже готова была поверить в то, что Володька действительно мог наложить на себя руки. «Водку покупал. А пьяному чё в башку взбредёт, кто знат?.. Дурной он пьяной-то…»

К середине августа все надежды на благополучное возвращение отца семейства развеялись.

Раиса ходила как больная: ну ладно, повесился, чего теперь поделать, у них в колхозе году не проходило, чтобы кто-нибудь голову в петлю не сунул, прямо как мода нехорошая на народ напала. Но где? Хоть бы найти да похоронить по-человечески! Все сараи, конюшни, заброшенные развалюхи были ею осмотрены — нету! «Видать, в лесу… Дак ведь жара-то какая!» Раиса выбегала из дома, заслоняясь от солнца, прикладывала козырьком ко лбу ладонь: смотрела, где над лесом кружит воронье. Если видела стаю — бежала, лазила по буреломам, искала…

Не нашла.

К осени сдали шабашники новый коровник и уехали. Доярки и скотники перевели стадо в новую ферму: просторное помещение, белёные стены, машинное доение, транспортёр навоз выгребает — красота!

На новом месте стала Раиса маленько успокаиваться: ну чего теперь поделаешь — жить надо. А без Володьки-то трудно! Хоть и прогульщик он был, а зарабатывал: тракторист-экскаваторщик — на селе профессия нужная, да калымил иной раз. И дома как без мужика-то? Дрова пилить-колоть, ремонт какой делать, огород пахать — да мало ли мужичьей-то работы по хозяйству? Теперь ей одной пластаться. А ребята-то есть-пить хотят, одеть их, опять же, надо. Маруська — в пятом, Надька — в третьем классе, близняшки Любка с Гришкой только в первый пошли: когда ещё на ноги-то встанут?.. У матери пенсия маленькая, на неё и рассчитывать нечего.

— Замуж иди! — советовала Анюта-Гога. — Тебе тридцать три только, в самом соку, здоровая. И мужиков свободных хватат: вон, веретенар холостой тебе проходу не даёт, за задницу шшипат…

— Мам, ты чё? Я ведь таперя и не вдова, и не разведёнка, и не замужня. Начну с кем жить, а Володька возьми да и появися! И чё делать?

— Чё, чё… Не знаю чё… а робяты ись хотят, и оболокать их надоть.

Поехала Раиса в собес — пенсию хлопотать. Отказали. Говорят:

— Свидетельство о смерти предъявите. А если пропал без вести, так это два года надо ждать, раньше нельзя никак.

Ну, никак так никак. Взялась Раиса ещё и подменной работать — всё какая-то копейка.

И не давала бабе покоя мысль: а что же с Володькой-то сделалось? Где он? Куда делся? Жив ли? Умер ли? Хуже всего неизвестность эта мучила.

В январе Люба, доярка и Раисина подруга, слегла с радикулитом; пришлось Раисе взять Любину группу, благо работы было не так много: многие коровы в запуске были, не доились. Успевала Раиса и у себя управиться, и у подруги, и всё было бы в порядке, если бы не Ночка — чёрная четырёхлетка из Любиной группы, которая стояла в первом от входа стойле. Уж и что за веретено, а не корова! То встанет, то ляжет, то башкой мотает — аж шерсть на шее цепью вытерла, и лягается, и хвостом машет — не подступиться к ней.

— Ну ты, скотобаза! — ругалась доярка, уворачиваясь от коровы. — Как шило како в тебе! Всё неймётся! Вот погоди — сдадим на мясо!

…И как-то привиделось Раисе во сне, будто в новом коровнике она, в стойле у Ночки, доить собралась, и вдруг глядь — Володька рядом с коровой стоит, за шею её одной рукой обнял, а другой Ночку гладит, между рогов почёсывает и говорит: «Ты скотину-то не ругай, не виноватая она. Я ей стоять-то не даю… Я ведь в тот день с бутылками-то к шабашникам пошёл, выпили с Васькой — помнишь, чернявый такой, навроде цыгана, у них был? А тут бригадир пришёл, ругаться начал: мол, им работать надо, а Васька лыка не вяжет. А я на бригадира полез: не твоё, мол, дело! Хотим — пьём, хотим — работам! Ну, подралися. Напоследок он мне врезал, я упал — башкой на кирпичи, токо схряпало. Ну и всё… Они, видать, испугались и меня здесь, под этим стойлом, закопали, бетоном залили. Вот теперь Ночка меня и чует.

Раиса подскочила как ошпаренная, скинула на пол ватное одеяло. Точно! Там он! Где же ещё? Будь он живой — объявился бы, мёртвый — нашли бы!

Утром, едва открылась контора, баба побежала к председателю:

— Виктор Сергеич! Ломать надо! Там мужик-то мой!

— Ну что ты, Петровна?! Следователь же всех шабашников опрашивал — никто Володьку в тот день даже и не видел. А двор не дам ломать — это же потом дырищу эту заделывать надо: кто за всё платить будет? Ты? Денег таких не наберёшь. Да и нету там твоего Володьки. Придумываешь чёрт знает что. Иди, Раиса, иди…

Раиса с председателем спорить не стала, а взяла да и переставила Ночку в другое стойло. И ведь успокоилась корова! Ну и что бы после этого Виктор-то Сергеич сказал? Точно: туточки Володька!

Ночкино стойло Раиса чисто выскребла-вымыла, застелила покрывалом. Подружки-доярки спорить не стали: а вдруг правда? Да и мест свободных в новом дворе хватает.

Ещё много лет, до самой пенсии, работала Раиса на ферме и всегда старалась это стойло держать свободным. Старые подруги не спорили, а молодые доярки посмеивались над бабой, которая считала, что в колхозном коровнике под толстым слоем серого бетона лежит её муж. Даже в родительскую субботу, когда народ шёл через глинистое рыжее поле на кладбище, Раиса приходила на ферму и ставила на бетон, прикрытый выцветшим покрывалом, рюмку водки и тарелочку с закуской. Сама нарядная, в ярком полушалке, садилась рядом на скамеечку, складывала руки на коленях и молчала. Сидела так с полчаса и шла домой.

В конце девяностых колхозные дела пришли в упадок, от бывшего колхозного стада в четыреста голов осталось всего двадцать бурёнок. Скотный двор, на котором когда-то работала Раиса, стоял обветшалый и заброшенный. Шифер с крыши, оконные стёкла и всё, что можно было использовать в домашнем хозяйстве, были давно растащены селянами. По пустым стойлам ветер гонял сухую листву и мусор, и только одно стойло было всегда чисто выметено и украшено бумажными цветами.

«Всё равно не по-людски! — думала Раиса, прибирая в очередной раз бетонную могилу. — У других-то покойников памятники, фотокарточки эмалевые, а у мово — ржава автопоилка. Ну и что, что мужик непутной был? А много ле их, путных-то? А ведь все — хорошие ле, плохие — все в могилках лежат, с памятниками, с веночками. Надоть и Володьке памятник».

Зашла Раиса к сыну Гришке в его новую избу, посидела, пирогов невесткиных поела, чаю попила. И так, вроде между прочим, сказала:

— Гриш, надо бы отцу-то памятник поставить, нехорошо так-то.

— Ты чё, мать? — рассмеялся Гришка. — Дак никто не знат, там папка или нет! Приснилось ведь тебе!

— Ну дак чё? Тамотка он! Ежели где в лесу был бы, дак за стоко-то лет нашли бы косточки-то!

— Волков-то немеряно, расташшили. Вон в прошлом годе у Семёновых корова сдохла, в лес падину выволокли, дак через месяц токо череп и валялся, да и то в стороне — в момент сожрали! Кабы точно знать, что он там, тогда конешно. А на пустом-от месте памятник-то кто ставит?

Мать с сыном спорить не стала, но подумала: «А вот увидишь — пустое али нет!»

На следующий день Раиса сложила в тачку кувалду, кайло, лом и лопату, пристроила с краешку узелок со снедью и покатила тачку на старую ферму.

Целый день крошила она бетон. Когда выбивалась из сил, то садилась, развязывала узелок,

ломала чёрный хлеб, жевала медленно, запивая молоком из пол-литровой бутылки. Потом собирала из подола крошки, бросала их в рот, затыкала бутылку скрученным в подобие пробки обрывком газеты, завязывала остатки еды в тряпицу и снова принималась за работу. Но как ни старалась баба, как ни упиралась, удалось ей отгрызть совсем немного от толстого бетонного слоя.

— Хорошо они тя, Володькя, припрятали! И с разгону не достать!

Только через неделю Раисе удалось выдолбить весь бетон из Ночкиного стойла, и она взялась за лопату. Чёрная, до каменного состояния утрамбованная земля поддавалась с трудом, но женщина упорно копала.

— Погоди, Володькя! Будет те памятник! Как у людей, баской, с фотокарточкой. Вот найду тя токо…

Чёрная земля кончилась, пошла тяжёлая глина. Раиса углубилась уже метра на полтора — из ямы её почти не было видно, пришлось притащить лесенку, чтобы спускаться вниз и подниматься наверх. В глубине души она понимала, что не стали бы убийцы так глубоко прятать тело — не до того бы им было, но ей всё казалось, что копни она глубже — хоть ещё на один штык, хоть на полштыка — и вот он, Володька её горемычный, туточки…

Ещё через неделю раскопок Раиса окончательно поняла, что Володьки, вернее, того, что от него могло бы остаться, здесь нет.

Она в последний раз выбралась наверх, воткнула лопату в кучу земли и сама устало опустилась рядом, уронив перепачканные глиной кисти рук в замызганный подол платья.

— Ну и где ты, Володькя? Где таперя тя искать-то? Балабол ты эдакий! Всегда ты мне врал, и во сне, выходит, соврал! И жил как ненормальный, и помереть по-людски не мог, и чичас вредничашь… Ну, паразит, право слово, паразит ты и есть…

И Раиса заплакала, застонала надрывно. Столько лет была как кремень, слёзы текли только тогда, когда лук чистила, а теперь вот — гляньте-ка! — ручьём хлынули.

Раиса сорвала с головы платок, уткнулась лицом в ветхую ткань, словно стараясь заглушить рыдания. Всхлипнула раз, другой, вытерла лицо и тяжело вздохнула.

— Ну вот, нашла время реветь. Дома работы — край непочатый, а я тут расселася, сопли на кулак мотаю.

Баба сложила инструмент в тачку и, не оглядываясь, пошла к выходу. Дома и впрямь было чем заняться — надо было собирать вещички; Гришка настоял, чтобы мать перебиралась жить к нему: чего, мол, одной в гнилой избе куковать, пусть лучше внуков нянчит.

На сборы ушло всего полдня. Всё Раисино добро уместилось в пару узлов и корзин. К вечеру приехал Гришка на тракторе, стаскал барахлишко в прицеп и стал заколачивать окна. Раиса стояла посреди избы и оглядывалась вокруг: не забыла ли чего? Пробежалась взглядом по печке, полатям, по стенам… Точно: божницу материну! Раиса встала на лавку и сняла с маленькой полочки запылённую и облепленную паутиной икону Богоматери с Младенцем. Из-за иконы посыпались пожелтевшие бумажки, упаковки от лекарств, какие-то тряпичные узелки, запрятанные туда ещё Анютой-Гогой, которая лет с десять как умерла. Раиса смахнула передником с иконы пыль и паутину и положила образ на лавку. Стала перебирать скрученные временем бумажки: справки, почтовые квитанции, рецепт на Анютины очки, засиженная до черноты мухами Раисина почётная грамота за 1973 год — в печку, всё в печку…

— А это что?

Сложенный вчетверо листок в клеточку, вырванный, видимо, из школьной тетради. Сверху листка стояло: «Домашняя работа. Упражнение №57». Раиса развернула бумажку.

«Райка, не ищи меня, надоело глину месить, хочу в городе жить. Ты, злыдня, тоже надоела, найду другую…» — было накарябано на листке неровным Володькиным почерком.

Раиса упала на лавку, как громом поражённая.

Вот тебе и раз! Оказывается, муженька-то она раньше времени похоронила, раньше времени поминала! И пока она одна хозяйство волокла, пока от зари до зари на ферме спину гнула, чтобы ребятишек прокормить, одеть, обуть, выучить, на ноги поставить, он жил себе где-то в городе, в тёплой квартире с газом и водопроводом, под боком у молодой фифы с губами крашеными — и в ус себе не дул!

И по сей день, поди, живёт.

Ну не паразит ли?

Владимир Эйснер

# Тум-балалайка, или Когти Розы Соломоновны

## 1. «…Покажи парубку чего»

В двадцатых числах декабря, в самую глухую полярную ночь, моё зимовье осиял луч с неба: знакомые пилоты «тормознули» у избушки.

Со свистом и грохотом вертолёт завис в полуметре от земли, рывком открылась дверь, и механик махнул рукой:

— Давай!

Я передал ему карабин и рюкзак с пушниной, запрыгнул сам и втащил испуганного пса.

В посёлке сразу же побежал на склад сдавать пушнину.

— Показывай!

Оценщица, Людмила Сахно, не отличалась многословием. Она осмотрела лишь верхние шкурки и брезгливо поморщилась:

— Остальные такие же?

— Да.

— Неправильно обработано! Можешь сдать, но я тридцать процентов срежу на доводку. Надо оно тебе?

Мне оно было не надо.

— Тогда вот что…

Она черкнула пару строк в блокноте и вырвала листок.

— На тёплом складе найдёшь Розу Соломоновну Грушевскую. Она покажет, как по ГОСТу сделать. Будешь готов — приноси, выпишу *государственную квитанцию.*

Записка была краткой и выразительной: «Роза, покажи парубку чего».

## 2. Сапожник и пастух

Заинтригованный, пошёл я на тёплый (отапливаемый) склад. Нечасто встретишь женщину с таким редким именем и отчеством. Грушевскую я никогда не видел, знал лишь по слухам, что первого мужа она убила, за что немалый срок «оттянула», а второй, с которым много лет прожила, года три как пропал в тундре полярной ночью.

Тёплый склад оказался длинным холодным помещением с инеем на потолке. Я пристегнул поводок собачьего ошейника к едва живой батарее отопления («Ждать, Таймыр!») и открыл дверь первой от входа комнаты. Там сидели несколько женщин с повязками на лицах. Перед каждой стояла на широкой электроплитке железная оцинкованная ванна с отрубями. В помещении висел густой запах горячей пшеницы и бензина. Женщины руками в толстых перчатках натирали песцовые шкурки горячими отрубями, старательно удаляя с них кровь и грязь, а зажиренные места чистили бензином.

— Здравствуйте! Где можно видеть Розу Соломоновну?

Ближайшая закутанная фигура указала претолстым пальцем на внутреннюю дверь.

В следующем помещении висели под потолком песцовые тушки, как стреляные, так и с перебитыми капканами лапками, — оттаивали. Местами кровь на тушках засохла, местами нет и капала на пол..

У широкого столика с сильной лампой на нём сидела женщина с высоко подколотыми чёрными волосами и снимала с песца шкурку.

Снимала через рот. Правая рука её, оголённая до плеча, ловко двигалась внутри песцовой «шубы», левая придерживала тушку за шею. «Голая», блестящая от жира и крови голова песца скалила зубы, как «Весёлый Роджер» на пиратском флаге. Ах, если бы эту картину видели одетые в меха модницы из глянцевых журналов!

Я снимал шкурки с добытых песцов с огузка и такому способу очень удивился. Поставил карабин в угол и подошёл.

— Вы Роза Соломоновна? Вам записка.

— Подожди чуток, я щас.

Пока Роза Соломоновна медленно, как малограмотная, читала записку, я внимательно эту амазонку разглядывал.

Стройная, одного со мной роста (а во мне сто семьдесят шесть сантиметров), кареглазая, с правильными чертами лица и девичьим румянцем на щеках, которого не мог скрыть и желтоватый искусственный свет.

Пытаясь определить её возраст, я задержался взглядом на высокой, молочного цвета шее. И с трудом отвёл глаза. К этой нежной светящейся коже хотелось прижаться губами и ощутить биение крови в тонких голубых жилках.

Стало жарко, я отодвинулся.

Но и Роза Соломоновна наблюдала за мной.

— Так это ты тот новенький, который в такую даль согласился? На х… бы они упали, те шхеры Минина, когда по Енисею две зимовки пустуют?!

И рыба там, и дрова, и олень круглый год держится. Пароходы мимо — торгуй, не зевай!

Ругательство само собой сорвалось с её пухлых губ. Так ребёнок скажет иногда ненароком грубое слово, не понимая его значения.

— Откуда же было знать? Начальство направило.

— Какое, на х…, начальство? Когда тебя на работу принимали, Кольчугин в отпуске был!

— Меня исполняющий обязанности принимал. Главный инженер по промыслу, Николай Николаевич.

— Ах, Николаша! Нет, он не и. о., он — иа. Осёл, каких мало!

Ну и ну! Я только руками развёл.

— Люда звонила за тебя. Вытряхай, на х…, свой рюкзак, поглядим.

Она быстро просмотрела весь мой «пух». К некоторым шкуркам принюхивалась, выворачивала наизнанку и бесцеремонно совала мне под нос. От плохо обезжиренной пушнины исходил неприятный запах.

— Н-ну, я думала, хуже будет. Вовремя принёс. Ещё день-два в тепле — и завоняют к е… матери. Срочно спинки вымездрить, хвосты обезжирить, лапки разрезать, коготки подогнуть, а то половину заработка потеряешь.

Она показала мне, как марлей снимать со шкурок тонкую плёнку мездры, как выдавливать жир ножом и промокать его хлопковой тряпочкой.

Я принялся за свою работу, она вернулась к своей. Поражённый грубостью этой красивой женщины, я молчал; она тоже не делала попыток продолжить разговор.

Под моими неумелыми руками одна из шкурок порвалась, и я невольно вскрикнул.

— Что т-такое?

— Порвал…

Она посмотрела.

— Малая дыра — не беда. Смочи края водой, чтоб дальше не лезло, и зашей, тогда ни х… не будет. Цена та же. «Ёлочкой» шить умеешь?

— Чё ж нет? Умею.

— Уме-э-ешь? А наши мужики — нет. Как попало зашивают. А кто понаглей — к нам: «Помогите, бабочки, у меня пальцы толстые!» — она негромко, беззлобно рассмеялась. — Ну-к, дай гляну!

Посмотрела, как я шью, и осталась довольна:

— Иголку тонкую взял. Пра-а-авильно… Стежки бы меньше, а так ничё. Где учился-то?

— Нигде, я деревенский.

— Ну так что же — деревенский? Не каждый и деревенский знает. Тут был у нас один х… моржовый — побежал еловую иголочку искать. Это в тундре-то! — она опять рассмеялась и откинулась к стене всем телом. — Ф-фу, притомилась! Так где, говоришь?

— Нигде. Отец показал.

— Он сапожник?

— Нет. На колхозной ферме работал. Зимой — скотник, летом — пастух.

— Пастухи — да, умеют по коже.

— Конечно. Кнут сплести, седло зашить, сапоги залатать, а зимой валенки подшивали.

— Валенки? Иглой или крючком?

— И так, и так можно. Но я люблю крючком — ловчее.

Она вдруг резко встала, подняла ногу на подоконник, нимало не смущаясь тем, что юбка задралась выше колена, и сдёрнула с ноги подшитый валенок с кожаным запятником на нём.

— Иглой или крючком?

Я осмотрел валенок. Подцепил концом ножа дратву стежка и потянул. Показался узелок, каких не бывает при работе иглой.

— Подошва — крючком. И недавно. Узелки не стёрлись. Запятник иглой пришит. Наверное, даже двумя иглами одновременно, так быстрее. Хорошая работа, аккуратная.

— Это дядь Яша Фишман из Дома быта. Спец. Эх, какой мой папаня был мастер! Всё начальство в его сапогах щеголяло. Для сук энкаведешных такие «лодочки» шил — закачаешься! Но и пил как сапожник… Иди-к сюда!

Она достала из под стола початую бутылку коньяка, из шкафчика на стене — два стакана, плеснула на ладони синей жидкостью из пузырька, вытерла руки марлей.

— Рукомойник замёрз. Х… бы им в глотку, алкашне кочегарной! Протри руки тройнушкой, а то, бывает, больной пёс попадёт.

Я тоже протёр руки одеколоном.

— Вот, шоколадку отломи. «На ферме работал». Что, отец умер уже?

— Да. И мама. Недавно.

— И мои… Царствие им небесное. Помянем.

Мы выпили, не чокаясь. Долго молчали, думая каждый о своём.

— Теперь — за знакомство. На «вы» не говори, я не барыня.

Она опять плеснула в стаканы на палец коньяку.

Но выпить мы не успели. Открылась дверь, и закутанная фигура указала на меня пальцем:

— Новенький! К телефону. В колидоре на стене.

Грушевская вышла следом.

## 3. Сейф

Некий сержант Будьласка (да что они тут, все с Украины?) из районного отделения милиции требовал, чтобы я немедленно сдал карабин на склад. Я глянул на часы: семь вечера. Оружейный склад — до пяти. Бегать по посёлку искать кладовщицу? Нельзя ли завтра утром?

Но Будьласка был неласков:

— Никаких завтра. Раз в общаге прописан — сдать немедля. Уже было такое: напьются, постреляются, а похмелье наше.

— Дай-ка! — Роза Соломоновна мягко, но решительно взяла у меня трубку. — Василь Петровыч, это я, Роза. У Гали дитё грудное. Не пойдёт она щас на склад, имей понятию, тридцатник с ветром. А ну — грудь застудит? Что? Да контролирую я, контролирую, вот те крест, затвор выну и в сейф положу. Под мою ответственность, Петровыч, ты же знаешь меня! — и она быстро прижала трубку к моему уху.

— Сдайте утром и отзвонитесь! — гудки отбоя.

Мы вернулись на рабочее место и выпили по второй. Я пошарил глазами по комнате, но никакого сейфа, кроме посудного шкафчика на стене, не нашёл. Так и сказал Розе.

Она рассмеялась:

— А ты не знаешь, где у бабы сейф? Уморил, парубок! — и повернулась ко мне пышной грудью.

Я вспомнил, где наши деревенские женщины держат деньги, чтобы не украли на базаре, и тоже стало весело.

## 4. Золотые люди

— Ну вот что: время — семь вечера. Мы — до восьми. Собирай-ка свою трахомудию обратно в рюкзак — и в камору на мороз. Завтра доделаешь. А щас доставай пса с крюка и мне одного дай, покажу, как правильно снимать и на ходу обезжиривать.

Я снял две тушки с гвоздей на потолочной балке, одну отдал Розе, вторую взял сам.

— Вот смотри: начинаешь ножницами. Жировую подушку с лапки срезаешь и — на х… на рогожку! Потом ножом чуть подрезать шкурку и кругом от косточки освободить. Коготки подцепить ножницами, потянуть, обрезать у крайнего сустава. Теперь по суставу лапки ножом чикнуть, обрезать — и тоже на х… на рогожку! И так — все четыре. Лапки удалишь — легче дальше работать.

— Роза, ты почему такая матершинница?

— Н-ну? А ты чё, идейный?

— Нет. Просто неприятно: красивая женщина, красивые губки — и грязь.

— Красивая? Ты меня молодой не видел. Щас вот столько не осталось!

— Осталось, Роза, поверь мужику, осталось!

— А сколько мне, думаешь, лет?

— Если бы не лапки у глаз — не больше двадцати. А так, думаю, — годки.

— Сколько тебе?

— Тридцать четыре.

— М-м-м — «годки»! Сорок два не хошь?

— Не верится…

— Не верится? У меня сын в десятом классе, дочь в седьмом. Вот и считай.

Она отложила нож в сторону и взяла скальпель.

— Теперь смотри внимательно: губы подрезать и помаленьку всю голову освободить. Глаза и уши аккуратно обойти, хрящи из ушек вырвать — не нужны. Чуть было не сказала «на х… на рогожку», но не буду, раз тебе неприятно.

— Так ведь сказала уже!

— Но тихим голосом, и глазки вниз. Вишь, я хорошая тётечка!

В глазах её прыгали искорки. Я рассмеялся.

— А теперь кажи руки, охотничек!

Недоумевая, протянул я обе руки вперёд.

Она поочерёдно притронулась к большим пальцам моих рук и легонько потрясла их.

— Чтобы быстро снять-обезжирить, надо нокоть отрастить. Большой, как у меня. Вишь?

— Ну.

— Если правша — на правом, левша — на левом.

— Не пойму…

— Вот смотри: нокотем цепляешь плёнку на шее и давишь. Нокоть — не нож, шкурка не рвётся. Потихонечку шкурку кругом отделяешь. Пеньки лапок, вишь, сами выскакивают? И пошла, пошла шкурка вниз. А плёнки и жир на тушке остались! И обезжиривать не надо. Время-силы экономишь. Я за день — двадцать пять делаю. Под настроение — и больше. Потом надо жир-кровь бензином снять, стальной расчёской пух вычесать, прутиком хлопать, пыль выбить. Тогда станет красивая, пушистая, мягкая и в Питер поедет на пушной ау… аукцьон. Международный. За золото. Понял, мы какие? Золотые для государства люди!

## 5. Любовь, кровь и балалайка

Но я плохо слушал. Я смотрел на оголённые до плеч руки этой женщины. На правой руке, выше запястья, были белые скобы и полосы. На широком шраме у локтя — точки от иглы хирурга. Левую ладонь пересекала грубая красная черта. За нож хваталась.

Роза выпрямилась на стуле:

— Во работёнка! Спина — как чужая. А руки, хоть смотри не смотри, — память мне за любовь… Семнадцати замуж вышла, через год уже срок тянула. Прихожу с ночной, а он с бабой! Да ладно бы где — простила бы. Нет — на постели нашей! Ну, я в кухню — и нож! И он — свой складник. Бились — поле Куликово. А стерва ушла! Я за ней с тубареткой по улице гонялась, пока не упала.

Роза Соломоновна положила на стол нож и ножницы и стала легонько раскачиваться из стороны в сторону. Тихая песня на языке, так похожем на мой родной, зазвучала в забрызганной звериной кровью комнате:

Liebe ken brennen un nit ojfheren,
Herze ken vejnen,vejnen on trenen.
Tum-bala, tum-bala, tum-balalajka,
Tum-bala, tum-bala, tum-balala…»
Tum-balalajka, spil; balalajka,
Tum-balalajka, tum-balala.

(Только любовь лишь горит, не сгорая,
Сердце без слёз безутешно рыдает.
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балала.
Тум-балалайка, играй, балалайка,
Тум-балалайка, тум-балала.)

Открылась дверь, четверо женщин из соседнего помещения вошли в комнату. Откинули повязки с лиц и подхватили припев:

Тум-балалайка, играй, балалайка,
Тум-балалайка, тум-балала…

Сероглазая женщина среднего роста постучала пальцем по браслету часов:
— Завязывай, Соломонна, щас сторож придёт.

Она сняла с балки двух последних песцов, одного отдала Розе, второго стала обрабатывать сама. Женщины принялись наводить порядок и убирать ободранные тушки в мешки.

Я выносил мешки на улицу и вытряхивал содержимое в большой ящик на тракторных санях у дверей. Многим ли отличается судьба человека от судьбы песца? Так же ждёт тебя капкан болезни, случайности, старости. Шкуру, правда, не сдирают, но зато пух с тебя вычёсывают всю жизнь.

Холодно. Наверное, за тридцать. Морозная дымка окутала высокую луну и огни фонарей на той стороне пролива. Громада атомного ледокола угадывалась у пирса. Я с трудом разглядел прожектор на крыше своего общежития. Пора домой. Сначала позвонить, чтобы парни бельё взяли и пару одеял лишних. На скорую руку построена общага. Щелястая. Дует.

Когда я вернулся в помещение, радостно-тёплое с мороза, обнаружилось, что Таймыру моему постелена оленья шкура и он грызёт кость с хорошим шматком мяса на ней.

В «обдирочной» включили верхний свет. На столе была постелена скатерть, стоял чайный прибор, в корзинке—печенье и шоколад.
— Садись с нами,—сероглазая хлопнула по свободному стулу рядом с ней.
— Спасибо, девушки. Мне ещё на ту сторону бежать.
— Пережди. Последняя вахтовка в десять.
— Зачем? Я напрямик.
— Не советую. Вчера ледокол прошёл.
— А мне пилоты говорили: позавчера. Уже прихватило канал при ветре таком.
— Тогда вот что,—Роза встала и принесла из соседней комнаты небольшой железный ящик, в каких механики держат инструменты.

Вынула из него напильник на деревянной ручке. Уложила напильник на цементный пол и резко ударила молотком. Сталь раскололась посредине, образовав острые рваные края. Половинку с ручкой на ней Роза протянула мне:
— Держи. Если вдруг провалишься, этим «когтем» себя вытянешь.
— У меня нож.
— Руки порежешь. Да и соскальзывает, ломается, неужели не ясно?
— Ясно, Роза. Мне приходилось.
— Вот! Не фраерись!
— Спасибо.
— Будь ласка. А теперь не дури и садись за стол. Горячее в мороз не лишне.

## 6. Сватовство «майора»

В общежитии строителей, где я был прописан, ужинали двое мужчин. Бутылка питьевого спирта стояла на столе. Мужики были уже «тёпленькие», но стопка белья и два одеяла лежали на моей кровати. В этот поздний час кто-то сбегал к прачке на дом.
— Спасибо, парни. А где остальные?
— Суббота. По бабам!—объяснил старший из мужчин, каменщик Савелий Костыркин.—Вертак в пять сел. Где пропадал-то?

Костыркин раньше работал охотником. Но потом бросил «эту собачью жизнь» и перешёл на работу в пмк.
— На складе. Пушнину дорабатывал.
— Розку-то видел? Тама она?
— Какую Розку?

Мне и раньше был неприятен этот рослый кривоногий мужик с криминальным прошлым, а тут прямо закипело внутри.
— Ну, еврейка эта. Симпотная такая. Мужик у ей в тундре три зимы как пропал. Санька Грушевский. Шкаф был метр девяносто на сто двадцать кило. Собаки вернулись, а нарты пустые!
— И что, не нашли?
— Так ночь. Где искать? Не искали. Уже в февралю менты на вертаке прошлись низенько, дак если и был труп, задуло давно. Как снег сошёл, она ещё раз вертак выпросила. Обратно ничё не нашли. Дак она с милиции не слазила, пока ей мента в помощь не дали, пешком, значит. И с сыном. Два месяца в тундре. Все путики протопали, овраги смотрели. А чё смотреть? Еслив «босой» на лёд утащил, то тю-тю!
— Так она что же, одна на зимовке?
— В путину[1] бригада у ей рыбацкая. И дети. А зимой чё ж—одна.
— Так ведь ночь—три месяца!
— На собаках. Они и в пургу домой привезут.
— А волки-медведи?
— Карабин у ей. Ты чё?

Боже мой! Я вспомнил себя самого под зелёным светом сияний по восемь, по десять часов в тундре. Когда и больше—как погода. Минус тридцать—это в радость. Терпимо. Возвращаешься—изба

1. Путина—сезон рыбной ловли.

выстыла. Не до чаю. Дров в печку—и спать. Если вдруг метель и не надо на путик, то праздник. Отпуск.

На вездеходе кабина. А собачья упряжка—это на ветру.

— Что же она сейчас-то в посёлке?

— Дак еврейка же ж. Хитрая. Как самая ночь, середина декабрю—посередь январю, так она сюда ныряет. Вроде как пушнину сдать. Дети, праздники, халам-балам. Начальство—как не видит, не знает. Раньше дело заводили, еслив участок бросишь. А щас, при Горбаче, послабуха пошла, никто ничё не боится. А в этот год она по делу. Песца много. Любители сдают—завал. Обдирать некому, желающих приглашают. Дак чё я говорю? Ты же знашь приказ-то?

— Знаю.

— Розка, говорят, по сорок штук в день делат, как орехи щёлкат. Две сотни в карман. За день. Это на материке-то месячна зарплата. Инженерная. Ловка! К ей многие клеились по вдовьему делу. Всем—шиш! Я—друг ведь Сашкин. Рядом стояли. Тоже в прошлом годе зашёл к ей. Мол, так и так. Не-е-е. Чё ты-и! Как кошка: спину дугой—и кш-ш-ш! Не порти, грит, памяти, иди с Богом!

Савелий набулькал себе полстакана разведённого спирта, выпил залпом, схватил кусок мяса с тарелки, стал жевать.

— Бушь?

— Нет, с утра работы много.

— Ну, как знашь. Нам больше останется.

Я принял душ и постелил постель. Сходил на кухню, включил чайник. Савелий, уже пьяный в грязь, всё сидел за столом, уронив голову на руки, и бормотал про себя:

— Ну-ну, поживи, поживи одна… плох я тебе, плох? Походи, походи одна… год походи, два походи… а нет—туда же пойдёшь… туда же пойдёшь… туда… не вернёшь…

Я всё ворочался на постели. Костыркин, думалось мне, знает больше о пропавшем без вести охотнике, чем вдова и милиция. И приснился мне затвор от карабина. Лежал он, холодная кривая железка, в уютном «сейфе» Розы Соломоновны, и я всё пытался скинуть его рукой, всё пытался стряхнуть его, выбросить: негоже железяке в таком нежном месте. И проснулся с зажатым в руке углом подушки.

## 7. «Коготь»

Почти месяц пробыл я тогда в посёлке, а в середине января вернулся попутным бортом на свою зимовку.

Вскоре услышал по рации новость: Роза Соломоновна замуж вышла. И пишется теперь—Петерс. Юриса Петерса, высокого светлоглазого латыша, я знал. Раньше Юрис работал у геологов механиком. Был он спокойным, рассудительным человеком, и я мысленно пожелал этой паре здоровья и долголетия.

В середине марта я вернулся в посёлок и сдал пушнину, на этот раз нормальную.

Многие охотники уже работали на припае—добывали нерпу. Присоединился к ним и я.

В нашу группу направили на практику студента-охотоведа из Иркутска.

Звали его Андрей, и он не столько учился охотничьему ремеслу, сколько бегал с фотоаппаратом. И приспичило ему заснять нерпу в момент, когда она выныривает для вдоха и расталкивает носом тонкий свежий ледок.

Видя его неопытность на льду, я отдал ему «коготь» Розы Соломоновны. А через два дня, когда мы спокойно обедали в избушке, Андрей ввалился в дверь из последних сил. Одежда на нём была покрыта ледяной корой и грохотала, как жестяная.

Мы раздели его. Растёрли докрасна. Кто свитер с себя снял, кто рубаху, кто штаны, одели в тёплое, чаю налили: рассказывай! А он только клацает зубами по стакану, ни говорить, ни пить не может. Когда чуток отошёл—объяснил, как из трещины выбрался. Обломок напильника раз за разом впереди себя на льду втыкал и подтягивался.

— Спасибо вам,—уставил он в меня благодарный взгляд,—без этого «когтя» я бы…—и заплакал.

— Не мне спасибо.

И я рассказал собравшимся, при каких обстоятельствах этот «коготь» получил и кто его в одну минуту изготовил.

## 8. Второй «коготь»

Через пару дней я встретил Розу Соломоновну на выходе из магазина.

— Здравствуй, Роза, и поздравляю! Юрис—хороший мужик. Дай-ка сумки!

— Возьми, а то набила доверху—руки отпадут. Здравствуй и ты!

— Совет да любовь!

— Спасибо на добром слове! А то, знаешь, разное говорят. Он ведь много моложе. Захомутала «мальчишку», закогтила, под каблук загнала. Н-ну, бабы! Лишь бы языки почесать.

— Надо оно тебе, Роза? Потрещат и забудут.

— И то. Знаешь, у него руки на месте. Вездеход собирает. Решили: собак—в резерв. Будем на технике в тундре. И ещё хочет такой, на колёсах дутых, сделать летний тундровой мотоцикл. Поедем Сашу искать. Чует сердце—нет его в живых, а не успокоюсь, пока косточки не похороню.

## 9. Египтяне в Арктике

Слёзы звучали в её голосе, и я поспешил поменять тему:

— Роза, а ведь ты изменилась!

— Да ну?

— Правда. И в лучшую сторону.

— Это как?
— А вот смотри! — я поставил сумки на снег и постучал по часам. — Уже мы с тобой три минуты и двадцать семь с половиной секунд в разговоре, а ты ещё и не ругнулась не разу!
— Двадцать семь с половиной? Швыцар[2] ты, паря, прям жулик!
— Не я — часы! Не веришь — сама посмотри.
— Так чё, уж и ругнуться нельзя?
— Вот когда молотком по пальцу звезданёшь, так облегчи душу. Или, бывает, контекст того требует. А так, через слово, — просто грязь.
— Что за конь-текст ещё?
— Н-ну, это такой древний египтянин из Австралии. Грамотный! Но без ушей и во-от с такой попой! На базаре его сразу видно.

Роза рассмеялась и взяла меня под руку.
— А я тоже учиться хотела. Так на врача учиться хотела — прям страсть. Приходили бы ко мне. А я в белом халате — и всех смотрю, и рецепты. Уважение от людей, и родителям почёт. А жизнь вон как пошла. После школы — замуж, потом *там* шесть лет, потом снова замуж. Дети, пелёнки, тундра, интернат. И вот сорок два — как не жила на свете.
— Роза, и сейчас ещё не поздно на медсестру выучиться. Заочно. Ты потянула бы. Зачем тебе тундра? Не женское ведь дело, не в подъём.
— Оно так. А присохла, прилипла к природе этой, как бабка присушила. Ведь что получается: зимой три месяца ночь, летом — туман. Солнышко в праздник! Ни деревца, ни кустика, лишь жидкая травка по ручьям. Мы щас в отпуск едем. В Житомир свой. Абрикоса щас цветёт, алыча, сирень. Потом яблоня-груша пойдёт, дуреешь от запаха. И родни там полно, друзей. Чё ж не жить? Живи! Но пройдёт недели две — и заскучаю так, что злая делаюсь. Назад хочу — во сне бегу: гуси идут надо льдом. Все: «Роза, останься!» А я не могу. Я там уже, я здесь уже, на бережку. На скале сижу, на волну гляжу, нерпей и чаек примечаю, караван идёт, моржи плывут. И так мне хорошо, что тут бы и померла зараз. Ни одного отпуска до конца не отгуляла. Когда и думаю: в себе ли ты, девка? Не рехнулась ли? У меня мама — полуцыганка-полухохлушка. Может, это во мне кровь цыганская бродит, житья не даёт? Нет — у нас многие так. После отпуска соберёмся, над собой посмеёмся — и дальше жить, лямку тянуть. А почему Север так забирает человека, никто не знает. Может, ты?
— Нет, Роза. Я сам такой «забранный».
— А давно в Арктике?
— Шесть лет.
— Так беги, пока не поздно; ты учился, по разговору видно. Зачем оно нужно: охотник-рыбак? То руки в крови, то чушуя на пузе. Что тебе, чистой работы не найдётся?
— Найдётся, Роза. И работал. Только я люблю один. Чтобы сам себе шеф. Чтобы и работу, и день свой самому строить. Может, потому и здесь, не знаю…
— Вот. Не врёшь. И хороший ты мужик, а росточком не вышел.

Я удивился такой внезапной перемене темы:
— Нормальный рост. Средний. Не комплексую.
— Так-то нормальный, конечно. А на мой глаз — мелковат. Я люблю на мужика чуть вверх смотреть. Знаю, что дура, что малорослых мужиков сколько хочешь домовитых и сильных. И ругалась в голове своей, и стыдила себя. А потом поняла: в крови оно. Пусть. И Сашке была, и Юрису теперь — как раз до плеча. Знаю, что обижаются на меня мужики наши: мол, злая. А что злая-то? Пить им не даю в артели на путине — это так. Но ты ж глянь — в другой год опять ко мне придут: Роза, возьми в артель! И семьи не против: зарплата не пропита у мужика, домой принёс. А ведь я — домашняя баба! Всё бы дома сидела, в окошко глядела, детишек намывала, его поджидала. Сашка выедет на путик[3], а я в окошко гляжу. А что смотреть? Ночь и ночь. Так нет — смотрю, как шальная, будто приедет быстрей. Через часов шесть-семь фонарь ему выставлю на крышу и слушать хожу. Когда и дети со мной выскочат: скоро ли там папка? чего привезёт? Собаки свет увидят — сдалека залают. И слыхать — аж звенит. А в небе ворожба световая. Сияет — иголку видно. Как такое забудешь? Никак не забудешь. А приедет — у меня горячее на столе. Пока он моется — собак накормлю, в катух закрою. Умаялись собачки, в комок собьются, заснут. Саша не всегда и поест. Устал, потом. Не в обиду — разогрею. И ляжет на спину, руки-ноги раскинет — спит. А я одежонку его просмотрю. Где пуговка оторвалась, где рубаху зашью, где чё. И детям: «Ш-ш-ш — не шуметь!» А сама рада: и муж, и дети, и дом — моё это всё, внутри у меня, душа полная вся. И, не поверишь, стала забывать *те шесть лет*, и сказки вспомнила. Конечно, как стали дети в интернат, так мы скучали сильно. Но и тесней меж собой. Зато в каникулы дети с нами. Летом в тундре курорт. И другие детишки артельные целой шарой кругом. Не заскучаешь. Костры — их забота. И дрова, и всё. Старшие девочки варят, мальчики отцам помогают рыбу с весов носилками в ледник. Всем работа. И едят — за ушами трещит. Так и стала я тундровая. Восемнадцать лет как один день. А пропал он — пришла мне ночь. Хуже полярной ночь. Если б не дети, и сама бы ушла. А так — кормёжку им надо, одежонку, книжонку. И стала, как он, путик на собаках смотреть — да подработаю где для детей. А теперь шестеро нас. У Юры — тоже двое. Жена у него в прошлом годе погибла на «материке». Свели мы молодёжь до

2. Трепач, хвастун, балаболка *(идиш)*.
3. Охотничья тропа, вдоль которой стоят ловушки.

кучки, стали жить. Мои-то постарше—шефство взяли! Н-ну, умрёшь с них, как говорят! А я опять белка, опять кручусь. А как попрекнул ты меня под Новый год на пушнине—как со стороны себя увидела. Матерщина эта, пакость такая, ещё *там* прилипла. И стало мне стыдно: крестик ношу, а свинья такая! Потише ты, Роза, поимей совесть. А ты-то чё за себя-то молчишь? Почему без семьи живёшь?

— Разведённый я, Роза, и давно.

— Щас каждый второй разведённый. Женись опять, нельзя без семьи. Поверь старой бабе: нельзя. С семьёй ты мужчина, без семьи ты йолд[4].

— Ладно, «старая баба», подумаю.

— Вот, слушай, какую причту мне бабуля моя рассказала. Как раз для вас, мужиков. «Когда кончится время человека, предстанет он перед судом Всевышнего. И спросит Господь у мужчины: „Сын Адама, где твоя семья?“ И ответит мужчина: „Много раз я пробовал, Господи! С первой женой меня тёща развела, со второй характерами не сошлись, третья мне изменяла, четвёртой я изменял, у пятой—злая родня, шестую не любил, седьмая храпела—так и остался бобылём. Прости меня, Всевышний, нет у меня семьи“. И скажет ему Господь: „Отойди от Меня, сын Адама, Я не знаю тебя!“» Ну вот и пришли! Спасибо, а то бы руки оттянула. Зайдёшь?

— В другой раз, Роза. Не серчай.

— Ну, и я пошла. Сам через час придёт. Как раз успею.

Двое мальчишек, один постарше, другой помладше, сбежали с крыльца. взяли у матери сумки из рук. И вспомнил я своих детей, и стало мне тоскливо.

## 10. Вторая половина

На обратном пути пришла мне на память вторая половина притчи о семье:

«Когда кончится время человека, предстанет он перед судом Всевышнего. И спросит Господь у женщины: „Дочь Евы, где твои дети?“ И ответит Ему женщина: „Господи! Ты же знаешь, сколько трудов с маленьким ребёнком. Мы с мужем решили сначала для себя пожить. Дети—это успеется. А затем учёба пошла и работа, стала я должности занимать, стала занята весь день, минутки нет, не то что дети. Избавлялась я от беременностей своих. И прошли мои годы, и стало поздно“.—„Детей, которых Я тебе положил, ты убила, дочь Евы. Но что же не взяла ребёнка из приюта?“—„Разве можно полюбить чужого, как своего? Прости меня, Господи, нет у меня детей“. И скажет ей Господь: „Не та мать, что родила, а та, что воспитала. Отойди от Меня, Я не знаю тебя!“»

4. Недалёкий человек, недотёпа, балда *(идиш)*.

А день был какой! А день был апрельский, солнечный, тёплый. Минус пятнадцать, говорили утром по радио, и ветер всего пять метров. При минус пятнадцати начинают в Арктике валуны обтаивать и скалы на берегу. И плачут ледяные морковки по карнизам крыш.

Я зашёл в контору, написал заявление на отпуск и в конце мая, когда уже появились над посёлком первые осторожные гуси-разведчики, вылетел на «материк».

И две недели пробыл с детьми.

## 11. На Севере

На Север.

Зачем все бегут на Север? Гуси, утки, кулички и чайки, крачки, лебеди, орлы и совы—все летят на Север. Олени, волки, лемминги, песцы—все бегут на Север. Люди, однажды побывав, тоже спешат на Север.

Почему?

Может, виной тому необычная природа, работающая вразрай с предыдущим жизненным опытом человека, природа, на которую никогда не перестаёшь удивляться?

Может, это «чёрная» работа изо дня в день, от которой жилы рвутся и без которой уже не мыслишь себя?

Может, это лезвие бритвы? Сегодня жив, завтра—кто его знает. И к этому, увы, привыкаешь, и это—будни.

Может, это тишина? Великая, всеобъемлющая, изначальная, в подкорке отозвалась, в кровь вернулась, где и была, где и возникла ещё до деревень и городов?

Может, это повышенная напряжённость магнитного поля, которым пронизана всякая живая плоть? Не она ли причина ностальгии по Северу? Этой непонятной, колдовской, проклятой, рвущей жизни, семьи и судьбы тоски по другому миру, по идеалу, по чистоте, по правде, по раю, может быть?

В середине июня я вернулся на свою «точку». Уже вытаяли каменные гребни, и в тундре гулькали чистейшей воды ручьи. Потом потянулись перелётные птицы, и гуси пошли надо льдом.

И от волшебного гогота гусиного, от древнего разговора птичьего загустела во мне разбавленная цивилизацией кровь, испарились ненужные знания, сошла одежда из ниток и пропал карабин.

И вот я на берегу моря, в настоящей одежде. Из меха. В руке у меня—лук и стрелы, у ноги—собака.

И идут, идут над торосами, над тундрой тающей, над хребтом сверкающим несметные гусиные стаи.

И эхо от них—как в лесу.

И тени—как от облаков.

И я стреляю из лука. Попадаю и промахиваюсь. Подранков настигает верный пёс, перекусывает им шеи и приносит к моим ногам.

И я отрезаю сердоликовым ножом голову гуся, с хорошим куском шеи отрезаю и даю собаке: ешь, помощник, ты заслужил!

И приношу добычу домой. Жена встречает меня у чума, и дети бегут навстречу.

И соседи выходят смотреть, отдаю ли, по обычаю, старикам и вдовам часть добычи я.

Чтобы утолить первый голод, мы тут же одного гуся съедаем. Просто макаем кусочки жира и сырого мяса в солоноватую воду от осколков двухлетнего тороса[5]. Это сытно и вкусно. И я ложусь спиной на своё ложе из оленьих шкур, раскидываю руки-ноги в стороны—я так люблю—и засыпаю. И слышу ещё, как жена говорит детям: «Чш-ш, не шумите, на улицу бегите, дайте отцу отдохнуть».

Видение это было таким ярким, что я опомнился, лишь когда осознал, что держу карабин как лук и даже «тетиву» оттянул до уха…

Огромные стаи чернозобых казарок стали опускаться на галечниковые проплешины заболоченной равнины в километре от зимовья. Казарки—не очень осторожные гуси, к ним можно подкрасться даже на открытом месте. Мы с Таймыром так и делали: сначала подбирались, прикрываясь большими валунами, а затем ползли. Метров за двести от стаи я отпускал дрожавшую от возбуждения собаку, и она мчалась на гусей.

Как хлопья сажи, поднимались в небо чёрные птицы; ни разу не удалось Таймыру настигнуть и задавить гуся. Но этого и не надо было: мы охотились за яйцами. В большой стае всегда есть гусыни «на сносях»; испуганные, они оставляют яйца где попало. Всегда найдёшь два-три, иногда и четыре-пять ещё тёплых голубоватых яиц.

Целую неделю мы с Таймыром жировали. Яичница—неплохой «способ существования белковых тел». Если Фридрих Энгельс имел в виду весенний перелёт гусей, то он, разумеется, был прав. В середине июля побежали по тундре крохотные и премилые детишки куличков. Семьи куропаток стали прятаться в скалах, а утиные, гусиные—на дальних островах.

«…И спросит Господь у мужчины: „Сын Адама, где твоя семья?“»

## 12. Третий «коготь» Розы

Прошло несколько лет. Я уже работал в другом районе и как-то встретил в норильском аэропорту Ивана Демидова, охотника-рыбака с Диксона. Он рассказал, что Роза с Юрисом нашли у последнего капкана, там, где некогда сходились путики Грушевского и Костыркина, две гильзы от «девятки», крупнокалиберного охотничьего карабина. По этим гильзам милиция разыскала карабин, по карабину вышла на Костыркина.

— И сколько ему дали?

— А нисколько. Цирроз. На карте овраг показал, и всё. Менты подняли косточки, передали Розе с Юрисом. Щас у них на зимовке памятник стоит.

Мы с Иваном помянули убитого и разошлись по своим рейсам. Я прилип к иллюминатору: ни следа присутствия человеческого—ни избы, ни села, ни дороги. Только простор. Только горы и реки. Только окна озёр без числа. Бескрайняя, бесконечная, безлесная тундра от Норвегии до Аляски. Матушка и кормилица из века в век, из года в год.

По ту сторону деяний наших.

По ту сторону добра и зла.

По ту сторону времени.

Когда кончится мой срок, где-то там отмеренный, и перестанет биться сердце, «я, как в воду, войду в природу, и она сомкнётся надо мной».

Но: «Любовь никогда не перестаёт…»

*(Св. ап. Павел: 1 Кор. 13:8).*

Liebe ken brennen un nit ojfheren,
Herze ken vejnen, vejnen on trenen.
Tum-balalajka, spil, balalajka,
Tum-balalajka, tum-balala.

5. Имеется в виду вода от двухлетней льдины. Слабосолёная, она часто используется как «макало».

## Николай Година

# Страна деревьев

● ● ●

Нашли страну, которую не жалко,
Где пошлая певичка—«наше всё»,
Где замогильно смутная гадалка
Цитируется, как стихи Басё.

Вялотекущий реализм отчизны,
Он мог быть худшим, если б не был им.
А мода на здоровый образ жизни
Попахивает затхлым и былым.

Споткнётся сердце вдруг на ровном месте,
Пойдут остросюжетные дела…
Но в снах берёз и в воробьином жесте
Ещё моя земля не умерла.

● ● ●

Выёживаясь, как небритый кактус,
От холода и злости,—в тон гитаре
Бренчу на тех, с которыми я, каюсь,
Сидел когда-то на одном гектаре.

Грехами средней тяжести нагружен,
Хочу взнестись, но не по тяге сила.
У Господа сейчас, наверно, ужин
При звёздах—у господ всегда красиво.

Цыганским солнцем опалило древо,
Прижатое ко мне спиной коряво,
Где речка убегала долго влево,
Пока не оказалась скоро справа.

● ● ●

Какой национальности—не знаю,
Блажная птица скляночно звенит.
Внизу плоится рослая лесная
Трава, чей цвет присвоил хризолит.

Почти за ботаническим пределом
Орлёной медью плавится сосна.
И пруд, играя мускулистым телом,
Вылизывает отмель доясна.

Сюда бы хатку с верною лелекой,
Избушку ли с соседством соловья,
И—пусть скрипит арбой или телегой
На кочках жизнь уклонная моя.

● ● ●

Он водку запивает молоком—
Такая вот причуда у поэта.
А то, что был с Астафьевым знаком,
Давно писала местная газета.

Из окон во все стороны видна
Страна деревьев—вольная страна,
Где он обрёл среди лесного толка
Духовное убежище надолго.

И в следующей жизни, по всему,
Достойное займёт под солнцем место
Среди берёз, осин… И пусть ему
Поставит речь листва машин заместо.

● ● ●

Потому как понабрался всякого
Мусора на вихревом веку,
Уважаю дедушку Аксакова,
Кланяясь родному языку.

С острым приступом недоумения
В книгу современную гляжу.
Посылаю венчанного гения
По ругательному падежу.

Обменяюсь чувствами с берёзою,
На которой весело, навзрыд,
Пушкинским стихом, лесковской прозою
Голосная птица говорит.

● ● ●

Покуда бьёт на поражение
Ковровый град по грядкам бешено,
Себя, как проиграв сражение,
Веду я неуравновешенно.

При рассмотрении внимательном
В нечеловеческом страдании
Погибли огурцы с томатами
И вкупе родичи их дальние.

Выходит, зря ждала и верила
Хозяйка: всё—ровно украдено.
Особо крупными размерами
Нас удивили нынче градины.

● ● ●

Татарский табак—сухой гриб дождевик—
Взорвался неслышно, болотной расцветки
Завесный дымок к обстановке привык,
Висит, зацепившись за стебли и ветки.

Изумки, ругачих дворняжек вредней.
С серьёзным намереньем машут руками.
Хоть мне через стройку до речки верней,
Но стоит ли связываться с дураками?

Навычным путём вдоль забора пройду.
Хочу посидеть у воды… Ну и ладно,
Что сыро и грязно, зато на виду
У юных берёз и пока что бесплатно.

● ● ●

Дожить до курьих именин, когда
Излётный пух у ели на реснице
И сталью златоустовской лоснится
Уже не речка—твёрдая вода.

А за углом—пельменная пора,
Была в деревне, помню, и такая.
Мороженое молоко… Сестра
Глодала сырники, простуде потакая.

Раскованная лексика ворон…
Увы, художник должен быть хорошим,
Чтоб передать всё это, огорожен
Любовью родины со всех сторон.

● ● ●

В липовых Сорочинцах сороки
Ярмаркуют, суетны и едки.
Из балачки уличной уроки
Извлекают ушлые излетки.

По-ростовски, нараспев, в низине
Ветерок с застоем стал бороться,
Где краснознамённые осины
Собрались на митинг у болотца.

Будто «фи» без косинуса, праздно
Вянет луг без косаря, однако.
В глубину небес гляжу напрасно:
Никакого мне оттуда знака.

● ● ●

Крестьяне, яко обезьяне,
С утра до вечера в бурьяне
На диком поле перелога
Шумят артельно ради прока.

Слезоточивая картина:
Горят леса, пылают рощи.
У расторопной расторопши
Изгульный вид, но суть притина.

От солнечного напыленья
Пыльца лишь и сплошная астма.
Село векует в отдаленье
Из чистого энтузиазма.

● ● ●

Не был никогда в Казани я,
Не был много раз подряд.
К высшей мере наказания
Пусть меня приговорят.

Промеж гэканья и шоканья
Изо всех наличных сил
Среди аканья и оканья
С птичьим чёканьем прожил.

И с отвагой оголтелою,
Пыль обножную тряся,
То же самое я делаю,
Что и ойкумена вся.

● ● ●

Вместо зари кумачовой
Серые дали видны…
Кроме проблем Пугачёвой,
Нету проблем у страны.

Будто изжога от пиццы
Петь не даёт соловью.
Бьются железные птицы
Лбами о землю мою.

Думает думу бездельник.
Пишется кровью строка.
Только ни мыслей, ни денег
Больше не стало пока.

Александр Габриэль

# Молчание небес

## Январский сплин

Простите, Эдисон (или Тесла) — я приглушаю электросвет.
Моё гнездовье — пустое кресло. По сути дела, меня здесь нет.
Деревьев мёрзлых худые рёбра черны под вечер, как гуталин.
Оскалясь, смотрит в глаза недобро трёхглавый Цербер, январский сплин.

Из этой паузы сок не выжать. Не близок, Гамлет, мне твой вопрос.
А одиночество — способ выжить без лишней драмы и криков: «SOS!»
Чернила чая с заваркой «Lipton» — обман, как опий и мескалин...
А мысли коротки, как постскриптум; но с ними вместе не страшен сплин,

ведь он — всего лишь фигура речи, необходимый в пути пит-стоп:
проверить двигатель, тормоз, свечи и натяженье гитарных строп.
Кому-то снится верёвка с мылом и крюк, приделанный к потолку;
а мне покуда ещё по силам сказать Фортуне: «Merci beaucoup!» —

за то, что жизнь, как и прежде, чудо, хоть был галоп, а теперь — трусца;
за то, что взятая свыше ссуда почти оплачена до конца;
за то, что, грубо судьбу малюя — а в рисованье совсем не дюж, —
совпал я с теми, кого люблю я. До нереального сходства душ.

Ещё не время итогов веских, ещё не близок последний вдох.
Танцуют тени на занавесках изящный танец иных эпох.
Да будут те, кто со мною — в связке. Да сгинет недругов злая рать.

Трёхглавый Цербер, мой сплин январский,
лизнёт мне руку и ляжет спать.

## Камуфляж

Где-то бури извне, где-то принято выть на луну,
а в твоей стороне лишь отчаянно тянет ко сну.
Ты давно неуклюж и стесняешься выйти на пляж.
На сидениях — плюш, под рукою — конфеты «Грильяж».

Ты — на илистом дне, ты сто лет не ходил на войну.
На, испей «Каберне», ведь вино не вменяют в вину.
Ты безвреден, как уж, и высок, словно первый этаж...
Если взялся за гуж — не надейся на ажиотаж.

Позабудь о весне, не гони приливную волну.
Жизнь успешна вполне, если с глаз не снимать пелену.
Околоченных груш не вмещают ни дом, ни гараж.
Недоигранный туш — лишь уютный обман, камуфляж.

Станет больно струне, если пальцами тронешь струну.
Ты теряешь в цене, и тебя не допустят в страну,
где средь ветра и стуж существует, как глупая блажь,
пламенеющих душ безнадёжный и чистый кураж.

## Молчание небес

Люби, безумствуй, пей вино под дробный хохот кастаньет,
поскольку всё разрешено, на что пока запрета нет.
Возможен сон, возможен чат, надежд затейливый улов…
Лишь небеса опять молчат и не подсказывают слов.

Они с другими говорят, другим указывают путь,
и не тебе в калашный ряд. Иди-бреди куда-нибудь,
играя в прятки в темноте с девицей ветреной — судьбой,
как до тебя играли те, кого подвёл программный сбой.

Не сотвори себе Памир. Не разрази тебя гроза.
Пускай с надеждой смотрят в мир твои закрытые глаза.
Пускай тебя не пустят в рай, в места слепящей белизны —
зато тебе достались Брайль, воображение и сны.

Ты лишь поверь, что саду — цвесть, и будь случившемуся рад.
На свете чувств, по слухам, шесть. Зачем тебе так много, брат?
Зачем же снова сгорблен ты? Зачем крадёшься, аки тать?
Не так несчастливы кроты, как это принято считать.

Ведь я и сам, считай, такой, и сам нечётко вижу мир…
Пусть снизойдёт на нас покой, волшебный баховский клавир,
и мы последний Дантов круг пройдём вдвоём за пядью пядь.

Да, небеса молчат, но вдруг
они заговорят опять?!

● ● ●

Весна рукой махнула — и привет.
Вновь инеем прихвачен твой кювет…
Досмотрен долгий сон. Дочитан Бунин.
И всё привычней голоса сирен,
слова их песен не вместить в катрен.
Но, впрочем, ты к вокалу их иммунен.

Не перемёрзни, мыслящий тростник…
Обочина, где прежде был пикник,
знакома, но на диво неприглядна.
Там ты один, и больше никого,
поскольку от Тезея своего
клубок ревниво прячет Ариадна.

Полна усталой чушью голова;
в молитвослове кончились слова.
На деревах — холодный белый бархат…
Твой потолок — всего лишь чей-то пол;
давно понятно, что король-то гол,
но всё равно обидно за монарха.

Не бойся, капитан. Присядь на мель
и бытие прими как самоцель,
у неба одолжив глоток озона.
А птицы вновь вернутся, как всегда.
Хотя сюда — особенно сюда —
им возвращаться вроде б нет резона.

## Ссадина

Ты с душою не находишь примиренья,
ты цепляешься за рваные края,
за попытки осознать себя и время
на расчерченном отрезке бытия.
Видишь солнце, но в упор не видишь света,
выворачиваешь суть наоборот
и накладываешь масло, словно вето,
на надежды зачерствевший бутерброд.
Неприученный ни к посоху, ни к кисти,
непривыкший ни к бореньям, ни к мольбе,
ты всё больше отдаляешься от истин,
изначально предназначенных тебе…
Лишь в отчаянном, болезненном ознобе,
к уговорам беззастенчиво глуха,
стоматитом воспаляется на нёбе
сардоническая ссадина стиха.

## Вольнодумица

Убегай, вольнодумица, и пережди поодаль
превращенье любови чужой в наважденье, в одурь;
чью-то манию мир низводить к своему покрою,
наполняя тоску турбулентной венозной кровью.

Убегай, вольнодумица, ты ж из семьи кошачьих:
если чувства в тебе и живут, то получше спрячь их.
Незнакомы тебе ни печаль, ни покорность ламья...
Ты—классический лёд. Оттого—отвергаешь пламя.

Этот мир, потерявший тебя,—как макет картонный.
Ты ушла от погони, небрежно прорвав кордоны.
Для оставшихся нас небосвод нынче весит тонны,
и тебя не отыщут ни Холмсы, ни Пинкертоны.

Ты теперь в безопасности. Ты на другой планете,
и тебя не найти ни на свете, ни в Интернете
при посредстве знакомых имэйлов и гиперссылок...
Ну а мне-то—куда?

Без тебя я дышать не в силах.

## Атлантическая осень

Припомни, парень, как ты жил там, как ты шёл там,
страну иную и иные времена...
А в здешней осени главенствуют над жёлтым
коммунистические красные тона.

Всё длится, длится атлантическая осень,
и запах листьев в хрупком воздухе повис...
Вот так артисты, слыша «Браво!» или «Просим!»,
устало кланяясь, выходят к нам на бис.

Верна своей непредсказуемой природе,
она бредёт на черепашьих скоростях...
И вновь прощается, но всё же не уходит,
как Рабинович, засидевшийся в гостях.

А мы несёмся сквозь неё, благоговея,
ветрам попутным подставляя паруса...
И нам вослед глядит с обочины хайвэя
в багрец и золото одетая лиса.

Григорий Горнов

# Тахикардия

## Занавесь

Искупление не состоится—
к обедне—бред:
тайга забивает гол
в ворота Аддис-Абебе.
И поэтому слово «прощение»
я ставлю пред
словами «прощание», «койка», «коллайдер», «бэби»…
Ещё один выкрик,
родная,
всего один—
в вечность, простирающуюся
от невстречи,
как будто лава
между обхваченных ягодиц
в горизонте событий
словила кило картечи,—

у всех женщин между ногами глина,
а у тебя—чернозём,
и поэтому,
чтобы писать, тебе не нужны чернила.
Давай поднимем
стокилограммовую
гирю и унесём
туда, откуда на землю
однажды пришла черника,
где на дубовом пне, потерявший память,
сидит левша,
стучит друг о друга
костями царицы Федры.
Чертополох, багульник,
черёмуха, черемша
чертыхаются,
когда их пугают вепри.

«Ужели в том стаде
не сыщешь себе овцы?»—
мир колебнулся, вздрогнул,
упал у паперти.
Никто из живущих
и живших
не годен тебе в отцы,
в этом причина потери тебя
и потери памяти.
Чем ты находишься дальше,
тем горше снег…
Ты по праву сочтёшь
сии письмена греховными,
постольку-поскольку
за ними лицом к Шексне
наши кости лежат
с обглодавшими их грифонами.

## Венчание

Лампадным конусом подсвечена—
Сказать боюсь: освещена,—
С младенцем маленькая женщина
С царицей отождествлена.

И мы стоим в нарядах свадебных:
Ты в белом свитере, я в той
Рубашке в бархатных заплатинах,
Что твой отец носил весной.

Псалмы читаются венчальные—
Какая радость для невест!
Глядят свидетели случайные
На нас, Евангелие, крест.

Стоим пред алтарём, нетканые,
И всё уже завершено.
Над золотистыми лиманами
Мигает звёздное пшено!

По свежевыпавшему крошеву
Идём сквозь город суеты.
И отлетает глина прошлого
От ахиллесовой пяты.

Земля застроена здесь дачами,
Как и в прибрежных областях.
Проводниками предназначено
Нам быть на местных поездах

До дальних зим, до самой старости,
До самой атомной войны,
Когда на нас набросят саваны
Легчайшим краешком волны.

Когда нас понесут воздушные
Потоки в белом ватном сне,
Мы, как дымки свечей потушенных,
С тобой вплетёмся в этот снег.

## Тахикардия

Когда ты уехала,
вороны столпились вокруг меня
и, когда я делал шаг,
поднимали шум.
С карнизов привокзальной гостиницы
капал свет.
Лицо твоей героини
погружалось в глянец озера,
И в эти же секунды
по обложкам всех стоящих в киосках журналов
пробежала косая волна.
Когда ты уехала, засветились сосны по берегам рек,
и звено истребителей взяло курс
на Утреннюю звезду.
Мой отец нашарил в кармане рубашки пачку сигарет.
Моя мать подошла к окну и увидела
возвышающегося над гладью городского парка
огненного Голема, жонглирующего гробами.
Вороны расступились,
и я пошёл туда, где стучало сердце пленной,—
к старому советскому радиотелескопу
за тысячами озёр.
И я сказал: «До свиданья, вороны!
Шейте подвенечное платье и саван: ей и для меня».

## Горшок

Слушая Баха, глиной найтись в пещере,
Сложиться в корзину, отнестись на гончарный круг,
Упорядочить форму и в толчее кошерной,
Споткнувшись о руки, рухнуть в воловий круп.

Говорили камни: не ходи на рынок,
Стой на балконе у поэтессы скал,
Среди мешков, кастрюль, полотенец, крынок—
Ты появился и, стало быть, опоздал.

Теперь остаётся лететь, проклиная воздух,
Поворачиваясь горлышком на живую речь:
Время замедлилось, и поэтому запах розы,
Что остался внутри, я пытаюсь в себе сберечь.

И последние выпуклые секунды
Чувствую горлышком, выпячивая загар.
Мария с младенцем спят посреди закуты,
И волхвы приносят последний дар.

Но невольно жалко лишь лик богини,
Что справедливо вывели мастера
На моём боку, разлетающийся с другими
Черепками, как греческая стена.

Ирина Василевская

# Время, которого нет

## На земле

*Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.*
*Und sieh dir andre an: es ist in allen.*
*Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen*
*unendlich sanft in seinen Händen hält.*
R. M. Rilke

На небе зелёном—опавшие звёзды,
хрустящие кромкой сухой.
Просыпались солью морозные слёзы,
ивовой скользнув бородой.
Шафранной дорожкой, как линией жизни,
уходишь к созвездью айвы,
которое в детстве, и ныне, и присно—
дыхание тех, кто мертвы.
А кто-то неведомый шепчется рядом,
в холодной ноябрьской мгле.
Сегодня, наверно, нам неба не надо;
сегодня оно на земле.

## Βιβλίο

В беспечном сне, обочиной морей,
с осенним взмахом крыльями вдоль лиц,
я временно вернусь к земной коре,
очнувшись в разнотравии страниц.

Мне чудятся юродство и сума.
В руках несёт, сырую от листвы,
босой мальчишка, спятивший с ума,
дрожащий мелко с ног до головы.

—Согрей! Согрей! Во имя всех святых!
Но падаю и вижу сквозь туман,
как больно бьют по рёбрам и под дых
и лезут в оттопыренный карман.

Там—спички. Унесли. А он лежит,
глаза в глаза, зрачки бегут по мне;
и тает оскоблённый малахит
на бледном истощённом полотне.

Горю, и растворяюсь под дождём,
и обжигаю губ иссохших крест,
сведённый жаждой слова. Переждём
земной мороз вдали от этих мест.

## Чужая боль

Чужая боль (бывает легче ваты),
она ковала руки на груди,
а горечь разъедала даже латы
из тысячи несказанных «прости».

Что время там, где нет его кончины,
где взмах ресниц—длиною в сотню зим?
Разжаты пальцы; в слепочке из глины
одно крыло расправил херувим.

Окно скорбело слёзно; в голых ветках
запутывались крепко облака.
Катилась оброненная монетка
полями городского колпака.

Как оказалось, пустота—живая,
способная утешить и убить.
Чужая боль—от ноября до мая—
камвольная вокруг запястья нить.

Из дома—в день, досматривая сны;
и вдруг в лицо—пахнул морозом ветер.
Осознаёшь, что павшие листы
уже не поживут на белом свете.

Закидываешь голову назад;
угадывая землю под ногами,
ты вспомнишь, как ложился листопад,
как время шло неслышными шагами…

## Месяц

Пальцы дрожат. Мороз.
В воздухе виснет хмарь.
Снега сполна принёс—
слов пожалел январь.
Где-то за этой мглой
знак-бумеранг застыл.
Он поразит весной
тех, кто его пустил.
А до весны—чуть-чуть
хрупких, как лёд, надежд:
всё дописав, уснуть—
и пролететь рубеж.

## Кадр 22

На камере —
сто сорок
фотографий.
Забыть…
стереть…
остаться в них навек…
Течёт вода
через края
на кафель,
заглядывает
в окна
лунный свет.
Ложатся
на ресницы
пепелинки,
а ночь мотает,
трепыхаясь,
слайды сна.
Я —
маленькая
вечности пылинка
В пустом углу —
на кадре 22.

## Не вынести

*Я хочу вынести за скобки общего множителя,*
*соединяющего меня,*
*Солнце, небо, жемчужную пыль.*
В. Хлебников

Не вынести — словами не сказать;
ну разве что словить себя на мысли,
что наше время повернётся вспять,
лишь стоит скорость образов превысить.
Но мы дошли до самых до основ,
чтобы расстаться в шаге от развязки,
исчезнуть из чужих черновиков —
за грани бытия; остаться сказкой.
Как вдруг — с ума! — нажатием курка
убить два лишних знака троеточья.
Оставить солнце, звёзды, жемчуга
и эту жизнь, изорванную в клочья.



# Михаил Светлов
# На краю земли

● ● ●

Вытерла заплаканное личико,
Ситцевое платьице взяла,
Вышла — и, как птичка-невеличка,
В басенку, как в башенку, пошла.

И теперь мне постоянно снится,
Будто ты из басенки ушла,
Будто я женат был на синице,
Что когда-то море подожгла.

● ● ●

Девушка от общества вдали
Проживала на краю земли,
Выдумкой, как воздухом, дышала,
Выдумке моей дышать мешала.
На краю земли она жила,
На краю земли — я повторяю…
Жалко только, что земля кругла
И что нет ей ни конца, ни краю…

● ● ●

Живого или мёртвого,
Жди меня двадцать четвёртого,
Двадцать третьего, двадцать пятого —
Виноватого, невиноватого.
Как природа любит живая,
Ты люби меня не уставая…
Называй меня так, как хочешь:
Или соколом, или зябликом.
Ведь приплыл я к тебе корабликом —
Неизвестно, днём или ночью.
У кораблика в тесном трюме
Жмутся ящики воспоминаний
И теснятся бочки раздумий,
Узнаваний, неузнаваний…
Лишь в тебе одной узна́ю
Дорогую судьбу свою.

Миньона Штерн

# Дом на земле, уплывающей в Рай: мир лирической прозы Галины Кудрявской

*Кудрявская Г.* Вечность встречи.—Омск: Издательский дом «Наука», 2012.

*Дан мне этот клочок земли под небом, чтобы не превратился он в пустырь, а стал землёй обетованной, наполненной молоком и мёдом.*

Г. Кудрявская. На грядке жизни

Новая книга прозы Галины Борисовны Кудрявской представлена читателю и начала свою собственную жизнь. Первая публикация прозы этого автора, в которой рассказы соседствовали с поэтическими текстами, вышла в Омске в 2000 году; книга называлась «Аз есмь», как будто заявляла о рождении нового прозаика. «Книги имеют свою судьбу», и каждая из них—фрагмент речи, обращённой к нам с более или менее явной целью, побуждающей нас к ответу, вовлекающей читателя в диалог с автором. «Стихи живые с нами говорят, и не о чём-то говорят, а что-то…» Строки С. Я. Маршака могут быть отнесены и к стихам, и к прозе Г. Кудрявской.

Во-первых, потому что это проза поэта: лирическая, исповедальная, действующая своей интонацией, внутренним ритмом, порой столь активным, что проза почти превращается в верлибр.

Во-вторых, и это самое главное, Галина Борисовна—поэт и прозаик, ясно понимающий ту цель, тот внутренний посыл, который одушевляет её слово. Главный мотив речи то отголоском звучит в её стихах, то вырывается на первый план в горячих словах лирической молитвы:

Я песенку пела про чудо
И в небо ночное взглянула.
Но вечность дохнула оттуда,
Как будто из тёмного сада
Волной накатила прохлада
И губы молчаньем замкнула.

● ● ●

О, дай мне, Бог, не разочароваться
Ни в истине Твоей, ни в красоте.
И каждой проявившейся черте
Твоей в знакомых лицах изумляться.
В самой себе в молитвенной тиши
Преодолеть смятенье и сомненье,
Чтоб в глубине любой живой души
Найти Твоё земное отраженье.

В прозе Галины Кудрявской замысел автора обозначен многопланово: прямо—как тема, как объективный конфликт человеческого бытия, личностного и социального. И как внутренняя душевная коллизия, рождающая всю гамму переживаний, всю палитру эмоций, превращающая биологическое существо в чувствующего, страдающего, мыслящего человека. «Весь трепет этой жизни бедной…»—если воспользоваться выражением А. Блока. А трепет—чувство высокое, религиозное. Оно возникает, когда мы созерцаем нечто высшее, превосходящее нас совершенством. Эмоциональный, ярко выраженный колорит прозы Галины Кудрявской рождается из переживания трудности и необходимости решения главной жизненной задачи: чтобы наш, на первый взгляд, небогатый красками и весельем, бедный и неустроенный мир был пре-ображён, то есть о-божен, чтобы обнаружилось то, что «сквозит и тайно светит в красоте его нетленной…» (как не вспомнить Ф. И. Тютчева). Или по-другому, как у А. А. Ахматовой: «Чтобы туча над тёмной Россией стала облаком в славе лучей…»

Не слишком ли много цитат в затянувшемся лирическом вступлении? Необходимо и достаточно для того, чтобы показать, как встраивается творчество омского поэта и прозаика в русло классической традиции нашей литературы—встраивается тематически, жанрово, философско-эстетически (то есть в понимании смысла жизни и смысла искусства).

Критики, авторы предисловий в книгах Галины Кудрявской, любят, давая им характеристику, пользоваться словом «итоговый». Вероятно, потому, что в каждой из её книг по-разному представлен единый тематический комплекс её творчества—как поэзии, так и прозы. Но в каждой книге есть своя тематическая доминанта, иногда обозначенная в заглавии, а иногда—«скрытно» заложенная в композиции книги, в её непростом и глубоко содержательном построении. Думается, что издания прозы Галины Борисовны—не просто сборники, они представляют собой—в большей или меньшей степени—художественное целое, контекстовое книжное единство. И между

тематической доминантой книги, её заглавием и построением есть определённое художественно значимое соответствие.

Первая собственно прозаическая книга, «Варварин дом» (2004),—с весьма важным авторским пояснением: повесть и рассказы. Автобиографическая повесть «И плакали птицы… Непридуманное прошлое» открывает издание, составляя его первую часть, в количественном отношении абсолютно симметричную второй. Её пятнадцать маленьких глав (наименьшая—четыре страницы, а наибольшие—шестнадцать-семнадцать страниц) тематически и жанрово-композиционно связаны с пятнадцатью маленькими рассказами второй части. Обе части книги демонстрируют основные черты прозаического стиля Галины Кудрявской: минимализм, фрагментарность, тяготение к циклу. Корневым жанром её прозы является лирическая миниатюра, её модель проступает и в текстах, в той или иной степени сюжетных. Обращает на себя внимание и кольцевая композиция и первой, и второй части книги. В первой части последовательность глав, мотивированная «логикой» памяти и «музыкой» эмоционально-душевного строя лирической героини, объемлется двумя миниатюрами. В первой, «кодовой», повторяющей заглавие книги—«И плакали птицы…», уже представлены сквозная коллизия и мотивный комплекс как «лирической», так и «эпической» (в том смысле, что повествование ведётся в объективной форме) частей. Разлука с тем, что любишь, даже временная, каждый раз переживается как вечная. Это чувство открывается маленькой девочке весной, когда птицы возвращаются домой из южных стран. «Сквозь ликующее веселье трелей прорываются явственно различимые судорожные вздохи, всхлипы, не утолённые весенней радостью возвращения. И зачем было улетать? В какую такую обетованную землю? Или обетованная как раз вот эта, наша, куда они теперь возвратились? Может быть, они и сами не знают, зачем летают то туда, то обратно, подчиняясь неведомой воле. Оттого и плачут. И счастье возвращения не утоляет печали расставания с тем, что остаётся вдали. А осенью снова улетать, оставляя часть души. Слёзы радости, слёзы печали, вечные слёзы разлуки». Утрата и обретение, печаль и радость, жизнь и смерть—вечный круговорот бытия.

Заключительная главка-миниатюра «И всё повторится» звучит как итог и заключительный аккорд; но она может рассматриваться и как внутренний мотив второй части, тоже, в свою очередь, обрамлённой двумя рассказами, связь между которыми подчёркнута старославянским звучанием их заглавий: «Аз есмь» и «Услыши мя, Господи!». Очевидна их не только стилистическая, но и смысловая перекличка. Вообще, поэтика заглавия—важный аспект художественной системы прозаических книг Галины Кудрявской.

Центр второй части книги составляет большой (в сравнении с малыми) рассказ «Варварин дом», и, конечно, не случайно он будет включён в следующее крупное издание поэзии и прозы Кудрявской—книгу «Поймать ветер» (2010). Автор вообще умело компонует свои издания, включая в них уже опубликованные и новые вещи таким образом, чтобы они плотно и органично соседствовали друг с другом, формируя единство и целостность художественного мира книги. И ключевой текст, как всегда, даст ей заглавие. Повесть «Поймать ветер», с её сложно выстроенным «троепластным» повествованием,—не просто новое масштабное произведение, оно для автора имеет особую значимость, поскольку в нём эксплицирован, непосредственно представлен сквозной сюжет её творчества в целом. Три пласта повести. Первый—объективный, рисующий драматизм обыденной жизни, неблагообразие человеческих отношений и порождённые им неотвратимые страдания души и тела. Второй пласт—притча о «колодце», о нисхождении человеческой души в «ад» страстей, заблуждений, иллюзий, а в итоге—о пробуждении «духовной жажды» и острой потребности в истине, добре, любви. И третий пласт—образуемый системой библейских эпиграфов из книги «Екклесиаст» и «Притчей Соломона». Эпиграф ко всей повести и эпиграфы, комментирующие каждую главку, создают сложную вязь мыслей, суждений, афоризмов, настроений. Иногда эпиграфы гармонируют с содержанием глав, порой вступают с ним в диалогические, полемические отношения. Они и между собой «спорить» могут, и с заглавием «не соглашаются». Диалогически связано с заглавием и содержание глав—звеньев, образующих цепочку объективного повествования. Новеллы, сюжеты которых то обрываются, то пересекаются, обнаруживают общий узор бытия, непонятный человеку, но открывающийся ему—в результате духовных усилий, пережитых испытаний и драматического выбора между тьмой и светом, ненавистью и любовью, презрением к людям и состраданием. Нет, не всё в нашей жизни «тщета» и «ловля ветра», если рождается из её тягот драгоценная человеческая способность смирения, прощения, сострадания. То, что помещает человека в ту точку мирового пространства, откуда наш неустроенный мир открывается в его вечной гармонии и красоте.

Между двумя большими итоговыми книгами Галины Кудрявской располагаются два издания меньшего объёма и более камерного звучания—прозаические книги «Сиянье дня» (2007) и «Вечность встречи» (2012). Небольшой сборник рассказов «Сиянье дня» отличается единством тональности, характер которой определён в заглавии

издания. Светом дня, сияньем добра освещены изнутри довольно пёстрые сюжеты рассказов, и не сразу замечаешь их внутреннее тематическое единство. Все они — о любви, об этом мощном жизнетворящем начале в его самых разных проявлениях. О любви мужчины и женщины, об отношениях, в которых всё большую роль играет сострадание, терпение и самоотверженность. О любви к своему роду, предкам и потомкам, поколениям ушедшим и будущим; через эту любовь и память человеку открывается бессмертие рода — одна из ипостасей вечности. О любви к дому и земле, к саду, возделанному собственными руками. В прозе Галины Кудрявской такой сад — маленькое подобие рая на земле. Из этих малых ручьёв слагается могучее чувство любви к миру, бытию, человеку, а в этом чувстве — основа творчества, стимул к продолжению жизни.

И снова возвратимся к книге, последней по времени и отчасти итоговой, составленной из новых и ранее публиковавшихся текстов. Заглавие книге — «Вечность встречи» — дала автобиографическая повесть, в которой сквозной сюжет прозы Кудрявской — трудная задача преображения человека — решается через глубокое погружение в мир интимных отношений, через предельно искреннюю исповедь. Повесть строится на чередовании различных временных пластов; на первый взгляд, их два, и оба относятся к прошлому. Далёкое прошлое — дни молодости, первой любви, счастливые, хотя и не лишённые драматизма отношения двух любящих людей, идущих навстречу друг другу, несмотря на все препятствия. И более позднее, печальное прошлое — последние дни перед вечной разлукой, дни ухода. Но и эту часть жизненного пути герои повести проходят вдвоём; разные по характеру, разделённые непроницаемой границей, которая существует между умирающим и живущим, они всё-таки составляют единое целое. Они идут медленно, трудно, преодолевая как будто бы непреодолимые препятствия, но идут вместе, в одну сторону — к полной и совершенной любви, той самой «любви-жалости», о которой говорил Ф. М. Достоевский и которая оказывается «посильней» страсти, горячего молодого чувства. И этот общий путь продолжается в памяти, в душе героини после утраты любимого человека. Повествование, исповедальное слово поднимает читателя на самый высокий пласт времени, туда, где, очищенная от всего бытового и поверхностного, живёт совершенная любовь. Вечность — третье измерение, с точки зрения которого и раскрываются подлинные ценности человеческих отношений.

На первый взгляд, чётные главы повести, рассказывающие о молодости героев, написаны в объективной манере: повествование ведётся от третьего лица, герои носят вымышленные имена. Но эта объективность, нейтральность тона — кажущаяся. Повествование ведётся с точки зрения героини; её внутренний мир, её восприятие жизни окрашивают повесть в особые тона, придавая ей особенную свежесть, лиризм; ожидание счастья, молодая жажда жизни пронизывает каждую её страницу. Такова атмосфера рассказа о начале любви. В нечётных главах, где рассказывается о последних днях земной любви, господствует лирическое исповедальное начало. Не «он» и «она» называются герои, а «я» и «ты». Общение между ними продолжается, смерть его не прервала, и читатель книги приобщается к высокому эмоциональному накалу этого диалога.

Мастерство каждого талантливого прозаика раскрывается по-разному. У каждого свой «конёк». Один силён умелым построением сюжета, другой — точными речевыми характеристиками персонажей, третий — живыми зарисовками жизненных ситуаций или тонкими наблюдениями за миром природы. Отличительная особенность таланта Галины Кудрявской как прозаика — безупречное чувство ритма, внутреннего строя речи, её эмоционального рисунка. Интуиции поэта в её текстах неотделимы от наблюдений и размышлений прозаика. Очерк сливается с фрагментами воспоминаний и окрашивается в лирические тона. Сюжетный рассказ изнутри «пропитывается» эмоциональным отношением автора к тем событиям, о которых повествуется в произведении. Автор чувствует, где сюжет должен «дробиться» на фрагменты, когда наступает лирическая пауза в движении событий. Общий интонационно-ритмический рисунок повествования становится основой эстетического впечатления, благодаря этому проза Кудрявской не просто читается, она «переживается», формирует эмоциональный контакт с читателем. И в этом её собственная неповторимая ценность. И поэтому сборники произведений Галины Кудрявской воспринимаются как лирические книги в прозе.

В каждой книге, как уже отмечалось, есть «опорные» тексты, в которых сконцентрированы мотивные комплексы, сквозные коллизии; здесь сосредоточены дорогие для автора мысли, любимые темы и образы. Такие тексты представляют мир творчества Кудрявской в целом. На наш взгляд, наиболее эмблематичны два прозаических текста — рассказ «Варварин дом», давший заглавие первой большой книге прозы, и рассказ «Лебединая доля», включённый в новую книгу прозы — «Вечность встречи». Оба текста повествуют о женской судьбе, о невостребованной и незаметной для окружающих красоте человеческой души, о торжестве духа над убожеством и уродством, принимаемыми за норму жизни. Любимые героини Галины Кудрявской напоминают шукшинских «чудиков», хотя и другого пола. Это, по выражению самой писательницы, «инакие люди», юродивые, мечтатели.

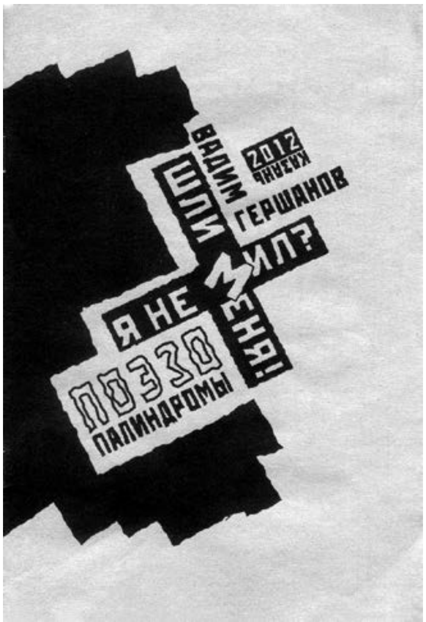
Как теперь говорят — маргиналы. А раньше бы сказали — блаженные. Но слово в мире прозы Галины Кудрявской обогащается евангельскими смыслами. Не сразу, но всё-таки открывается нам, умудрённым знаниями, которые «умножают печаль», непростая истина о блаженстве «нищих духом». Таких, как «убогая» Варвара, «Варька бессонная», охранительница покоя и безопасности людей. Или Нинка, девушка-лебедь, всю жизнь незаметно для окружающих несущая в себе красоту свободного полёта, парения в небесах. Женская «доля» в мире — неустанно и стойко строить «дом» человеческого бытия, как бы ни был беден, скуден «материал» для такого строительства. Ни при каких обстоятельствах нельзя человеку на земле оставаться без крова, тепла и любви. Если мы сумеем проникнуться сознанием этого — значит, будут и новые темы для рассказов, и новые книги прозы Галины Борисовны Кудрявской. И обязательно найдутся для них новые читатели.

ДиН ревю

Вадим Гершанов

# Я не мил? Шли меня!

Казань, 2012. — 16 с.




## Слоговые палиндромы

Гамма размаха — поэты,
эпоха — маразма гам…

Кто нищий? Никто.

За громом гасла, трясла гамом гроза.

Дипломат, договоров догмат плоди!

Тираны — сыны рати.

Тормози, мотор!

Высланы сыны славы.

Нитка — часть ткани.

Бил люто за всё, зато любил…

Ломалась дама.
Далась…
Мало!

## Поэзопалиндромы

А курице лапка как палец и рука.

Анчар манит. Сия истина мрачна…

Чуть туманна (лежала желанна) муть туч.

Я не мил? Шли меня!

Баре, они — иное, раб!

Боли чела? Лечи лоб!

Дедам хохма — баба, а бабам хохма — дед.

## Чуть не сон — осень туч…

Чуть не сон —
Особенности темноты.
Тон металла — темноты тон.
Метит сон небо.
Сон — осень туч.

## Я и ты: былое, рок, ореолы бытия

Я и ты: былое, рок.
Омут — я. Ты — судия.
Я иду. Сытят умок
Ореолы бытия!..

## Фимиам годин — и догма, и миф

Машу — дым годин
Долетел в нос:
Фимиам годин — и догма, и миф…
Сон влетел —
Одни догмы душам.

Владимир Коркунов

# Люди, какие они есть

Творческие пути Александра Файна

Книга Александра Файна «Среди людей»[1] — третья по счёту, и остаётся только сожалеть, что автор открыл в себе литературный талант лишь в зрелом возрасте. Богатая впечатлениями жизнь — колымское детство, учёба в Московском институте химического машиностроения, работа в промышленности и одновременно преподавание теормеха и матфизики, а в годы перестройки уход в бизнес,— подарила документальный (в памяти) материал и для прозы, отразилась в повестях и рассказах.

Самая кровоточащая «тема» — отнюдь не Колыма, а люди, их взаимоотношения, озверения (часто вынужденные) и — возвращение к облику людскому. И всё-таки не оставляет равнодушным слово «Колыма». Это не только лагеря и сотни тысяч заключённых, это и сурово-прекрасный край, по какой-то ошибке ставший синонимом человеческой жестокости и загубленных жизней. И там жили люди, способные видеть, замечать и маленькие радости, и большие беды,— люди, волею судьбы, по призванию или принуждению, оказавшихся в этих краях.

Потому неудивительно и название книги Александра Файна — «Среди людей», потому что именно люди (и зачастую — прошедшие или находящиеся на жизненном сломе) становятся главными героями повестей и рассказов, а также представленной в книге драматургии.

Впечатление от прозы — тяжёлое, даже жутковатое, но — для тех, кому выдалось иное время, очерченное границами ноутбуков и мобильников. И многое уже не понять, но понимать надо. И красной линией выведены в повести «Мальчики с Колымы» слова: «Не дай Бог, чтоб внуки тех, кто стоял тогда по разные стороны колючей проволоки, подошли к барьеру. Но и не дай Боже нам в беспамятстве жить…»

Это ключевое. Беспамятство, равно как и память, переплетаются в нас, делая марионетками чужих мнений, уводя от истины. И тогда расчехляется перо писателя (подсмыслы неуместны) и выводятся слова — Варлама Шаламова («Колымские рассказы»), Виктора Астафьева («Прокляты и убиты»), Василия Шукшина (рассказы о деревне), а вот теперь и — Александра Файна.

Полагаю, имя прозаика войдёт в список значительных авторов начала двадцать первого века, а что дальше — только Бог ведает.

Но и ряд имён приведённых — не случаен. Астафьев, оправдывая написание своего романа, говорил: «Заторами нагромоздилась ложь не только в книгах и трудах по истории прошедшей войны, но и в памяти многих сместилось многое в ту сторону, где война была красивше на самом деле происходившей…»

Что же касается Шукшина и Шаламова (последнего — в особенности), в прозе Александра Файна можно найти общие нити, пересекающиеся в творчестве этих писателей. Образ простого человека (и неимоверно сложного — одновременно) в непростой ситуации — это ведь и шукшинское тоже, и файновское. Вот тёща из провинциального городка, «в прошлом дешёвая портниха-надомница», хранительница русской речи, не обезличенной «литературным языком» («Зять Николай Иванович»); вот Валентина Ивановна, до выхода из лагерей — Дарья, санитарка, казачка, в военные годы отправившаяся в места не столь отдалённые («Не оступись, доченька»).

Но если переплетение характеров — условно, то очевидно нечто общее с прозой Шаламова. Не в языке, конечно, и даже не в теме (точнее — не под тем углом зрения), а, скорее, в подаче материала. Шаламов как мог отступал от лозунгов или прямых обвинений, описывая происходившие в утробе лагеря события беспристрастно, несколько отстранённо: «Можно и нужно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара» (В. Шаламов, «О прозе»).

Некую безусловную связь (как преемственность!) с Шаламовым отмечает и автор первого предисловия к книге «Среди людей» Владимир Мединский: «Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писателей советской поры… к числу литературных учителей Александра Файна. Но мне Шаламов вспомнился сразу, как только я добрался до лучшего произведения

1. *Александр Файн.* «Среди людей». Издание второе.— М.: ВестКонсалтинг, 2012.

в этой книге „Мальчики с Колымы“». Думаю, относился. Как относились (и относятся) все те, кто неустанно работает над словом и выводит свою, но—правду, переливая себя в строки рукописей.

Сравнение с предшественниками никоим образом не говорит о вторичности прозы Александра Файна. Но литературное сравнение—вещь неизбежная, когда мы говорим о действительно интересном произведении. Что косвенно подтверждает и попадание книги А. Файна в лонг-лист «Большой книги»—событие, само по себе заслуживающее внимания.

И самое сильное произведение в сборнике, как верно отметил В. Мединский,—«Мальчики с Колымы». Это не только повесть, но—сценарная разработка на двенадцать серий под названием «Колымский меридиан». Не только повесть, но—исповедь.

Сюжеты из детства двух братьев—Сергея и Николая—пробуждаются в памяти спустя долгие годы после колымского детства, когда Сергей, которого брат считал погибшим, позвонил в дверь московской квартиры Николая. Сложный семейный не треугольник даже—многоугольник (ситуация под стать детективной)—показан с разных сторон, но чувство ужаса не приходит, скорее—отрешённость, оторопелость, напряжённость. Ужас и не может прийти, потому что для ужаса нужна пауза—чтобы отдышаться, поразмыслить и прийти к открытиям, которые сродни катарсису—очищению путём страдания.

Действие—динамично, воспоминания подобны волнам, реконструкция событий увлекает, но и держит на расстоянии; мы проникаем в это время—тридцатых-сороковых, сливаемся с ним, но где-то на подкорке остаётся спасительная дверца: автор рассказывает о тех событиях уже из нового времени, а значит, и для читателя есть возможность вернуться.

Остаться навсегда там—сойти с ума, погрузиться без права выхода. Автор позволяет читателю выкарабкаться, он щадит читателя, не стравливает его с оппонентом по другую сторону проволоки, но не устаёт напоминать: это было, это осталось в моей памяти. Помните об этом и… принимайте правильные решения. Какие? Александр Файн не занимается дидактикой, не учит, он—показывает. И каждый вправе сам решить для себя—по какую сторону пресловутой проволоки находится он.

Виктор Ерофеев, автор второго вступления к книге, замечает: «Герои (Александра Файна.—*Ред.*) мрут как мухи. Их даже нет времени пожалеть. Остаётся только, если выжил, оглянуться в конце собственной жизни и вспомнить». Это не совсем так. То есть герои, конечно, мрут, но для того, чтобы пожалеть их, автор несколько видоизменяет канву сюжета, давая читателю некоторое время на раздумье, переводит мысли в несколько иное русло, оставляя меж тем немного пространства для осмысления произошедшего.

Так, в «Мальчиках с Колымы» подобными «контрапунктами» являются письма героев, разделение повествования на две части, а в самом конце—сухая справка о труде заключённых и лагерях, вклиненная в текст.

В рассказе «Не оступись, доченька» действие начинается с гибели (лейтенанта Ивана, что стало причиной сломавшейся жизни Валентины Ивановны/Дарьи) и заканчивается гибелью (самой Валентины Ивановны/Дарьи, бросившейся под поезд). Но «Оправдание людей», как назвал статью Ерофеев, представляется в своём апофеозе. Смягчается сердце начлага, приблизившего к себе Дарью (междустрочный крик: не безнадёжен никто, но не каждый сумеет не прогнуться, не сломаться под нажимом жизни),—под силой любви. Оправдывает (для себя!) самоубийство и Валентина Ивановна, которая, прежде чем броситься под поезд, узнаёт, чем грозит её поступок для машиниста. Даже Берзарин (в воплощении иного писателя этот персонаж мог бы предстать отъявленным мерзавцем—приспешник Берии!) показан человеком.

Судить о тех страшных временах нам, молодым, не нюхавшим пороха войны, не знавшим о подчас шестнадцатичасовом лагерном рабочем дне, обо всех ужасах и страхах недавней нашей истории,—вряд ли возможно. И вряд ли что-то оправдает этот замысел. Но Александр Файн, человек, который не понаслышке знает об этих событиях, который вдохнул ветер самых разных перемен,—имеет право. В том числе—и на оправдание людей. Потому что находился—среди них. В каждой строчке своих рассказов и повестей.

Роман Мамонтов

# Чумачедшие coment'ы

*Алексей Иванов*. Комьюнити.—спб: Азбука, 2012.

Получилось так, что в одно время ко мне попали книги двух известных авторов, и читал их я параллельно. Одна—Александра Проханова «Человек звезды», вторая—Алексея Иванова «Комьюнити». В общем и целом, как говорил товарищ Швондер, есть что сравнивать (хотя бы для себя). Но было странное ощущение, какое-то дежавю, что ли… Один автор, центровой (московский), писал о событиях в провинции, в так называемом «городе П.», другой, как бы периферийный (пермский),—о «городе-герое Москва, эР-эФ». С Александром Прохановым понятно: и пристрастия его, и образ мыслей, и политическая позиция, и то, что из Москвы особенно хорошо думается о провинции. Это нормально. Интересней, конечно, обратное: из Перми—да по Первопрестольной одним из главных калибров! А чем чёрт не шутит: как-никак потомки Василия Татищева и Георга Геннина—отцов-основателей пермских…

…Итак, «Комьюнити».

Из книги: «*Концепция видеоряда, придуманная Глебом* (Глеб Сергеевич Тяженко—медиаменеджер «Дикси», портала, предоставляющего различные интернет-сервисы и обладающего различными интернет-ресурсами.—*Прим. А. Иванова*), *заключалась в сочетании архаики и супермодерна, классики и science fiction. Самый выразительный фьюжн—нечто старое-знакомое на фоне чего-то дивного и небывалого*». Боже упаси—я за язык Алексея Иванова не тянул: он тут сам угодил в точку. Наверное, в этом и заключается структура его книги. Но почему я читал её с некоторым торможением? Отвечу. Вместе с автором пришлось изрядно полазить по Википедии. Он—пораньше, я—попозже. Конечно, можно утверждать, что одна из авторских задумок именно в том и состоит, чтобы показать человеку его зависимость от интернет-ресурсов и сервисов, обнажить разъединение людей на фоне того, что их должно было бы соединять. Однако тут просматривается неполное владение темой, поскольку святейшая епархия айтишника и конструктивные нагромождения, такие как «чипсет», «софт», «фулл», «патч», «тулбар», «плагин», «фича», «комьюга», «бэкапить», ну и тому подобное,—специфика профи, его life-style. А помножить сленговые обороты системного администратора Бобса на изобилие айфонов и айпэдов персонажей—так и вовсе теряешься в действительности (виртуальной или реальной, а может—в интерфейсе самого «Дикси»). Всё это наводит на размышления о крутой задумке автора замутить вещь со всеми атрибутами экшна: и некий пласт московской тусовки, и стиль жизни мегаполиса, и виртуал-эпидемия чумы, и корпоративные дела, и Бирюлёво с Митино, и вскользь—по Новорижскому хайвэю. Да, ещё митинги, сетевая лингвистика участников постов, что сидят внутри сюжета и «юзают» типа *D-r_Pippez*: «*Вы чо бля пугаите я ужэ обоссалсо!!!!*» или «*Многа букафф!!!*».

В ходе прочтения моё дежавю несколько растуманивается, и начинают проступать черты ранее написанного Сергеем Минаевым—«Духless». Только с разницей, что господин Минаев, как известно, варится в Москве, где и жизнь его, и мысли, и кухня межчеловеческих отношений пропитаны этим мегаполисом, посему о вещах, связанных с частью московской жизни (фрики, хипстеры, фрилансеры, менеджеры, лимита) он пишет органично, по-свойски. Пермяк же Алексей Иванов явно напрягается, закрываясь выцарапанными брендами-трендами, точно желая тихонько шепнуть: «Оцените! А ведь я попал в десятку!» И немудрено, обилие торговых марок впечатляет: «Armani», «Roberto Cavalli», «Forzieri», «Abercrombie & Fitch», «Ketroy», «La Masa», «Martin Custom», «Tommy Hilfiger»… Полный casual. И ещё сленг. Малость утомляет, хочется даже, по Станиславскому, дать отмашку: «Не верю!»—однако скажу просто: «Надоела односторонне-потусторонняя Москва, перефильтрованные сюжеты города-героя, сленг постов и «LiveJournal»'ов. Устал. И от ненорматива—тоже». Ужели в наше время мат—нечто вроде универсума, всеобъединяющего и уравнивающего как философские понятия, так и критерии материальные? И парни рады, и девки, кажись, не краснеют. Ну, было у Алексея «Блудо и Мудо». По-моему, достаточно. Тема раскрыта. Тот же ивановский «Географ глобус пропил» от «Комьюнити» и «Блудо и Мудо» просто особняком стоит. Насколько он показался интересным,

прочувствованным и искренним! Читалось и сопереживалось. Не без удовольствия проследовал до конца книги. Или же—«Золото бунта». Свой мир, свой язык, в котором автор—как таймень в реке Чусовой. Хоть компьютерную игру по сюжету пиши: эдакий уральский мир на манер сэра Джона Толкиена. Я прохладно отношусь к жанрам фэнтези и экшн, но за роман «Золото бунта» автору «респект и уважуха», ежели применить сленг его же героев из «Комьюнити».

Стремление Иванова понятно—сделать целостную, комплексную вещь с пороками интегрированного мира, новыми технологиями и личного одиночества в нём. Тут и драма, и политика, и философские рассуждения, и лёгкий секс с продвинутыми девчонками. Забавный коктейль. А вот ломается что-то в восприятии «Комьюнити», не цепляет. Вроде и сюжет, и динамика присутствуют, и отличные авторские ходы. Однако не читается на одном дыхании, тормозится и разваливается. Конечно, круто бросить лозунг: «*Человек—это его айфон!*»—или вместе с главным героем Глебом наблюдать неразумных *летучих обезьян*. Хотя с *летучими обезьянами* я вполне солидарен: жизнь в Интернете атрофирует чувство самоцензуры, самодисциплины; это как на заборе—пиши что хочешь, всё равно не вычислят, да и отвечать, по большому счёту, за сказанное не придётся, вот и являются миру стаи *летучих обезьян*. И ещё одна интересная мысль автора: семантический поиск, то есть поиск по смыслу. Каждый получает то, чего желает. «Информационный коммунизм», как сказал один из героев «Комьюнити» Лев Гурвич, разработчик этой системы.

На первый взгляд, Алексей Иванов как писатель давно состоялся. Что доказывать ему и кому? Литературным адептам, книжным агентствам, культуртрегерам, хипстерам или тем же фрикам? Но как-то не укладывается, чтобы, к примеру, Виктор Петрович Астафьев или Валентин Григорьевич Распутин вдруг начали ни с того ни с сего сочинять в стилистике и темах, свойственных Джеку Керуаку или, скажем, Чарльзу Буковски.

Конечно, Иванов-художник волен делать то, что он считает нужным, и некорректно было бы ему что-то советовать. Единственное, что хотелось бы автору пожелать,—не размениваться по мелочам, а раскрывать свою настоящую тему. Дозреть до нового «Золота бунта». Вспомнить, что он когда-то обладал «Сердцем Пармы». Да нет, я даже уверен, что это «сердце» бьётся у него в груди!

«Комьюнити» заканчивается вполне оптимистичной молитвой:

«*Господи еси, всеблагой наш модератор! Да будет бесконечен твой трафик, да расточится спам, да обрящешь ты контент до скончания веков! Активируй наши SIM-карты и не укори нас за софт насущный! Мы неразумные твои гаджеты, возлюби наши опции и избавь нас от троянов, и пускай воплотится воля твоя…*»

Что ж, братья и сёстры, перезагрузим наши айфоны и отправим друзьям самые лучшие и трогательные сообщения. И да простит нас ныне покоящийся на Калитниковском кладбище Лев Гурвич, софт-мастер из пятёрки лучших IT-инженеров страны…

Александр Вятский

# Запах троллинга, или Кое-что об интернет-хулиганстве

## 1.

Тролль всегда анонимен. Всегда. Именно анонимность даёт ему ту самую вожделенную псевдосвободу, в периметре которой, как ему грезится, он может творить буквально всё, что ему заблагорассудится. Обнажённый тролль, тролль, потерявший свою анонимность, представляет, как правило, крайне плачевное зрелище. Кто бы на поверку там, за аватаркой, ни оказался — улетевший студент Петя Фроликов или пьющий пенс, извращенец Григорий Зубатых,— оба они будут выглядеть после опубликования их личных данных и реквизитов крайне, мягко говоря, озадаченно. Анонимность — главный конёк тролля. Ни лица, ни фамилии, ни даже маломальских координат и места обитания вы никогда не увидите. Не увидите до момента изобличения. Исключения (когда тролль не анонимен), которые, как известно, лишь подтверждают правило, крайне редки. Впрочем, обо всём по порядку.

К троллингу склонен в какой-то мере каждый второй юзер. Далеко не всякий выберет эту инфернальную тропку, но почти что всякий может в себе без особого труда откопать долю — и цинизма, и склонности к хамству и плохо контролируемой агрессии, а также тягу к выплеску накопившегося негатива, а по-русски говоря — дури. Почти всякий сможет отыскать в себе это, но далеко не всякий сделает сознательный выбор в сторону культивирования данных грехов. В этом принципиальное отличие обычного юзера от тролля.

Аватарка (картинка). Как правило, с неё и начинается заочное знакомство в сети. Она повествует нам о той внутренней тяге человека, его амбициях и внутреннем мире, что тот в себе несёт (или желает продемонстрировать на публику). Конечно, как уже написано выше, тролль почти никогда не покажет своего лица. На аватарке может быть кто угодно — от излюбленных троллями физиономий деградантов до вполне безобидных панды или плюшевого мишки. Кстати, мною замечено, что люди, склонные к троллингу, просто до обожания любят втискивать в аватарки змей. Наверняка ответ будет примерно следующим: «Змея — символ мудрости, поэтому я её, красавицу, и вывесил(а) на своей любимой аватарке». Да, никакой тролль себя дурачком никогда не назовёт. О своих интеллектуальных данных он всегда втайне будет просто исполинского мнения, которое и станет всячески пытаться искусственно внедрять в попытке возвеличиться над очередной потенциальной жертвой. Но здесь (в змеях на аватарках), мне видится, присутствуют простейшие азы психологии. Змея прежде всего — ядовита. Кусача. Она опасна. Она вызывает оторопь у человека. Угрозу. И на уровне подсознания для тролля таковой образ — один из самых ассоциативно подходящих. «Я жалю, я убиваю, бойся меня». Я лично встречал наиболее «улетевших» в этом смысле троллей, которые любят вывешивать огнедышащих змей-драконов. У-у-у-у… боюсь, боюсь… Уже боюсь.

В махровом, грубом троллинге крайне важен язык. Ведь одно и то же можно сказать совершенно иначе. И не обязательно это будет так излюбленный троллями *олбанский*.

Фраза-пример:

«Я не понял, что ты мне сказал» (обычный человеческий язык).

«Нефсосал, чо ты гонишь. Гы))))))» (язык тролля).

Тролль, претендующий на большее обременение интеллектом, так писать не будет. Но смысл, подстрочник будет один в один таков, как второй вариант. Просто выраженный в более изысканно-кусачем стиле. Ведь главная задача тролля всегда одна — сломать человека, поглумиться над ним. Выражаясь более жаргонным и общепринятым — обломить. И в этом плане язык вполне способен быть достаточно мощным орудием в троллевских лапках. Жертва тролля зачастую даже не будет толком соображать, почему у неё стало так учащённо биться сердце, повысилось давление и вконец ушло в осадок настроение, такое прекрасное ещё час назад. Всему виной — язык, который без преувеличения можно назвать бесовским.

Не менее важный, чем язык, инструмент тролля — его величество игнор. Тот тролль, что использует его вовремя — как правило, в качестве добивающего, контрольного выстрела,— способен

на довольно немалые пакости. Это тонкости человеческой психологии! Ведь бывает, что ничто нас так не задевает, так не выколачивает из себя и не лишает покоя, как это чёртово игнорирование. «…А… ну зачем я, дурак, пустился в эти пространные объяснения с ним!!! ((((((((((( Ну к чему… Он, сволочь, даже не удосужился ответить, и каким идиотом я сейчас выгляжу…» И т. д. и т. п. Жертва в данном истеричном метании может дойти до крайнего внутреннего истощения, что для тролля есть соль и пища. Свою задачу он выполнил. Он победил. Убил молчанием. Тролль, умело пользующийся данной уловкой, это всегда прекрасно осознаёт на уровне интуиции.

### II.

Извечный вопрос человечества: ну почему девочки так до одури, до какого-то болезненного обожания, переходящего местами в откровенный мазохизм, любят плохих мальчиков? Генетически вроде бы предрасположенности и близко быть не должно. Ни стабильности, ни нормального деторождения, ни хорошего и статного домостроительства с энтими мальчиками, понятно, толком не поимеешь. Вроде бы шарахаться до́лжно от них, как деревенская лошадь от пьяного байкера,—ан нет. Любят. Обожают. Боготворят. «С хорошими скушно?..» Глупость в квадрате, не выдерживающая малейшей серьёзной критики. Здесь корень в другом. Грех влечёт. Как может влечь не вполне адекватного человека громко заржать во время серьёзного мероприятия и «*сламать фсем им кайф к чертям сабачим*». Вообще, если быть ближе к теме, женщин, естественно, всегда и во все времена привлекала мужская сила. Подчёркиваю—грубая, тупая, мужланская. Которая, как правило, всегда с трудом помещалась в рамки дозволенного. Именно она издревле зажигала тот вожделенный огонёк в глазах самки. Будь то средневековый турнир, заурядная пьянка на даче или просто офис. И чем *она* меньше была ограничена интеллектом и духовным уровнем, тем более *её* влёк тот самый *плохой мальчик*. Ведь в нём всегда ощущалось нечто. Он—*может*. Другие—*нет*.

Троллинг даёт ощущение той самой псевдосилы. Которая не считает нужным мириться с чужими слабостями и предпочтениями. Не считает нужным считаться с кем-либо вообще. Считаться с кем бы то ни было, по мнению тролля,—конечно, удел слабых. Забить человека, подавить, раздавить его, как муху, почувствовав себя в очередной раз Бэтменом клавиатуры,—это ли не кайф? Поэтому троллинг для тролля—это прежде всего страсть и удовольствие, в котором он видит на данный момент в какой-то мере смысл своей жизни.

Единственный мало уловимый троллем момент. Главный его капкан. Идя на поводу у псевдосилы, имеющей тёмные бесноватые корни, тролль лишается силы главной, настоящей, истинной. Той, которую человек с добрыми намерениями незримо черпает из недр божественных. У тролля—другой источник. Путая его с необъятным морем, он будет черпать из этой грязной лужи вонючую жижу и обливать ей окружающее пространство до тех пор, пока лужа эта вконец не иссякнет. А такое рано или поздно обязательно случится. Ведь лужа, как её ни назови, останется всегда просто лужей. Малой ёмкостью мутной жидкости.

Не открою Америку, если скажу, что на самом деле тролль полон слабостей и плохо скрываемых комплексов. Что очень нетрудно доказать—как говорится, на раз-два. Во-первых, тролли—жутко горделивые люди. Что, в общем-то, вполне закономерно при их роде деятельности. А там, где гордыня, там, естественно, ютится её вечная бедная сестричка—маленькая и заскорузлая обидчивость. Да-да, тролли жутко обидчивы. Нет, естественно, при любом раскладе он будет делать вид, что всё ему по барабану и что пофигизм—всепобедное знамя его героического полка, но на самом деле это не так. В том случае, когда его заденут за живое. Не нужно быть Пифагором, чтобы вычислить, сколько таких ахиллесовых пяточек у любого тролля.

Никакой внутренне состоявшийся и адаптированный к действительности человек никогда не будет этим заниматься. Хотя бы по той простой причине, что его всё и так в этой жизни, в общем-то, устраивает. Ему не надо ни над кем самовозвышаться, кого-то истово унижать и оплёвывать только для того, чтобы опять почувствовать себя счастливым. Почему? Да потому что он просто состоялся как личность. Он полноценен. Тролля же всегда будет точить обратное.

### III.

Безнаказанность… Вот тот «бравый» конёк, на котором тролль всякий раз въезжает в свою землю обетованную, когда очередной поверженный «филистимлянин» нервно пьёт валерьянку. Именно она, эта верная подружка всех пакостей не только во Всемирной сети, но и на всей земле грешной, вышагивает бок о бок с гогочущей армией троллей. В которую далеко не все пришли от ветра головы своея. Потому что есть ещё и такой интересный подвид троллей—заказной.

Всё просто. Человеку (группе людей) платят монетку, и он (они) усердно выполняет свою работу. Будь то ресурс или просто блог неугодного. Без разницы. Деньги проплачены, дана команда «фас».

Это только на первый девственный взгляд всё достаточно безобидно. Тролль пишет не анонимки очередному папе Сталину, и атакуемого юзера не посадят и не расстреляют после очередного троллевского коммента. Подумаешь, мало ли что там собачка пропела. Караван идёт! Всё так. Но… Именно таким образом были уничтожены

многие из тех ресурсов и блогов, которые когда-то пренебрегли элементарной модерацией. С них просто уходили люди, и блоги, грубо говоря, из-за дальнейшей невозможности функционировать просто сгорали. Или превращались в обиталище троллей всех мастей, устремляющихся «на огонёк». Простой пример этому—страница в «Живом Журнале» Никиты Михалкова «nikitabesogon».

Но и бан далеко не всегда есть спасение и панацея от данного вида недочеловеков. Пример—случай с одним моим интернет-знакомым. Сначала троллинг, усердно насаждаемый на странице его блога, был усердно банен. Это имело кратковременный успех. Но не тут-то было. За спиной тролля явно ощущалось дыхание заказчика, и натасканная собака была настроена на долгую и методичную травлю. По возможности—до полного интернет-уничтожения и, конечно же, подавления личности. Воспользовавшись услугой «прокси», нанятый тролль продолжал методично изводить человека и забивать блог. Что такое услуга «прокси»? Тролль становится неуловим. Его айпишник невозможно определить. Это та собака, которая как бы лает сразу со всех сторон света. Обращения знакомого в службу поддержки ресурса, в другие органы, контролирующие порядок в Интернете, ни к чему не привели. Ни найти тролля, ни заблокировать его не было ни малейшей возможности. Адреса определялись буквально с размахом кругосветки—от Австралии до Румынии. Когда в конце концов мой знакомый сделал блог закрытым, с возможностью писать только своим постоянным читателям, напор с этой стороны ушёл в утиль, что и требовалось доказать. Но на этом история далеко не закончилась. Анкета с подробными личными данными знакомого была вывешена на гей-сайтах. Справедливо подозревая, что человек на этом не остановится, можно сказать однозначно: история, скорее всего, ещё только в своём развитии. А купленный тролль может представлять для любого человека в сети вполне реальную угрозу—как его нервам (далеко не у всех железным), так и вообще благосостоянию. Проплаченный тролль—не школьник, вышедший полить окружающих матом, аки плюнуть с балкона девятого этажа на головы беспечных прохожих. Он не пьяный гопник, желающий оторваться у монитора сегодня по полной, просто потому, что тот *лошков любит щемить*. Здесь всё может быть серьёзно и по-крупному. Самое интересное, что подобную заряженную на истребление торпеду мог заказать на тебя именно тот человек, который каждодневно мило и дружески улыбается тебе в стенах ваших редакции или офиса.

Но самый, вероятно, показательный пример, который у всех на виду,—это троллинг против Русской Православной Церкви и правительства Российской Федерации. Вот где можно чётко наблюдать запуск всевозможных разрушительных механизмов, направленных на разрушение государственности. От каждодневного нагнетания настроений и истерии—до откровенных провокаций. Там запущен колоссальный маховик, в котором, конечно же, крутят шестерёнки далеко не одни «платники». «Из любви к искусству» к данному цунами присоединилась—и растёт с каждым днём—громадная армия бесплатных добровольцев из числа людей, хорошо поддающихся зомбированию в определённых эмоциональных сферах. Кто же у нас и в какие времена не любил искать того самого пресловутого крайнего, козла отпущения??? Ведь виноват кто угодно, но не я. И пусть сегодня это будет сосед, завтра—церковь, послезавтра—Кремль. Тем более что действительно в сферах как церковной, так и правительственной у нас далеко не всё слава богу. А ругать и нагнетать страсти мы зело любим. Хлебом не корми.

«Я живу в самом бандитском городе!»

«А у нас зато самый бандитский дом!»

«А наш город, по преданию, вообще скоро провалится под землю!»

«А у нас уже частично провалился, а люди так и вообще косяками исчезают».

И т. д. и т. п.

Казалось бы, я немного отошёл от темы, но нет. Это те самые яблоки, что лежат под той самой яблоней, корни которой и уходят в махровый троллинг. При данной вековечной любви российского человека поиграть на собственных бедах и страшилках, найти и оплевать крайнего—троллинг по уничтожению государственности, так лихо подхваченный массами, есть очень и очень лакомый и востребованный кусок. Вот отчего движение это в наше время приобрело такой поистине титанический размах. Такое массовое, искусное и многогранное издевательство над институтами, состоящими на службе у собственного государства, какое можно наблюдать в последние несколько лет, говорит только об одном. Мы очень и очень больны. А о том, что это издевательство, а не вековечный полумифический поиск русским человеком правды, истины и справедливости, догадаться несложно по содержимому критики. Тысячи карикатур, сотни демотиваторов, мегатонны мата, оскорблений и банальной человеческой истерии… Троллинг—он и в Жмеринке троллинг. И к поиску справедливости всегда имел такое же отношение, как Паниковский к честному виду заработка.

## IV.

В самом начале я написал, что тролль практически всегда анонимен. Безличен. Аморфен и беспол. В общем и целом это так. Но времена меняют как лица людей, так и целостный портрет общества.

Времена меняют нравы, и перемены эти можно уподобить снежной лавине, которая неизменно катится вниз.

В чём наше время начинает кардинально разниться с ещё ближайшими мини-эпохами?

Возьмём ближайшие несколько десятилетий. И увидим, что всякая эпоха сменяла другую неизменно с нравственным уклоном вниз. Незримая лавина брала своё. Не будет оригинальным назвать это явление просто и ясно — маргинализацией общества. И самое главное отличие этого необратимого процесса в том, что многое из того, что ещё вчера считалось сугубо крамольным, уделом низов и асоциальных элементов, ныне становится всеобщей нормой. Дух, язык, манера общения.

Немного о маргинальном мире. В тюремной среде словесное крючкотворство буквально возведено в ранг культа. Известно, что наиболее сильный противник, как правило, разрешит конфликт в свою пользу (либо предотвратит его) ещё на уровне разговора. Крючкотворство же словесное в мире зон и тюрем может доходить до высокого в своём роде мастерства. Маленькая байка — пример:

«Сидят зэки в камере, кушают. Тут из норки выбегает крыса и хватает корку хлеба. Один зэк тут же убивает её. Остальные спрашивают:

— Ты за что крысу убил? Она хлеб украла, значит — вор, и мы тоже воры, значит, ты нашего брата убил! Не придумаешь до утра веской причины — мы тебя убьём!

Наутро у него интересуются:

— Ну что скажешь?

А он отвечает:

— А что она так быстро убежала? В падлу было с братвой посидеть?»

Никого и ничего не напомнило? То ж схемка-притча, слепок в миниатюре с современного интернет-общения, его нравов и ситуаций.

Пусть зэк из данной байки будет обычным среднестатистическим юзером. Остальные обитатели камеры — соответственно, другими пользователями. Он что-то не так сделал, исходя из общепринятого регламента и хода вещей. Ну, допустим, написал жареный материал с непроверенными, ложными данными. Т. е. «убил крысу». Это моментально задевает окружающих пользователей. До того материала им совершенно нет дела, у каждого своя жизнь в реале. В которой всем и всё абсолютно всё равно, кто там и что понаписал на своей страничке. Но сам негласный принцип совместного интернет-существования не позволяет вот так просто спустить эту оплошность простофиле. Значит его надо… «убить». Т. е., как минимум, деморализовать, устранить как личность. Забросать «жосткими» комментами, задавить авторитетом, «убить» откровенным цинизмом и грубостью и т. д. Ведь он поступил «не по понятиям»… Тот же, в свою очередь, истово и торопливо старается «правдой-неправдой» выковырять, как шпакрил из плинтуса, «веские» доводы собственной «правоты». Если же за юзера вступится его группа поддержки (назовём их здесь — «часть сочувствующих сокамерников-корешей»), то начнётся, как правило, неизменная буза под названием «кто кого перетроллит». А там… У кого дерьмо пахучей и чьи баны могучей.

Ещё пример. Общение зэков. Простое, бытовое и повседневное. Без убиенных крыс и разборок по этому поводу. Принцип существования зэка: не верь, не бойся, не проси. Антипод христианских истин. В общении же заключённых, как правило, такие вещи, как всецелая искренность, доброта или простодушие, могут быть такими же редкими птицами, как дружеская улыбка прокурора. К чему я это? А всё достаточно просто и копирует с точностью принтера одно другое. В интернет-общении, как правило, ни к чему не обязывающем, крайне редко можно найти искреннее, написанное от простой души слово. Либо это будет панибратский междусобойчик, либо игра в чувства и чувственность, либо полуистеричные излияния одинокой женщины, либо… Да мало ли в Интернете всего этого «добра»?.. «Стоим на том») )… Список можно продолжать и продолжать до бесконечности. Одного будет меньше всего в данном списке — искренних, по-настоящему прочувствованных, исходящих их глубины сердца простых слов. А общение, по сути, будет в большинстве случаев напоминать «чисто-конкретно» зэковское: «прикололись — разбежались». Да и весь характер общения будет сводиться (опять же, как правило) к поражающему фантазию словесному жонглёрству-крючкотворству на чувствах и эмоциях. Нет, не так?

Жизнь «по понятиям». Не по стезям человеческого сочувствия, доброты и желания взаимопонимания. По понятиям. Где мат давно уже стал нормой «дружеского» общения, а циничная насмешка над всем и вся — общим воздухом существования. Заговор против «вечно святого» русского народа? Ну да… Да, да, конечно, да. Лови шпиёна, бей жида, спасай вечно стонущую под иноземным игом Рассею. Или под игом собственной дури?..

Маргинальное становится нормой. Уже практически стало. Когда подростки откровенничают, не стесняясь, на своих страницах о личных гомосексуальных мечтах и планах, а родители милостиво соглашаются с ними по умолчанию. Боятся прослыть гомофобами в глазах отвернувшихся от них детишек? Думается, там гораздо всё как проще… Есть такое слово: «на-пле-вать». И если даже не будет и намёка на гомосексуальность на странице молодого человека (девушки), то страничка, как правило, вся будет стёбана-перестёбана разнообразными демотиваторами, похабными

анекдотами и фразками развращающего содержания. Почему так? Всё просто. Иначе он (она) не впишется в среду, и она (среда) его элементарно «убьёт» и выкинет вон, как ту бедную серую камерную крысу. Он будет не интересен ни-ко-му.

Мы не успели пережить нулевые, не успели обернуться, как троллинг, его суть, его запах и смысл стали откровением, способом дышать и изъясняться абсолютного большинства. И родители в этой картине далеко не всегда сидят на лучшем и белом коне. Описывать эту «празднишную» картинку далее нет ни смысла, ни желания. Где рейтинговость страницы будет прямо пропорциональна дикости содержимого, равно как и количество вожделенных лайков. Всё и для всех—на виду.

Я не судья. И в данном лёгком дилетантском очерке о троллинге я всего лишь пытался обрисовать происходящее вокруг, выставляя личные оценки по необходимому минимуму. По ходу письма стараясь объяснить что-то, прежде всего—самому себе. И вроде бы у меня это хоть коряво, но получилось.

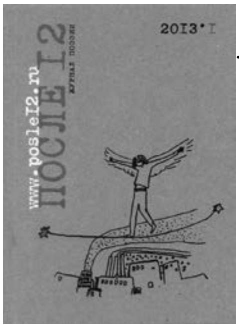
*P. S.* Пожалуй, только одно здесь не перестаёт по-настоящему радовать и обнадёживать меня, в этом босховском коллективном портрете, который невольно возник, особенно в последней части материала. Та самая точка возврата, свойственная душе человека, когда она теряет почву под ногами и начинает балансировать над пропастью между жизнью и смертью. Возврата к самой себе. Я почти всякий раз вижу в этом случае, как тяжёлые потрясения рождают в людях... людей. Т. е. начинают пробуждать через великие потрясения Образ и Подобие Божие в нас, простых смертных.

Нет, в блогерскую коллективную и искреннюю доброту я верю не больше, чем в Деда Мороза. Данный дедушка может тебя наградить подарками из мешка, если ты участник очередной драмы, засвеченной по ТиВи. Иначе ты просто обречён наблюдать, как этот брадатый «добряк» с мешком в руках в очередной раз направляется мимо твоего подъезда прямиком к красивой видеокамере. Я верю в другое—и в других. Когда трагедия меняет самого человека. Когда человек через свои страшные потрясения становится наконец-то человеком. А не ходячей плазмой и не «своей в доску» тусовкой. Трагедия рождает личность, доселе глубоко спавшую в этом сладко-текущем кошмарном сне под названием «современная реальность». И в Интернете этот процесс виден более панорамно. Так, наверное, как почти что нигде.

А значит, Бог есть. И Он всё ещё с нами. Имеющий глаза—да увидит.

Так «во что вас бить ещё, продолжающие своё упорство?» (Ветхий Завет, Ис. 1:5).

ДиН ревю




# После 12

Журнал для тех, кто не спит
Кемерово, №1, 2013

## Андрей Нитченко

• • •

Ангел, снилось, за мной пришёл и сказал: пора.
—Ну, пора так пора,—говорю,—тебе видней.
Он крылом меня обнял, укрыло тепло пера
запах чабреца, дух яблока, гул морей

в голове поплыл, и покой набежал—летим—
несказанно легко, но проснуться хотелось мне,
потому что весь путь я слышал, как на земле
кто-то плакал и спорил с ним.

## Александр Ибрагимов

• • •

Когда в бору потушен свет
Небесный и земной,
Вдруг вспыхнет ветка на просвет
Из зелени иной...

И я как вкопанный стою—
Лишь зелени клочок.
Так ищет истину свою
Мой ядерный зрачок...

Александр Лейфер

# Спасение от дурных законов

## Две музейных истории

Никак не могу забыть этот медицинский поильник, который увидел лет десять с лишним назад, когда впервые попал в переделкинский дом-музей Бориса Пастернака… Недавно наткнулся в Интернете на снимок кушетки в нижней проходной комнате, где писатель лежал в последние свои дни, когда уже не было сил подниматься на второй этаж в кабинет—лестница туда довольно крутая. На снимке этом возле кушетки—столик, а на столике, рядом с лампой,—этот самый поильник.

В музее, как и полагается, много редких фотографий, книг, подлинных вещей. Например, в столовой висит на стене фото, сделанное 24 октября 1958 года—через несколько часов после того, как пришло сообщение о присуждении премии: тогда за столом экспромтом собралась небольшая компания. Новоиспечённый нобелиат держит в руках телеграмму, а перед ним, рядом с прибором, стоит на столе бокал. Обычный небольшой бокал тёмного стекла для вина или шампанского.

— Видите этот бокал?—спросила меня смотрительница музея.—А теперь взгляните сюда…

И показала рукой на находящийся в этой же комнате буфет. В нём преспокойно стоял среди другой посуды тот самый—со снимка—бокал.

— Вот, сохранили…

Подлинность завораживает.

…А тогда я заявился в музей рано, было ещё по-зимнему темновато. Пожилая смотрительница сказала, что научные сотрудники будут только к обеду, но зажгла для меня свет и вызвалась провести по комнатам.

На улице в то утро довольно сильно мело, и вообще было холодно и неуютно. И поэтому, когда я шёл сюда, обратил внимание на одинокую мужскую фигуру, которую увидел, когда свернул к музею с улицы Погодина на улицу Павленко. Мужчина стоял возле калитки угловой дачи, кутался во что-то вроде тулупа и, как видно, просто вышел подышать свежим воздухом. Я прошёл по свеженанесённому на дорогу снегу мимо него, прошёл молча, глядя под ноги (а ведь не отсох бы язык и поздороваться—просто так, как здороваются с незнакомым человеком в деревнях). Пару раз оглядывался—мужчина смотрел мне вслед; можно было предположить, что он хотел убедиться: в музей я сверну или пройду дальше. Уже потом, уже вернувшись из музея в свою комнату в Доме творчества, я понял, кто это был. Это выходил поглядеть на погоду Андрей Андреевич Вознесенский. Их дачи рядом.

Но дошло это до меня, повторяю, позже. А пока я ходил вслед за смотрительницей по дому Поэта, вполуха слушал её бесхитростные пояснения и останавливался то возле большого письменного стола, то возле висящих на гвозде кепке и грубом сером плаще, в которых он вскапывал грядки в саду, надевая стоящие рядом грубые сапоги, то возле книжного шкафа, пытаясь сквозь стекло прочитать названия книг на их корешках…

— Вот здесь он умер,—тихо сказала женщина, когда мы подошли к кушетке возле лестницы.

Тут я и увидел поильник—небольшой, похожий на заварочный чайник сосуд с носиком не впереди, а сбоку, и наличие этого нехитрого предмета ухода за больным человеком подействовало на меня особенно сильно. Секрет прост: именно из такого поильника много лет назад, в 1975 году, мы с отцом давали попить нашей маме, когда она уже не могла вставать с постели…

А потом мы поднялись на второй этаж, и смотрительница подвела меня к большому окну его кабинета, из него тогда ещё открывался прекрасный вид на заснеженное поле, а за полем золотились в первых утренних солнечных лучах купола кладбищенского храма, в котором Бориса Леонидовича и отпевали 2 июня 1960 года и недалеко от которого он навеки упокоился.

— Говорят, он часто смотрел из этого окна,—сказала смотрительница.—Помните: «Жизнь прожить—не поле перейти»?

Сейчас этого замечательного вида больше нет: на поле возводят дачный массив «Стольное», частные коттеджи—один уродливей другого.

…Мемуары сохранили нам подробности. В тот июньский день его пронесли к храму на руках—но не прямиком через поле (что было бы гораздо ближе), а в обход, по кромке,—чтоб ни в коем случае не повредить, не вытоптать множеством ног уже вовсю заколосившиеся посевы. Этого не простил бы покойный—сам прилежный садовод и огородник, человек, любящий и уважающий землю

и всё, что на ней произрастает. Так и двигалась медленная похоронная процессия. Вначале шли от дачи направо, вдоль улицы Павленко. Потом повернули налево и пошли вдоль ведущей к железнодорожной платформе «Переделкино» и к кладбищу дороге, то есть вдоль улицы Погодина.

А про историю дачного массива «Стольное» ходят всякие чёрные слухи. Будто бы руководитель хозяйства, к которому лет пятнадцать-двадцать назад пришли какие-то деловые люди с предложением это поле им продать, сделать это отказался. Через некоторое время с ним якобы случилось какое-то несчастье. Какое—врать не буду, чтоб не плодить предположений. Но оно, это несчастье, было достаточно серьёзным, так как место данного руководителя занял вскоре другой человек. И якобы через некоторое время с аналогичным деловым предложением, касающимся продажи поля, пришли и к нему. Он тоже не дал согласия, после чего последовала какая-то печальная история и с ним. В результате хозяйство опять сменило хозяина, к которому опять обратились возлюбившие пастернаковское поле потенциальные покупатели. Этот, третий, руководитель предпочёл сделку совершить. В результате напротив дачи Пастернака один за другим, как дурные грибы, стали появляться десятки вышеупомянутых коттеджей.

Так оно было на самом деле или как-то по-другому, точно не знаю. Но если даже молва кое-что сгустила и преувеличила, само существование подобных слухов, сам этот мрачный фольклор—явление весьма и весьма знаменательное.

...Пожалуй, стоит здесь рассказать и о том, как я впервые попал на могилу иркутского поэта Анатолия Кобенкова, с которым много лет дружил и который скоропостижно скончался в Москве осенью 2006 года.

В январе 2007-го я прилетал по делам в Москву. Дел этих, как и во всякий приезд в столицу, было много, но одно из них—особое: хотел побывать на могиле Анатолия. Незадолго до этого в «Новой газете» написали об этой могиле так:

«В «Автоэпитафии» Толя всё предсказал—он похоронен на Переделкинском кладбище у колодца «к виску наискосок», родника и дороги».

Вот эти строки из стихотворения «Автоэпитафия»:

> Ничего не остаётся—
> только камни да песок
> да соседство с тем колодцем,
> что к виску наискосок».

Остановился я, как всегда, в переделкинском Доме творчества и в один из первых дней пришёл в дом Пастернака—просто в очередной раз «отметиться». И случайно услышал, как в ответ на вопрос одного из посетителей девушка-экскурсовод назвала своё имя: Татьяна Нешумова.

— А вы знаете,—улучив момент, сказал я ей,—у нас в Сибири есть такой поэт—Владимир Нешумов.

Оказалось, что это её родной дядя!

О том, что мы с В. Нешумовым оба состоим в редколлегии красноярского журнала «День и ночь», я говорить не стал—ещё подумает, что хвастаюсь, а вот о том, что в Сибири до сих пор помнят и любят покойную супругу Нешумова—поэтессу Лиру Абдуллину, сказал. Оказалось, Татьяна знала и её, больше того—сама пишет стихи, выпустила два сборника.

Договорились встретиться и поговорить уже не на ходу.

На следующий день я пришёл в пастернаковский музей в удобное для Татьяны время; она усадила меня в соседней с экспозицией комнате за огромный старинный стол и начала поить чаем. Оказалось, что не в таком уж далёком прошлом за этим столом пила чай семья Пастернаков!..

Я полистал подаренные мне Татьяной её сборнички—«Нептица» (М., 1997) и «Простейшее» (М., 2004), а потом решился заговорить о печальном—спросил, не знает ли она, в каком именно месте переделкинского кладбища похоронен недавно поэт Анатолий Кобенков.

— Сама я точно не знаю,—сказала Татьяна,—где-то недалеко от моста через Сетунь. Сейчас позвоним моему приятелю, он хоронил Кобенкова. Знаете такого поэта—Веденяпина?

...И вот я сижу за столом Пастернака, держу возле уха Танин мобильник, и поэт Дмитрий Веденяпин, стихи которого я, конечно же, не раз читал в московских журналах, объясняет мне, как именно пройти к Толиной могиле...

Ну, какова ситуация?..

Веденяпин навёл меня абсолютно точно: светлый лакированный крест, ещё не успевшие пожухнуть венки возле него были видны уже с дороги. Вот и забранный в трубу-колодец родник. И та же, что и на траурной полосе «Новой газеты», фотография—Толя в вельветовом пиджаке; только скадрировано по-другому—справа срезаны книжные полки, на фоне которых он снялся. Журчит внизу незамёрзшая речушка Сетунь, шумят над головой деревья. Рядом—тоже недавняя могила умершего непонятной, по-нехорошему загадочной смертью известного журналиста и политика Юрия Щекочихина.

Хотел прямо с кладбища позвонить в Омск другому кобенковскому приятелю—писателю Николаю Березовскому (они вместе учились в Литинституте), но треклятая техника не сработала. Да и хорошо: это, пожалуй, был бы уже перебор.

В следующий раз мы пришли сюда с земляком—давно уже живущим в Москве моим другом Михаилом Сильвановичем, приехавшим в Переделкино ко мне в гости и прихватившим по моей просьбе фотоаппарат. Когда-то, в далёких семидесятых, он,

редактор омской газеты «Молодой сибиряк», печатал в ней Толины стихи. И вот теперь, тридцать два года спустя, он, привычно меняя выдержки, фотографировал могилу своего давнего автора…

…Вот такие две совершенно личные истории связаны у меня с этим знаменитым местом — музеем Бориса Пастернака в Переделкино.

## Спасение от дурных законов

Осенью 2012 года отмечалось столетие со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва (1912–1992) — известного востоковеда, доктора исторических и географических наук, основоположника пассионарной теории этногенеза, автора многих всемирно знаменитых книг. Сына поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Участника штурма Берлина.

К этому событию был приурочен выход самой полной его биографии, которая дошла и до наших палестин — выставлена на постоянной экспозиции новых поступлений областной научной Пушкинской библиотеки. Это почти восьмисотстраничный том Сергея Белякова «*Гумилёв сын Гумилёва*» (М., «Астрель», 2012, 3000 экз.).

Несколько десятков страниц этого исследования посвящено пребыванию Л. Гумилёва в нашем городе. Судьбе было угодно, чтобы именно на омской земле завершилась его арестантская эпопея. Вообще же он пережил четыре ареста и два лагерных срока (Норильск и Камышлаг).

В июне 1953 года вместе с другими заключёнными Камышлага, где Гумилёв отбывал свой второй срок, он был переброшен из Кемеровской области в Омск на строительство нефтекомбината. «Некоторое время, — пишет С. Беляков, — инвалида Гумилёва не обременяли тяжёлой работой, после смерти Сталина и ареста Берии лагерный режим начал постепенно меняться». Например, можно было получать посылки, отовариваться в продуктовом ларьке, активнее переписываться с матерью и друзьями. Правда, в Омске, где было холоднее, чем на прежнем месте, обострились старые болезни — в частности, сердечно-сосудистая недостаточность, язва двенадцатиперстной кишки. Но, с другой стороны, здесь кандидат исторических наук смог возобновить свою работу над историей Срединной Азии, начатую в 1949 году.

«В России всегда было спасение от дурных законов — дурное их исполнение». Это приписываемое Николаю Карамзину выражение как нельзя лучше подходит для образной характеристики трёх лет пребывания Гумилёва в наших краях. Когда-то здесь же, в Омске, нашлись люди, которые всячески стремились облегчить судьбу каторжника Достоевского; сегодня мы называем их имена с благодарностью и уважением: медик Троицкий, педагог Ждан-Пушкин, священник Сулоцкий, офицер де Граве… Они сделали немало для того, чтобы «дурные» законы николаевского времени поменьше бы терзали каторжника Достоевского. Изучены, насколько это возможно, их биографии, узнаны многие подробности их взаимоотношений с будущим автором великих романов. Думается, настала пора узнать имена и тех людей, которые век спустя помогали выжить узнику нового, советского «Мёртвого дома» — Льву Гумилёву. Это ли не тема для исследования нынешним краеведам?

25 марта 1954 года был готов черновой вариант рукописи «История хунну». По этому поводу Гумилёв написал «Завещание для оперуполномоченного или следователя», в котором просил в случае его смерти передать данное сочинение в Институт востоковедения:

«Лучшим редактором книги в настоящее время может быть А. П. Окладников. В случае, если книга напечатана не будет, разрешаю студентам и аспирантам пользоваться материалом без упоминания моего авторства… Готические соборы строились безымянными мастерами; и я согласен быть безымянным мастером науки».

Наступил 1956 год — год двадцатого съезда КПСС, в последний день работы которого Н. С. Хрущёв прочитал свой знаменитый доклад о культе личности Сталина, изменивший жизнь всей страны.

Вскоре после этого Лев Гумилёв, как и многие тысячи других, был реабилитирован по причине отсутствия состава преступления. Покинул он Омск 14 мая 1956 года. В нехитром багаже пробиравшегося на запад сорокачетырёхлетнего историка были две рукописи — черновики двух будущих книг. По одной из них будет потом защищена докторская диссертация.

Впереди была долгая, насыщенная научным творчеством вторая половина жизни.

Его книги посвящены Древнему миру и средним векам. Но они в чём-то объясняют дела сегодняшние, а в чём-то, возможно, даже помогают прогнозировать завтрашний день России и Европы, Китая и мусульманских стран. «Я только узнал, — говорил он, — что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы».

«Гумилёв, — утверждает С. Беляков, — успел многое обдумать именно в лагере, а в лагерных спорах отточил своё красноречие».

*P. S.* За книгу «*Гумилёв сын Гумилёва*» её автор — екатеринбуржец Сергей Беляков — удостоен Всероссийской литературой премии имени А. Дельвига.

## Я люблю стариков…

Он был ещё далеко за углом, а в нашу окраинную улицу уже залетал, заворачивал его пронзительный, с подвизгом, голос:
— Стекли-и-им рамы, пересте-е-екливаем! Стекли-и-им рамы, пересте-е-екливаем!..

А уж когда он выводил из-за угла свой велосипед, крик и вовсе заполнял всю улицу, переливался и множился в тонком осеннем воздухе.

Мы же, мальчишки, со всех ног бежали к нему и тоже кричали:

— Курица рябая, вороной петух! Курица рябая, вороной петух!

Странное своё прозвище стекольщик получил из-за частого употребления уникального, выражаясь научно, эвфемизма. Будучи чем-либо сильно раздражён, удивлён и так далее, он выражал свои чувства одним и тем же странным выражением:

— Эх ты, курица рябая, вороной петух!

Прозвище прилипло к стекольщику, видимо, ещё до моего появления на свет. Так звали его мальчишки и взрослые, и я сомневаюсь, что кто-нибудь знал настоящее имя этого весёлого и лёгкого человека.

Был он, как я теперь понимаю, почти всегда вполпьяна, но хрупкую свою работу делал хорошо и споро, иначе не зазывали бы его наши матери и бабки, не наказывали бы нам:

— Ты смотри, нынче Курицу Рябую не прозевай.

Нас Курица Рябая жаловал: угощал семечками и давал вести от дома к дому велосипед.

О велосипеде нужно сказать отдельно. Это была прочнейшая, судя по всему—трофейная, немецкая машина с широченным рулём, толстыми спицами и тяжёлой рамой. Курица Рябая не ездил на нём сам, а возил своё стекло. Здоровенный ящик со стеклом был приторочен справа по ходу велосипеда, опорой ему служила правая педаль. Левая же была снята—и за ненадобностью, и потому что мешала: Курица Рябая всегда вёл велосипед с левой стороны, шагая рядом и крепко держа его за рога руля. Кстати, седло тоже было снято.

Вот так и ходил он каждую осень по дворам нашей окраины, готовя её к надвигающимся с севера лютым зимним холодам.

Куда потом исчез—уехал, умер ли, дожил ли свой век на пенсионных харчах?.. Кто же теперь скажет.

Нынче я сам ремонтировал квартиру. И вот, когда белил потолок и дотронулся кистью до электропроводки… Нет, меня не ударило током. Я вдруг вспомнил то, что никогда не вспоминал до сих пор,—вспомнил так чётко, будто было это не шестьдесят с лишним лет назад, а совсем недавно.

…Мне седьмой год, кончается моё последнее «вольное» лето. Маме дали путёвку на курорт; бабушка, пока мы одни, ремонтирует дом. Ремонтирует, конечно, сама—лишних денег в семье не было. В большой комнате, где спим мы с мамой, уже ободраны старые обои. Под ними открылась для меня, уже довольно-таки грамотного, бездна интересного—старые жёлтые газеты: ещё с «ятями», с рекламой французского средства от пота, паровых молотилок и швейцарских часов. Я вслух читаю в полупустой гулкой комнате всю эту белиберду, а бабушка тем временем белит стены в своей, проходной. И вдруг она громко, но не столько испуганно, сколько удивлённо кричит:

— Ох, язвило бы тебя!

Я подбегаю и вижу её изумлённое лицо. Она с опаской глядит на стену, медленно подносит к ней мочальную кисть, медленно ведёт ею вдоль тянущегося к розетке электропровода и опять кричит:

— Ой, да подь ты к Богу!

Пробило намокшую старую проводку, и бабушку бьёт током. Я, конечно, не понимаю этого, мне просто страшно и интересно одновременно. А вот бабушка, несмотря на то, что образование её завершилось в третьем классе церковно-приходской школы, оказывается, обладает стихийным знанием законов электротехники. Она обматывает ручку кисти сухой тряпкой и продолжает работать. Когда тряпка промокает, опять громко поминается либо сибирская язва, либо имя Божие всуе. Мне уже просто весело, я нетерпеливо жду очередного проявления непонятной силы, заставляющей бабушку смешно кричать. Так, под крики и мой хохот, стенка добеливается…

…Мгновенно вспомнил я всё это—всё до мельчайших деталей. И неровную, потемневшую от свежей извести стену, и старомодную фаянсовую розетку, и голос бабушки—округлый, с никуда так и не девшейся после долгих лет жизни в Сибири вятской протяжечкой. И саму её—разгорячённую работой, всю устремлённую к тому, чтобы закончить, доделать.

Бабушка лежит, занесённая снегом, под жестяным своим крестиком. Домишко наш разломали и поставили на его месте новый—со скрытой, должно быть, проводкой. Остались лишь я да моя память.

Почему я так люблю стариков? Почему мне нравится часами слушать их разговоры, наблюдать за ними, задавать им нехитрые вопросы?

Вот напротив меня спит на казённой леспромхозовской кровати дед-пенсионер. Он спит тихо, без храпов и вздохов. Спит как-то по-особенному трогательно, положив одна на другую крупные тёмные руки.

Старику под восемьдесят. Из украинских переселенцев—до сих пор речь его певуча и мягка. В леспромхозе давно.

Когда я спросил, кем он работал, дед помолчал немного, прежде чем ответить:

— Та на разном, сынок, на разном. Что скажуть, то и робил. А под конец—в гараже сторожил.

Да, хоть и разными были эти работы, но, видно, одинаково нелёгкими,—думаю я, глядя сейчас на его руки.

Старик одинок. Почему так получилось — расспрашивать неудобно. Пара чемоданов под кроватью, немного посуды, будильник, посаженная в огороде картошка, глупый пёс, который ни на кого не лает, — вот всё движимое и недвижимое.

Этот домик принадлежит леспромхозу. Он — миниатюрная гостиница. Мест всего два, одно постоянно занимает старик.

Я ночую под одной крышей с ним вторую ночь, завтра будет третья. И последняя.

Чем жил этот человек? Кого любил и ненавидел? О чём думал и думает? Что могу я узнать о нём за три дня?

Старик несколько раз принимался рассказывать о каком-то парне-литовце, который работал зиму и весну вальщиком и спал на моей теперешней койке. Сейчас парень этот уехал поближе к городу. Старик всё ругал его за расточительность и безалаберность: большие рубли, как видно, пропивались парнем тотчас же после получения. Я никак не мог понять, для чего это нужно знать, пока не расспросил о бывшем соседе старика у других. Оказалось, что дед очень привязался к этому парню, относился к нему чуть ли не как к сыну, очень переживал, что деньги, заработанные таким тяжёлым трудом, уходят в песок.

Скучает дед, сказали мне, скучает. Написал литовец: мол, может быть, осенью приеду, — так он чуть ли не каждую машину с пристани ходит встречать.

Завидую я ему, завидую.

Случайно попал я к незнакомым людям на семейный праздник — двадцатипятилетие внука хозяев дома. Внук приехал к ним из города на отпускное время. Дело было в старинном сибирском селе Евгащино под Омском.

Сели за стол. А на столе этом чего только нет! И вот собрались уже поздравлять именинника, а хозяйка, маленькая сгорбленная старушка, встала и ушла куда-то. Оказывается, в погреб, за груздями. В погребе у неё своя, особенная система расстановки, и туда она никого не пускает.

Ждут гости — в основном её взрослые дети, зятья и невестки — ждут и рассуждают, что стара стала мама, память слабеет, вот те же грузди давно можно было бы на стол поставить.

Как раз на последних словах хозяйка вернулась.

— Правильно, — говорит, — можно было и раньше поставить. Можно, да не нужно. Запомните, девки: за груздём тогда полезайте, когда гость уже за столом.

И ставит чашку на стол: грузди беленькие — один к одному. Я таких и не видел, хотя и переел их за жизнь свою немало. Оказывается, темнеют грузди, если их заранее из погреба принести, уже через полчаса темнеют. Нетоварный, так сказать, вид приобретают.

И узнал я на том дне рождения, что к хозяйке за её кулинарными тайнами аж из города приезжают. Да, как видно, не все эти тайны ещё увезли.

Чокались мы за тем столом — и раз, и другой, и третий, и... Только напрасно старались. Не взяло.

Помню, в большом приволжском селе, куда нас, первокурсников, направили на уборочную, мне и моему напарнику отравлял жизнь один дед. Нас поставили работать возчиками. В первый раз конюх, сказав: «Запоминайте», — запряг лошадей сам. Запрячь лошадь в телегу — целая наука, и что могли запомнить после одного урока мы, с молодых ногтей топтавшие асфальт?

Когда на следующее утро мы пришли на конюшню, там уже сидел этот дед. Хомуты не желали налезать на лошадиные головы, оглобли перекашивались, у нас не было сноровки затянуть супонь, лицевую часть дуги мы путали с задней. Смирные, в общем-то, лошади пятились, храпели, выплёвывали удила, пытались лягнуть. А всё это сопровождалось издевательскими комментариями деда.

На другой день мы специально явились чуть свет, отказавшись от завтрака. Но не тут-то было: дед уже находился на посту.

— Куды ж ты чересседельник-то суёшь, недоумок?! — кричал дед. — Не знаешь, так не мучай животную! Понасылали работничков, мать вашу так! И чему вас там только учат, в ваших ниверситетах?!

Ненавидели мы, конечно, этого старика люто. А за что? Ведь уже на четвёртый раз я и мой товарищ вполне сносно справились с упряжью. И на пятое утро дед не пришёл. Так больше я его и не видел.

Елена Тимченко

# Червячок и другие

Сказка для маленьких

## 1. Ножки

Жили-были в лесу три неразлучных друга: Сороконожка, Улитка и маленький земляной Червячок.

Сороконожка всегда занималась двумя делами сразу: что-нибудь жевала и постоянно озабоченно пересчитывала свои ножки. Хорошо получалось у неё только до двадцати двух, а дальше она начинала сбиваться и всё начинала снова.

Улитка была самой красивой среди них и знала об этом. Она моментально краснела рожками, стоило ей подумать о своей красоте.

Червячок был простым парнем, невзрачным, но прекрасным душою. К тому же он был тайно влюблён в Улитку.

Они замечательно проводили время вместе. Червячок был самым шустрым затейником в компании. Однажды он предложил приятельницам покататься с горки. Недолго думая, он свернул своё гибкое тельце колечком—и покатился! Улитка элегантно втянула рожки, раскачала свой домик и тоже понеслась с горы. Сороконожка попыталась было последовать за товарищами, но толстая зеленоватая тушка не слушалась её, не желая скручиваться колечком, а ножки беспомощно болтались в воздухе. Она кряхтела, пыхтела, приговаривала: «Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты»,—но ни ножки, ни тельце не желали гнуться. Помучившись, она решила подкрепиться листочком и пересчитать свои ножки—проверить заодно, всё ли с ними в порядке.

Улитка и Червячок стали над ней подсмеиваться.

— Сороконожка, неужели ты думаешь, что если бы с какой-то из твоих ножек что-то случилось, ты бы это не почувствовала?—насмехались приятели.

— Не мешайте, из-за вас я не досчиталась одной конечности,—озабоченно бормотала Сороконожка.—Почему тридцать девять? Ну вот, опять надо снова начинать…

— Так ты не посчитала ту, которой держишь листочек!—догадался Червячок.

Они с Улиткой переглянулись и захихикали.

Сороконожка строго посмотрела на них и пробурчала:

— Ног нет—и забот нет. Слизняки несчастные.

А ведь действительно—ни у червяка, ни у улитки ног-то нет!

Вы никогда не задумывались, как несправедливо распределяются ножки: у кого две ноги, у кого—четыре, у кого—сорок, а у кого—ноль, то есть нисколько?

## 2. Счастливчик

Червячковая жизнь, как, впрочем, и улиточная, и сороконожья, весьма короткая, но бывают случаи, которые предвидеть нельзя и которые могут укоротить и без того недолгую жизнь ещё больше. Такие случаи называются судьбой. «Не судьба»,—говорят в случае, если всё закончится плохо. «Счастливчик! Баловень судьбы!»—восклицают, когда всё обойдётся, когда, значит, повезёт.

Однажды был дождливый-предождливый день, такой мокрый, что ему даже Улитка не радовалась, не говоря уж о Сороконожке, которая вечно тряслась над своими ножками, опасаясь их промочить. Хорошо было только Червячку—ведь он был дождевым червяком. Вот он и выпендривался перед подружками, которые благоразумно посиживали под листочком. То завяжется, то развяжется, то штопором закрутится, то разляжется. И всё это, заметьте, в грязи. Ну нравятся ему грязь, лужи, дождь—что поделаешь!

Вдруг в самый разгар веселья, откуда ни возьмись, появилась птица, да на беду так низко летела по-над землёй, что не заметить кувыркающегося червяка просто не могла и, схватив его клювом поперёк тельца, понесла.

Сороконожка и Улитка обомлели от ужаса. Бедный Червячок!

И тут—о, счастливчик!

Червячок был такой грязный, мокрый и скользкий и так извивался, что каким-то образом выскользнул из клюва птички, а она даже не заметила и полетела себе дальше.

Улитка и Сороконожка «подбежали» к Червячку. Он лежал бездыханный в грязной луже… и не шевелился. Напрасно подружки щекотали и теребили его, пытались делать искусственное дыхание—ничего не помогало. Видимо, не судьба!

Что бедным маленьким существам делать? Улитка с Сороконожкой решили вырыть ямку и похоронить Червячка.

Дождь кончился, выглянуло солнышко, осветило маленький холмик с увядшим цветочком посередине. Безутешные приятельницы не радовались солнышку, они горько плакали.

— Шшшшто ревём?—услышали они голос с небес.

— Ах, господин Шмель, у нас такое горе!—запричитала Улитка.—Наш друг погиб.

И она рассказала Шмелю всё-всё.

— Не плачьте, ожжживёт вашшш приятель, он жжжже червяк, зззземля его на ножжжки пошшштавит,—обнадёжил Шмель.

— Позвольте, какие ноги? У него нет ног. Совсем нет, понимаете?—заметила Сороконожка.

— Это неважжжно.

Вдруг холмик с увядшим цветочком зашевелился, и из-под земли вылез Червячок. Свернулся вялым колечком и прикрыл глаза.

— Я жжже говорил! Жжживой, только слегка контужжженный!—прожужжал Шмель и улетел по своим делам.

А Червячок ожил, правда. Вот счастливчик! Ну просто баловень судьбы.

### 3. Бесконечность

Сороконожку в лесу уважали. Она преподавала высшую математику всякой лесной мелюзге. Уютно разлёгшись на большом белом грибе, она важно толковала сакральный смысл числа 40.

— Важнее и больше этого числа не было в природе,—вещала Сороконожка.

— А можно вопрос?

Сороконожка прищурилась, потом надела очки и тогда только разглядела хозяйку писклявого голоска. Маленькая Мошка в волнении мельтешила туда-сюда.

— Ну давай твой вопрос,—смилостивилась Сороконожка.

— А вот «туча»—это сколько?

— Одна туча, две тучи… Можно посчитать… Но не больше сорока.

— Нет, я не об этом… Вот когда мы, мошкара, летим тучей, это сколько?—не унималась приставучая Мошка.

— Ммм… Сосчитать невозможно, значит, бесконечность.

Тут ещё какая-то мелочь пропищала с места:

— А травинок в лесу сколько? Больше же сорока?

— Да много больше! Бесконечно много.

— А деревьев в лесу? А листиков? А какая она—бесконечность?—раздались сразу несколько вопросов.

Сороконожка задумалась, потом свесилась с гриба и поискала глазами на земле:

— Червячок, ты где?

— Да здесь я!

— Ты что точишь там? Не смей подтачивать мой гриб!

— Да я не подтачиваю, так, лежу себе, слушаю.

— Ползи сюда.

Червячок послушно взобрался на гриб.

— Изобрази-ка мне бесконечность.

Червячок с готовностью свернулся лежачей восьмёркой.

— Вот это, друзья, знак бесконечности,—провозгласила Сороконожка и со вздохом добавила: — Когда-то и я могла так сворачиваться… Эх, молодая была, гибкая,—и совсем уж себе под нос пробурчала: — А детишки-то в лесу поумнели, вопросы задают—будь здоров.

И, вполне довольная лекцией и собой, Сороконожка отправилась восвояси, быстро-быстро перебирая ножками в предчувствии обеда.

стр. 133 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы—воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр. 43 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп—«Времири» (конец 1970-х), «Политбюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время—собкор «Литературной газеты».

стр. 103 **Валеев Марат Хасанович**
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. Окончил школу, после работал бетонщиком на заводе ЖБИ. Призвался в СА, служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике—с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края, затем стал редактором этой газеты, но под другим названием—«Эвенкийская жизнь». Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней, написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.

стр. 173 **Василевская Ирина Витальевна**
Гессен, Германия, 1988 г. р.

Родилась и выросла в Молдове. В Кишинёве училась в художественном классе, посещала городской театральный лицей, выступала в юношеской сборной Молдовы по фехтованию. В 16 лет переехала с родителями в Германию. Окончила училище по профилю «Дизайн и искусство», участвовала в местной выставке выпускников. Является студенткой Гессенского университета имени Юстуса Либиха (факультеты славистики, истории искусств и археологии). С детства пишет стихи, не публиковалась.

стр. 140 **Вдовин Николай Геннадьевич**
Качулька, 1971 г. р.

Поэт, драматург. Родился в городе Темиртау (Казахстан). Несколько лет жил в Петербурге, где учился в кораблестроительном институте. С 1994 года живёт на юге Красноярского края, в селе Качулька Каратузского района. Автор одного поэтического сборника. Публиковался в небольших газетах, журнале «Homo Legens» (Москва). Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2012 года.

стр. 183 **Вятский Александр**
Киров, 1971 г. р.

Родился в Перми. В 1994 году стал лауреатом областного конкурса поэзии и музыки в пермском театре-студии «Пилигрим». Во второй половине 90-х—участник поэтической группы «Монарх» под руководством Юрия Беликова. В 1998 году закончил обучение в пермском колледже искусств и культуры, где получил образование по профессии «педагог-дирижёр». Далее год работал

в Белогорском мужском монастыре экскурсоводом, где сильно поменял мировоззрение в сторону православия. В 1999 году опубликовал рассказ в газете «Православная Пермь». После этого служил в церкви алтарником, чтецом, певчим, сторожем. В 2007 году поступил в Вятскую семинарию. В 2008 году переехал на постоянное место жительства в Киров. Публиковал рассказы в период 2008–2009 годов в вятской епархиальной газете «Небесный сад». В 2010 году стал пользоваться Интернетом и выкладывать в нём свои произведения. Здесь разгадка псевдонима — Вятский. Настоящая фамилия — Максимов — при регистрации была неудобна, так как Максимовы на литсайтах обычно уже были. Поэтому и пришла простая мысль назваться по месту нынешнего жительства.

стр. 168

### Габриэль Александр Михайлович

Бостон, США, 1961 г. р.

Родом из Минска, с 1997 года живёт в США. По образованию — инженер-теплоэнергетик, по нынешней специальности — тестировщик программного обеспечения. Осенью 2006 года в издательстве «Водолей» (Москва) вышла в свет первая книга — «Искусство одиночества». Лауреат-финалист престижного поэтического конкурса им. Н. Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2007, 2009). Обладатель премии «Золотое перо Руси» (2008). Победитель международного литературного фестиваля «Русский Stil 2012» в номинации «Юмор». Публикации в газетах «Форвертс» и «Новое русское слово» (США), журналах «Вестник», «На любителя» и «Чайка» (США), «Гайд-Парк» (Великобритания), «Настоящее время» (Латвия), «Крещатик» (Германия) и др. Член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП) и Международного Союза писателей «Новый Современник».

стр. 102

### Гайдукова Людмила

Зеленогорск

Родилась в Улан-Удэ. Окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «астрономо-геодезия». С 1982 года живёт и работает в Зеленогорске Красноярского края. Поэт и автор-исполнитель. Публикации в журнале «День и ночь» и др.

стр. 166

### Година Николай Иванович

Челябинск, 1935 г. р.

Родился в Полтавской области (Украина), через четыре года семья переехала в Челябинскую область. Окончил Коркинский горный техникум. Работал на серном руднике Дарваза в Каракумах, четыре года служил на военных кораблях Балтфлота. С 1959 по 1987 год жил и работал в городе Миассе: машинистом экскаватора, инженером, председателем рудкома в Тургоякском рудоуправлении. Печатается с 1958 года. Член СП СССР. Автор более двух десятков сборников стихов и прозы. Лауреат комсомольской премии «Орлёнок» (1968), Всероссийской профсоюзной премии им. Ф. Селянина, Всероссийской литературной премии им. Мамина-Сибиряка (2003). Секретарь Челябинской областной писательской организации (1987–1998), секретарь правления СП России (1992–1998). Участник Международного конгресса поэтов в С.-Петербурге (1999) и Международного форума поэзии в Магнитогорске (2002), участник «Литературных встреч в русской провинции», организованных В. П. Астафьевым, и др. Стихи и рассказы печатались на семи языках. Заслуженный работник культуры России (1996), почётный гражданин Миасса (2004), руководитель миасского литобъединения «Ильменит» с 1967 года.

стр. 171

### Горнов Григорий

Москва, 1989 г. р.

Родился в Москве. Учился в Литературном институте им А. М. Горького (семинар С. Арутюнова). Публикации в «Литературной газете», журналах «Студенческий меридиан», «Новая реальность», «День и ночь» и др.

стр. 137

### Зубарева Вера Кимовна

Филадельфия, США

Доктор филологических наук Пенсильванского университета. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других международных литературных премий. Автор 16 книг, включая поэзию, прозу и литературную критику. Публикации в журналах «Вопросы литературы», «Дети Ра», «Нева», «Новый мир», «Новая Юность», «Посев», «Сибирские огни», «Крещатик» и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения Русских Литераторов Америки (ОРЛИТА). Пишет и публикуется на русском и английском языках.

стр. 54

### Иосилевич Софья Марковна

Москва, 1952 г. р.

Родилась в Москве, где и живёт по сей день. Окончила Московский станкоинструментальный институт. До 1992 года работала инженером-конструктором. Первой публикацией стала книга «Очень личное», вышедшая в 2006 году в московском издательстве «Открытый мир». Публикации в журналах «Север» (Петрозаводск), «Добродетель» (Белгород), альманахе «Литературный меридиан» (Арсеньев), на некоторых сайтах Интернета.

стр. 152

### Карапетьян Рустам

Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Учился в Красноярском государственном университете на математическом и психолого-педагогическом факультетах.

Несколько лет посещал литературный семинар А. Лазарчука. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Контр@-банда», «Литературный MIX», «Огни Кузбасса», «Мурзилка», «Читайка», «Сибирёнок», а также в различных антологиях и сборниках. Лауреат премии им. В. П. Астафьева в номинации «Поэзия» (2007). Финалист Илья-Премии (2008). Победитель конкурса «Король поэтов: реванш» (2008, Красноярск). Лауреат премии «Золотое перо Руси» (2010). Руководитель красноярского литературного объединения «Диалог». Автор книги стихов «Четыре стороны небес». Член Союза русскоязычных писателей Армении и диаспоры. Член Красноярского представительства Союза российских писателей.

стр. 179
**Коркунов Владимир Владимирович**
Кимры, 1984 г. р.

Поэт, литературовед. Родился в городе Кимры Тверской области. Работает журналистом. Лауреат литературных премий и конкурсов. Двукратный обладатель государственных стипендий Министерства культуры РФ в области литературы (2009, 2011). Автор нескольких поэтических сборников. Публикации в журналах «Юность», «Знамя» (с предисловием Беллы Ахмадулиной), «Арион», «Российский колокол», «Дети Ра», «Аврора», «Волга XXI век», «Литературной газете», газете «Литературная Россия», «НГ Ex libris» и др. Член Союза журналистов России, Российского профессионального союза литераторов, Клуба юмористов «Чёртова дюжина».

стр. 50
**Костров Владимир Андреевич**
Москва, 1935 г. р.

Родился в деревне Власиха Костромской области. Поэт, переводчик, литературный критик. Окончил химфак МГУ (1958), Высшие литературные курсы (1969). С 1979 года ведёт семинар поэзии в Литинституте; доцент. Печатается с 1957 года. Автор более десятка книг стихов. Публиковался в газете «Завтра», в журналах «Знамя», «НМ» (№11/1988, №7/1991), «Россия» и коллективных сборниках. Член СП СССР. Председатель Пушкинского комитета СП России, вице-президент Фонда 200-летия А. С. Пушкина. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1984), медалью «За укрепление боевого содружества» (2000). Лауреат многочисленных государственных и литературных премий.

стр. 32
**Кузнецов Валерий**
Красноярск, 1942 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик, бард. Книжные публикации: повести «Мы вернёмся осенью» (1986), сборники «Красноярский краевед» (1991), «На поэтическом меридиане» (1998), «Романс листочка на ветру» (2000), «Поэты на берегах Енисея. XVIII–XXI вв. Антология одного стихотворения» (2008).

стр. 188
**Лейфер Александр Эрахмиэлович**
Омск, 1943 г. р.

Родился в Омске. Писатель, публицист, председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ. Окончил Казанский государственный университет, отделение журналистики историко-филологического факультета. Печатается с 1962 года. Работал в СМИ Омска. Автор целого ряда книг о жизни и творчестве выдающихся исторических и культурных деятелей, судьбы которых связаны с городом Омском; исследователь творчества Ф. М. Достоевского. Член редколлегий журнала «День и ночь» (Красноярск) и альманаха «Голоса Сибири» (Кемерово), редактор альманаха «Складчина». Член ПЕН-клуба.

стр. 181
**Мамонтов Роман Анатольевич**
Пермь, 1971 г. р.

Поэт, прозаик, эссеист. Окончил строительный факультет Пермского политехнического института. Входил в качестве гитариста в рок-группу «Музыка народов Нагорья». Финалист Всероссийского литературного конкурса памяти Ильи Тюрина. Печатался в альманахах «Илья» и «Литературная Пермь», журналах «Дети Ра» и «День и ночь». Участник движения «дикороссов». Член Союза российских писателей с 2004 года. Член Союза писателей XXI века.

стр. 121
**Мартынов Евгений Александрович**
Зеленогорск, 1930 г. р.

Родился в деревне Сиб. Саргатка Омской области. Окончил Омское речное училище, машиностроительный институт. Работал в литейных цехах заводов Омска, Новосибирска и Бердска мастером и начальником цеха, преподавателем электромеханического техникума в Бердске и Зеленогорске, директором спортсооружений, слесарем, воспитателем в Школе космонавтики, преподавателем и мастером производственного обучения по изготовлению художественных изделий из керамики УПК. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых: «Про Зеленогорск», «Чем солнце не гончарный круг», «Такое детство», «Вечность», «В поисках веры», «Походы были», «Огниво», «Саяны будят», «Взвесь на ладонях» и др. Автор романов «Промысел Божий» и «Таинство и тайна». Публикации в коллективных сборниках и журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Совершенно открыто», альманахе «Тритон». Член Союза российских писателей.

стр. 52
**Мингазова Светлана Васильевна**
Казань, 1946 г. р.

Поэт. Родилась в селе Сурское Ульяновской области. С 1953 по 1969 год жила с родителями в городе

Железногорске Красноярского края. Окончила Красноярский строительный институт. В 1969 году вышла замуж и переехала в Казань на постоянное место жительства. Работала инженером, начальником производственного отдела, зам. начальника проектно-сметного отдела в строительных и проектных организациях Казани и на обустройстве нефтяных месторождений Тюменского Севера (1974–1980). В настоящее время работает инженером в ООО «Научно-производственное предприятие „ГКС“». Лауреат премии Казанского городского конкурса бардовской песни и поэзии «Песня, гитара и я» (2009). С 2009 года занимается в казанском литературном объединении им. М. Зарецкого.

стр. 48

### Николаева Ольга (Олеся) Александровна

Москва, 1955 г. р.

Родилась в Москве, в семье поэта А. М. Николаева. Окончила Литературный институт (1979, семинар Е. М. Винокурова), в котором с 1989 года ведёт семинар поэзии, доцент. Выступала со стихами и лекциями в Нью-Йорке, Женеве и Париже; преподавала древнегреческий язык монахам-иконописцам Псково-Печерского монастыря; работала шофёром игуменьи Серафимы (Чёрной) в Новодевичьем монастыре; в 1998 году была приглашена в Богословский университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читать курс «Православие и творчество» и заведовать кафедрой журналистики. Печатается как поэт с 1972 года. Публиковалась в журналах «Знамя», «Юность», «Новый мир», «Литературное обозрение», «Арион», «Дружба народов», «Вопросы литературы», альманахе «Апрель» и др. Член СП СССР, Русского ПЕН-центра. Председатель жюри премии «Поэт» (2007), входила в жюри премии «Русский Букер» (2007). Отмечена стипендией Фонда им. А. Тёпфера (1998), медалью города Гренобль (1990, Франция), премиями имени Б. Пастернака (2002), журналов «Знамя» (2003), «Anthologia» (2004), «Поэт» (2006), дипломом премии «Московский счёт» (2004).

стр. 142

### Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Родился в Москве. В 1995 году окончил ММУ №1 имени И. П. Павлова и Литературный институт имени А. М. Горького. Работает учителем истории, и обществознания в школе  и редактором журнала «Основы православной культуры». Автор стихотворной книги «Московский кочевник». Лауреат премии им. А. П. Платонова в номинации «Очерк» (2011).  Публикации: «День и ночь», «Дети Ра», «Завтра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Народное образование», «Основы православной культуры», «Переправа», «Юность», антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся Великим тем годам», антология военной  поэзии.

стр. 59

### Петрушкин Александр Александрович

Кыштым, 1972 г. р.

Родился в городе Озёрске Челябинской области. Российский поэт, прозаик, драматург, критик. Публиковался в журналах и альманахах «Урал», «Крещатик», «День и ночь», «Аврора», «Нева», «Дети Ра», «Воздух», «Знамя», «Text only», «Топос», «Новые облака» и др. Лауреат уральского фестиваля поэзии «Глубина» (2007), литературных премий журналов «Дети Ра» (2008), «Зинзивер» (2010). Финалист литературной премии «ЛитератуРРентген» в номинации «Фиксаж» (лучший нестоличный издатель поэзии). Куратор проектов культурной программы «Антология». Руководитель поэтического семинара городов Северной зоны (поэты Челябинской и Свердловской области), координатор независимой поэтической премии «П», куратор евразийского журнального портала «Мегалит», главный редактор литературного журнала «Новая реальность». Автор сборников стихов «(В)водный ангел» (2005), «Анатомия» (2006), «Я полагаю, что молчанья нет» (2007), «Кыштым: избранные стихотворения 1999–2008 годов», «Пойми, никто не виноват» (2010), «Маргиналии» (2011).

стр. 3

### Саввиных Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельник «Обзор» (Чикаго), коллективные сборники и антологии. Автор восьми книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 193

### Тимченко Елена Владимировна

Красноярск, 1962 г. р.

Родилась в селе Шила Сухобузимского района Красноярского края. Окончила физический факультет Красноярского государственного университета. Работала в агроуниверситете на кафедре физики в должности ассистента и младшего научного сотрудника, преподавала программирование и информационные технологии в техникуме и информатику в гимназии. Автор повести-сказки

«Мерзлотка и её друзья», победившей в грантовом конкурсе «Книжное Красноярье» в 2007 году. С 2001 года стала внештатным сотрудником газеты «Городские новости», с 2004 года — главный редактор приложения «Детский район». С 2004 года ведёт в Красноярском литературном лицее творческие мастерские. Член Союза российских писателей.

стр. 145

### Черенцова Ольга
Хьюстон, Техас, США

Прозаик и художник. Родилась и выросла в Москве, в семье кинорежиссёра и художницы-модельера. Публиковалась в журналах «Юность», «Кольцо „А“», «Литературная учёба», «Волга — XXI век», «Молодой Петербург», «Чайка», «Новый журнал», «Новый берег», «Побережье», «Слово/Word» и др. Также публиковалась в журналах и книгах по искусству в США: «New Art International», «Literal Latte», «Manhattan Arts» и др. Автор книги «Двойник» (издательство «Луч» («Литературная учёба»), Москва, 2009).

стр. 55

### Черных Наталия Борисовна
Москва, 1969 г. р.

Родилась на Южном Урале, училась во Львове (1985–1986). Работала библиотекарем в Литературном институте имени А. М. Горького; техником на киностудии «Союзмультфильм»; преподавателем в школе города Электросталь, где вела факультатив по поэзии Серебряного века; переводчиком в издательстве «Терра» («Соглашение кузницы» и «Письмена на ножнах меча» из серии «Копьё дракона»); рецензентом в издательстве «АСТ». В 1990 году дебютировала в самиздате сборником стихотворений «Абсолютная жизнь»; в 1993-м состоялась первая официальная публикация стихов в парижской газете «Русская мысль». С 2005 года — куратор интернет-проекта «На середине мира», посвящённого современной русской поэзии. В 2008 году вышла книга очерков «Уроки святости: Как становятся святыми».

стр. 175

### Штерн Миньона Савельевна
Омск, 1948 г. р.

Родилась в Омске. Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и культурологии Омского государственного педагогического университета. Окончила филологический факультет Омского государственного педагогического института им. А. М. Горького в 1970 году. Защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена в 1979 году и докторскую диссертацию в Уральском государственном педагогическом университете в 1997 году. Область научных интересов: теория литературы, история русской литературы XIX–XX вв., региональная литература. Автор статей о творчестве Л. Мартынова, Г. Вяткина, А. Сорокина.

стр. 158

### Эйснер Владимир Иванович
Германия, 1947 г. р.

Родился в селе Ново-Александровка Москаленского района Омской области. Окончил Исилькульское педучилище и пединститут иностранных языков в городе Пятигорске. Работал учителем, монтажником, метеорологом на мысе Челюскин, охотником-промысловиком на острове Диксон, сопровождал иностранные экспедиции на Северный полюс, участвовал в раскопках мамонта на Таймыре. Рассказы и очерки публиковались в журналах «Сибирский промысел», «Северное сияние», «День и ночь», «Феникс», «Крещатик», «Дальний Восток», «Северные просторы», «Охота и охотничье хозяйство» и др. Лауреат премии им. Ю. Рытхэу (Анадырь), премии им. А. П. Чехова (Москва).

стр. 155

### Эйснер Татьяна Алексеевна
Вецлар, Германия, 1958 г. р.

Родилась в селе Новосёлово Красноярского края. Выпускница Кировского сельхозинститута, по специальности — биолог-охотовед. С 1982 года работала на Крайнем Севере: на различных должностях в совхозах «Октябрьский» и «Хантайский» Таймырского автономного округа, научным сотрудником в заповеднике «Путоранский», с 1999 по 2004 год — заместителем главного редактора газеты «Огни Талнаха» (Норильск). С начала 90-х годов публикуется в региональной и краевой прессе. Член СП России. С декабря 2004 года живёт в Германии.

стр. 64

### Янге Елена
Москва

Родилась в Москве. Окончила МГУ им. Ломоносова. Автор романа «Предсказание по таблетке», книги «Ролевые игры для детей». Лауреат Международного конкурса «Национальная литературная премия „Золотое перо Руси“» (2009), победитель международного литературного фестиваля «Русский Stil 2010» в номинации «Проза детям».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

*по прозе*

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

*по поэзии*

Иван Клиновой

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Александр Петрушкин
Кыштым

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Стрельцов
Красноярск

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Пазднякова

Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Г. О. Янушкевич

Руководитель Агентства печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использован фрагмент картины Марата Гаджиева.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 2463042749
Расчётный счёт 40702810500600000186
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040407967
Корреспондентский счёт 30101810000000000967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 660028, Красноярск, а/я 11937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 12.08.2013

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577